

АРСЕНИЙ РУТЬКО

# ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА



АРСЕНИЙ РУТЬКО  
ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА





А. Рынко

АРСЕНИЙ РУТЬКО

# ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

*Трилогия*

Москва  
«Детская литература»  
1979

*Рисунки*  
**Л. ДУРАСОВА**

**Рутько А. И.**

P90 Пленительная звезда: Трилогия/ Вступит. ст.  
Л. Разгона. Рис. Л. Дурасова.— М.: Дет. лит.,  
1979.— 368 с., ил.

В пер.: 95 к.

Трилогия, в которую входят повести: «Голубиные годы» — о детстве мальчика из рабочей семьи в царской России, «Пленительная звезда» — об участии героя в революции и гражданской войне, «Тебе мое сердце» — о первых мирных днях молодой республики, борьбе со скрытыми врагами Советской власти.

**Р 70803—248**  
**М 101(03)79 248—79**

**P2**

© Статья. Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

## ЗВЕЗДА РЕВОЛЮЦИИ

Свою трилогию о человеке, чье детство и юность совпали с годами революции и гражданской войны, Арсений Иванович Рутько назвал «Пленительной звездой». Не надо быть специалистом-литературоведом, чтобы догадаться, о какой звезде думал писатель, какие строки пришли ему в голову, когда он давал название своему произведению.

Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья —

говорил Пушкин своим современникам и потомкам о неизбежном наступлении времени свободы, крушения мира жестокости, насилия и угнетения. Это время наступило.

В трех повестях, составляющих эту книгу, ее лирический герой — мальчик Данила, которого все зовут Данькой, — рассказывает о времени, в котором ему пришлось быть не наблюдателем, а одним из действующих лиц. А то, что «пленительная звезда» свободы рождалась в ожесточенной борьбе, реках крови, в голоде и лишениях, автор нисколько не скрывает. «Пленительная звезда» не автобиографическая книга, но ее герой передает мысли и чувства автора, его создавшего. Он говорит в книге: «Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я в воспоминаниях о первых днях Советской власти, в воспоминаниях о революции привожу много тяжелых подробностей, — может быть, можно бы обойтись без этого? Нет, нельзя. Нельзя, чтобы те, которые сегодня молоды, придя в наш сравнительно благоустроенный мир, не знали, какой огромной ценой их отцы и матери заплатили когда-то за революцию».

И совсем не случайно для книги, издающейся к 70-летию писателя, Арсения Рутько из многих написанных им произведений выбрал эти три небольшие повести, которые объединяет не только один герой, а прежде всего — время. Время самых важных исторических решений, самого важного выбора, ставшего перед каждым, — время революции.

\* \* \*

Чуть менее полувека работает в советской литературе Арсений Иванович Рутько. Его первый рассказ «На краю» — о гибели экспедиции изыскателей в песках Каракумов — был напечатан в 1932 году в журнале «Октябрь».

С тех пор фамилия писателя стала звучать все чаще и громче. В 1935 году выходит первая книга «Под солнцем», а в следующем, 1936 — вторая, «Большие сердца». Арсений Рутыко был участником Первого съезда советских писателей.

Арсений Иванович Рутыко родился 30 октября 1909 года в г. Сувалки (ныне Польша) в семье лесничего, жившего в Белоруссии, в дремучих пинских лесах. Во время первой мировой войны семья Рутыко покинула родину, отец будущего писателя осел в Поволжье, охраняя остатки когда-то безбрежных приволжских лесов. На Волге, в Симбирске, прошли детство и отрочество Арсения Рутыко — в городе, где родился Ленин. В годы гражданской войны Симбирск находился в центре боев, в большой мере решавших судьбу революции. Герой «Пленительной звезды» Даня Костров, его родители, его близкие, события не придуманы писателем. Он это видел сам, это происходило и с ним и с его друзьями, это была близкая ему жизнь, навсегда оставшаяся в памяти.

Впоследствии, став писателем, Арсений Рутыко напишет много книг, источниками которых были его жизненные впечатления. Он много ездил по стране, рыбачил на Волге и Каспии, был бондарем, токарем, сплавлял лес по северным рекам, строил плотины, был инженером-изыскателем в казахских степях, корреспондентом газет. Эти впечатления дали ему богатый материал для многих интересных книг.

Как писателя, Арсения Рутыко всегда отличало острое чувство историзма. Для него не существует сегодняшнего дня без его корней в прошлом. Прошлое всегда привлекало писателя, и в исторических личностях революции он искал истоки характеров наших современников. Он написал повесть о детских годах Владимира Ильича Ленина «Детство на Волге»; в повестях «Суд скорый», «И жизнью и смертью» он поведал о драматических судьбах бесстрашных революционеров, отдававших свою жизнь за народное счастье.

Но и в своих романах и повестях о нашем времени, о своих современниках Арсений Рутыко остается, в большой мере, историком. Он убежден, что каждое «сегодня» завтра станет историей. И ему необыкновенно важно выяснить, как сегодняшний день отзовется на будущих поколениях. В его романах «Бессмертная земля», «У зеленой колыбели», «Есть море синее» речь идет о проблемах самых современных, самых животрепещущих: строительстве нового города, сохранении и умножении лесов, создании огромных водохранилищ — это то, чем занимаются люди сегодняшнего дня. Но они это делают, в первую очередь, для будущего: своего, своих детей, своих внуков — они делают историю.

Чаще всего исторические писатели избирают героями своих произведений выдающиеся личности, оставившие глубокий след в истории. Это, конечно, закономерно. Но и закономерно стремление делать героем исторического повествования не личность, а само время. И жизнь людей — самых простых и самых обыкновенных во время великих исторических перемен.

Даже тогда, когда герой исторического произведения Арсения Рутыко реальное лицо, писатель стремится показать жизнь и судьбу человека, типичную для того времени.

«Пленительная звезда» написана о времени великих перемен. Автор не соблазнился тем, чтобы перенести своего читателя в самый центр этих перемен. Его цель — показать, как великие события повлияли на огромную человеческую массу, на трудящихся страны. Вот почему действие начала трилогии — повести «Голубины годы» — происходит даже не в губернском Симбирске, где прошло детство автора, а в маленьком уездном городке, где все люди на виду, где каждый все знает о каждом. Это для писателя крайне важно, ибо для него не существуют люди вообще, как некая безликая масса. Он внимательно разглядывается в каждого человека, ему важно увидеть его индивидуальные черты.

В этой повести, как и в последующих двух, время, огромные историче-

ские события показываются как бы отраженно — как они влияют на судьбы людей, героев книг Арсения Рутко. Война — уходит из рабочих семей их кормильцы, уходят, чтобы никогда не вернуться или же приползти безногими, искалеченными, отравленными газами... Усиливается гнет реакционного режима — уводят в тюрьму отца Даньки, становятся сиротами его друзья, одного за другим теряет Данька людей, в которых он увидел добро, справедливость, человечность... И даже революционные события, радость этих дней, возвращение с каторги отца Даньки, великие изменения в судьбе голодающей семьи рабочего — все это не снимает постоянного напряжения, чувства тревоги, горести, которые маячат где-то впереди. И они, эти горести, эти беды, наступают. Переехала из подвала в бывший царский особняк семья бедняка, но начавшаяся гражданская война, контрреволюционный мятеж выкидывают ее на улицу. Отец Даньки гибнет от руки белогвардейцев. Да, над маленьким городом, как и над всей Россией, проносится очистительный, сметающий старое и отжившее вихрь революции. Но победа над силами старого достается нелегкой ценой. Данька становится участником революции, и она подчиняет себе его жизнь, его действия. Интересы революции, в которой Данька и его друзья видят единственную возможность будущей счастливой и достойной жизни, определяют все их поведение, их жизнь и смерть.

Но было бы глубоко неверным, если бы писатель показывал, что только в р е м я, только сила революционного вихря является единственным двигателем поступков людей. Все значение исторической трилогии Арсения Рутко именно в том, что она утверждает: перед каждым ее персонажем — от самого главного, до самого незначительного — поставлена п р о б л е м а в ы б о р а. Даже самые великие исторические события не избавляют человека от необходимости самому сделать свой выбор. И, сделав его, стоять на нем, ибо отступить от этого выбора уже невозможно — к этому ведет сама логика ожесточенной классовой борьбы. Перед нами, читателями книги Арсения Рутко, открывается целая галерея людей, чей выбор объяснялся разными причинами, но прежде всего причинами социальных и нравственных. Для самого Даньки, для его старшего друга матроса Вандышева выбор революционного пути определила их жизнь, сознание социальной несправедливости, жертвой которой они стали. Для потомка коньячного фабриканта доктора Шустова, для бывшего помещика Граббе их выбор борьбы с Советской властью также естествен: они готовы на все, готовы пролить реки крови, лишь бы вернуть свои богатства, свое привилегированное положение. Но вот уходит из своего класса, бросает своего отца — купца Соня Кичигина. Эта молоденькая девушка идет к людям, которые, казалось бы, являются ее врагами, отнявшими богатство, благополучие, спокойную жизнь, идет потому, что чувствует: за этими людьми правда, этими людьми движет бескорыстие, честность, желание помочь нуждающимся. Нравственная сила революционных идей создает как бы магнитное поле, которое притягивает все лучшее, что есть в разбитом, побежденном классе. Поэтому идет помогать новой народной власти не только молоденькая, вчерашняя гимназистка, Соня, но и многоопытный, многознающий профессор Алексей Иванович.

Между детством Даньки Кострова, между временем, когда он охотился за голубями, и временем, когда он становится сотрудником ЧК в Москве, проходит всего лишь несколько лет. Но нас не должно удивлять это необыкновенно быстрое созревание, это, казалось бы, мгновенное превращение ребенка во взрослого человека, отягощенного чувством своей ответственности и долга. Очень много уместилось в небольшой отрезок времени отрочества Дани Кострова! Дело совсем не в необыкновенной личности героя книги. Вспомним 16-летнего командира Красной Армии Аркадия Гайдара, сказавшего про свою жизнь, что это была обыкновенная биография в необыкновенное время.

В герое трилогии Арсения Рутко мы видим прообраз маленьких героев нашей недавней истории. Писатель создавал свои книги о Даньке Кострове,

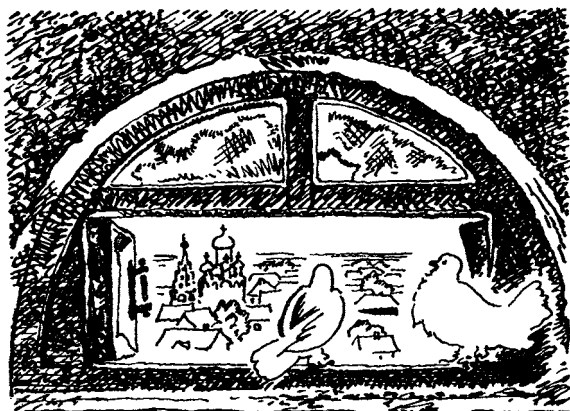


обогащенный не только воспоминаниями о собственном детстве, собственном отрочестве, но и живыми впечатлениями о массовом героизме советских людей в незабываемые годы Отечественной войны...

Арсений Рутько убежден, что не пропадает жизненный опыт предыдущих поколений. Он передается от одного поколения к другому, он обогащает души, приобщает нас ко всему, что было пережито нашими отцами, дедами, прадедами. К их созидательному труду, к их радостям и горестям, победам и поражениям. Ничто не проходит бесследно! Надо только, чтобы каждый наш молодой современник ощутил свое сопричастие к нашему великому прошлому, проникся теми чувствами сострадания, мужества, сурового долга, которые двигали поколением Даньки Кострова.

Для этого увлеченно, с непрекращающимся напряжением работал и продолжает работать писатель Арсений Иванович Рутько.

*Лев Разгон*



*Книга  
первая*

# ГОЛУБИНЫЕ ГОДЫ





*ДОЧЕНЬКЕ МОЕЙ МИРОСЛАВЕ*

## 1. ГОЛУБИНЫЕ ГОДЫ

**В** маленьком уездном городке, где я родился и вырос, было только три больших кирпичных здания: две шеститажные паровые мельницы купцов Тегина и Барутина в самом городе и четырехэтажное здание Тюремного замка на берегу Чармыша.

Окна мельниц, запорошенные мучной пылью, были мутно-белые, непрозрачные, за ними не таилось ничего интересного для нас, но окна тюрьмы всегда пугали своей жутковатой темнотой, — в них иногда неясными, почти неразличимыми пятнами угадывались чьи-то лица.

Мы, дети, так же как взрослые, знали, что тюрьма эта и пересыльная и «политическая срочная», то есть такая, где отбывали свой срок политические заключенные, — их тогда почти все в городе считали извергами и убийцами. Изредка мы видели, как этих бледных бородатых людей в серых безрадостных одеждах усиленный конвой с шашками наголо вел по Продольной улице от вокзала к тюрьме.

Мы, мальчишки, провожали их на почтительном расстоянии до Тюремного замка, смотрели, как они один за другим скрывались за железными заржавленными воротами. Потом, когда ворота закрывались, мы, улегшись в кружок где-нибудь на берегу Чармыша, принимались рассказывать друг другу о приключениях Шерлока Холмса и Ната Пинкертона.

Летом, бегая на Чармыш купаться, мы нередко делали крюк, чтобы пробежать мимо тюрьмы. Было что-то таинственно-притягивающее в кроваво-красных кирпичных стенах, в караульных башнях, из окошек которых выглядывали часовые, в черных железных воротах с квадратным оконцем на высоте человеческого глаз...

Иногда, набравшись смелости, мы проходили под самой тюремной стеной мимо полосатой, как шлагбаум, сторожевой будки. Если в это время в воротах открывалось окошко, мы в ужасе бросались прочь. Впереди в таких случаях бежал, прижимая к груди единственную свою руку, самый маленький из нашей «тройки» — Ленька Огуречик, за ним — я, а уж за мной по-медвежьи топотал Юрка Вагин.

Отцы наши работали на мельнице Барутина: у Юрки — грузчиком, у однорукого Леньки — слесарем по ремонту, а мой — «засыпкой», на самом верхнем, шестом этаже. Ежедневно в полдень мы ходили на мельницу, относили отцам обед.

Огромный двор, замощенный крупным булыжником, был покрыт толстым слоем пыли, лишь вдоль стен тускло поблескивала чешуя камней. Между камнями пробивалась жалкая, худосочная травка.

Главный корпус огибали сверкающие полосы рельсов. Время от времени по ним, натужно пыхтя, проползал маленький зеленый локомотив с вагонетками, груженными мешками с зерном или мукой. Раньше мы любили кататься на этих вагонетках, но два года назад под одной из них осталась лежать окровавленная Ленькина рука. Никогда не забуду: кричащего Леньку уже подняли и понесли, а я все еще стоял и смотрел на эту такую знакомую мне веснушчатую руку, — на ней, казалось, еще вздрагивали, сжимаясь и разжимаясь, пальцы...

Отец мой, как я уже сказал, работал на шестом этаже. Он почти всегда встречал меня шуткой, но иногда, тыча мне пальцем в живот или в бок, грустно говорил:

— На следующий год пойдешь, Данька, и ты в подметалы. Хватит сиварей гонять.

На обеих мельницах жили и кормились тысячи диких сирых голубей, их в нашем городке называли сиварями.

Именно из-за сиварей я однажды страшно избил Вальку Гунтера, сына управляющего мельницей, и тем едва не навлек беду на всю нашу семью.

Это был толстощекий, румяный мальчишка, почти всегда одетый в ярко-синюю, совсем как у настоящих моряков, матроску с позолоченными якорями по углам широкого воротника. Я бегал тогда в заплатанных рубашонках и страстно мечтал, что, когда вырасту или, даст бог, найду клад, обязательно куплю себе такую же. И удивлялся: почему это богатые взрос-

лые люди, вроде того же Гунтера, не носят таких матросок.

Но, пожалуй, еще большую зависть в наших мальчишеских сердцах вызывала не матроска, а то, что Валькиной тетке принадлежал единственный в городе кинотеатр «Экспресс» и Валька мог бесплатно смотреть все серии «Таинственной руки» и полные опасных и удивительных приключений фильмы с участием Гарри Пилы.

Мы, «мельничные» ребята, легко ловили сиварей. Для этого стоило только взобраться на мельничный чердак. В обед, отдав отцам скудную их еду — вареную картошку с зеленым луком, пару соленых или свежих огурцов или бутылку молока, — мы прятались по темным углам верхних этажей. А потом, таясь от бельмастого, но всевидящего глаза старшего крупчатника Савела Митрича Мельгузина, юркого маленького старичка с пористым, словно вырезанным из грязной пемзы лицом, пробирались по крутой чугунной лестнице на чердак и там сачком, сделанным из обрывка старой рыболовной наметки, ловили голубей.

Однако не только голуби привлекали нас в этот мир запустения, пыли и битого оконного стекла. Здесь все казалось таинственным и интересным. С перекошенных запыленных стропил свешивались, точно корабельные канаты, лохмотья пыльной паутины. У своих серых, похожих на горшки гнезд тревожно звенели каменные пчелы. Уцепившись лапами за стропила, спали, головами вниз, летучие мыши. Мы сбивали их комьями голубиного помета и смеялись, глядя, как они, слепые, мечутся между балками, ни одну не задевая крылом.

Порой, забывшись, мы поднимали при этом такой шум, что вдруг и сами пугались и затихали на минуту: не услышал ли кто внизу? Но нет, все оставалось спокойным, шестиэтажное здание мельницы мягко гудело, доносились со двора голоса людей, требовательно покрикивал паровоз.

Отсюда, с чердака, можно было бросить комок голубиного помета на голову тому, кого мы особенно ненавидели. А ненавидеть нам было кого: Гунтера, приказчиков, пожарников, сторожей, всех, кого, приходя домой, бранили наши отцы и кто гонял нас с чердака.

Но самым привлекательным здесь было даже не это. Через полукруглое чердачное окно мы могли часами смотреть вниз, на залитый щедрым солнцем пыльный зеленый город.

Широкие, поросшие травой улицы тянулись от мельницы к церковной площади, где нагромождением голубых куполов высилась церковь. Кресты на куполах, как и на колокольне, были выложены зеркалами и ослепительно сверкали на солнце, словно сами источали свет.

За церковной площадью улицы бежали дальше, туда, где,

обжимая город, огромным зелено-серым удавом выгибалась железнодорожная насыпь. За ней поднималось красное, такое, казалось бы, мирное в кружеве прибрежных лесов здание тюрьмы.

В блеклой зелени тальника узким лезвием поблескивал дорогой нашим мальчишеским сердцам Чармыш с его отмелями и перекатами, с лопуховыми зарослями по берегам, с омутными глубинками, где между корягами лениво шевелились пудовые сомы. А левее, словно овальный просвет в лесу, куском весеннего неба голубело озеро Святое.

Словом, весь милый, казавшийся нам необъятным мир нашего мальчишеского детства распахивался перед нами, когда мы смотрели из чердачного окна.

Весной, когда голубки садились на яйца, мы меньше лазили на чердак, потому что при нашем появлении птицы поднимали сильный шум, огромной стаей вылетая и опять влетая в окно.

— Ну, опять кто-то из этих сорванцов на чердаке! — кричал Мельгузин. — Не ровен час — сожгут!

И посылал пожарника или сторожа — поймать. И уж если ловили, дело кончалось плохо: день-два приходилось спать животом вниз.

Зато сколько радости доставляло нам время, когда в гнездах подрастали птенцы! Мы приносили голубям в бутылках воду или молоко, таскали на чердак полные карманы выбранного у амбаров зерна, воровали у матерей пшеничную и гречневую кашу, копали червяков на берегу Калетинского пруда. У каждого из нас были «свои» гнезда, и мы азартно спорили — у кого быстрее растут голубята, у кого первого вылетят из гнезда.

Об этом «голубином» времени, как мы его потом называли, у меня сохранились самые светлые, самые радостные воспоминания, хотя в то время семье нашей жилось и трудно и голодно.

## 2. ПОДСОЛНЫШКА

Мы жили тогда вчетвером: отец, мать, я и маленькая моя сестренка, трехлетняя Саша. Она была тщедушной, рахитичной девочкой с большими, иногда зеленоватыми, иногда синими глазами, в глубине которых как будто таилась искорка испуга или тревожного удивления. Что-то неслышно и ласково шепча, она в ненастные дни целыми часами сидела в уголке, за кроватью отца и матери, копаясь в дешевых разноцветных тряпочках, которые называла «игрушками». В погожие дни,

обняв руками худые коленки, подолгу сидела на завалинке, на солнечном пригреве, наслаждаясь тишиной и теплом, жмурясь от удовольствия, как котенок.

Не помню, кто из нас впервые назвал ее Подсолнышкой, — она почти незаметно пересаживалась с места на место, избегая надвигавшейся на нее тени, — но это прозвище так и осталось за ней на всю ее жизнь.

Теперь я почти не могу представить себе ее лица, только глаза — как блюдецки с синей водой, говорила мама, — да еще, пожалуй, губы, испуганно вздрагивавшие при каждом громком звуке: при мельничном или паровозном гудке, при ударе колокола, при лае собаки, при чьем-нибудь окрике.

— И в кого ты такая трусиха? — возмущался я.

— А я не трусю... Мне уши больно.

И все-таки я очень ее любил, как всегда старшие на несколько лет, здоровые братья любят своих маленьких болезненных сестреночек, — покровительственно, с оттенком грубоватой нежности и глубоко-глубоко запрятанной и все-таки трогашей до слез жалости.

Помню, я часто спрашивал себя: а дал бы я отрубить себе правую руку и жить, как Ленька Огуречик, с одной левой, если бы бог сделал Сашеньку здоровой?.. Отдал бы, конечно! Но только лучше, пожалуй, левую. Ну как же я буду без правой руки — ни камня кинуть, ни подражаться, ни поплавать; как защищу ее, Подсолнышку, без правой-то руки?

«Нет, — решил я, — правую нельзя». А левую я готов был отдать немедленно, лишь бы у Сашеньки ножки стали прямые, лишь бы она вместе с нами бегала на Чармыш и в лес, лазила через забор в поповский сад — словом, чтобы приобщилась к нашему миру воинственных и рискованных радостей.

Бывая с матерью в церкви — а мама была очень набожная, — я уходил от нее и от Подсолнышки и подолгу топтался перед самой большой позолоченной иконой, предлагая богу свою жестокую сделку. Но богу было, вероятно, мало одной моей руки, он молчал, глядя на меня печально и строго. Я обижался и однажды очень удивил и огорчил мать, заявив ей:

— Не буду я больше молиться. Он почему такой злой, твой бог?

Мать больно отодрала меня за уши и три дня не пускала на улицу. А рассказать ей о своих молитвах за Сашеньку я почему-то не мог.

Мне кажется, что в моей любви к Подсолнышке было что-то сходное с любовью к ней нашего отца. Вернувшись с работы, переодевшись в чистую рубаху, отец брал Сашеньку на руки и, если было солнечно, садился с ней на крыльцо барака, в котором мы жили. Заскорузлыми пальцами перебирал

льняные реденькие волосы девочки и иногда прижимался щекой к ее голове. И столько было в этом почти незаметном движении боли и жалости к ней, сознания какой-то, пусть даже невольной, своей вины перед этим маленьким человечком, что я, ничего не умея ни назвать, ни объяснить, готов был плакать, так у меня сжималось сердце.

А Подсолнышка теребила отца за бороду, за усы, щеколала, смеялась и без конца задавала странные свои вопросы: — Пап, а кто дует ветер?.. Пап, а кто солнушко по небу катит?

Самой большой радостью для Сашеньки было, когда по весне я приносил ей подросшего, но еще не умеющего летать голубенка и она могла хлопотать над ним, поить и кормить, пока у него не отрастали крылья. Окрепнув, голуби улетали и, конечно, навсегда забывали наш барак и тоненькие пальцы Подсолнышки, но она уверяла меня, что голуби хорошо ее помнят. И, когда к нам во двор или на подоконник единственного окошка нашей комнаты слетали с мельничной крыши голуби, Сашенька хлопала в ладоши:

— Мои! Мои! Видишь, я говорила!

Барутинские бараки стояли на самой окраине города, а за ними поднималась Горка, поросшая густым сосновым лесом. Весной склоны Горки рано освобождались от снега, и в погожие дни я приводил сюда Сашеньку. После зимнего, почти безвыходного сидения в бараке она с радостным благоговением ходила от цветка к цветку и не рвала их, а присаживалась возле и то разговаривала с ними, то пела ей самой придуманные песни:

...Милый, добрый цветок,  
Беленький, зелененький,  
Где твоя мама?

Мать моя до появления на свет Сашеньки тоже работала на Барутинской мельнице: сначала, еще девчонкой, в подметалках, потом чинила ремни зернотасок, зашивала мешки с мукой. Но незадолго до рождения Подсолнышки ее уволили и потом больше не взяли: ее место оказалось занятым. В девушках очень красивая, большеглазая и чернобровая, с крупными чертами лица, мать моя к тому году, с которого начинается этот рассказ, немного поблекла, увяла, но все еще считалась первой красавицей у нас на Северном Выгоне. По праздникам, надев желтую или красную кофточку и широкую, со множеством оборок юбку, она становилась очень красивой, все парни на нашей улице оглядывались ей вслед.

А она словно и не замечала своей красоты, «носила кра-



соту легко», как любили говорить соседки, только на лице ее часто вспыхивала беспечная и какая-то далекая улыбка. Как будто она улыбалась не тому, что видела и слышала кругом, а не слышной другим музыке внутри себя.

В праздничные дни рабочие с мельницы и с чугунолитейного завода Хохрякова, ремесленники, мастеровые выходили на Горку «гулять» семьями — с самоварами и корзинами с едой, с гитарами и балалайками.

Ходили на Горку всей семьей и мы. Я тогда еще, конечно, не знал, что Горка была не только местом отдыха, а и местом первых рабочих собраний.

Обычно мы рассаживались на траве, на открытом месте, через несколько минут к отцу присоединялись рабочие с чугунолитейного, с мельниц, из депо, кто-нибудь доставал из кармана бутылку с водкой. Тогда отец посылал нас с Подсолнышкой погулять, и мы ходили по лесу, собирая сосновые шишки и простенькие, почти без запаха цветы. Мать тоже уходила от товарищей отца — по ее сердитому лицу я догадывался, что ей не нравятся встречи отца с этими людьми. И мне они тоже не нравились. «Лучше бы,— думал я,— отец, вместо того чтобы так долго и тихо разговаривать, пел бы песни и играл на гармонии, как все». Когда я ему однажды сказал об этом, он хитровато улыбнулся в усы:

— Так ведь, сынка, гармонии-то у нас нет... Да и у товарищей тоже... Это вон купчишки богатые, им и играть...

Отец и мать очень любили друг друга и никогда не ссорились. И только однажды, за несколько дней до начала войны, случайно проснувшись, я услышал взволнованный разговор.

— Ну милый, родненький Даня...— быстро и горько говорила мать.— Ну, меня тебе не жалко, так детишек пожалей... Пусть вон у которых детей нету...— Открыв глаза, я увидел, что мать пытается удержать отца, собравшегося уходить.

Я, конечно, не понимал, о чем они говорят, но в голосе матери было столько тревоги и боли, что и мне захотелось крикнуть: «Не ходи, папка!»

Он сначала рассердился, сурово посмотрел на мать, а потом осторожно снял со своих плеч ее руки, прижал их к груди и сказал:

— Да успокойся ты, дурочка. Ложись...

Мать долго стояла у порога. Потом начала прибирать в комнате. Уронила нож. Испуганно оглянувшись на нас — не разбудила ли? — осторожно подняла его, взяла со стола шитье. Но через минуту и шитье бросила на стол. Потушила лампу и села к окну.

Ночь была светлая, на полу в бледно-желтом квадрате лунного света отчетливо вырисовывалась тень маминой головы.

Встревоженный, я долго не мог уснуть и все ждал возвращения отца. Но скоро усталость взяла свое, и я уснул. Мне снилось купание в прогретом солнцем пруду, лопуховые заросли на Чармыше и мальчишеский бой нашей улицы с Соборной, с гимназистами и «реалишками».

Но спал я все же очень чутко и, когда под утро чуть слышно скрипнула дверь, сразу открыл глаза. Вошел отец. Одним бесшумным рывком мать вдруг оказалась у двери и, закинув отцу на шею руки, прижалась к нему.

— Ну, ну! — грубовато и очень ласково сказал он. — Не ложилась?

Я счастливо вздохнул, повернулся на другой бок и моментально уснул опять.

### 3. ДВА ДНЯ НАЗАД В ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ

Когда я снова проснулся, отца уже не было: ушел на работу. В комнату заглядывало солнце, на улице ворковали голуби. Подсолнышка спала на своей кровати за печкой, мне видны были только ее босые ножонки да угол спустившегося до пола одеяла, сшитого из разноцветных треугольных лоскутков.

Под окном приглушенно и тревожно разговаривали женщины, потом послышался топот копыт.

Я вскочил. В этот момент в комнату вбежал запыхавшийся Ленька. Он был так бледен, что я увидел на его лице только веснушки.

— Пожар?! — спросил я, торопливо натягивая штаны.

— Какой пожар! Повесили! — зашептал он, зачем-то оглянувшись на окно.

— Что повесили?

Вошла мама, расстроенная, такая, какой я ее еще никогда не видел. Она растерянно посмотрела на икону и, хотя тот день не был ни воскресным, ни вообще праздничным, влезла на табурет и зажгла перед иконой лампаду. Мне не терпелось узнать, что и где повесили, и, пока мама стояла спиной к двери, я следом за Ленькой выбежал во двор. Мы спрятались в деревянном сарайчике.

— Ну!

— Вот... гляди... с ворот содрал...

Ленька вытащил из кармана измятый листок, на котором крупными буквами было написано:

«Товарищи! Царские палачи совершили очередное свое злодеяние. Два дня назад в Тюремном замке нашего города повешены товарищи с Сормовского завода — Смушков и Си-

луянов, обвинявшиеся в том, что они боролись против существующего строя, за свержение царского правительства, за лучшую жизнь для трудового народа. Вечная память им, не пожалевшим даже жизни своей за всеобщее народное счастье. Погор и проклятые палачам!»

Я прочитал листовку и помню, что меня как будто ударило по самому сердцу. Ведь все последние дни мы бегали мимо замка, даже и не подозревая, что там находятся люди, ожидающие смерти. И мне вдруг представились виселицы, освещенные багровым светом факелов, поп в черной рясе с огромным золотым крестом... И еще я вспомнил ночной уход отца, слезы и тревогу матери. И для меня все эти события связались в один темный и страшный клубок.

Я почувствовал на глазах слезы и отвернулся, чтобы Ленька не видел, что я плачу. Я и сам не смог бы еще объяснить своих слез.

Ленька сказал:

— Теперь бы на их кладбище сходить.

Я посмотрел на него не понимая. Их кладбище? Да! Ведь тех, кого казнили и кто умирал в тюрьме, хоронили не на городском кладбище, а недалеко от тюрьмы, на небольшой полянке, где не было даже крестов, а только холмы могил и где всегда паслись отбившиеся от стада коровы. Позже, когда мы попали на тюремное кладбище, мы нашли там только один свежий холм и не сразу догадались, что обоих казненных зарыли в одну яму. Но это было позже, недели через две, а в тот день сбегать на кладбище нам не пришлось. Днем и у нас, и у Юрки, и у многих других рабочих был обыск — всё перерыли, перешвыряли и, хотя ничего не нашли, отцов наших прямо с мельницы увели в так называемую каталажку на Большой улице.

Выпустили их через две недели, и они вернулись избитые, в синяках, но, к моему удивлению, бодрые. А что мы с Юркой пережили за это время, думая, что наших отцов вот-вот «перегонят» из каталажки в Тюремный замок и там повесят, — я рассказать не могу. Все ночи мы дежурили на Большой улице и, если случалось задремать, вскакивали от самого легкого скрипа калитки.

В те дни мы повзрослели на несколько лет, казалось, что никогда уже не вернется прежняя, беспечная и беззаботная пора... Однако пришел из тюрьмы отец, и очень скоро все пошло как и раньше, как будто и не было этих страшных недель...

#### 4. ТАИНСТВЕННЫЙ ПАРК

Было в городе еще одно место, очень любимое мальчишками, — Калетинский пруд. Он тянулся почти на полкилометра вдоль Барутинской мельницы, но с противоположной баракам стороны. Летом густо заросший около берегов кувшинками и лилиями, зимой прикрытый ровным льдом, он был для нас источником самых доступных радостей и развлечений.

От ворот мельницы на другую сторону пруда был переброшен деревянный мост, по нему зеленый мельничный паровоз водил на станцию и со станции поезда с зерном и мукой. Раньше этот мост никем не охранялся. Но во время всеобщей забастовки тысяча девятьсот пятого года кто-то поджег мост, пропитанные мазутом и машинным маслом сухие брусья вспыхнули, как костер, и мост сгорел в четверть часа. Позже выяснилось, что это была провокация: в поджоге обвинили бастовавших рабочих, и многие из них были арестованы и осуждены. Мост же через полгода вновь отстроили и с тех пор охраняли с показной старательностью и даже иногда поливали из шлангов водой — это случалось летом, в зной, когда все готово было, кажется, загореться от солнечного луча.

Теперь по мосту всегда прохаживался сторож с берданкой за плечом — то бородатый дед Никита Свешников, то Гошка-солдат, зиму и лето носивший старенькую шинель, в которой он вернулся с японской войны. Оба они боялись потерять работу и потому относились к мальчишкам с крикливой, подчеркнутой строгостью.

На той стороне пруда зеленел тенистый, вековой Калетинский парк, обнесенный с трех сторон кованой узорной оградой. Ограда была высокая, в ее узоре железные цветы сплетались с копиями, устремленными остриями вверх. Перелезть через нее, казалось, было совершенно невозможно.

Осенью, когда опадала листва, между толстыми стволами осокорей, стоявших как стража на берегу пруда, становились видны колонны белого одноэтажного особняка. В этом доме уже несколько лет никто не жил.

По словам стариков, лет десять назад, еще до революции пятого года, в парке чуть не каждый летний вечер гремела музыка, между деревьями загорались разноцветные фонари, и любопытные обыватели с мельничной стороны могли наблюдать, как князь Калетин спускается с гостями к пруду показаться на лодках. Лодки, вернее, их полуистлевшие остовы, доживали сейчас свой век на берегу, прикованные цепью к огромному, в три обхвата, осокорю возле старенькой полуразвалившейся, когда-то окрашенной в голубой цвет купальни.

Вход в купальню был наглухо забит, и проникнуть в нее можно было, только поднырнув под стены.

Теперь парк был всегда глух и пуст — ни человеческого голоса, ни смеха, ни звона посуды или струны ни разу не доносилось оттуда до нашего берега. Парк зарастал год от года все гуще, превращался в дремучий лес. Аллеи и тропинки только угадывались — зеленые щели между деревьями и разросшимися во всю силу кустами сирени, акации и малины.

Жил в парке сторож — лакей или кучер Калетиных, вывезенный когда-то ими из Франции, — высокий и худой, словно сколоченный из досок, старик с туго сжатым ртом и бесцветными, оловянными глазами. Еще в парке обитала огромная собака, имени которой никто, кроме старика, не знал. Она, как тень, бродила по саду, поднимая злобный и хриплый лай.

По утрам сторож, одетый в наглухо застегнутый сюртук, в помятой черной шляпе, в ботинках с блестящими пряжками, поражавшими наше воображение, приходил в ближайший к парку магазин Кичигина купить себе хлеба и собаке мяса. Он ни с кем не разговаривал, однако было известно, что он ждет возвращения из-за границы одного из молодых Калетиных и надеется, что тот отправит его умирать на родину.

Утверждали, что в парке по ночам появляется привидение — высокая женщина в светлом платье — и что ее всегда сопровождает собака, покорно тычась носом сзади в ее ноги. Говорили, что это бродит душа дочери Калетина, повесившейся здесь после того, как сослали в Сибирь ее жениха.

Надо ли говорить, как пугал и в то же время как притягивал нас таинственный Калетинский парк и дом с его остановившейся, застывшей, как бы окаменевшей жизнью. Но мы долго не решались переступить запретную черту.

Однажды ночью мы сами увидели привидение.

После долгого знойного дня, раскалившего и стены кирпичных домов, и камни мостовых, и землю, мы, вернувшись с Чармыша, решили еще раз искупаться в пруду.

Эти ночные купания хороши тем, что вода как бы напитана радостным остывающим солнечным теплом; в пруду, где она неподвижна, она так ласково и тепло обнимает тело.

Купались долго. И, уже когда собрались вылезать, услышали, как в парке залаяла собака.

Ночь была светлая, но облачная, облака то закрывали луну, то снова открывали ее — лунный свет, обычно неподвижный, медленно тек по земле и воде. А калетинский берег, опушка, купальня и прикованные к осокою лодки не были освещены, тонули в темно-зеленой тени. И вот в этой тени, повернувшись на лай, мы и увидели едва различимую белую фигуру.

Я не помню, как мы добрались до берега, как нашли свои штаны и рубашки, запрятанные на всякий случай под доски. Не одевшись, не в силах оглянуться, мы опрометью понеслись прочь. И, только отбежав квартал, повернув за угол мельничного двора, скрывшего от нас пруд, мы остановились и в смятении посмотрели друг на друга.

— Вот, Дань, а ты говорил — не бывает! — дрожа, сказал Ленка и вдруг заплакал. — Бы-ва-а-е-т... Это мы... озлили ее...

На другой день я рассказал о ночном приключении отцу.

— Эх ты, дурак ты мой рыжий! — совершенно серьезно сказал он, выслушав мой сбивчивый рассказ. — Начитался чепухи, вот и мерещится неведомо что!

— Да нет, пап!

Отец взял у меня из рук тоненькую книжку, с обложки которой человек в черной полумаске целился из пистолета прямо в читателя.

— Опять Пинкертоны! — И с какой-то веселой злостью разорвал книжку.

Я не успел удержать его, а книжка-то была чужая! Швырнув в сторону обрывки, отец неожиданно обнял меня.

— В воскресенье пойдем, Данилка, в одно место... там много хороших книг. Ладно?

Так я попал в народную библиотеку, ютившуюся в небольшом домике возле городской управы. Теперь-то я понимаю, что библиотека была жалкая, бедная, но тогда она поразила меня. Множество книг стояло на полках и в шкафах — маленькие и большие, толстые и тонкие, красивые и невзрачные, новенькие и совершенно затрепанные. Сколько книг! Сколько жизней надо прожить, чтобы прочитать все! И, хотя в то время я прочитал уже кое-что из Гоголя и Пушкина, мне почему-то показалось, что все эти книги от корки до корки набиты сыщиками и привидениями. Я прямо задохнулся от радости.

Бледная девушка с гладко зачесанными светлыми волосами, в черном платье с белым воротничком стояла за деревянным барьером. Когда мы вошли, она, вскинув голову, посмотрела на нас, и глаза ее радостно вспыхнули, как будто она узнала моего отца и была рада его приходу. Но отец смотрел без улыбки, спокойно и строго.

И только позднее я узнал, что Надежда Максимовна — так звали эту девушку — действительно знала моего отца.

В этот день в мои руки и попала книга, которую я до сих пор считаю одной из лучших книг на земле. Мне кажется, что на значительную часть моего поколения «Овод» имел такое же влияние, как на послереволюционные поколения книжка о Павле Корчагине.

Вернувшись из библиотеки, мы долго сидели на крыльце,



и отец, шутя, расспрашивал Леньку и Юрку о том, что мы видели в парке. Мне показалось, что на этот раз он верит нам, и это удивляло меня: верит, а сам смеется. В конце концов он действительно рассмеялся:

— Эх вы, привидения! — В темной бородке его влажно блеснули зубы. — Ну, идите! Да Подсолнышку вот с собой возьмите. У матери стирка, а мне некогда с ней погулять сегодня.

Девочка стояла между его коленями и не отрываясь смотрела ему в лицо. Прежде чем отпустить ее, он прижался щекой к ее голове, прижался тем самым движением, от которого у меня всегда щемило сердце.

Хотя у нас была целая уйма неотложных дел, мы взяли Сашеньку и пошли на Горку. Мать, оторвавшись на минуту от дымящегося горячим паром корыта — она теперь брала стирку у Гунтеров, — сказала, вытирая фартуком распаренные руки:

— Смотри, Данилка, не обижай. Уши оборву!

Подсолнышка со страхом посмотрела на мои уши и торопливо сказала:

— Не, мама... он не обижает...

Мы поднялись на Горку. В крутом склоне ее, на солнечном пригреве, мы еще весной выдолбили глубокую пещеру, и в не-

настье иногда проводили здесь целые дни, воображая себя то робинзонами, то бежавшими от преследования разбойниками. Сегодня день был ясный, солнечный, но дул ветер, и мы решили забраться в пещеру. Разлеглись на мягком, прогретом солнцем песке, защищенные от ветра со всех сторон.

Своих сестренек ни у Юрки, ни у Ленки не было, и мы все трое заботились о моей. Даже Юрка, обычно грубоватый с девочками, относился к Сашеньке с каким-то подобием нежности.

— А у тебя, Подсолнух, глаза вроде синее стали,— сказал он.

— Я, что ли, в небушко долго глядела?

Сначала мы говорили о сиварях и домашних голубях, о Калетинском парке, о вчерашней рыбалке, а потом, когда наболтались вдоволь, Юрка сказал:

— А давайте почитаем. А? Может, интересная. Подсолнух, будешь слушать?

— Про страшное?

— Да нет.

— Я вдруг забоюсь...

— Не забоишься.

Мы улеглись головами друг к другу, приготовившись читать. Но в это время внизу, у бараков, послышался пронзительный женский крик:

— А-а-а-ааа!

Мы вскочили.

— Опять пожар!

Пожары в городе случались ежедневно, особенно летом, в июле и августе. То и дело с каланчи раздавался дребезжащий звон колокола и по улицам, давя поросят и кур, неслись красные пожарные колымаги с насосами и бочками.

Мы с Юркой сложили носилками руки. Сашенька села на них, крепко обхватив ручонками наши шеи, и мы побежали вниз.

Но на этот раз ни звона колокола, ни грохота пожарных колымаг не было слышно. А женщины во дворе бараков кричали все громче, надрывнее, причитая как по мертвому. И первое слово, которое мы услышали, добежав до барака, было:

— Война!

## 5. ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Война не сразу смяла привычный уклад нашей жизни, довольно долго она шла стороной, являясь для нас, мальчишек, скорее развлечением, чем несчастьем.



В церквушке с зеркальным крестом на куполе служили молебны «даровании победы православному русскому воинству», на улицах появились пьяные деревенские и городские «некруты» и надрывными голосами пели с уханьем и присвистом:

Трансва-аль, Трансва-а-аль, страна моя,  
Ты вся горишь в огне...

Трудно объяснить, почему именно эту песню, почти позабытую со времен Бурской войны, снова вспомнили и стали петь в тысяча девятьсот четырнадцатом году; может быть, просто потому, что новых военных песен еще не было, а петь песни про любовь-разлуку да про любовь-измену казалось неуместным и ненужным.

Мы с отцом ходили на вокзал провожать его товарищей, взятых по первой мобилизации, в том числе Николая Степановича Вагина, Юркиного отца.

На вокзале гремел оркестр, обычно игравший по вечерам «на танцах» в городском саду и состоявший из барабана, флейты и трех труб, начищенных по случаю войны до золотого блеска.

Члены городской и земской управ, купцы Барутин и Тегин, чиновники и полицейские, стуча себя кулаком в грудь, выкрикивали напутственные речи и дарили отъезжающим на фронт иконки и махорку.

Рыженький суетливый попик, широко размахивая руками, кропил святой водой лапти и сапоги, свешивающиеся из теплушек. С покорной тоской смотрели из вагонов новобранцы.

Плакали женщины и дети, слышались последние пожелания, слова прощания и наказания:

— Телку-то, говорю, продай! Продай телку-у!

— Ваня, милый!

— А Васька пушай со свадьбой годит! Кака тут свадьба. Забреют — наплачется баба!

— Вань... Вань?!

— Нюську-то поберегай!

— Агаша! Отцу отпиши обязательно... он поможет, ежели что!

— Жать Тихоновы не пособят ли...

— А гаду этому скажи — приеду, сведу счеты!

— Вань!.. Вань!

— Да милаи вы мои... да на кого же вы нас, сиротинок горьких, покидаете...

Отец мой сказал Юркиному, обнимая его:

— Береги себя, Николай... Помни, кому твоя голова нужна...

Состав ушел, скрылся в сосновом бору, но толпа не расходилась, словно люди не верили, что все это правда, словно надеялись, что уехавшие вернуться.

У Юрки дрожали губы. А мать его долго бежала за поездом, потом села на землю и заплакала.

Я завидовал Юрке, потому что Николай Степанович обещал привезти ему с войны немецкое ружье.

Отца моего на войну не взяли. У него была паховая грыжа, оперировать которую почему-то оказалось нельзя. Еще парнем, сбежав на Волгу от голодной и горькой батрацкой судьбины, как говорил он сам, он крючничал в Самаре и Симбирске на пристанях и однажды сорвался с трапа с восемнадцатипудовым сундуком на спине. Упал он в трюм, на железные двутавровые балки. Очнулся на берегу, в тени тюков пахучего турецкого табака. Сюда его перенесли товарищи по артели, подложив ему под голову его же собственное «ярмо» — так называли грузчики колодку, которая помогала им поддерживать на спине груз. Отец попытался встать и не смог.

Когда окончилась погрузка, кто-то принес ему водки.

— Пей, Данила. Для рабочего человека — первое лекарство. Как рукой сымет!

Но боль в груди и животе у отца не прошла, и он на пути в родное село попал в больницу в нашем, тогда еще чужом для него городке... Выйдя из больницы, пошел работать на Барутинскую мельницу и встретил там мою мать...

С вокзала, после проводов мобилизованных, отец вернулся пасмурный, хмурый, каким я его еще никогда не видел. И не то что пасмурный, а как будто почужевший вдруг, отодвинувшийся куда-то. Лег в сарайчике на топчан и долго лежал, запрокинув за голову огромные жилистые руки, глядя сквозь щели крыши в раскаленное августовское, вылинявшее от зноя небо.

...Но прошло две недели, уехали на фронт те, кому надлежало уехать по первой мобилизации, и все как будто стало по-прежнему. Только у Юрки вместо отца на мельницу ходила мамка, а сам он стал строже и взрослее.

Как и раньше, по утрам и вечерам монотонно звонили церковные колокола, гудки извещали рабочих мельниц и заводов о начале и конце смен, по улицам бродили козы и голопузые ребятишки, а над городом тысячами вились сизые голуби...

«Овода» я читал сначала один; только несколько страничек, особенно взволновавших меня, прочитал Подсолнышке вслух. Когда я повышал голос, она, не понимая ничего, испуганно помаргивала своими длинными ресничками, и в глазах ее скапливались слезы, готовые вот-вот хлынуть на щеки.

Потом мы принялись читать книгу вместе с Ленкой и Юркой. Уходили на Горку, или в лес, или к Чармышу, где нам никто не мог помешать. Вблизи от тюрьмы, от могил повешенных, книга эта производила на нас особенно сильное впечатление. И мрачное здание с зарешеченными окнами, с полосатой будкой у входа и железными воротами, за которые уводили таких, как Овод, представляло перед нами в другом свете. Может быть, и здесь погибают такие же бесстрашные и гордые? Думать об этом было и жутко и радостно: вот какие бывают люди! И здание это становилось нам ненавистным, хотя бы потому, что было похоже на то, где убили полюбившегося нам мужественного человека.

Мы прочитали книгу несколько раз, мы знали из нее наизусть целые страницы и все никак не решались расстаться с ней. Она перестала быть для нас книгой, это был целый мир живых людей.

Из библиотеки прислали наконец записку, и мы отправились туда все трое, приготовившись к тому, что нас будут бранить. Но Надежда Максимовна только спросила:

— Понравилась книжка?

У нее было забинтовано горло, и говорила она чуть слышно. Кто-то сказал нам, что Надежда Максимовна болела какой-то неизлечимой горловой болезнью.

В библиотеке никого не было, в раскрытые окна с улицы вливался зной одного из последних жарких дней того незабываемого лета, сердито гудела в углу запутавшаяся в паутине муха.

Перебивая и поправляя друг друга, мы принялись рассказывать о книге. Но кто-то, звеня шпорами, прошел под окном, и Надежда Максимовна остановила нас. Неторопливо ушла за книжный шкаф и вернулась с новой книгой в руках.

— А вот это нашего русского писателя Максима Горького. Здесь тоже написано про бесстрашных и мужественных людей, которые боролись за народ. Эту книгу, мальчики, надо читать и взрослым, она и им будет интересна... Только не задерживайте, пожалуйста.

Позже мы узнали, что у Надежды Максимовны жених сидит в Шлиссельбургской крепости и сама она несколько лет была в ссылке в Сибири, откуда ее и перевели в наш городок,

так как она заболела чахоткой. Эта новость поразила нас, мы стали каждый день бегать в библиотеку, чтобы хоть издали посмотреть на Надежду Максимовну и, если случится, оказать ей какую-нибудь услугу. И между собой стали называть ее Джеммой.

Помню один разговор, который происходил на берегу Чармыша. Мы лежали на песке, глядя в синее небо, в котором стремительно и косо носились стрижи. С воды тянуло свежестью. Над моим лицом покачивался из стороны в сторону красный прутик тальника с матово-зелеными, если смотреть снизу, листочками. Полуденное солнце светило в окна мрачного здания тюрьмы, и стекла празднично сверкали, как будто за ними билось веселое, яркое пламя.

— Ребята! — сказал Юрка. — А давайте всегда как он? А? Вот надо что-нибудь сделать — и спроси себя: как бы он поступил? И так и делать...

Ленька тихонько свистнул.

— Как Овод — это надо же совсем бесстрашно, — с мечтательной завистью сказал он. — Вот где самое опасное — туда и лезть... — И улыбнулся смущенно. — Страшно ведь. А?

## 7. «А ВОТ ОВОД, ОН НЕ ПОБОЯЛСЯ БЫ...»

Однажды мать послала меня в лавочку Кичигина за солью. «Бакалейная и всякая торговля. Кичигин и сын» помещалась в угловом деревянном доме с пестрыми резными наличниками. На той стороне лавки, которая выходила на Проломную улицу, висела над тротуаром жестяная вывеска. Прикрепленная к металлическому стержню, она на ветру качалась и отвратительно скрипела — этот скрип был слышен за несколько кварталов.

— Ну, быть ненастью... Кичигин опять завыл, — говорили в городе. — Хоть бы смазал ее чем, проклятую!

На другой стороне дома, в Зуевом переулке, на таком же стержне висел позолоченный крендель — это значило, что в магазине продается и хлеб.

В кичигинском магазине действительно, в соответствии с вывеской, было почти все, что требовалось жителям близлежащих кварталов: хлеб и соль, спички и сахар, мыло и порошки от клопов, бриллиантин для усов местных покорителей сердец и церковные свечи, гвозди и сапожный вар и еще множество всяческих товаров.

Сам Кичигин был плотный и кряжистый, с важным и сытым лицом, с наплывающим на шею подбородком, с черными подкрученными, как у Ивана Поддубного, усиками, в зеленом

суконном жилете, надетом поверх красной рубахи с жиденькими, аккуратно расчесанными волосами. Он почти всегда сидел за конторкой, читая «Биржевые ведомости» и наблюдая, как его сын отпускает товар. И только если в магазине появлялся кто-нибудь из именитых людей города, Кичигин-отец откладывал газету и выходил к прилавку — перекинуться словом с «умным человеком».

Дверь в магазине была стеклянная, и, еще не войдя, я увидел у прилавка обтянутую черным истрепанным сюртуком сутулую спину калетинского сторожа.

Кичигин-сын, значительно подняв брови, отвечивал сторожу хлеб, а отец, играя цепочкой часов, спрашивал, когда же «его сиятельство» князь Калетин почтит своим присутствием родные места.

Сторож отвечал междометиями, которые можно было понимать как угодно — как утверждение, как отрицание, как нежелание говорить.

Получив хлеб, он приподнял над головой шляпу и пошел к двери.

Кичигин-сын воскликнул:

— А мясо! Мясо-то позабыли, любезнейший! Собачку же покормить надо!

Старик вздрогнул и ничего не ответил. Бессильно махнув рукой, рывком потянул на себя застекленную дверь. Мне показалось, что на глазах у него блеснула слеза, а может быть, это было отражение движущегося дверного стекла.

Отец и сын переглянулись.

— Собачка-то, стало быть, того... — заметил отец. — И то, сколько же лет такому тварю жить положено? Не человек! — Он снова взял «Биржевку», но посмотрел поверх газетного листа. — Однако, — задумчиво протянул он, — на месте этого сторожа я и дохлой собачке мясо покупал бы. Ту-у-упой человек! Теперь же всякому ясно, что собачка — тью-тью! — И вдруг заметил у прилавка меня. — Тебе чего?

— Мамка фунт соли просила до получки.

— Давно бы сказал! Чего торчать тут! Дай ему полфунта, Анисим. Да записать не позабудь смотри...

— Как можно, папаша!

Взвешивая соль, Анисим, считавший себя первым красавцем и умником в городе, с томным видом поднял брови.

— Однако, папаша, позвольте заметить, что в парке их сиятельства и понадежней собаки сторожа имеются.

— Какие это?

— При-ви-де-ния-с!

Я выбежал из магазина. Мне хотелось как можно скорее сообщить друзьям новость: одним сторожем в парке меньше.

Но чем дальше от магазина я уходил, тем медленнее шел. Собак мне всегда было жалко. Разве зря говорят: собака — друг человека. Я начал припоминать всех собак и кутят, которые жили и подходили во дворе нашего барака, их повадки, их звериную верность, ум. И вдруг мне стало до слез жалко и не только собаку — ей теперь все равно, — а ее осиротевшего хозяина. Я вспомнил, как горестно сторож махнул рукой. Для него, одинокого, этот пес, наверное, был единственным дорогим существом в мире.

— В имении собака подохла, — мрачно сказал я матери, отдавая соль.

— Ну и что же? — спросила она с удивлением.

— Жалко.

— Эх, Данька, Данька! — вздохнула мать. — Когда ты поумнеешь? Людей надо жалеть, а не собак. Она вон мясо каждый день жрала, а мы раз в неделю.

— Мне и нас жалко.

Из уголка за кроватью вышла Сашенька в желтом ситцевом платье.

— И мне жалко! — сказала она и, растопырив пальцы, закрыла ладошками лицо.

Я присел возле нее на корточки, мне не хотелось, чтобы она плакала. Спросил:

— Гулять со мной пойдешь?

Не отводя рук от лица, она посмотрела на меня сквозь пальчики сначала с недоверием, потом с радостью:

— Пойду, пойду!

Мы отправились искать Леньку и Юрку. Они сидели в нашем дровяном сарайчике и плели из конского волоса лески.

Полосы солнечного света, падавшего в щели, разрезали пыльный сумрак сарая на отдельные пласты.

Я сказал ребятам о собаке, они вначале обрадовались, а потом им передалось мое настроение.

Сашенька качалась на качелях — специально для нее мы привязали к перекладине под потолком веревку. Качели то вылетали в полосу света у двери — и при этом каждый раз Подсолнышка счастливо жмурилась, — то улетали к стене, в тень, и тогда девочка широко открывала глаза.

Я смотрел, как ловко Ленька одной рукой ссучивает на коленке леску. Я бы никогда, наверное, не научился так.

— Собаку, конечно, жалко. Вот если бы привидение подошло — это бы да! — мечтательно сказал Ленька.

Юрка усмехнулся:

— А как бы мы узнали, что привидение подошло? Мясато ему никто не покупает!

Помолчали.

— А вот Овод, он не побоялся бы никаких привидений! — тоненьким голоском продолжал Ленька, старательно ссучивая на колене три конских волоса. — Он бы их бац! бац! И все! Правда? — Облупленный, обветренный, похожий на живую пуговку носик Леньки покрылся капельками пота. — Он бы им дал!

Мы с Юркой переглянулись, вспомнили о нашей клятве — быть всегда как Овод.

Подсолнышка летала взад и вперед, а я, стоя сбоку, следил за ней, готовый подхватить ее, если качели подвернутся.

Юрка еще раз посмотрел на меня, вздохнул, его широкие брови сбежались к переносице.

И опять качели летали взад-вперед, от стены к распахнутой двери и обратно, полосы солнечного света скользили по босым ножонкам Подсолнышки, по ее платицу, по белым, развевающимся волосам.

Высунув от усердия язык, Ленька сматывал на палочку готовую леску. А Юрка сидел задумавшись, напряженно глядя в дверь сарая, на мельничную крышу, на карнизе которой курлыкали голуби. Потом повернулся ко мне и не очень уверенно предложил:

— Пошли сегодня?

Я кивнул, хотя и почувствовал, что мне становится страшно. Ленька спрятал в карман леску, встал и отряхнул штаны.

— Когда? — с готовностью спросил он.

— Да не сейчас, — нехотя отозвался Юрка. — Ночью, наверное.

— А куда?

— В парк...

Ленька тихонько свистнул и сел на старое место. Во все глаза смотрел то на меня, то на Юрку, как бы стараясь угадать: кого из нас раньше слопают привидение. И вдруг сказал самое умное из того, что мы до этого говорили о таинственном обитателе Калетинского сада:

— А ведь днем-то привидение, наверное, спит? А?

## 8. «СКУШНО...»

В полдень, когда я собрался нести на мельницу обед, Подсолнышка попросилась со мной:

— Мам, а я? Я ведь большая теперь...

Но мать с ласковой строгостью, которая так красила ее, сказала:

— Без руки остаться хочешь? Как Ленька? Маленьким там враз руки отрезает — только приди.

Подсолнышка посмотрела на свои ручонки, спрятала их за спину. Из-под разлетающихся на ветру льняных волос поглядела на меня с завистью.

— Ты, Дань, скорее.— Подошла, потрогала пальчиком мою руку.— А то — принес бы одного голубеночка... Скушно...

— Какие же сейчас голубенки? — рассмеялся я.— Они весной бывают.

— А почему не всегда?

Я не сумел ей ответить, и она помолчала немного, наблюдая, как мать увязывает в полинялую тряпку чугунок с горячей картошкой.

— Ну, тогда большого...

— А большой, он жить все равно не станет. Улетит.

— Ну, я подержу немного и пушу... Принесешь?

Ленька и Юрка ждали меня на улице. Обогнув мельничный двор, мы вышли к Калетинскому пруду и, будто сговорившись, одновременно посмотрели на другую сторону. Словно заколдованное царство, зеленым дремучим островом высился там парк.

— Сейчас бы и идти,— шепотом сказал Ленька.— Оно аккурат спит...

Я согласился, но Юрка свел к переносице свои широкие брови и возразил:

— Сейчас увидят... Вон он, злыдень, поплевывает.— И Юрка кивнул в сторону моста, где, облокотившись грудью на перила, стоял в своей неизменной, заношенной до дыр шинели Гошка-солдат и с усердием старался плюнуть как можно дальше в воду.

Мы прошли под широкой аркой мельничных ворот. На нижней ступеньке недавно выкрашенного желтого крыльца своей квартиры сидел Валька Гунтер. В матроске, в коротеньких штанишках и желтых сандалиях, он, сопя и пыхтя, ковырял игрушечной саблей землю. Мы теперь часто играли в войну с немцами, и у всех у нас завелись деревянные сабли и ружья, только у Вальки, возбуждая всеобщую зависть, была совсем как настоящая, в сверкающих ножнах и с портупеей, жестяная сабля и ружье, из которого он стрелял пробками по голубям. Правда, к великой нашей радости, он никогда в них не попадал.

В главном корпусе было прохладно, хотя от пыли, наполнившей воздух, трудно дышалось. Мы разошлись, чтобы отдать принесенный обед, договорившись собраться на чердаке и поймать Подсолнышке голубя.

Но, прежде чем ловить голубя, мы, как всегда, улеглись у окна и долго с замирающим от высоты сердцем смотрели вниз. То лето было удивительно жаркое, и даже в сентябре город как будто тонул в дрожащем мареве зноя. Дрожало далекое пятнышко Святого озера, дрожали крыши домов, церковь,



дрожал Тюремный замок, огромным красным камнем брошенный в уже пожухлую зелень причармышенских лесов.

На площади у церкви обучали новобранцев. Они ходили, бегали, ложились, вставали на колено, делая вид, что стреляют, потом яростно кололи штыками кого-то невидимого. Это было очень интересно, и мы решили, что с мельницы пойдем туда.

Я посмотрел влево. За кирпичным обрезом мельничной стены виднелся наш барак и крылечко, на котором сейчас желтело платье Сашеньки.

Голубей мы поймали легко: сетка была большая, и, когда я, спрятавшись в углу, дернул за нитку, привязанную к верхнему краю нашей западни, сеть сразу накрыла двух птиц. Я и Юрка посадили по одному голубю за пазуху, подтянули потуже пояса и побежали вниз.

Перерыв кончился, мельница снова работала полным ходом. В верхних этажах, под кожухами, безостановочно крутились вальцы, в нижних, мягко шурша, колебались сита, ковшовые зернотаски ползли и ползли вверх, подавая на шестой этаж зерно. И на всем лежал слой мучной пыли, которую безостановочно сметали подметалы.

Нам пришлось постоять у переезда: зеленый паровозик, с трудом выдыхая клубы пара, тащил на станцию вагонетки с мешками муки. Барутин поставлял теперь муку для армии, и на мельнице вполголоса говорили, что он подмешивает в муку пыль, которую с шести этажей сметают подметалы, и что на это подговаривает его Гунтер. Все ждали, что преступление вот-вот откроется и Барутина с Гунтером засадят в тюрьму. Но дни проходили, складывались в недели и месяцы, а Барутин и Гунтер по-прежнему разъезжали по городу в своих кабриолетах, на тонконогих, резвых жеребцах.

Пока мы ждали у ворот, Валька загоревшимися, завистливыми глазами смотрел на наши оттопыривающиеся рубахи. Потом, покосившись на окна своего дома, подошел к нам.

— Продай голубя, — сказал он, переводя взгляд с меня на Юрку.

— А что дашь? — спросил я, хотя вовсе не собирался продавать ему голубей.

— Гривенник дам. Серебряный. У меня в копилке много.

Я посмотрел на Юрку и Ленку. На гривенник можно было купить сотню рыболовных крючков, наесться пряников, даже сходить на галерку в «Экспресс», где тогда показывали двенадцатую, самую интересную серию «Таинственной руки». Яркие, цветные афиши, расклеенные на всех заборах, волновали наше воображение: над сонным, безлюдным, утопающим в голубых сумерках городом угрожающе распростерта зловещая

сиреневая пятерня. Я до сих пор помню эту пятерню так ярко, словно видел ее вчера.

Соблазн был велик. Я подмигнул Юрке: продай! Своего голубя я, конечно, не мог продать: его ведь ждала Подсолнышка.

— Пятиалтынный! — решительно и зло сказал Юрка.

Через десять минут мы шли со двора, по очереди исследуя пятнадцатикопеечную монету. Пробовали ее на зуб, били о мостовую, — нет, кажется, она не была фальшивой: при ударе о камень звенела, как настоящее серебро.

Но оказалось, что три билета в кино на пятиалтынный купить нельзя, и мы долго гадали, на что же его истратить. Из лавочки Кичигина нас выпроводили быстро. Заметив наши рыскающие по полкам взгляды, хозяин спросил:

— Вам чего? Хлеба? Соли?

— Не-е-ет...

— Анисим! Гони их. Сопрут чего.

Мы отправились в другую лавчонку, к веселому круглолицему купчику «Карасев и К°», но и там ничего не могли вы-брать. Тогда наконец Юрка сказал:

— А ну их к черту, эти покупки! Знаешь, Данька, давай возьмем колбасных обрезков твоему Подсолнуху. А? Больно уж она у вас тощая!

Я уж и сам давно думал о Подсолнышке, и Юркино предложение обрадовало меня. Однако, сохраняя гордость, я отвернулся и безразлично кивнул в ответ:

— Что ж, можно...

Мы купили обрезков колбасы — это было самое дешевое лакомство — и немного ландрина — кисленьких леденцов, попробовали и то и другое и отправились на площадь.

От церкви на булыжную мостовую падала большая, похожая на безногого человека тень. В этой тени, вдоль кирпичной, с отверстиями в форме крестов ограда, отдыхали новобранцы. Составленные пирамидками, стояли поодаль учебные ружья. Мы попытались подобраться к ним ближе, но усатый унтер, расхаживавший вдоль забора, так цыкнул на нас, что мы убежали за ограду.

Усевшись в тени, стали ждать, когда солдаты снова примутся за прерванные занятия. Правда, к нашему сожалению, это были еще не настоящие солдаты, а деревенские мужики в лаптях и домотканых рубахах. Перематывая онучи и куря, они негромко говорили о том, что «вот хлеб пропадает, убирать некому, а ты бегай тут, как кобель»; о том, что «на Терехина пришла из казны бумага: «Погиб под немцем»; о том, что и «последних лошадей, по слухам, возьмут на царскую службу».

От этих разговоров становилось и тревожно и тоскливо, и война, которая раньше представлялась героической борьбой против «исконного врага России», теперь казалась нам бесчисленным количеством несчастий бедных людей.

Голубь теплым комочком пошевелился у меня за пазухой, и я вскочил, вспомнив про Подсолнышку. Пообещав ребятам сейчас же вернуться, я вприпрыжку побежал домой. Сашенька сидела на завалинке: солнце с полдня уже не освещало крыльца. Она очень обрадовалась и голубю и гостинцам, а когда я рассказал, где мы достали деньги, она озабоченно спросила:

— А он его выпустит?

— Валька?.. Конечно, выпустит. Зачем же он ему?..

Голубя Подсолнышка напоила, накормила, как всегда мы кормили голубят, жеваным хлебом прямо изо рта, а потом вышла на крыльцо и поставила его себе на ладони. Голубь не торопился улетать, он поворачивал из стороны в сторону красивую голову и только потом, взмахнув крыльями, поднялся на мельничную крышу, где, усевшись в ряд с другими голубями, заворковал.

— Смотри, Дань... Это он хвалится, как я его кормила. Да? — сказала Подсолнышка.

## 9. «ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СМЕЛЫМИ»

И все же проникнуть в парк оказалось не так просто, как мы думали. Днем на пруду всегда былолюдно, а вечером, когда спадала жара, здесь собиралось почти все свободное от работы население Северного Выгона. Как и Горка, берег пруда в летнее время был своеобразным рабочим клубом — здесь можно было услышать о скором «замирении с немцем», о геройстве донского казака Кузьмы Крючкова, о большевиках, которые требуют мира, об убитых и раненых, о пропавших без вести.

На закате осоки на том берегу, освещенные тревожным светом, стояли как будто объятые пламенем, и ни одного признака жизни не угадывалось за ними. Купальня погружалась в тень, остовами больших дохлых рыб темнели рядом с ней полуистлевшие лодки. Тени поднимались, затопляя парк, — он как бы отдалялся от нас, становился все более недоступным.

Пробрались мы в парк рано утром, когда и улицы и берег пруда безлюдны, когда вместе с росой испаряются ночные страхи и когда, по словам Леньки, «привидения ложатся спать».

Мы приготовили длинную крепкую веревку с толстым железным крюком на конце. Крюк надо было закинуть на ограду, с помощью веревки вскарабкаться наверх и спрыгнуть на ту сторону, в парк. Ленька с его одной рукой и помышлять, конечно, не мог о таком способе проникновения в обиталище привидений, и мне показалось, что он впервые порадовался тому печальному обстоятельству, что у него осталась одна рука.

Накануне мы случайно встретили на рынке Надежду Максимовну и рассказали ей о том, что сами видели привидение.

Худая, больная, с перевязанным горлом, она долго и чуть слышно смеялась, а потом сказала серьезно:

— Не знаю, что вы там видели... Но запомните: никаких привидений нет.

— Вот и мы... — не вытерпел Юрка. — Мы и хотим, тетя Надя... Вот пойдем и посмотрим... А что?

— И не боитесь? — с любопытством спросила Надежда Максимовна.

— Ну что вы! — хвастливо крикнул Юрка, но сейчас же осекся и покраснел.

— Молодцы, — негромко сказала девушка. — Это хорошо... Вы должны быть смелыми.

Заснуть в ту ночь мы так и не смогли. Синеватый сумрак сочился в сарай сквозь щели в стенах, глухо гудели мельничные корпуса, одиноко и ужасно тоскливо гудел вдаль паровоз...

Когда стало светать, взяли удочки, сачок, банки с червями, всю свою немудреную рыболовную справу и пошли к пруду.

Решили, чтобы не привлекать к себе внимания, накопать на плотине червей. Накопали, поглядели по сторонам. А через полчаса мы с Юркой уже стояли в парке.

Кроны деревьев сплетались высоко над нашими головами, образуя шатер. Узорчатые папоротниковые заросли достигали высоты нашего роста. Почти непроходимой колючей стеной поднимался малинник.

Медленно, осторожно, бесшумно, как настоящие разведчики, ползли мы в траве, мокрые от росы, замирая при каждом шорохе, пугаясь шелеста падающего с дерева листа и стука собственного сердца.

Где-то всходило солнце, далекое-далекое небо розовело словно в каком-то другом краю.

Подползли к дому. На лужайке перед террасой, в круглом, истрескавшемся бассейне, стоял бронзовый позеленевший мальчик, сжимающий обеими руками большущую рыбу. Из зарослей лебеды и крапивы торчали спинки мраморных скамей. Запустением веяло от каждого камня, от облупленных колонн,



от темных окон, смотревших на нас с пристальной неподвижностью. Между каменными плитами широкой, спускающейся в парк лестницы пробилась трава, и даже тоненькая березка выросла рядом с одной из колонн.

Было очень тихо, только колотилась, шумела в ушах кровь.

Мы долго лежали, вслушиваясь, стараясь угадать, откуда грозит опасность. Но все оставалось спокойно и мирно.

Потом поползли дальше, огибая дом с правой стороны. Вскоре стали видны массивные ворота, а еще правее — маленький белый домик, это и было, вероятно, жилище сторожа.

В конце концов все это оказалось не так страшно. При разгорающемся свете дня ни о каком привидении не приходилось

и думать, оно, вероятно, мирно похрапывало где-нибудь на чердаке или в подвале. Мы с Юркой становились смелее: от сторожа-то нам ничего не стоило убежать к пруду и там, бросившись в воду, уплыть.

Домик у ворот был, по-видимому, единственным обитаемым местом в парке: к двери вела чуть заметная тропинка, и жалкое полуистлевшее подобие занавески покачивалось в открытом окне.

Перескочив через мощенную кирпичом центральную аллею, мы присели в кустах, прислушиваясь.

Ничто не нарушало кладбищенской тишины парка, только мирно и знакомо перекликались в ветвях птицы.

И вот тут-то в десяти шагах от нас, на крошечной полянке, кое-как расчищенной от кустарника, мы увидели калетинского сторожа. Он сидел у старой липы, прислонившись к ней спиной и глядя перед собой неподвижными глазами. Поднимающийся ветерок шевелил пепельно-седые реденькие волосы. Рядом с ним желтел небольшой холмик свежевскопанной земли. Холмик еще не успел порости травой, он был аккуратно оправлен, как принято оправлять могилы. Прислоненная к стволу старой дуплистой липы, рядом со скамьей стояла лопата.

Мы окаменели от страха. Казалось, что голова сторожа поворачивается в нашу сторону, что его глаза искоса разглядывают нас.

Но старик сидел неподвижно.

— Спит, что ли? — прошептал Юрка.

И, словно этот шепот толкнул мертвое тело, оно стало медленно опрокидываться на правый бок.

Не знаю, сколько времени мы простояли, скованные тем суеверным ужасом, который всегда охватывает живых в присутствии мертвого. Потом, пятась, ушли от умершего, как будто боялись потревожить его покой.

В белом домике, где сторож жил, мы нашли большой белый халат с капюшоном, неумело сшитый мужскими руками,— так просто объяснилась тайна привидения... Видимо, желая отпугнуть от парка воров и хулиганов, сторож надевал белый балахон и в таком виде ночью бродил по аллеям.

На столе лежал кусок кичигинского хлеба, кривой садовый нож, связка разных по размеру ключей и старенькая, заляпанная воском Библия — все, что осталось от человека, который сейчас неподвижно лежал в саду.

Выбравшись из парка, перейдя по плотине на мельничную сторону, мы долго смотрели оттуда на зеленую, уже тронутую осенним золотом стену осокорей. Удивительное дело, теперь все таинственное очарование, вся прелесть этого места для нас пропали. Я отчетливо представлял себе, как там, в зеленой чащобе, подмяв под себя старенькую шляпу, уткнувшись головой в свежевскопанную землю, лежит никому не нужный человек. И то, что об этом никто, кроме нас, не знал, придавало происшествию необыкновенную значительность.

Был воскресный день, и на пруду собралось много людей. Крича и визжа, на песке боролись знакомые мальчишки, — такими смешными, такими неинтересными показались мне эти забавы.

— Так и лежит?.. Один? — шепотом спросил Ленька.

Ни я, ни Юрка ему не ответили, и он, посапывая, долго, не отрываясь вглядывался в Калетинский парк.

Когда я вернулся домой, отец собирался идти с Подсолнышкой гулять. В желтом в белую горошину платье Сашенька уже сидела у него на плече и с видом превосходства поглядывала оттуда на всех.

— Что это с тобой? — встревожился отец, увидев меня.

— А чего? — независимо спросил я.

— Прямо лица на тебе нет...

Я негромко, чтобы не слышала Сашенька, рассказал о том, что мы видели в парке.

Отец долго молчал, степенно вышагивая, ласково поглядывал вверх на сиявшую от счастья Подсолнышку. Я шагал рядом, стараясь попадать в ногу с ним, но все время сбивался.

— Ну, вот что, сын, — сказал отец. — Вы обо всем этом помалкивайте... Юрке и Леньке тоже скажи. А то и вам попадет и родителям достанется. Слышишь, Данил?

— Слышу, — не очень уверенно ответил я.

— Ключи у него на столе?

— Да.

— Не видел — от калитки в Вокзальный переулок ключ там?

— А зачем?

— Да так. На мельнице у меня замок валяется, может, подгоню... все, глядишь, на базаре двугривенный дадут.

— Ладно, завтра посмотрим, — пообещал я.

И утром на следующий день мы с Юркой снова были в парке. Теперь-то мы ходили по нему как хозяева! Издали взглянули на сторожа — он все так же лежал на боку, и так же шевелились волосы на его голове. На ветке липы над ним, косо

поглядывая вниз, сидела ворона. Эта ворона испугала нас, пожалуй, больше, чем день назад мертвое тело. Мы прогнали ее и долго сидели в кустах, боясь, что она прилетит снова.

Потом прошли в сторожку за ключами. К калитке подошел только один ключ — и тот ржаво скрипел и едва поворачивался. Мы взяли его и отправились бродить по парку, лазать по сараям и каретникам. Заглядывали в давным-давно немые окна. За ними смутно угадывалась мебель в чехлах, мертво блестели зеркала.

Увлечшись, мы не сразу услышали стук в калитку и громкие голоса, зовущие сторожа.

Мы едва успели спрятаться в кустах и оттуда наблюдали, как толпа любопытных робко жметя к ограде, заглядывая во двор.

В воротах стоял городской Лобзаков, отгоняя зевак. А во дворе, громко разговаривая, расхаживали чиновники и полицейские. Тут же вертелся Кичигин, который, как мы поняли из разговоров, донес сегодня в полицию, что сторож калетинского дома не появляется в магазине вот уже несколько дней. Заподозрив неладное, полиция и явилась «на место происшествия».

Мертвого сторожа вскоре нашли, и через час, грохоча окованными колесами, во двор въехала ломовая колымага Ахметки Кривого. Тело взвалили на телегу, покрыли мешковиной и увезли. Затем все двери опечатали сургучными печатями, ворота и калитку забили досками крест-накрест. И мы с Юркой опять остались одни.

Теперь весь Калетинский парк как бы стал нашей полной собственностью. Правда, нам было все-таки немного жутковато в этом пустынном месте, где так недавно умер человек, но постепенно этот страх прошел, и непобедимая, неистребимая мальчишеская любознательность принялась водить нас всюду, куда мы только могли проникнуть...

В подвале, куда нам удалось пролезть через разбитое окно, мы нашли целые горы пустых бутылок с нерусскими этикетками. Старая, отслужившая свой срок мебель — диваны и кресла, из которых торчали пружины, — всевозможные бочки и корзины, картины с облупившейся краской, конторские книги, два или три окованных по углам сундука — все это было покрыто, словно серым снегом, толстым слоем пыли. Пятна беловато-зеленой плесени цвели на стенах, напоминая географические карты неведомых материков. Чудовищные тенета паутины, похожие на рыбацкие сети, висели во всех углах.

Ключ от калитки я занес отцу на мельницу в обеденный перерыв. Он взял его, даже не взглянув, и молча сунул в карман. Это, помню, меня очень обидело.



Когда мы с Юркой и Ленкой, возвращаясь с мельницы, проходили мимо дома Гунтеров, на крыльцо выбежал Валька и, протягивая нам сверкающую монетку, закричал:

— Продай голубя!

— А зачем? — спросил я, охваченный неясным и недобрым предчувствием. — У тебя же есть...

— Я его стрелял моим ружьем! — гордо сказал Валька и показал нам маленькое, изящное, блестящее никелированными частями ружьецо. — Пробками... стрелял...

Все, что произошло дальше, я помню смутно: темная, слепая сила вскинула меня на крыльцо. Я схватил Вальку за грудь, повалил и принялся избивать кулаками по голове, по плечам, по спине, по всему, до чего могли достать руки. Очнулся только тогда, когда Юрка оторвал меня от Вальки и потащил к воротам.

Валька ревел во весь голос.

Звенели стекла окон, хлопали двери, из дома с криком бежали перепуганные женщины.

Сидя на берегу пруда, всхлипывая, я долго не мог прийти в себя. Юрка, хмурясь, бросал в воду камни. Зеленая тина, покрывавшая воду у берега, на секунду расступалась там, где падал камень, а потом снова нехотя смыкалась.

Я со страхом думал: что же теперь будет? Как будто прямо перед собой я видел взбешенное, багровое лицо Гунтера, представлял, как отца выгоняют с мельницы, а семью нашу выкидывают из барутинских барачков.

Вероятно, так бы все и было, если бы не шла война и если бы Гунтер не был немцем. Но он уже давно собирался куда-то уехать, и как раз на следующий день, на наше счастье, Гунтеры и уезжали.

## 11. ОПЯТЬ ПРИВИДЕНИЕ!

А жизнь шла своим чередом.

Возвращались с войны калеки, уходили на фронт и безусые парни и старые, с серебриной в волосах, мужики. На заборах и стенах время от времени расклеивали манифесты, воззвания, обращения — к купечеству, к мещанству, к «простым гражданам России». И с каждым днем становилось все труднее жить, все горестнее смотрели на нас глаза матери, и с каждым днем таяла и худела маленькая наша Подсолнышка.

Осенняя стужа крепко заперла Сашеньку в четырех стенах жилья, она опять стала заниматься своими «игрушками» в уголке за отцовской кроватью, тихая, милая и ласковая.

А мы с Юркой эту зиму не учились: пошли работать. Вна-

чале это тоже казалось чем-то вроде игры — было ново и интересно сознавать себя почти взрослым, утром вставать с отцом по гудку, завтракать с ним и вместе шагать по лужам, уже хрустящим первым ледком. Вместе мы подходили к воротам мельницы, где теперь всегда стояли вооруженные солдаты. Мельница работала безостановочно круглые сутки, все ее амбары и склады были забиты зерном и мукой. Отсюда в центр России и на фронт еженедельно отправлялось несколько эшелонов с мукой.

Мельница, этот огромный шестиэтажный мир, пропитанный душной мучной пылью, мир, где мы раньше бывали только незваными, непрошеными гостями, постепенно становилась для нас чем-то вроде второго дома, пусть чужого, пусть принадлежащего не нам.

На голубятню в эту зиму мы почти не лазили. Работы оказалось много, да и невозможно было спрятаться от бельмастого ока Мельгузина, особенно зорко следившего за молодыми рабочими. При малейшем поводе Мельгузин изводил нас негромкой ехидной бранью — он не кричал, не шумел, как другие, а тихим, елейным голоском пилил и пилил, приводил даже какие-то тексты из священного писания, и здоровый глаз у него при этом светился желтым, злым блеском. Приставал он с такой бранью и к взрослым, только отца моего заметно побаивался, называл по имени-отчеству и никогда не смотрел ему прямо в лицо.

— Выслуживаешься, Савел Митрич? — спрашивал иногда отец, усмехаясь одним углом рта.

— Не себе — отчеству, — неясно отвечал Мельгузин и, торопливо шаркая подошвами козловых сапожков, уходил, чуть выставив по привычке вперед левое плечо.

...Зима пролетела незаметно.

По воскресеньям, усадив Сашеньку на самодельные санки, я катал ее по городу, и мне никогда не забыть того щемящего чувства горькой радости, которое я испытывал во время этих прогулок.

Сашенька так умилялась всему, что видела, — и снегу, и солнцу, и птицам, что у меня начинало щипать в горле. Эти прогулки и остались для меня самыми памятными, самыми дорогими воспоминаниями той зимы.

Весна с ее мутными шальными ручьями, с половодьем на Чармыше, когда огромные синевато-серые льдины со стеклянным скрежетом трутся одна о другую, рыбалка наметкой, выпрошенной у кого-нибудь из рыбаков «на часок», первые подснежники, которые мы приносили Подсолнышке, весна, когда так необходимо, рискуя свалиться в воду, поплавать на льдине, походить по голому, еще не одетому листвою лесу, — эта

весна и меня и Юрку снова превратила в мальчишек. Вдруг оказалось, что мельница — та же тюрьма, как замок на берегу Чармыша, с его слепыми окнами, с его молчаливой и глухой тоской... И, когда солнечный луч, случайно пробившись сквозь запыленное стекло, живым дрожащим лезвием рассекал пыльный полумрак внутри мельничного здания, совершенно неодолимым становилось желание убежать отсюда, лечь где-нибудь на берегу реки, уткнуться лицом в первую весеннюю траву.

Но вот прошла и весна. И опять кружились в синем небе тучи сиварей, и опять трезвонили в церкви колокола, и опять зеленел на той стороне пруда «наш» парк.

Летом снова стали поговаривать, что по ночам в парке появляется привидение — не находит себе места тоскующая душа самоубийцы. Надо сказать, что дочь Калетина, по слухам, похоронили в самом парке, так как самоубийц хоронить на кладбище по законам того времени было нельзя. Но мы с Юркой прекрасно знали, что никакого привидения в парке нет, и потихоньку посмеивались над людьми, которые верили слухам.

Однажды мы решили еще раз побывать в парке.

Вечер был, помню, тихий, безветренный, словно природа прислушивалась к чему-то. Высоко в небе не то плыло, не то стояло единственное облако, подожженное с одного края пожаром заката. Монотонно звонили в кладбищенской церквушке колокола. Тысячами летали над городом голуби.

И, хотя где-то продолжалась война, здесь, на берегу пруда, как и всегда, громко и беспокойно кричали мальчишки.

Мы задумали попугать ребят, которые, все больше смелея, с каждым днем ближе подплывали к Калетинскому парку. Для этого надо было взять белый халат сторожа, который так и остался висеть на стене, нацепить этот балахон на какую-нибудь палку и так пройти по берегу пруда.

Леньке мы велели наблюдать, какое впечатление произведет на купающихся появление «призрака».

В парк проникли легко: еще с прошлого года в зарослях бурьяна осталась наша лазейка под стеной, куда, хотя и с трудом, можно было протиснуть тело.

Но все вышло не так, как нам хотелось.

В парке, как всегда, было тихо. Сквозь чашобу ветвей и кустарников едва пробивались звуки гармошки и голоса людей с мельничной стороны.

Солнце село. За могучими стволами деревьев краснели рваные горящие облака. Вдали, отражая небо, блестели высокие окна водокачки, напоминавшие жерла сказочных пылающих печей.

Мы с Юркой давно уже ничего в парке не боялись. Не пряча, зная, что никого не встретим, мы вышли на центральную аллею, мощенную кирпичом. Под нашими ногами в неярком свете карманного фонарика зеленела в щелях между истрепавшимися кирпичами трава. Ветки кустарников цеплялись за нашу одежду.

Мы воображали себя отважными путешественниками, которым не страшны никакие опасности, никакие враги. К этому времени мы благодаря Надежде Максимовне прочитали много книг об увлекательных путешествиях, о смелых и сильных людях и мечтали тоже стать сильными и смелыми матросами или путешественниками и объехать вокруг света.

Слева, низкая, еще невидимая за деревьями, светила луна. Казалось, что паутинки лунного света натянуты между деревьями, в листве над нашими головами, между колоннами белевшего невдалеке дома.

И вдруг я почувствовал, как сердце мое остановилось. Я ничего не мог выговорить и схватил Юрку за руку. Он посмотрел туда, куда с ужасом смотрел я, сдавленно вскрикнул и прыгнул в сторону, в кусты. А я стоял и смотрел, как навстречу мне медленно двигается по главной аллее что-то высокое и белое. Перепуганный, в полумраке я не мог разглядеть подробностей, но отчетливо видел белую фигуру, похожую на колеблющийся столб тумана... Когда привидение поравнялось со мной, я крикнул, рванул в сторону, зацепился за что-то ногой, упал и ударился головой о валежину.

Когда я пришел в себя, чьи-то сильные руки несли меня неизвестно куда. Шаги гулко отдавались под низкими каменными сводами. Пахло плесенью и залежалой пылью.

Я не открывал глаз, все во мне замирало. Но вот сквозь закрытые веки я ощутил слабый свет, негромкий говор нескольких голосов. Меня осторожно опустили на что-то жесткое. И голос, от которого я радостно вздрогнул, голос моего отца, глухо и виновато сказал:

— Вот, полюбуйтеся!

— Ваш Даня?! — удивилась женщина, и я узнал голос Надежды Максимовны. — Что ж... Этого следовало ожидать.

Открыв глаза, я увидел ее склоненное лицо, добрые и печальные глаза, белоснежную повязочку вокруг горла.

Около сундука, на котором я лежал, толпилось еще несколько человек — литейщик Митин с хохряковского завода, дядя Миша, машинист, который водил на станцию и со станции мельничный поезд, кто-то еще. Все они неодобрительно смотрели на моего отца. Потом один за другим отошли в сторону, а я закрыл ладонями лицо и неожиданно для себя самого заплакал, как маленький.

Надежда Максимовна стала гладить меня по голове горячей рукой,— рука пахла остро и терпко.

Я вспомнил листовки, которые пахли так же, и жар бросился в лицо мне от неожиданной догадки.

Через полчаса отец вывел меня из подвала, где помещалась типография. Перед тем как отпустить, прижал меня к себе, сказал:

— И чтобы ноги вашей никогда здесь больше не было. Ясно? Проболтаешься — мне каторга или виселица! Понял?

Отец легонько толкнул меня в плечо широкой теплой ладонью:

— Иди.

— Ладно,— буркнул я.— Только... я все равно знаю, чего вы тут делаете.

— Ну-у? — деланно удивился отец.

— Знаю... Листовки печатаете... И, когда тех повесили, знаю, куда ты ночью ходил...

— У-ух ты! — Но на этот раз за деланной шуткой отца звучало тревожное удивление.

— Я ведь понимаю... Я делал бы что-нибудь, а?..

Помолчав, отец глухо сказал:

— Ладно. Иди.

Царапая спину о камни, я прополз в подкоп и через минуту стоял на булыжной мостовой переулка, щедро залитой желтым светом луны.

Юрку я нашел у пруда, на штабеле досок. Он уставился на меня, как на вернувшегося с того света.

Я сел на доски. Юрка спросил шепотом:

— Оно?

— Еле удрал! А мы не верили...

Мне было трудно говорить Юрке неправду, но нарушать слово, данное отцу, я не мог.

## 12. ОЛЯ БЕЖЕНКА

Жизнь в городке становилась все труднее и голоднее. Теперь при выходе с мельничного двора всех обыскивали, а посторонних во двор вообще не пускали: каждый норовил унести оттуда горсть муки или зерна. И вот тут-то в воротах, вскоре после происшествия в парке, я и встретил впервые Ольгу.

Это была девочка лет четырнадцати, худая, большеглазая, с тяжелой светлой косой, серьезным, почти суровым лицом. Преждевременная суровость ее лица странно подчеркивалась затаенным детским испугом, который угадывался в изгибе мягких, припухлых губ, в немного удивленном и обиженном взлете бровей.

В проходке во время обыска я увидел, как эта незнакомая мне девочка побледнела вдруг и прислонилась плечом к стене. Она работала тогда первый день и не знала, что в воротах будут обыскивать.

На ее счастье, в тот день женщин обыскивала тетя Паша, рыхлая, грузная и крикливая женщина, по прозвищу Титиха. Она прожила очень трудную жизнь и хорошо знала, почему фунт лиха. У нее было шесть человек детей, она растила их одна, без мужа: несколько лет назад он свалился с лесов и разбился насмерть. Собственные горести научили тетю Пашу понимать чужую беду.

Ощупывая широченными ладонями тоненькую фигурку Оли, тетя Паша вскинулась, хотела что-то сказать, но, увидев худое лицо девочки, только спросила:

— Новенькая, что ли?

— Новенькая.— Это шепотом, почти неслышно.

— Беженка, видать?

— Беженка.

— Отец-то воюет?

— Убили...

— Ах ты боже мой! Ну, иди...

Бескровное лицо Оли дрогнуло, влажные глаза блеснули трепетным благодарным блеском, и она, склонив голову, поспешно пошла за ворота.

Я догнал ее на углу.

— Смотри! Это только при ней можно, а то выгонят...— строго сказал я.— А заметят, так и ее выгонят.

Девочка испуганно оглянулась на меня. Пошла быстрее.

— Ты меня не бойся,— сказал я, опять догоняя ее.

Она остановилась, с детской надменностью вскинула голову. Волосы ее казались седыми от мучной пыли, и вся она, сердитая и испуганная, была похожа на маленькую старушку. Она фыркнула и сказала:

— Так и забоялась! Ишь грозный какой! Чего причепился?

Говорила она с белорусским акцентом.

Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга. У нее были большие зеленые, измученные глаза. Я первый отвел взгляд и, вероятно, поэтому почувствовал себя смущенным. Сказал:

— Дура! — повернулся и пошел к дому.

Она оглянулась мне вслед:

— Сам умный...

Ночью, прежде чем заснуть, я все думал и думал об этой девочке и, даже засыпая, видел ее глаза, зеленые и строгие.

До этого я не замечал девчонок, словно мир был населен

только взрослыми людьми и мальчишками. А о Подсолнышке я никогда не думал отдельно от себя, от отца, от мамы.

Утром, проснувшись в своем сарайчике, укрываясь с головой старым отцовским пиджаком, я опять думал об Оле. Думал и злился на себя: и чего она ко мне привязалась?..

Она оказалась беженкой из Пинской губернии. На мельнице ее так и прозвали Беженкой и даже мало кто знал ее фамилию. Оля Беженка — вот и все. Отца ее убили где-то под Лодзью, и она явилась в наш городок, привезя с собой безнадежно больную, доживающую последние дни мать, маленького брата Станислава, чудесного, темноглазого мальчишку, и отцовский Георгиевский крест, который берегла, как святыню.

В чужих полотняных беженских фургонах, снимки которых мы, мальчишки, с завистью рассматривали в журналах — вот бы так жить! — Оля и ее семья медленно двигались все дальше на восток, все дальше от родного дома, от родного дыма, от родных могил. Однако они не теряли надежды, что вот-вот война кончится и можно будет вернуться в свою убогую хатенку на краю села. Но год шел за годом, раненый земляк, которого они случайно встретили под Владимиром, рассказал, что все их село сгорело, не осталось ни одного дома. Тогда Оля и ее мать решили ехать на Поволжье, где у них когда-то жила дальняя родня. Родни они не нашли и застряли в нашем городке. И Оля, в ее четырнадцать лет, стала главой и кормилицей маленькой семьи.

Когда я узнал это, мне стало стыдно, что я обидел ее и что она, девчонка, в чем-то, оказывается, сильнее и взрослее меня. Правда, в это время я уже носил старые, ушитые матерью отцовские штаны, ходил, засунув руки в карманы, вразвалочку, подражая отцу, и в субботу солидно клал на стол перед матерью несколько помятых рублевков.

Я не понимал, что со мной стряслось. Меня необъяснимо тянуло к Ольге, а при встречах я проходил мимо нее с гордым и заносчивым видом взрослого работяги, знающего многое такое, чего не знает она. А она вовсе не замечала меня, занятая своими думами. Я все представлял себе, как удивилась бы эта «зазнавашка», как я ее мысленно окрестил, если бы узнала, что я иногда выполняю поручения подпольной типографии, обосновавшейся в подвалах калетинского дома.

Мы с Олей работали в одной смене, и я старался попасть к проходной одновременно с ней, чтобы убедиться, что она благополучно прошла за ворота.

Я видел, что Оля каждый раз уносит с собой немного муки. И все шло хорошо, пока тетю Пашу за потачки при обы-

ске не выгнали с мельницы. Вместо нее дежурить на проходе стала жена нашего квартального Гиндина, тощая, тонкогубая, ехидная баба. При ней Оля не решалась ничего уносить с мельницы,— я понял это сразу по той гордой решительности, с какой она теперь, огрызаясь на вахтеров, проходила через проходную. Бессильная ненависть искажала ее худое лицо, вспыхивала в ее делавших еще больше и как бы вздрагивающих глазах. Однажды, когда Гиндина особенно тщательно ощупывала Олю при обыске, та оттолкнула вахтершу с неожиданной силой и сказала:

— Ну хватит! Обмусолила всю!

Гиндиниха зло засмеялась, блеснул во рту золотой зуб.

— А, варначка! Это тебе не при Титихе — хозяйское добро мешками таскать...

Оля вдруг яростно замахнулась на вахтершу, и та отшатнулась к стене.

— Сама варначка!.. У меня батю за вас на войне убили... а вы... тут...

Не договорила, повернулась и ушла. По улицам шла торопливо, наклонясь навстречу ветру, иногда поднимая к лицу руку.

Я догнал ее и увидел на ввалившейся запыленной щеке только что промытый слезой след.

— Плюнь! — сказал я грубовато. Хотел еще что-нибудь прибавить, чтобы ободрить и утешить обиженную девочку.

Но она остановилась, резко повернулась и как бы оттолкнула меня взглядом.

— Уйди ты! — сказала она дрожа. — Все вы тут такие... А мой батя... мой...

Замолчав, сунула в рот кончики пальцев левой руки, с силой прикусила их и убежала. И только тут я понял всю глубину ее горя. Ведь, наверное, и она своего «батю» любила не меньше, чем я или Подсолнышка — нашего отца. Я вспомнил ужасные ночи, которые мы с Юркой провели возле кутузки, когда арестовали наших отцов. Мне подумалось: ну, а если бы... моего папку?.. Как бы я... и Подсолнышка... и мамка? А? И я пошел домой, раздавленный еще не самым горем, а только его возможностью, его предчувствием. За ужином, глядя, как отец подносит ко рту свою большую, такую родную мне руку, я задумался, и мать заметила мое состояние. Спросила:

— Стряслось что-нибудь, Данька? Опять напроказил?

Для нее, для мамы, несмотря на то что я был уже почти взрослым, что я каждую субботу приносил и отцовским жестом выкладывал на стол получку, — для нее я все еще оставался мальчишкой, от которого только и можно было ждать, что шалости.





Я промолчал. А она, видимо почувствовав, что я обиделся, прижала к своей груди мою голову, покачала ее из стороны в сторону и сказала певуче и ласково:

— Эх ты, дурачок мой маленький...

Отец усмехнулся:

— Какой же он дурачок? Работник! — Он кивнул на лежавшие на углу стола деньги. — Мы с ним, мать, еще таких дел наворочаем! Правда, Данил? — Он неожиданно сильно обнял меня и встал из-за стола.

Мать прошептала чуть слышно:

— Помилуй бог!..

Со своей кровати во все глазенки, — как будто плескалась за пушистыми ресницами синяя вода, — с ожиданием смотрела Подсолнышка. Каждую субботу, с разрешения матери, я брал из полочки несколько копеек и на них покупал Подсолнышке какое-нибудь дешевое лакомство или игрушку. По субботам, хотя она ужинала раньше нас, она всегда дожидалась моего возвращения и спрашивала:

«А мне купилнибудь-чего, Дань?»

«Купил, Солнышка...»

Я подсаживался к ней, доставал гостинцы, и она всплескивала ладошками и смеялась.

Когда отец вышел, мать снова подошла ко мне:

— Что с тобой нынче, сынонька? Ну скажи, милый...

— У Оли Беженки отца убили, — ответил я.

— Многих убили, сына...

Я посидел с Подсолнышкой, пока она не заснула, потом пошел в сарай, где мы спали вместе с Юркой. Хотя спать там становилось прохладно, мы не перебирались в дом — не хотелось терять свою мальчишескую свободу.

Качался и скрипел на улице фонарь, ржavo гремело над баракom полоторванное железо крыши.

— А как ты думаешь, Юрка, — спросил я, когда мы, наговорившись досыта, уже засыпали. — Девчонки... они могут быть революционерками?

Юрка ответил не сразу.

— А ведь вот... тетя Надя... — вспомнил он.

— Она знаешь какая смелая! — подхватил я. — Она и в Сибири не испугалась... И тут... в типографии... — Я прикусил язык, но Юрка не расслышал последнего моего слова — он спал.

Ночью мне снился сон: будто я везу Сашеньку по берегу Калетинского пруда на самодельных санках, хотя снега на земле нет — все кругом зелено. Сашенька говорит: «Дань, а там страшно?» — и показывает на другую сторону пруда. Я хочу сказать ей, что нет там ничего страшного, только мертвый старик лежал под липой, но его давно увезли. Я не успеваю раскрыть рта, как в парке, в зелени осокорей, появляется высокая светлая тень и прямо по воде идет к нам.

Я хочу повернуть санки, но у меня нет сил. А Сашенька голосом Ленки Огуречика говорит: «Вот, а ты говорил, привидений не бывает!»

Я хватаю Подсолнышку на руки, чтобы унести, но она смеется и хлопает ладошками: «Да куда же ты, Дань? Смотри!...»

Я оглядываюсь на пруд и вижу, что там вовсе не привидение, а Оля Беженка. Она смотрит на меня, словно из тумана, большими строгими глазами и говорит: «У меня батю на войне убили... И у тебя убьют!» Я хочу крикнуть, что это неправда, что моего папку не могут убить...

Проснулся я в поту.

С улицы доносился грохот окованных тележных колес по булыжной мостовой. В щели стен сарая сочился сквозь паутину розовый утренний свет. Я лежал весь во власти сна, напуганный Олиным предсказанием.

Стук колес оборвался у нашего барака, кто-то с силой толкнулся в ворота. Голос Ахметки Кривого крикнул:

— Да стой ты, шайтан, пустой башка!

Ворота заскрипели, открываясь, одно их полотнище с размаху ударило в стену сарая, задрожала паутина в углах, с потолка посыпалась пыль.

Я встал, вышел.

Кривой низенький Ахмет в мятой черной шляпе, в рваном пиджаке, подпоясанном веревкой, вел во двор под уздцы своего огромного пегого битюга.

За широченным крупом коня на телеге, среди нескольких убогих узлов, лежала лицом вверх светловолосая худая женщина с темным иконописным лицом. Щеки ее пылали болезненным румянцем, глаза неестественно блестели.

Я уже тогда знал, что это признаки чахотки: от нее в нашем дворе два года назад умер двадцатилетний Митька Трофимычев. Я хорошо помнил его, так как перед смертью он был очень злой и каждому из мальчишек барутинских бараков от него досталось ни за что ни про что по несколько затрещин...

Теперь я понимаю, что он был злой от зависти к тем, кто остается жить.

Рядом с больной сидел темноглазый красивый мальчуган, а за телегой, как всегда поджав губы, шагала Оля. Я смутился от неожиданности, увидев ее.

Ахмет коротко кивнул мне, а Оля прошла, скользнув по моему лицу взглядом так же равнодушно, как по стене сарая. Остановилась телега против окошка той комнаты, где раньше жила тетя Паша. Когда ее уволили с мельницы, то выселили с семьей из барака — она переехала на другую улицу.

Оля сняла на землю малыша, помогла слезть больной. При этом ее строгое лицо вдруг стало таким милым и ласковым, что я не мог отвести от нее взгляда. Когда они вошли в дом, я вернулся в сарай.

— Что там? — сонно спросил Юрка.

— На Титихино место другие квартиранты приехали, — неохотно пробурчал я.

Так поселилась на нашем дворе эта странная девочка.

Через несколько дней, когда новые квартиранты обжились, когда возле больной, горюя и поджимая ладонями щеки, посидели все соседки, мать послала меня к ним попросить лекарство — заболела Сашенька.

Я с любопытством оглядел чистое, но совершенно пустое и неудобное жилье соседей. На полу, на тряпках, постеленных в переднем углу, лежала Олина мать, рядом с ней, смеясь, сидел сынишка.

Подоткнув подол своей юбочки, Оля мыла пол. Обернувшись на скрип двери, выпрямилась, вытирая со лба пот кистью руки, — совершенно так же, как это делала моя мамка. Посмотрела на меня, нахмурилась. Я видел: ей совестно за то, что они такие бедные, за то, что ничего у них нет. Я сказал про лекарство.

— Какое у нас лекарство! — с горечью ответила Олина мать. — Нам без лекарства помирать положено.

Я еще постоял, посмотрел на пустые, голые стены. Лишь в углу висела бумажная иконка, и под ней, в деревянной рамочке, — две или три фотографии, а рядом — Георгиевский солдатский крест. Глядя на этот крестик, я вспомнил сон и впервые по-настоящему почувствовал, что значит потерять отца. Словно нож повернулся у меня в груди, в самом сердце, мне стало до слез жалко и Олю, и почему-то себя, и Подсолнышку. Кое-как выслушав ответ, я убежал. Мамы дома не было: ушла за водой. Я сел рядом с Подсолнышкой и молча наблюдал, как она, изредка поднимая на меня свои синие глаза, кутает в тряпицы самодельных кукол.

Когда с двумя ведрами воды вернулась с улицы мать, я

сказал, что никакого лекарства у соседей нет. Помолчал и добавил:

— Мам... Я больше в сарае ночевать не буду.

— Давно пора бы... Такие холода...

— А топчан, мамка, им бы пока отдать... на пока.

— Кому это? — не поняла мать.

— Да соседям. А то она больная, а — на полу... — Я робко посмотрел на мать. Она задумалась, глядя на Подсолнышку. Я сказал: — Мам, я думал — мы бедные...

Она невесело улыбнулась:

— А оказывается — богатые?

— Ну да! У них совсем ничего нет... Ты сходи к ним, мамка, скажи про топчан... А перенести я помогу...

Мать немного помолчала, потом ответила:

— Ладно, вот уберусь, схожу.

#### 14. «ЗРЯ И УБИЛИ...»

Сейчас, когда я вспоминаю то далекое время, мне кажется, что этот тревожный и тяжелый год был последним годом моего детства. Именно тогда я впервые почувствовал в себе еще неясную, но крепнущую силу, начал понимать, что происходит кругом.

И та горькая радость, которую мне давало присутствие рядом Оли, отчужденные, почти враждебные встречи с ней тоже приносили в мою жизнь нечто хотя и непонятное и тревожное, но необходимое и дорогое. Все мы еще были вместе. Была жива и Надежда Максимовна, человек светлой души и большого мужества. Правда, тогда она часто болела и неделями одиноко лежала в своей комнатке, которую снимала у вдовы какого-то маляра.

Мы с Юркой в то лето побывали у Надежды Максимовны несколько раз. Мне очень понравилась ее комнатка, чистая и уютная, — над ней словно раскинулось другое небо, не то, которое простиралось над всем городком.

Первый раз нас послал к ней отец — передать записку. Идти ему самому было слишком рискованно: после появления в городе двух или трех типографски отпечатанных листовок за домом Надежды Максимовны, конечно, следили, она все время была под гласным надзором полиции. Мы же, мальчишки, могли пройти к ней почти незаметно, перебегая со двора во двор.

Надежда Максимовна встретила нас, как родных. Лежала она на железной, маленькой, может быть даже детской, кровати у окна, выходящего в сад. Вернее, не лежала, а полуси-

дела, держа на укрытых одеялом коленях растрепанную книгу. Книг у нее было много, они стопками громоздились на столе, на подоконнике, прямо на полу у кровати.

В окно протягивала ветки яблоня с уже поблекшими, тронутыми осенью листьями, на столике возле кровати стоял стакан молока, и на тарелке лежали ломоть хлеба и большое красное яблоко.

В ответ на наш стук Надежда Максимовна откликнулась удивленно и тревожно:

— Кто? Войдите!

Потом она нам рассказала, что за время ее жизни в нашем городке к ней никто не приходил, кроме врача и жандармов.

Когда мы вошли, тревожное удивление на ее лице сменилось радостью. Она очень похудела, лицо стало почти прозрачным. Повязочка на шее еще больше оттеняла хрупкую, живую нежность лица.

— Даня! Юра! Вы?! Как я рада,— засмеялась она и губами, и глазами, всем лицом, не глядя бросила на подоконник книгу.— Боже мой, как я рада видеть вас, мальчики! Но мне даже посадить вас некуда...

— А мы постоим, Надежда Максимовна.

— Садитесь вон на чемодан, рядышком, как воробьи... Ну, как там Подсолнышка?

— Хорошо,— смущенно ответил я.— Я вот принес...

Она перестала улыбаться и поспешно перебила меня, бросив беспокойный взгляд на дверь: должно быть, боялась, что ее подслушивают.

— А-а-а! Книги из библиотеки? Очень хорошо.

Я посмотрел на нее с удивлением, а она молча протянула мне руку.

Я отдал записку. Она прочитала, нахмурилась, тоненькие брови ее почти соединились на переносице. Потом лицо ее снова посветлело. Она написала несколько слов на клочке бумаги.

— Так вы за новыми книжками пришли? — очень громко, снова взглянув на дверь, спросила Надежда Максимовна.— Но у меня же здесь никаких детских книжек нет. Приходите завтра после работы в библиотеку, завтра я уже буду работать... и что-нибудь вам подберу.

— Хорошо.

Она молча протянула мне клочок бумаги, на котором писала.

— Тогда идите... Но... Боже мой, мне вашей Подсолнышке даже подарить нечего.

— Да ничего не надо, Надежда Максимовна.

— На вот хоть яблоко... Скажи, тетя Надя желает ей, чтобы она поскорее выздоровела.

— Спасибо, Надежда Максимовна.

На другой день в книге, которую Надежда Максимовна дала мне в библиотеке, оказалось несколько мелко исписанных листочков.

Протянув мне книгу, Надежда Максимовна очень внимательно и строго посмотрела мне в глаза.

— Ты не потеряешь? — спросила она и, развернув книгу, показала на листочки.

— Нет, Надежда Максимовна.

— Ну, беги. Прямо домой беги. И книгу сразу передай отцу. Понял?

— Понял, Надежда Максимовна.

Я так и сделал. Исписанные Надеждой Максимовной листки были текстом той самой листовки, которая месяцем позже отправила на каторгу десять человек из нашего города.

...И снова мне хочется говорить об Оле. Я все порывался дать ей почитать книги, которые мы с Юркой уже прочитали, я думал, что достаточно ей прочесть эти книги, и все ей станет понятно. Мне хотелось рассказать ей о том, что я уже сам знал: о войне, о буржуазии, которая мне представлялась огромным скопищем гунтеров, барутиных, тегиных, кичигиных и даже мельгузиных — всех, кому я еще недавно завидовал и кого теперь ненавидел всеми силами своего сердца.

Но Оля по-прежнему сторонилась меня. Желая сломить ее отчужденность, однажды я схитрил. Присев на корточки перед ее братишкой, заговорил с ним и привел в нашу комнату. Мать смотрела удивленно: раньше ни с кем из малышей, кроме Подсолнышки, я не играл, не возился, вообще не обращал на них внимания.

— Мам, — сказал я, — пусть он поиграет с Сашенькой. Ей не будет скучно... И потом... он, наверное, есть хочет...

Мать посадила Стасика и Сашеньку за стол и поставила перед ними миску только что сваренной, еще дымящейся горячей паром картошки.

Обжигаясь и смеясь, они ели картошку, запивая ее козьим молоком, которое мать иногда покупала у соседки для Подсолнышки. Потом ушли в угол и там увлеченно занялись своими делами.

А я вышел на крыльцо и уселся на ступеньках.

Невидимое за домами, заходило солнце.

С одинокого тополя перед нашим баракom слетали первые желтые листья. На скамеечке у ворот женщины говорили о войне, говорили с какой-то усталой горечью и злобой: когда

же она, проклятая, кончится? И что ему, ироду, немцу этому, надо?

Я сидел, слушал и ждал.

Оля вошла в калитку, неся сверточек, видимо, с какой-то едой. Прошла мимо, как всегда не обратив на меня внимания, взбежала к себе на крыльцо. Но через несколько секунд выскочила, тревожно посмотрела кругом, выглянула за калитку и опять вернулась во двор. И все это очень быстро, молча, с тревогой в глазах.

— Ты Стасика ищешь? — спросил я.

— Ну да.

— Он у нас, — равнодушно сказал я, подвигаясь на крыльце, чтобы дать ей пройти.

Она глянула на меня враждебно, но в дом вошла.

— Стась! Ты зачем сюда пришел?

— А мы играем.

— Идем кушать.

— А я здесь кушал. Картошку... с молоком...

— Все равно идем.

— А мне здесь интересно...

Оля мгновение помолчала.

— А тебя мамаля зовет. Соскучилась.

— А потом я опять приду?

— Придешь.

После этого Стасик стал часто бывать у нас, и Оля скоро привыкла к этому. И ко мне она теперь относилась мягче, добрее, здоровалась при встречах, иногда улыбалась.

Однажды Надежда Максимовна дала мне два последних номера журнала «Нива», где было много фотографий из действующей армии. Я показал их Оле.

Она с нетерпением всматривалась в снимки, на которых были изображены наши раненые солдаты, направляемые в госпиталь. Мне казалось, что она искала среди них своего отца. Вероятно, в ее сердце еще жила надежда, что сообщение о его гибели — неправда, что ее батя жив, что он вот-вот вернется.

Она присела рядом со мной, и мы заговорили о войне. Я сказал, что война нужна только богатым, вроде нашего хозяина Барутина — он примешивает в муку пыль и получает за нее деньги.

Оля слушала молча, но глаза у нее стали такими же чужими, какими были раньше.

— Значит, это богатым надо воевать, а другим не надо? — спросила она, когда я замолчал.

— Ну конечно...

— А мы разве богатые? — спросила она неприязненно.



Вот я, и мамка моя, и Стаська? А немцы у нас дом спалили... все пропало... огород бросили... картошки сколько посажено было... пшеницы... куры были... И... и... батю за чего же убили?

— Зря и убили...

Оля встала с крылечка, несколько секунд глядела на меня с ненавистью и вдруг крикнула со слезами:

— Врешь! Врешь ты все! Мой батя... Ему крест святого Георгия прислали...

Она убежала, а я остался и сидел с таким тяжелым чувством, какого не испытывал уже давно.

## 15. «ЧТОБЫ НИ ВОИНЫ, НИ ЦАРЕЙ НЕ БЫЛО»

Кто выдал калетинскую типографию, так и осталось невыясненным. Но ночью четырнадцатого сентября в дверь и окна подвала с оружием в руках ворвались полицейские и жандармы и арестовали всех, кто там был.

В тот вечер, уходя, отец сказал матери, что идет работать на чугунолитейный в ночную смену — хочет немного подработать. Не знаю, поверила ли ему мать, может быть, просто примирилась с тем, что он вел опасную и не совсем понятную ей борьбу.

Ночью я проснулся от громкого, властного стука в дверь. Этот стук сразу вселил в мое сердце предчувствие подошедшего вплотную несчастья.

В углу горела лампада. В ее неярком свете я видел, как, торопливо перекрестившись и перекрестив нас, мать надела юбку и кофточку и пошла открывать. Едва подняла крючок, дверь с силой рванули, и в комнату ввалились несколько полицейских и молоденький жандармский офицерик.

— Зажгите свет! — приказал офицер.

И, когда мать дрожащими руками зажгла лампу, прошел к столу. Шпоры на его сапогах серебряно позвякивали.

Пройдя в глубь комнаты, офицер брезгливо обмахнул черными кожаными перчатками табурет, словно на нем была пыль, и сел. Лицо у него было усталое, злое.

Переведя с него взгляд на дверь, я увидел отца. Руки у него были связаны за спиной. Но смотрел он весело, легко, как будто каторга, на которую ему предстояло идти, не страшила его. Я вскочил с постели, рванулся к нему. Один из полицейских грубо оттолкнул меня:

— Сиди, ублюдок!

Полицейские сдирали со стен обои, распарывали подушки, вылили в печку из чугунка остатки супа. Подняв половицу,



полезли в подпол. Отец наблюдал за ними, поглядывал на нас и спокойно улыбался.

Разворошив в доме все, что можно было разворошить, жандармы ничего запрещенного — ни оружия, ни книг — не нашли и собрались уходить. На прощание отец улыбнулся Подсолнышке, кивнул мне и матери.

— Не горюй, Даша, — серьезно сказал он. — Скоро вернусь. Не долго еще им над нами измываться.

Офицер, видимо обозленный тем, что обыск ничего не дал, подошел вплотную к отцу и, с ненавистью глядя на него, спросил:

— Социал-демократ, сукин сын?

— Обязательно! — ответил отец. В его фигуре даже со связанными руками было столько силы, что офицер, замахнувшийся было перчатками, не посмел его ударить.

Отец, наклонившись у притолки, шагнул в темноту за дверь.

Мать села на табуретке посреди комнаты, безжизненно опустила руки, устало и безразлично глядя на царивший в комнате разгром.

— Ну вот мы и осиротели, — сказала она негромко минуту спустя и начала не торопясь прибирать вещи.

Мне показалось странным, что она не ставит и не кладет их на привычные места, а связывает в узлы. Только вечером следующего дня, когда нас выгнали из барака, я понял, почему она делала так.

Она снова приготовила Подсолнышке и мне постели и сказала:

— Спите, дети...

Подсолнышка заплакала:

— Мам, а они папку куда поведут? Они злые.

— Нет, Солнышка, они не злые... Они не сделают нашему папке плохо.

Сашенька улыбнулась сквозь слезы и легла. Скоро она уже спала.

Утром, еще до гудка, к нам зашел Мельгузин. Был он одет празднично, в новом высоком картузе, сапоги сверкали, и золотая цепочка часов поперек жилета блестела, словно выкованная из солнечного луча. Мать с красными, заплаканными глазами возилась у печурки, готовила завтрак.

— Здравствуй, Дарья Николаевна,— сказал Мельгузин, снимая картуз и оглядывая узлы.

— Здравствуйте, Савел Митрич.

— Увели твоего?

Мамка не ответила. Мельгузин прошел вперед и, расправив полы поддевки, сел у стола. Оттуда долго смотрел на мать, и я впервые увидел в его здоровом глазу не всегдашнюю злость и издевку, а что-то похожее на сочувствие.

— Даньку-то теперь тоже уволят? — спросила мама негромко.

— Вот уж не знаю, Даша... Как хозяевам поглянется... Он ведь у тебя тоже этакой, на каждое слово пять найдет. В отца.

Он достал черный, расшитый бисером кисет.

— Курить-то у тебя можно?

— Не староверы. Курите.

Мельгузин закурил. Выпятив худую куриную шею с двигающимся кадыком, старательно пускал к потолку дым.

— Эх, Даша, Даша,— сказал он вдруг с тоской.— Ведь вот как тогда просил тебя: выходи за меня. Жила бы ты теперь как у Христа за пазухой... Я за тобой, как за царевной, всю бы мою жизнь ходил.— Он глубоко вздохнул, затянулся, закашлялся.

— Ни к чему вы это говорите, Савел Митрич,— не поднимая глаз, ответила мать.

— Может, и ни к чему...— Помолчал, покурил.— А Данилу, должно, надолго упрячут... Против царя листовки, слышь,

печатал... А за это каторгу дают. Обязательно каторгу. Вот и осталась ты соломенной...

— Может, еще и вернется...— сказала мать, готовая заплакать.

— Пустое, Даша...— Мельгузин покачал головой.— Время пошло смутное, того и гляди, опять в царей бомбами кидать начнут. Потому и не ждать ему милости... Ты уж прости, что я вместо утешения тебе... этакие слова...

Я ушел в угол за печку, чтобы надеть свой рабочий, перепачканный мукой пиджачишко и посмотреть в окно — не идет ли Оля. И уже оттуда, из-за печки, услышал, как Мельгузин спросил:

— Как же будешь жить, Даша?..— И шепотом добавил еще несколько слов, которых я не разобрал.

Мать ответила с усмешкой — это было слышно по ее голосу:

— А супруга благоверная ваша как же, Савел Митрич? Или в татары, в мусульманы подадитесь?

С неожиданной злостью Мельгузин крикнул:

— Выгоню!.. Я ведь и взял ее за себя безо всякой любви — тебе назло... Она у меня в синяках два года ходила, пока привык. А теперь выгоню... вон!.. в деревню!.. Я ведь за тебя, Даша, в огонь, в воду, куда хочешь... И детишками не попрекну... ничем... богом клянусь!

Мать помолчала, потом громко позвала:

— Дань! Иди ешь. Сейчас гудок будет.

Я с трудом съел две картошки — не лезло в горло.

Мельгузин, коротко поглядывая на меня, курил, вздыхал:

— Загубил он всю твою жизнь, Даша. А какая у тебя жизнь могла быть... Эх ты, горе соленое! — Он встал, поискал, куда бросить окурок, приоткрыл дверцу печурки, положил туда. Надевая картуз, сказал: — Подумай, Даша... об них подумай,— кивнул на спящую Сашеньку и пошел к выходу.

Мимо крыльца мелькнула почти бесцветная, выгоревшая на солнце косынка Оли, и я, перегнав Мельгузина, выскочил из дома.

Олю я догнал за воротами. Она смотрела на меня широко открытыми глазами. И, хотя мне очень хотелось поделиться с ней своим горем, говорить я не мог — слезы давили горло.

— Отца в тюрьму взяли? — спросила Оля, когда мы дошли до угла.

— Да...

— За что?

— Листовки печатал... чтобы ни войны, ни царей не было...

— Как — царей не было? — испуганно спросила Оля.— А куда же их?

— А куда хотят... Мне Надежда Максимовна книжку давала. Во Франции очень просто одному королю-людоеду голову отрубили.

Оля отшатнулась от меня, как будто я ее толкнул, обогнала меня и ушла. А мне теперь было все равно, я думал об отце. Может быть, его уже бьют? И он, такой сильный, ничего не сделает против: их много, а у него и руки-то связаны. Мои окрепшие кулаки наливались такой злобной и гневной силой, что хотелось сейчас же стукнуть кого-нибудь — вахтера, попавшегося мне навстречу Кичигина, Мельгузина... Мельгузин?.. И я подумал о том, что этот противный, ненавидимый мне человек всю свою жизнь любил мамку, а она его не любила... «Вот как я Олю», — мелькнула у меня мысль, и я почувствовал, как горят мои щеки.

На работе я прежде всего нашел Юрку — теперь у меня от него не могло быть тайн. Отошли в угол, спрятались за качающиеся, шумящие сита.

Юрка спросил:

— Так это они потом привидениями ходили?

— Да.

— А чего же молчал? — с обидой спросил Юрка. — А еще товарищ!

— Не велели.

— «Не ве-ле-ли!» — передразнил Юрка. — Рассказал бы — мы бы с тобой караулили в парке... Ничего бы и не было.

На мельнице я узнал, что в эту ночь были арестованы Надежда Максимовна, литейщик Митин, машинист мельничного паровоза дядя Миша и еще шесть человек, которых я не знал. У меня немного посветлело на душе: значит, отец не один. Значит, они все время будут вместе... Я еще не знал тогда, что многим из них никогда уже не придется выйти на волю. Еще во время следствия умрет в сырой тюремной камере наша милая Надежда Максимовна, при попытке к бегству убьют на каторжном этапе Митина, за подготовку к восстанию на Тобольской каторге повесят веселого, ласкового дядю Мишу...

Когда я возвращался в тот день с работы и следом за Ольгой вошел в наш двор, я прежде всего увидел у крыльца наши кровати и узлы, на них мать и Сашеньку, прикрытую от дождя старым отцовским пиджаком. Мать казалась спокойной, только глаза ее светились слезным блеском и искусанные губы немного распухли. На двери дома, где мы жили, висел огромный замок.

Подсолнышка улыбнулась мне навстречу.

— А мы тебя, Дань, ждем... Нас из дома выгнали.

Оля на секунду остановилась, потом побежала к себе.

— Ты бы, Данилка, сходил к Юре,— сказала мать.— Может, пока у них?.. А то — дождик... Как бы Солнышка не занедужила.

— Хорошо, мам. Ты знаешь, еще девять человек...

— Знаю, сынка.

Я хотел что-то еще сказать, но в это время во двор выбежала Оля, уже без косынки, без пиджачка, подхватила один из ближних к ней наших узлов и молча поволокла его к своему крылечку. Но поднять узел на ступеньки оказалось ей не под силу, она остановилась и сердито оглянулась на меня. Я подбежал к ней. Руки наши столкнулись на веревке, которой был стянут узел,— у Оли была горячая и сухая, как у Надежды Максимовны, рука.

Когда мы втащили узел на крыльцо, Оля сказала:

— Теперь я одна донесу. Сашку неси...

Так мы поселились вместе.

## 16. «...И В ЗЕМЛЮ ОТЫДЕШИ»

Олина мать умирала медленно и трудно: слишком много забот оставалось у нее на земле и каждая из этих забот мешала ей умереть. Как, с кем будут жить теперь ее Ольгуня и ее Стасик? Ведь так много горя и зла на земле, так много людей, которым ничего не стоит обидеть сирот.

Целыми днями она лежала на топчане в переднем углу и следила за детьми горячими, ласковыми, полными боли и жалости глазами. Моя мать, как умела, успокаивала ее.

— Да не волнуйся ты... еще поднимешься... И жить будем легко...— говорила она.— Данилка-то у меня уж совсем большой, работник. Да и Оля тоже. И этих, даст бог, вырастим...

И она взглядывала на Подсолнышку с такой скорбью, что я невольно вспоминал многократно слышанные мной слова сердобольных женщин: «Не жилец она у тебя, Даша... Хорошие-то и богу нужны».

Олина мать умерла вечером. Мы с Олей пришли с работы и еще с порога увидели, что в доме неладно. Малышей не было, их унесли к соседям, а в комнате было полно людей. С горестными лицами, вздыхая, они смотрели на Олину мать, лежавшую с порывисто вздымавшейся грудью, лицом вверх, с пустыми, уже не видящими глазами. У печки шумел большой помятый медный самовар.

Была Олина мать в нижней сорочке, не прикрытая даже простынкой,— уже и это было непосильной тяжестью для ее истаявшего тела. Когда мы вошли, Оля рванулась к матери, но тут же остановилась, прижав руки к полуоткрытому рту.

Больная слабо шевельнула пальцами и повела глазами в сторону моей мамки.

— Свечку,— не сказали и не прошептали, а словно подумали ее губы, но все поняли, что она хотела сказать...

— Знак! Это она знак подает... Значит, есть...

Мама торопливо зажгла тоненькую восковую свечку и прикрепила у изголовья. Как потом я узнал, женщины уговорились с умирающей, что на пороге смерти она даст им знак — увидит ли она что-нибудь там, за порогом, на который встанет в последнюю минуту жизни.

В это время с грохотом упала самоварная труба. Оля оглянулась на этот грохот и только тут, видимо, поняла смысл происходящего.

— Зачем это? — шепотом спросила она стоявшую рядом соседку с желтым длинным лицом, показывая на самовар.

— А как же, милая? Покойницу-то обмыть надо.

Оля подскочила к самовару и пнула его ногой. Самовар опрокинулся набок, кипящая вода полилась на пол, горячий пар наполнил комнату... Женщины бросились к самовару: «Воды давай, распаяется...»

После этого Оля подбежала к матери, прижалась головой к ее груди, заплакала бессильными и беспомощными слезами:

— Мамочка, не надо... мамочка, не умирай...

Умирающая только шевельнула губами, я угадал слово: «Стась...»

Похоронили ее тихо. Нести гроб было некому, его за трешницу отвез на своем пегом битюге кривой Ахмет. Рыженький попик торопливо и равнодушно пропел над гробом: «Земля еси и в землю отыдеши»; могилу на самом краю кладбища, рядом с зарослями крапивы и репейника, забросали землей. Олю никак не могли увести, и все отошли в сторону, чтобы дать ей «выплакать горе». Она лежала на могиле лицом вниз, плечи ее судорожно вздрагивали. Накапывал дождь, платье на спине девочки промокло. Я стоял недалеко от нее, и было мне так ее жалко, как не было жалко еще никого в жизни. Я подошел, тронул ее за плечо.

— Уйди,— прошептала она сквозь зубы.

— Простудишься,— сказал я,— а там Стасик... Пойдем.

Опомнившись, она тяжело привстала, но сейчас же опять легла на могилу, обхватила ее руками и зарыдала. Я силой поднял ее, отряхнул с ее платья мокрую глину и под руку не повел, а потащил домой...

У ворот кладбища нас ждали остальные.

## 17. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЯДИ КОЛИ

От Юркиного отца почти год не было писем — его уже не раз оплакали как убитого, как пропавшего без вести, но неожиданно он вернулся. Вернулся без обеих ног, ампутированных выше колен. Долго лежал в госпитале, кажется в Пензе, не решаясь написать домой правду.

Теперь он был ниже меня — его коротко остриженная голова едва доставала мне до плеча. На это так страшно было смотреть, что на первых порах я все время отводил взгляд.

С вокзала он не пошел домой, а явился к нам, в бараки.

Случилось это осенним ясным днем, в стекла окон бились желтые тополевы листья, ярко, хотя и холодно, светило в распахнутую дверь солнце.

Николай Степанович вошел неслышно и, вероятно, несколько минут стоял на пороге, никем не замеченный. Кашлянул.

Мать обернулась и, увидев его, в ужасе всплеснула руками, не в силах выговорить ни слова.

Было воскресенье — и я и Оля были дома. Никогда, наверное, мне не забыть напряженного, болезненного взгляда, каким Оля смотрела на Николая Степановича, как будто думала: «Хоть вот таким, а пришел бы мой батя с войны!»

— Ну, здравствуйте, — не слезая с порога, сказал Николай Степанович, обходя присутствующих веселым и острым взглядом. — Не узнаете?

Мать бросилась к нему, обняла — для этого ей пришлось нагнуться, — заплакала.

— Степаныч! Чего же это они с вами сделали?

— Да видишь вот — укоротили малость... во славу царя-батюшки и веры христианской... Спасибо им: теперь обулки никакой всю жизнь не потребуется и штаны в два раза короче — одна выгода.

Мать наклонилась, прижалась лицом к плечу дяди Николая, к его старенькой обрезанной по низу шинели.

— А Даня... Даню...

— Знаю, — глухо отозвался Николай Степанович. — На вокзале сказали. Ну, значит, ежели не повесят — цел будет. Судили?

— Нет пока. В губернию увезли.

— Та-а-ак... Жалко, не повидались. И много их?

Мама вопросительно глянула в мою сторону.

— Десять человек, дядя Коля, — сказал я. — Дядя Миша, машинистом который, литейщик Митин...

Николай Степанович, щуря усталые глаза, внимательно осмотрел меня.



— Вырос паренек. Добро.— Помолчал, пожевал сухими синеватыми губами под короткой, обгрызенной щеточкой рыжеватых усов.— И эту, книжницу нашу, Максимовну... тоже?

— А она... умерла,— с трудом сказал я.— В тюрьме...

Николай Степанович скрипнул зубами, потряс головой.

— Эх! Святой человек была...

Во все свои синие чистые глаза глядела на Николая Степановича только что проснувшаяся Подсолнышка. Он почувствовал ее взгляд, бросил на табурет грязную солдатскую шапку со светлым следом от овальной кокарды, пальцами погасил на пороге окурок и подошел к Сашеньке. Она немного отодвинулась, но смотрела без испуга.

— И ты выросла, глазунья? Не узнаёшь?

— У-узнала... Только вы раньше большой были, а теперь маленький. И одежда еще другая...

— Одежа-то? Солдатская одежонка... А поменьше стал — тоже, вроде, верно.— Пошарил в кармане шинели, достал два кусочка сахара.— На-ка вот тебе... от сладкой госпитальной жизни остатки.

Сашенька робко повернулась к матери.

— Возьми, Солнышка,— разрешила та.

Николай Степанович ловким и сильным движением скинул с плеч свой солдатский мешок, положил его на пол, обернулся к Оле и Стасику:

— А это чьи же галчата?

— Из Пинской губернии мы,— ответила Оля, прижимая к себе курчавую голову брата, со страхом следившего за незнакомым коротконогим человеком.

— Беженцы,— пояснила мать.

— Отец-то — воюет, что ли?

— Нет...— Оля уголком глаза посмотрела на Георгиевский крестик, и Николай Степанович заметил этот ее моментальный взгляд.

— Отвоевался, значит? Н-да-а...

— Может, встречали его? — с внезапно вспыхнувшей надеждой спросила Оля, и ее щеки загорелись.— Его Антоном звали... Мураш по фамилии.

— Мураш?— Николай Степанович задумался.— Да нет, вроде не было Мураша...

Опершись одной рукой о край стола, а другой о табуретку, он легко вскинул свое тело, сел к столу, облокотившись на него грудью, и сразу стал прежним, таким, каким я помнил его, когда он за этим же столом сживал с отцом.

— Ты вот что, Данил,— обратился он ко мне.— Сходи-ка за Юркой за моим...— И с виноватой усмешкой повернулся к матери.— Боюсь я эдак-то одной половиной домой заявлять-

ся. Еще напугаются. А? — И засмеялся, будто сказал что-то забавное. Но в глубине глаз у него стояла тоска.

— Сбегай, Дань,— сказала мать.

Я быстро оделся и побежал.

Юрке, когда мы вышли от него, я только сказал, что отец его ранен.

— Сильно? Куда? — спросил Юрка и побледнел.

— В ноги,— как можно небрежнее ответил я.— А так он веселый.

Прямо с порога Юрка прыгнул к отцу, обнял его обеими руками за шею, прижался изо всех сил. Николай Степанович ухватился рукой за стол.

— Погоди-ка, сынок... опрокинешь ты меня...

Юрка отодвинулся, оглядел отца, увидел обшитые черной кожей кульяпки, закричал.

Николай Степанович сильно хлопнул его по плечу.

— Брось! — строго сказал он.— У некоторых вон совсем не вернулись... А мы с тобой еще жить будем... Вот...

Когда Юрка с отцом ушли, мы с Олей взяли веревки и отправились на Горку за хворостом — надо было запастись на зиму дров. Оля давно меня не дичилась, характер у нее стал мягче, вероятно, еще и потому, что моя мама не делала никакой разницы между всеми нами, кормила одинаково и одинаково ласкала Подсолнышку и Стасика. Сашенька никогда на это не обижалась: ей незнакомы были ни вражда, ни зависть. И, может быть, поэтому Оля скорее, чем можно было ждать, примирилась со смертью матери.

Мы поднялись на Горку, вошли в лес. Несмотря на осень, здесь сильно пахло сухой хвоей, сосновой смолой, сгоревшим на солнце полыньком.

— А он, который без ног...— Оля подняла на меня свои строгие, глубокие глаза.— Он тоже против войны?

— Конечно, против.

— А в Манифесте же написано: «...Вся Россия... с железом в руках... с крестом в сердце...» Стало быть, неправда это?

— Ясно, неправда. Кому войну надо? У тебя отца убили. У Юрки вон безногим остался. И мы вон как голодаем, и солдаты тоже, а Барутин новую мельницу в Оренбурге строит.

Мы собрали хворост, связали его и, отдохнув на пеньках, пошли домой. Олина вязанка была не под силу ей, она шла покачиваясь, я видел, что у нее подгибаются ноги. Я остановился, сбросил вязанку на землю.

— Стой, отдохнем давай.

Она присела на корточки и, опрокинувшись назад, поло-

жила хворост на дорогу. Я молча распутал веревки на обеих вязанках хвороста и начал перекладывать часть хвороста из Олиной вязанки к себе. Она не сразу поняла, что я делаю, потом вскочила, стала вырывать у меня сучья:

— Вот еще выдумал! Отдай, говорю!

— Отойди! — крикнул я. — Надорвешься — кто с тобой возиться будет?!

Она выпрямилась, постояла молча, оскорбленно сжав губы. Я перевязал обе вязанки, и мы пошли дальше. Я видел, что идти ей стало легче. И у меня было тепло и хорошо на душе.

...Весь день Оля со мной не разговаривала и только поздно вечером, когда мы укладывали дрова в сарае, спросила:

— Ты на меня серчаешь?

— Это за что же я на тебя серчать буду?

— А злая я.

— Выдумывай! Мы же теперь все равно как брат и сестра... Подсолнышка вон зовет Стаську братиком... Так и мы. Ладно? — грубовато спросил я.

— Ладно, — очень тихо отозвалась она, опустив голову. — Только и ты больше... не обижай...

— Ладно, не буду.

Сашенька действительно называла Стасика братом, и жизнь ее стала интереснее и веселее. Если бы не ее ухудшающееся с каждым днем здоровье, можно было бы только радоваться, глядя на нее, — она уже не сидела сиротливо в своем уголке, а вместе со Стасиком как бы завладела всей комнатой, — их куклы, сшитые из тряпья прилежными Олиными руками, ездили с табуретки на табуретку в гости друг к другу, на базар за покупками, в больницу — лечить свои многочисленные болезни, стояли в очередях за хлебом и солью.

В эту зиму, несмотря на мою крепнущую день ото дня дружбу с Олей, я стал как-то отходить от дома — меня все больше тянуло к дяде Коле и его товарищам.

На следующий день после возвращения дядя Коля снял себе халупку на углу базарной площади, достал кое-какой инструмент, написал на грязном фанерном листе «Сапожная» и принялся подбивать каблуки и подметки, подшивать валенки. Под вывеской скоро появилось объявление, которое сразу привлекло к сапожной заказчиков: «Солдаткам и инвалидам войны работаю дешево».

Но не только это объявление собирало в сапожной людей, а и сам дядя Коля с его неистощимым юмором, с его соленой, точно адресованной солдатской шуточкой, с его «вшивой правдой», как он сам выражался, которую он принес из окопов.

Я очень боялся, что дядю Колю, как и отца, арестуют жандармы, и мне хотелось его предостеречь.

Однажды вечером пошли в баню. Мы с Юркой, задыхаясь от жары и пара, в два веника что есть силы хлестали могучие багровые плечи и спину дяди Коли, а через полчаса, лежа на скамейке в пустой парилке, я рассказывал ему о калетинской типографии. Он слушал внимательно, покусывая рыжие усы, то и дело вытирая пот, обильно текущий со лба. Когда я замолчал, он сказал:

— Стало быть, стреляные воробы? Добро... Будет и вам работенка...

## 18. ВЕСТОЧКА ОТ САМОГО ДОРОГОГО

Жизнь нашей семьи в тот год была наполнена заботами о куске хлеба, стоянием в очередях у кичигинской и карасевской лавок, болезнью Подсолнышки и ожиданием писем отца. Эти письма, написанные на бумажных лоскутках, с густыми цензурными вымарками, приходили редко. Но от них появлялась надежда на скорую встречу.

Только одно письмо пришло не по почте. Его принес чернобородый человек с темными цыганскими глазами, с серым, землистым лицом.

Когда он вошел, мама растапливала печку, малыши играли на кровати Подсолнышки, а Оля сидела у окна и чинила мою рубашку.

Вошедший постоял на пороге, рассматривая нас, глаза у него странно блестя. Мамка оглянулась и, словно желая защитить детей от неприятно пристального взгляда, пошла от печки к порогу.

— Не обессудьте, — сказала она. — Подать нечего.

Но чернобородый легко и ласково отстранил ее сильной рукой и, улыбнувшись, шагнул в комнату.

— Эту знаю, — басом сказал он, глядя на Подсолнышку.

Бас у него был глубокий и чистый, с мягкими интонациями, — он так противоречил его внешнему облику, что я сначала не понял, кто говорит.

А незнакомец повернулся ко мне, улыбнулся и сказал:

— И тебя знаю... И вас знаю, Дарья Николаевна. А вот этих двоих... — усмехаясь в свои густейшие черные усы, посмотрел на Олю и Стасика, — ей-богу, не могу узнать.

Поклонился матери и, протягивая руку, спросил:

— Перепугал я вас?

— Да нет... что же... помилуйте, — растерянно сказала мать.

— Вид-то, наверно, у меня страшноватый. Там не очень-то роскошно одевают...— Он принялся расстегивать свой кожушок, руки у него были очень худые и белые. Расстегнувшись, сунул руку за пазуху, разорвал подкладку и вынул какую-то бумажку.— Вот, Дарья Николаевна, весточка вам от дорогого человека...

— От Дани? — У матери перехватило голос.

— Да, от Данилы Никитича... Вот... Скоро думает увидеться.

— Так ведь... еще двенадцать лет...

— Это по их счету, Дарья Николаевна,— мягко сказал чернобородый.— А по-нашему — меньше...

Посмеиваясь в усы, ласково поглядывая на нас, он ждал, пока мама прочтет письмо.

Она сидела на табурете у плиты и, изредка вытирая слезы, читала — листочки папиросной бумаги дрожали у нее в руке.

— Тут у меня еще поручение есть, Дарья Николаевна,— сказал он, когда мама прочла письмо.— Помогите, пожалуйста, выполнить... Как мне найти Надежду Максимовну Рошину? Ее дело тогда по состоянию здоровья было выделено. Ее должны были из тюрьмы освободить...

Он смотрел на мать виноватым детским взглядом, и не верилось, что несколько минут назад именно эти глаза так нас напугали.

— Надежду Максимовну? — переспросила мать и беспомощно оглянулась на меня.

И только тогда лицо незнакомого человека показалось мне знакомым: не его ли портрет — только без бороды и усов — висел над кроватью нашей Джеммы? Правда, на той фотографии он был в студенческой тужурке, совсем молодой.

— Да... дело, видите ли... я Надежду Максимовну знал,— смутившись, ответил он.— В Петербурге... давно... Ты, Даня, не проводишь меня к ней?

Он так просительно смотрел мне в глаза, что я не мог сразу сказать то, что сказать было необходимо. Я ответил упавшим голосом:

— Хорошо... провожу...

Он выпрямился, вздохнул с облегчением:

— Ну, вот и добро.

Спотыкаясь на каждом слове, я пробормотал:

— Только ведь... она... она...

Он вздрогнул. И, видимо, по выражению моего лица понял страшную правду и сразу весь осунулся, словно постарел сразу на несколько лет. Заторопился, пряча глаза, застегивая дрожащими пальцами кожушок.

— Ну... ну... такое дело... до свиданья. Дарья Николаевна... я еще зайду... я ведь, наверное, теперь здесь жить буду... пока опять не посадят.— И улыбнулся через силу.

— А родные? — спросила мать.

— Никого...

— Так вы посидите... согрейтесь,— засуетилась мама.— Оля, поставь чай.

— Спасибо... Дарья Николаевна... Не хочется.

— А куда же вы?

— Не знаю.

Я подскочил к двери, схватил свой пиджачишко, шапку.

— Я вас провожу,— сказал я. И повернулся к мамке, которая смотрела вопросительно.— В сапожную...

— Верно... верно, сынок...

Так вошел в нашу жизнь еще один замечательный человек. Бескорыстный, мужественный, добрый, бесстрашный в борьбе, он стал для меня живым воплощением того облика революционера, который сложился к тому времени в моем представлении. И я думаю, что не только моя фантазия наделяла его чертами Овода и Гарибальди — нет, в нем действительно повторялись их лучшие качества: любовь к народу, мужество и воля в борьбе.

Он поселился в маленькой комнатухе на окраине и нанялся работать на чугунолитейный. Сбрав свою окладистую бороду и усы, он так переменялся, что когда несколько дней спустя я встретился с ним в сапожной, то не узнал его.

Звали этого человека Петр Максимилианович Сташинский, он был сыном крупного, известного петербургского адвоката, но, поссорившись с монархистом-отцом, ушел из семьи и посвятил жизнь революции.

Он стал часто заходить к нам.

Очень хорошо, проникновенно и душевно пел он народные русские и украинские песни. Мать не раз, шутя, говорила, вытирая слезы, что ему бы не революционером, а протодиаконном быть: «Вот бы богато жили!»

— А я и так не бедно живу,— отзывался он.

Особенно любила слушать его песни Подсолнышка. Он приходил к нам обычно по воскресеньям, снимал у двери свой уже промаслившийся колушок, здоровался и брал Подсолнышку на руки. Своих детей у него никогда не было. Надежда Максимовна, которую он, видимо, очень любил, но о которой теперь ни с кем не говорил, умерла, и всю нежность своей души он отдавал детям. Позже, при встречах с другими революционерами, я всегда вспоминал Петра Максимилиано-

вича и задавал себе вопрос: почему все преданные революции люди так любили детей? Потому ли, что у многих из них из-за трудностей их революционного дела никогда не было своей семьи, потому ли, что именно ради детей, в конечном счете, и совершалась революция?

Петр Максимилианович ходил с Подсолнышкой на руках по комнате из угла в угол — их тени скользили по стенам и потолку — и тихонько пел. Особенно любил он Шевченко, которого считал величайшим поэтом. Ознобая дрожь пробежала у меня по спине и слезы непонятого восторга набегали на глаза, когда он пел:

Поховайте, та вставайте, кайданы-ы порвите  
И вражою-ю злою кровью-ю...

Перестав петь, он принимался негромко рассказывать о страшной судьбе Шевченко, о том, как заporоли насмерть Полежаева, читал его стихи, рассказывал о декабристах и Ленине, о своих товарищах по революционной работе и каторге. И вместе с его словами светлые образы этих людей входили в нашу комнату. Никому в жизни я так не обязан своим развитием, как этому человеку, хотя прожил он в нашем городе обидно мало: от первого его появления у нас до того дня, когда тридцать некрашенных гробов опустили в братскую могилу на площади, прошло около полутора лет...

Рассказывал дядя Петя и о жизни в Тобольской каторжной тюрьме, об этапах и пересылках, о бессмысленной жестокости конвоя и тюремщиков, рассказывал об отце. И после его рассказов отец становился мне еще дороже, чем раньше. Вероятно, то же чувство испытывала и Подсолнышка. В тот год она больше, чем раньше, тосковала о нем.

Однажды, сидя на руках у Петра Максимилиановича, наслушавшись его рассказов, она задумалась и вдруг посмотрела в потолок и сказала неожиданную и странную фразу:

— Пусть... пусть паутинка летит далеко, а папа пусть живет дома дружно...

Все посмотрели на нее с удивлением, ее слова звучали как заклинание, а Петр Максимилианович, покачив головой, сказал:

— Ой, Подсолнышка, боюсь, что не будет твой папка жить дружно с Барутиными да Хохряковыми...

И, чтобы отвлечь девочку от грустных дум, принялся рассказывать ей о том, какой большой город Петербург, какие там дома, какие театры.

Мы особенно любили слушать его рассказы о театрах, он знал множество пьес и представлял их в лицах с неподражае-

мым, как, во всяком случае, мне казалось, мастерством. Однажды он очень долго и с увлечением говорил о цирке, показывал фокусы с картами, которые двигались сами собой, с медными монетами, которые пропадали на глазах и вдруг оказывались у Подсолнышки в кармане.

Сашенька смотрела во все глаза, очень много смеялась, а потом задумалась, склонив на плечо свою беленькую головенку, и серьезно спросила:

— Дядя Петя! А церковь и цирк — это одна фамилия?

Мама была напугана этим безбожным вопросом и даже, как мне показалось, обиделась на Петра Максимилиановича. Он, расхохотавшийся было, заметил ее опечаленное лицо и, перестав смеяться, разъяснил Подсолнышке разницу между церковью и цирком.

Никогда у нашей семьи, ни до этого, ни после, не было такого искреннего друга, — может быть, потому, что все мы перенесли на этого человека часть нашей любви к отсутствующему отцу. Нас заражала его веселая и мужественная вера в то, что все впереди — хорошо. И он, кажется, чувствовал себя среди нас как дома. А Сашеньку, нашу синеглазую Подсолнышку, он любил словно родную дочь. Когда она заболела, он не находил себе места, водил к нам своего знакомого, сосланного в наш город петербургского врача, покупал лекарства, приносил скромные лакомства, какие можно было достать в то голодное и нищее время. Однажды, помню, принес плитку шоколада «Золотой ярлык» в сверкающей обертке. Эта плитка была как бы кусочком солнца, ворвавшимся в нашу темную жизнь. Разломив плитку шоколада пополам, он взял на руки Сашеньку и Стасика, дал им и, поглядывая на них по очереди, сам взволнованный их радостью, ходил с ними по комнате, огромный, тяжелый, — в шкафу при каждом его шаге вздрагивали и звенели стаканы.

На столе горела семилинейная керосиновая лампа, тень большого человека пересекала стены, заползала, ломаясь по середине, на потолок, наполняла собой весь дом.

Оля сидела в углу у печки и оттуда, не отводя взгляда, с благодарностью смотрела на Петра Максимилиановича, на Стасика, доверчиво прижимавшегося к плечу этого сильного, доброго человека.

С появлением Петра Максимилиановича Оля немного замкнулась, как бы отошла от нашей семьи, старалась стать незаметнее, словно вдруг опять почувствовала себя чужой.

В тот вечер я впервые подумал об этом и почувствовал себя виноватым. Отошел к печке, сел рядом с Олей, осторожно, так, чтобы никто не видел, положил свои пальцы на ее руку. Она не шевельнулась, но сжала мои пальцы. Так мы и



сидели, не разнимая рук, и смотрели на разбаловавшихся малышей, на Петра Максимилиановича.

— Вот бы все такие... — шепотом сказала Оля, обернувшись на мгновение ко мне.

А Сашеньке становилось хуже — она таяла с каждым днем, все бессильнее становились ее тоненькие, как щепочки, ручонки. Мне иногда казалось, что они могут у нее переломиться, если она поднимет что-нибудь тяжелое.

...В эту зиму меня с мельницы выгнали. В воскресенье, под Новый год, к нам снова явился Мельгузин, одетый в добротный меховой пиджак и меховой же картуз. Чисто выбритое ноздреватое лицо его было приветливо и ласково, под серыми усиками шевелилась улыбка. Но в живом, нетронутом бельмом глазу, в темной коричневой глубине его стояла тоска, горела искорка волчьего одиночества и беспокойства.

Мельгузин поздоровался, снял картуз и, пройдя к кровати Подсолнышки, высыпал ей на одеяло горсть конфет. Подсолнышка робко взяла одну конфету и оглянулась на Стасика, подзывая его.

Мельгузин сел к столу, осмотрелся, закурил, покосился на остатки еды на столе: картофельная кожура и кружка воды.

— Так и живешь, Даша?

— Так и живу, Савел Митрич...

— Не надоело?

— Может, и надоело... а жить все одно надо...

Мельгузин долго молчал. В глазу у него вспыхивала обижавшая меня ласковость и жалость. «Что ему надо?» — думал я, чувствуя, как у меня начинают дрожать колени.

— Думала, про что говорил? — спросил он. И, не дождав-шись ответа, сообщил: — У меня ведь, Дарья Николаевна, перемена в жизни... Отправил я бывшую свою супружницу в деревню... Ни доходу от ней, ни приплоду. Теперь до Святейшего синода дойду, а своего добьюсь... — И, помолчав, спросил еще раз: — Надумала?

— Да чего ж думать? — неожиданно громко сказала мать, с гневом подняв пятнами покрасневшее лицо. — Что я — басурманка какая, что ли?!

Вообще, еще до этого случая, я заметил, что с появлением в нашем доме Петра Максимилиановича мама как бы выпрямилась, поднялась, с лица исчезла та монашеская скорбность, которая часто пугала меня, разгладились морщинки на лбу и в углах губ.

Не в силах унять дрожь в коленях, я встал и шагнул к столу. Я чувствовал, что и мама и Оля с беспокойством смотрят на меня.

— Вы бы ушли отсюда, Савел Митрич,— сказал я, с ненавистью глядя в дрожащий тоскливый глаз. Еще секунда — и я бросился бы на Мельгузина и вцепился бы пальцами ему в горло.

Он встал, несколько секунд испуганно смотрел на меня.

— Однако... щеночек-то в большую собаку вырос...— медленно произнес он.

В этот момент вошел Петр Максимилианович. Он, как свой человек в доме, коротко поздоровался с порога и стал раздеваться.

Сашенька запрыгала в своей кровати.

— Дядя Петя! Дяденька Петенька!

Стасик тоже потянулся к нему, улыбалась и Оля. Мать под пристальным взглядом Мельгузина вдруг покраснела, даже кончики ушей у нее налились кровью...

— Извините,— протянул Мельгузин, до самых глаз напавшая меховой картуз.— Извините.— И вышел, не прощаясь, оглянувшись в дверях на дядю Петю.

— Что за тип? — весело спросил тот, потирая руки и все еще топчась у порога.

— Приказчик с мельницы...

— Ага-а-а...

На другой день меня уволили. Я сначала перепугался: как же будем жить дальше без моего заработка? Но Петр Максимилианович помог мне устроиться на чугунолитейный — у него к этому времени на заводе были довольно крепкие связи.

...На заводе все было так не похоже на мельницу! Полыхали жаром вагранки, сыпались из разливочных ковшей огромные звездчатые искры, сверкая, тек расплавленный металл. Здесь были совсем другие, раньше не знакомые мне люди, сильные своей работой, близостью к железу и огню.

Раскаленные добела болванки, шипя, пронеслись над головами; сверкали, как маленькие солнца в облаках дыма, изложницы. Люди в черных, засаленных и обожженных куртках бесстрашно сновали среди грохота кузнечных молотов, свиста пара, шипения охлаждаемого металла.

Новая работа так захватила меня, что, несмотря на ее физическую трудность, несмотря на всегдашний угар, стоявший в литейке, я несколько дней ходил сам не свой от радости. И мельница вспоминалась мне как далекий и скучный край.

...На Чармыш мы в тот год не ходили — не до того! Только один раз, ранней весной, я сводил Петра Максимилиановича на могилу Надежды Максимовны — она уже поросла травой. На могильном бугорке лежал прошлогодний полураст-

сыпавшийся букет простеньких полевых цветов. Значит, кто-то еще, кроме меня и Юрки, бывал здесь, значит, еще кому-то была дорога память о Надежде Максимовне.

Сняв шапки, мы с Петром Максимилиановичем долго стояли у холмика, потом пошли на берег. Петр Максимилианович был задумчив. Одной рукой собирал мелкие камешки, а другой бросал их в воду на проплывающий в желтой пене лед.

Мы посидели на берегу, слушая, как трутся о берег почерневшие льдины.

## 19. «ВОТ И СВИДЕЛИСЬ, ДОРОГИЕ!»

Всю зиму мы жили очень голодно и трудно — «сидели голодом и холодом», как потом, вспоминая, говорила мать.

Милая моя, добренькая мамка, худая, большеглазая, в тридцать лет седая, она принадлежала к той породе русских женщин, которые останавливают на скаку коней и входят в пылающие дома. Она все бодрилась — в тот год я ни разу не видел у нее на глазах слез. Но только много лет спустя, когда у меня самого появились дети, я по-настоящему понял, сколько нужно святого женского мужества, чтобы улыбаться и петь, убаюкивая голодных детей и согревая их в нетопленной квартире теплом своего тела.

Я тоже слабел: работа в литейке выматывала все силы — работали по двенадцать, а в дни больших военных заказов по четырнадцать часов.

Подсолнышка и Стасик, конечно, многого не понимали. Если их нечем было покормить, они обиженно затихали — на их худые, словно выточенные из кости, лица было тяжело смотреть.

Особенно трудно приходилось Стасику: мальчик он был здоровенький, ел много. Оля украдкой скармливала ему почти все, что давала ей мать.

Сама она похудела больше всех, только одни глаза, ставшие еще более зелеными, жили на ее лице. Да губы, пожалуй, милые, нежные, в уголках которых уже затаилась скорбь.

— Ты же так умрешь, Ольга, — сказал я ей однажды, когда она легла спать голодная.

— Нет, — ответила она чуть слышно. — Я на мельнице муку ем.

Голодали не мы одни, голодали многие, хотя рядом, на мельничных складах, лежали десятки тысяч пудов муки и зерна.

Почти каждый вечер мы ложились спать голодные, попив на ночь горячей воды, которую мама называла чаем. Оля

разлиwała этот «чай» кружкой из чугунка. Мы пили кипяток и мечтали о времени, когда вернется отец, мечтали о том, как снова будем жить вместе, когда выпустят из тюрьмы дядю Петю — его в начале зимы опять посадили в тюрьму. Очень не хватало нам этого сильного, веселого человека — с ним даже голодать было легче.

Вот в один из таких вечеров в начале марта к нам и пришел еще раз Савел Митрич Мельгузин. Вероятно, прежде чем войти, он долго топтался у крыльца — вид у него был иззябший и жалкий.

На этот раз был Мельгузин в поношенной, грязно-желтой шубенке, которой я никогда раньше на нем не видел, из ее дыр клочьями торчала грязная шерсть. Перламутровой пуговкой мертво поблескивал из-под татарского, большеухого малахая бельмастый глаз. Через плечо у него был перекинут тяжелый мешок, оттягивавший руку.

Сняв малахай и сунув его под мышку, Мельгузин неохотно, словно по обязанности, перекрестился и только потом, покосившись в мою сторону, повернулся к маме.

— Ты уж прости, Дарья Николаевна... вот... опять пришел,— сказал он. И в живом глазу вспыхнула далекая, неяркая искорка, вспыхнула и сейчас же погасла.

Мать не ответила.

— Тут вот... не обижайся... детишкам...— Мельгузин положил на пол у порога мешок и кротко и грустно посмотрел на Подсолнышку. Потом отвернулся и молча напялил до самых глаз малахай, как будто боялся быть узнанным на улице.— Ну, прощай!— И оглянулся на маму с таким выражением, словно видел ее в последний раз.

В тот вечер я не думал, что с этим ненавистным мне человеком может произойти что-нибудь трагическое, и с нетерпением, с дрожью в руках ждал, когда он уйдет.

— Прощай,— сказал он маме еще раз.— Не поминай лихом. Теперь Данил твой скоро придет.

— Как — придет? — Мама рванулась к порогу, но у нее сразу пропали силы, она не села, а повалилась на табурет.— Как... придет?

— А вот этак, ножками,— с кривой улыбкой ответил Мельгузин.— Теперь им всем, которые против царя,— прощение... и кто бунтовал, и кто на него, на венценосца нашего, руку с топором подымал, всем...— Несколько секунд в комнате было совершенно тихо.— Иы-э-эх! — вдруг визгливо вздохнул Мельгузин и заплакал, судорожно подергивая левым плечом.— Отрекся от нас батюшка... начисто... да и кто же не отречется, ежели все, как есть, до одного — подлецы?! Божя мой, что же это теперь будет? — Он вытер кулаком сле-

зу со щеки и, застыдившись, сморкаясь в грязный платок, ушел.

В мешке, оставленном им, оказалось около пуда белой муки крупчатки. Мама подняла мешок на табурет, отвернула его края и, погрузив руки в нежную, белую пыль, болезненно улыбалась, глядя вдаль невидящими глазами.

— Дань, там чего? — шепотом спросила Подсолнышка.

— Мука.

— Из которой хлебушек делают?

— Да.

Она засмеялась, захлопала в ладоши.

— Лепешек хочу! Мамочка, вкусненьких!..

Мама покачала головой, отгоняя раздумье, бережно отрянула с пальцев муку.

— Оленька, затопи печку.

Через полчаса, сидя перед плитой на табурете и все тем же странным взглядом глядя перед собой, мама пекла на маленькой сковородке пресные лепешки. В комнате пахло так вкусно, как не пахло давно. Скоро Подсолнышка и Стасик, не дождавшись, когда лепешки остынут, перекидывая их с ладони на ладонь, обжигаясь, ели. А потом и мы, взрослые, хлебали вместе с детьми горячую затируху, то есть кипяток, заболтанный мукой. Это было очень вкусно.

Подсолнышка и Стасик, наевшись, смеялись счастливо и громко и скоро, опьянев от еды, уснули. Глядя на них, и мама и Оля улыбались, но была в улыбке обеих сдержанная грусть. И для меня во всем этом ночном празднике было что-то грустное и неприятное. Наверное, потому, что эту муку принес Мельгузин. Я ел и думал: какая все-таки непростая вещь — жизнь!

Помолившись перед иконой, мама погасила свет. Я лег на свою жесткую постель, но долго не мог уснуть.

Мы с Олей спали на полу, недалеко друг от друга, под окном. Когда Оля засыпала, я слышал ее сонное дыхание, а иногда во сне она откидывала руку и касалась меня. Но в ту ночь и Оля не спала — я слышал это по ее вздохам, по тому, как она ворочалась с боку на бок. Потом глухо, уткнувшись в подушку лицом, заплакала.

Я протянул в темноте руку, нащупал худенькие горячие пальцы девочки — они мелко-мелко дрожали. Я пожал их, они слабо шевельнулись в моей руке и затихли. Так мы и заснули.

Утром следующего дня мы узнали, что Мельгузин повесился у себя в пустом доме, повесился в переднем углу, сняв для этого с крюка тяжелую лампаду.

Когда за ним пришли с мельницы, лампада стояла на столе и еще теплилась.

В то же утро к нам как ветер ворвался Петр Максимилианович, небритый и веселый. Он бросился к маме, подхватил ее, закружил по комнате, звонко поцеловал в обе щеки.

Мама смутилась, покраснела и, когда Петр Максимилианович опустил ее на пол, торопливо отвернулась к плите. А он схватил Подсолнышку, тоже поцеловал и принялся подкидывать к потолку, выкрикивая:

— Ура! Свергли! Свергли... кровопийцу! Скоро папка Подсолнышкин придет! Амнистия политическим!

Я еще никогда не видел дядю Петю таким возбужденно-радостным, таким веселым. Он все подбрасывал Подсолнышку, и она, жмурясь от страха и удовольствия, повизгивала и смеялась.

— У-ух, хорошо! — кричал Петр Максимилианович.

И вдруг затих, доброе лицо его потемнело. Он посадил Сашеньку на постель и отошел к окну. Вероятно, думал о Надежде Максимовне, жалел, что не дождала...

— Неужели? — спросила мама, не поднимая головы.

— Конечно! — Дядя Петя повернулся от окна, улыбнулся. — Конечно, правда, Даша! — И заторопился, схватил шапку. — Побегу! Вечером приду, расскажу подробно...

Завод и мельницы не работали.

Мы с Юркой и Ленькой весь день бегали по улицам, помогали только что организованной рабочей милиции ловить переодетых городских, потом отправились к Тюремному замку.

Толпа рабочих и женщин вела нам навстречу последних заключенных, четверых из них несли на руках. Некоторое время и мы шли с этой толпой, а потом вернулись к тюрьме — очень уж хотелось побывать внутри.

Проржавленные железные ворота были распахнуты. Пустой, мертвый, без деревца и кустика, двор лежал за воротами, как каменный пустырь. Мы постояли у порога, не сразу решившись войти. Я думаю, что мои товарищи, так же как я, вспоминали Овода, двух повешенных сормовцев, дорогую нашу Джемму, погибшую в одном из этих казематов.

Никого, ни одной души не было в тюрьме, и мы осторожно, боясь нарушить тишину этого страшного места, переходили из камеры в камеру, из коридора в коридор, присматриваясь ко всему...

В одиночках темнели привинченные к стенам низенькие кровати, железные столики величиной с носовой платок. Отвратительным смрадом несло от стоявших у дверей параш. Маленькие оконца светились высоко вверху, в эти окошки не было видно неба.

Сколько людей прошло через эти камеры, сколько здесь передумано дум, сколько похоронено надежд...

На кирпичах и штукатурке стен во многих камерах виднелись выцарапанные надписи, имена, цифры, буквы... Бóльшая часть их неоднократно затиралась, замазывалась, вероятно тюремщиками, но наиболее глубокие проступали сквозь краску и мел, их можно было прочесть, иногда — угадать.

И вот, разбирая надписи, в одной из камер в подвале мы увидели буквы НМР, чем-то тонким и острым, должно быть иглой, выцарапанные на стене.

Были ли это инициалы Надежды Максимовны Рощиной — кто знает? Но через два часа мы привели в эту камеру Петра Максимилиановича, и он, сняв шапку, долго стоял перед надписью, которая была последней весточкой, дошедшей в мир живых от погибшего человека.

...Мы вернулись в город подавленные, но то, что творилось на улицах, сразу разогнало тоску.

Вместе с рабочими завода и мельниц, с машинистами и кочегарами мы ходили по улицам с красными знаменами, пели «Марсельезу», слова которой давно знали, до потери голоса кричали: «Да здравствует свобода!» — не представляя себе, что до настоящей свободы еще много боев и жертв.

Опять помогали ловить по чердакам и подвалам полицейских и жандармов, разбежавшихся по всему городу тюремщиков.

Помню, освобожденные из тюрьмы заключенные очень хотели поймать палача из Тюремного замка, того, кто, по двадцать пять рублей «за голову», вешал приговоренных к смерти. Если бы его нашли, его, вероятно, убили бы без всякого суда. Но ему удалось уйти. Жандармского офицера, который производил у нас последний обыск, схватили на окраине переодетым в женский салоп, укутанным в женский платок, — в таком виде, сбрав свои щегольские усыки, он пытался скрыться из города.

В участках камнями вышибали стекла, на площади жгли бумаги полицейского управления. Кирпичами сбили с фронтона городской управы посеребренного двуглавого орла. Огромные, в золоченых рамах портреты Николая и императрицы выкинули из окон управы на тротуар. И мы ходили по ним, стараясь наступать обязательно на лица. Это было и весело и поначалу немного страшно...

То и дело вспыхивали митинги, каждый говорил свое. В нашем городке было порядочно эсеров и меньшевиков — они разглагольствовали особенно много и горячо, и именно они вскоре стали самыми ярыми врагами революции.

Со дня на день мы ждали возвращения отца, но никто из

нас не ждал его с таким нетерпением, как Подсолнышка. Стоило кому-нибудь снаружи взяться за скобу двери или чьим-то шагам прозвучать на ступеньках крыльца, как Подсолнышка вся настораживалась.

К нам в те вечера справиться об отце приходили многие: и дядя Коля, и рабочие с завода, из депо, с мельниц,— только тогда я увидел, каким уважением и любовью пользовался он среди своих.

И вот — вернулся!

Было это вечером. Петр Максимилианович с Сашенькой на руках ходил из угла в угол, веселыми глазами поглядывая на споривших у стола. Потом, не отпуская Подсолнышку с рук, тоже присел к столу, вытащил из кармана газеты. На них сразу набросились — шуршащие бумажные листы пошли по рукам. Все притихли.

Кто-то начал громко читать вслух. И что удивительно: с тех пор прошло сорок лет, а я до сих пор от слова до слова помню то, что читали, хотя это была всего-навсего статья какого-то кадетствующего профессора,— я узнал об этом, конечно, позже. Громко и значительно звучали в напряженной тишине слова:

— «...Драгоценные дары народа бессовестно растрачивались преступными временщиками, облепившими трон малодушного монарха. Во главе русского правительства в критическую минуту национальной истории просками придворной клики ставились жалкие бездарности, вроде Горемыкина и Голицына...»

Слова падали в тишине, как камни. Я примостился у печки рядом с Олей. Она смотрела на читающего напряженным взглядом, нежная голубая жилка билась на ее худой шее.

Люди сидели у стола тесно, вплотную друг к другу, поэтому в комнате было полутемно. Я прикоснулся к плечу Оли рукой, она повела плечом нетерпеливо и сердито.

— Не мешай!

И опять звенели в тишине слова:

— «...Измена и предательство гнездились в царских покаях. Наглый шарлатан из полуграмотных сибирских мужиков возвысился до роли наперсника взбалмошной немецкой принцессы, презирующей Россию и русский народ. Распутин назначал и увольнял министров. И Россия в ужасе отшатнулась от этого видения разврата и бесчестия...»

Чуть скрипнув, отворилась дверь. Никто не слышал этого, никто не оглянулся. И только мне из полутьмы была видна появившаяся в дверях фигура в коротком пиджаке и лохматой сибирской шапке.

Я еще не узнал отца, но почему-то встал. И, когда он снял



шапку, я закричал: «Па-а-а-па!» — и бросился к нему. Обхватил за шею, повис и заплакал.

В комнате началось что-то невообразимое: все говорили и кричали разом. Мать, обняв отца, целовала его быстрыми, стремительными поцелуями, будто боялась, что он уйдет, исчезнет, целовала куда придется — в щеки, в подбородок, в шею.

— Даня... родненький мой...

И Подсолнышка, сияя глазами, тянулась с рук дяди Пети к обросшему, худому отцу.

— Я же говорил, скоро свидимся! — сказал отец, беря на руки Подсолнышку. — Вот и свиделись, дорогие!

## 20. ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Для меня первые недели после Февральской революции пронеслись как в странном, горячечном сне, как в дыму.

Все смешалось: митинги, манифестации, крики: «Долой войну!» и «Война до победы!», крики: «Да здравствует Правительство Спасения!» и крики: «Долой десять министров-капиталистов!», надписи на полотнищах: «Привет Ленину!» и «Вернуть Ленина Вильгельму!», разгром кичигинской и карасевской лавок, голод, голод и опять голод, ночные перестрелки и убийства на улицах, и опять митинги...

Неповторимость тех дней для меня особенно подчеркивалась близостью отца. Раньше, до возвращения отца, мне казалось, что придет он с каторги — и все сразу переменится: мы будем богато и хорошо жить и даже Подсолнышка сразу станет здоровой. Но отец вернулся, а мы продолжали жить в том же барутинском бараке и так же впроголодь, как жили последние два года войны, выстаивая по несколько часов в хлебных очередях. Не было ни соли, ни сахара — ничего, по чему мы так стосковались за годы войны. И так же болела Сашенька, и одеты мы были в лохмотья.

Опять работали мельницы и завод. Опять по утрам тянулись по знакомым тропкам и улицам вереницы полуголодных людей, чтобы на весь день стать к станкам, к паровозным топкам и на погрулочные мостки.

И мне, как и раньше, приходилось с утра до вечера дышать смрадом и гарью литейки. Мы тогда отливали колеса и вертлюги для пулеметов «максим», и работал я на разливе. И если раньше меня увлекал сам процесс литья, то теперь за каждой опоклой, в которую мне приходилось заливать металл, как бы незримо стояли неизвестные мне люди, которые в те дни умирали на фронте.

В нашем городе тогда было много пленных. На вид они

казались обыкновенными людьми — не верилось, что это они потопили «Лузитанию» с тысячей пассажиров на борту и госпитальное судно «Португалия» с ранеными солдатами, что это они выкалывали нашим солдатам глаза и убивали детей. И постепенно подвиги легендарного Кузьмы Крючкова и других наших героев и даже подвиг французского авиатора Роланда Гарро, протаранившего своим самолетом немецкий цепелин и погибшего при этом, перестали мне казаться подвигами.

Отец стал все меньше бывать дома: большевики выбрали его своим представителем во Временный комитет, и он все дни проводил на собраниях, ссорясь с меньшевиками и эсерами, требуя помощи хлебом голодающему населению. Два раза в него стреляли из-за угла.

А потом, прежде чем уйти совсем в подполье, после разгрома июльской демонстрации в Петрограде, комитет РСДРП послал его на работу в деревню. Бывший батрак, он прекрасно знал интересы и нужды беднейшего крестьянства, которое надо было подготовить к решительной борьбе против Временного правительства, к Октябрьским боям.

Октябрьская революция прошла в нашем городе, как тогда говорили, «малой кровью». Буржуазия и помещики, все эти тегины, барутины и кичигины, разбежались, эсеры и меньшевики притаились.

Но, когда в Сибири восстали против Советской власти отпавлявшиеся на родину чехословацкие эшелоны, когда «верховный правитель» адмирал Колчак, собрав под свои палацкие знамена всю контрреволюцию, двинулся на запад, когда в Самаре было организовано Учредительное собрание и большинство городов Среднего Поволжья заняли белые, тогда и в нашем городе произошли события, незабываемые по своей бесчеловечной жестокости.

## 21. «БУДЕТ СДЕЛАНО!»

После Октября мы перебрались из барака в огромный особняк на Большой улице, принадлежавший помещику Дедилину, бежавшему из города.

Это был дом со множеством комнат, с большим залом, где лепной потолок подпирался колоннами и арками, а стеклянную корону над парадным входом держали на плечах два мускулистых бородатых атланта.

В доме были широкие мраморные лестницы, на площадках стояли бронзовые рыцари с алебардами в руках. В комнатах

от пола до потолка поднимались зеркала, на картинах нестерпимо синее море билось о береговые утесы и томно улыбались изящные дамы с обнаженными плечами.

Мама вначале никак не хотела туда переезжать:

— Чужое же, Даня! За всю жизнь чужой нитки не взяли!

Но отец только смеялся:

— Наше! Все нашими руками, нашим потом сработано.

В дедилинский особняк переехали вместе с нами десять семей.

Первое время Подсолнышка целыми днями ходила по залу от зеркала к зеркалу, кокетливо рассматривала себя и чуть слышно смеялась. Это нас всех очень забавляло.

В свободную минуту, взяв Подсолнышку на руки, отец бродил с ней по залу, останавливался перед картинами и зеркалами.

— Ну, дочка, нравится тебе здесь жить? — спрашивал отец.

— Нравится. — Солнышка задумывалась и потом спрашивала что-нибудь неожиданное, свое: — Пап, а в буржуевых во всех домах такие зеркала? И пол во всех домах клеточками?

— Нет, доченька, не во всех. В некоторых.

— Значит, этот дом — некоторый, — глубокомысленно говорила она.

Один раз спросила:

— Пап, а нас скоро отсюдова выгонют?

Отец нахмурился, не ответил.

И, когда под грохот белогвардейских орудий мы покидали дедилинский дом, отец больше всего жалел об этом из-за Подсолнышки: после такого великолепия тяжело было переезжать в подвал, где на стенах зеленели пятна плесени и ползали мокрицы.

Возвращаться в барутинские бараки, где нас все знали, отец не решился: по слухам, белые, занимая города, целиком уничтожали семьи коммунистов. И мы переехали на Тюремную сторону.

Бои шли на подступах к городу — от орудийных раскатов с утра до вечера звенели в окнах стекла.

Отец и Петр Максимилианович были где-то у вокзала, руководили обороной. Мне не терпелось оставить все и побежать к ним.

Но отец, уходя, велел сидеть дома. Да и Подсолнышка с неожиданной настойчивостью цеплялась за меня — крупные, как горох, слезы катились по ее щекам. А я никогда никого так не любил, как этого маленького, ясноглазого, больного человечка.



Белые наступали на город большими силами, с орудиями, с пулеметами, с броневином, а у рабочих дружин были только винтовки, да и то мало.

Уже к полудню второго дня боев колчаковцы заняли вокзал и кладбище и, выкатив на кладбищенские аллеи свои трехдюймовки и срубив несколько мешавших им лип, принялись обстреливать город. Все чаще рвались на улицах снаряды. И скоро черный шлейф огромного пожара, роняя на дома искры, потянулся над городом.

Перед тем как наши отступили за город, к Святому озеру, отец забежал на несколько минут домой. В кожаной куртке, с винтовкой за плечами, грязный и запыхавшийся, он торопливо обнял маму, Подсолнышку, на секунду прижался щекой к ее голове.

Положил на стол полбуханки хлеба и банку солдатских консервов. На дворе его ждали, и кто-то нетерпеливо стучал ногой в переплет рамы.

— Ну ладно! — сказал отец. — Вернемся... Данил, береги их! — и пошел к двери.

В первые же два дня белые расстреляли и замучили в нашем городе больше двух тысяч человек — в штабе охраны, в тюрьме и контрразведке, просто на улицах.

На площадях валялись трупы — под страхом смерти их не разрешалось убирать. На деревьях в городском саду висели тела членов ревкома Климова, Назарова и Ключевой, оставшихся для связи в городе.

Мы все это время жили в ожидании расправы. Мама вздрагивала и бледнела от каждого громкого звука за окном — при перестуке копыт, при выстрелах, при крике. На ее измученное лицо страшно было смотреть.

На третий день, уже в сумерки, к нам зашла сгорбленная старушка нищенка, в черном монашеском платке, с холщовой сумой и длинной клюкой в руке. Долго и истово крестилась на пустой передний угол, глядя из-под платка глубоко провалившимися темными глазами.

— Подайте милостыню, Христа ради...

В доме ничего не было, кроме куска хлеба для детей, и мать пригласила нищенку попить «чаю». Кряхтя и крестясь, старуха положила на пол у порога свою суму, прошла. У нее было темное, иссеченное глубокими морщинами лицо и старушечий, выдающийся вперед подбородок.

Держа на длинных растопыренных пальцах блюдечко и дуя на «чай», нищенка глотала кипяток и не спеша рассказывала о том, как свирепствуют по селам каратели. Деревню Каиновку, за уклонение от объявленной белыми мобилизации, «постреляли насквозь из орудиев, а опосля сожгли».

— И еще, вишь, приказ вышел: нам же платить за это смертоубийство! За бомбы то есть...

— А люди где же? — спросила мамка.

— Да ведь которых жизни не решили, по лесам хоронятся...

Выпив две кружки «чаю», нищенка опять долго крестилась на пустой угол. Меня смущал ее пристальный взгляд. Она как будто все время прицеливалась в меня своими темными, запавшими глазами. Покрестившись, она неожиданно повернулась ко мне и спросила:

— Звать-то Данилой?

— Да-а-а...

— Грамотной?

— Да-а.

Ушла к порогу, порылась в суме и вытащила небольшой кусок хлеба. Разломив его, достала сложенную в несколько раз бумажку.

— На-ка. Читай.

Я взял бумажку, развернул и чуть не закричал от радости: от отца!

«Данил! — было написано в ней. — Надо спалить мельничный мост, иначе беляки вывезут из города весь хлеб».

Записку прочитали и мама и Оля. Обе, побледнев, смотрели на меня. А я еще раз перечитал эти двенадцать слов. Значит, отец жив, они борются, и он доверяет мне, как взрослому, как товарищу!

Я порвал записку и бросил ее в печь. Потом я очень жалел об этом: это было единственное адресованное мне письмо отца.

Старуха собралась уходить.

— Спасибо на угощении,— сказала она, кланяясь матери. И опять посмотрела на меня:— Передать чего не надо ли, сынок?

— Скажите: будет сделано!

— Ну, благослови тебя бог...

Комендантский час начинался с восьми. Появившихся на улице позднее расстреливали на месте. И все-таки надо было идти.

Стемнело. Мама сидела у стола и, не говоря ни слова, следила за мной.

Больше всего я боялся, что она начнет плакать и решимость оставит меня, поэтому собирался с суровой торопливостью и молча. Но мама не заплакала, только, когда я уже взялся за скобу двери, поспешно поднялась. Подошла к порогу, крепко обняла меня и перекрестила.

А Оля вдруг сорвалась с места, судорожным движением накинула на плечи темный, оставшийся после матери платок.

— Куда? — спросила мама.

— С ним.

Несколько секунд мама неподвижно смотрела на Олю, потом губы у нее дрогнули, она торопливо поцеловала девочку в лоб, в глаза, перекрестила. Видимо, она испытывала к Оле чувство благодарности — такое же, как испытывал я. С самого получения записки я думал: «Хорошо, если б Оля пошла со мной. Тогда бы я ничего не боялся». А вот теперь, когда она встала рядом, готовая идти, я испугался: а вдруг эту дорогую мне девочку убьют?!

— Вот выдумала! — грубо сказал я, глядя в сторону, боясь, что глаза выдадут меня.— Только девчонок там не хватало!

— Помолчи! — ответила она.

И недетским, женским движением порывисто обняла маму, поцеловала спящего братишку и Сашеньку и сказала мне так, как будто не мне, а ей было поручено это опасное и трудное дело:

— Пошли... Пстой, посмотри сначала...

Неслышно выскользнула на улицу и через полминуты постучала в окно. Я вышел.

Мы долго пробирались задками и огородами, а когда ближе к центру огорода кончились, перебежали со двора во двор, от дома к дому. Мы решили сначала пройти к Юрке и Ленке.

Луна еще не взошла. Ни в одном доме не было света. Город как будто вымер. Где-то далеко, в стороне Святого озера, стреляли, — может быть, это отряд отца отбивался от посланных за ним карателей? Возле рынка горел писчебумажный магазин Лонгера. Позолоченные звезды на куполе церкви блестели, багровые струи света текли и текли по куполу вниз.

Громко, как удары молота по наковальне, стучали в ночной тишине шаги патруля. Солдаты шли по двое, по трое серединой улиц, освещенные пугающим светом пожара. На деревьях висели трупы. Неподвижные, странно плоские тела убитых лежали на мостовой, а камни блестели и под огнем, казалось, шевелились, как живые.

На улицах стало светло. Из-за Калетинского парка поднималась полная оранжевая луна — как будто кто-то огромный и злой с пристальной и холодной жестокостью прицеливался в опустевшую вдруг землю.

На Проломной улице мы чуть не натолкнулись на патруль — он неожиданно вывернулся из-за магазина Кичигина.

Я успел толкнуть Олю в темную глубокую нишу ворот, прижался к ней спиной — на наше счастье, луна освещала противоположную сторону улицы.

Патруль прошел мимо: два пожилых солдата мирно покуривали, один не торопясь рассказывал другому:

— А у нас, браток, на Кубани, винограду этого самого — пропасть... Как это август пристигнет...

Я чувствовал, что у меня слабеет от напряжения тело и подгибаются колени.

Глубоко, прерывисто вздохнула Оля, обняла меня сзади рукой за шею, сильно прижалась головой к моей спине.

— Ну, пошли, — сказала она, когда шаги затихли вдали.

Мы осторожно выбрались из спасительной тьмы и, крадучись, прижимаясь к заборам и стенам, пошли дальше.

До дома Юрки оставалось недалеко.

## 22. НА МОСТУ

Весь следующий день я и Юрка пролежали, притаившись, в зарослях Калетинского парка, наблюдая за движением по узкоколейке.

Это было в конце сентября, но день был теплый, почти жаркий. Чистым голубым зеркалом лежал перед нами пруд.

И мельница на той стороне, и ветлы на берегу, и проходная будка на мельничный двор, и сам мост, по которому зеленый паровозик тащил груженный мешками состав,— все это как будто оставалось прежним и все-таки было другим, не таким, как всегда, все было наполнено тревожным и угрожающим смыслом.

Через наши головы на воду летели желтые листья и, мерно покачиваясь, гонимые почти неощутимым ветром, уплывали под мост. На широких листьях кувшинок сидели пучеглазые зеленые лягушки, мне до зуда в ладонях хотелось набрать камней и распугать их. Но я не двигался, не шевелился и все смотрел сквозь уже подсохшее кружево папоротника, сквозь узорчатую листву малины на мельничный мост.

В течение дня с мельничного двора ушло два груженных состава.

На последней вагонетке сидел усатый казак в папахе и, положив карабин на колени, негромко и тоскливо пел:

Поихав казак на чужбину далеко...  
На вирном своим на кони... вороном...

Никто, кроме часовых, на мосту не появлялся. Белогвардейцы запретили хождение по нему, и теперь, для того чтобы с вокзала попасть в город, надо было огибать Калетинский парк.

— Девятнадцать... двадцать... двадцать одна! — шепотом считал Юрка вагонетки.— Столько хлеба! И как это мы раньше не догадались!

Я молчал: отвечать было нечего. Молчал и думал об Оле, которая вместе с Ленкой пошла доставать бензин. Думал, что белые могут сцапать ее где-нибудь на улице, на базаре и, если сцапают, будут мучить и бить.

— А ты как считаешь, Данька,— Юрка повернулся ко мне,— когда совсем вырастем — будут еще войны?

— Наверно, будут... Помнишь, Надежда Максимовна говорила...

Юрка тяжело вздохнул:

— А жалко ее, правда? Вот бы она нас увидела! Похвалила бы, как думаешь?

— Сам же говоришь: раньше надо было...

— Это — да! — Юрка помолчал немного, но что-то странное происходило с ним: не мог долго молчать. Спросил: — А тебе не страшно?

— А чего же страшного? Вот принесут бензин — он знает у нас как полыхнет! А мы с моста в пруд...

И опять лежали, глядя на понурю фигуру часового, мер-



но шагавшего по шпалам моста. Он все время смотрел под ноги: видимо, боялся оступиться.

— Данька! — Юрка рывком повернулся ко мне. — А ножик есть?

— На что?

— Так ведь шланги порезать надо! Иначе любой огонь заляют — никакой бензин не поможет.

— Верно!

Нож у меня был, надо было достать второй, чтобы перерезать оба пожарных шланга одновременно. С тысяча девятьсот шестого года, когда мост отстроили после пожара, шланги хранились на концах моста в красных деревянных ящиках. Ящики не запирались — это мы знали.

— У Ленки есть нож?

— Наверно.

— Вот его и пошлем на ту сторону.

— А как же он с одной-то рукой?

— А больше кому же?..

Через час зеленый паровозик проташил с вокзала на мельницу пустые платформы. Усатый казак, сбив на затылок папаху, облокотился грудью на заднюю стенку вагонетки и хмуро смотрел на чужой ему город.

На этот раз мы заметили и второго белогвардейца, в офицерской форме. С папироской в зубах он стоял в будке паровоза рядом с машинистом.

— Видишь, Юрок?

— Вижу.

Солнце перешло на западную половину неба и светило теперь прямо в глаза, мешая смотреть.

Стало жарко, хотелось пить и спать. Сказывалась ночь без сна; я задремал. Приснилась странная, вся пронизанная солнечным светом ерунда. Будто рыбачим мы на Чармыше и Оля подолом юбки ловит под корягой пшеничные лепешки. А потом приснилось, что мы с ней опять пробираемся по мертвым, безлюдным улицам, а на стенах пляшут отсветы пожара.

Проснулся я со ртом, полным слюны, с головной болью. Юрка лежал, положив подбородок на скрещенные на земле руки. Увидев, что я проснулся, он повернулся на спину, долго смотрел в небо. Вдохнул, сказал:

— Вот вырастет, Данька... и везде будет Советская власть... никаких буржуев не будет, а все рабочие будут богатые... Правда?

— Ясно, — сонно ответил я.

— И хворать, как твоя Сашка, никто не будет... И обижать друг друга не будут... И нищих не будет... И в магазинах

будет все, что хочешь,— приходи и бери... Тогда, наверное, куда захочешь, туда и поехал без всякого билета. А? Ты бы куда?

— Я бы — в Индию. А потом еще на эти... на острова... на Гавайские...

Сзади послышался негромкий условный свист — вернулись Оля с Ленкой. Стараясь не задевать кусты, мы отползли в глуть парка.

Ленька сидел на корточках и, сморщившись, выдирает из своей шевелюры репьи. На его веснушчатом носике блестели капли пота. Оля неподвижно лежала рядом с Ленкой, уткнув лицо в желтую, недавно опавшую листву. Можно было подумать, что она спит. Ей, наверное, как и мне, хотелось спать: ночью не сомкнула глаз.

— Ну? — нетерпеливо спросил Юрка.

— Вот! — Ленька торжествующе показал на тряпицу, из которой, матово поблескивая, торчали три бутылочных горлышка.

— Где взяли?

— У Титихи. Она на базаре для зажигалок продает. Сначала — ни в какую... «А чем, говорит, я орду мою кормить буду?» А когда мы рассказали — даже заплакала. «Милые вы, говорит, голуби сизые... А ежели они поубивают вас на мосту?»

— Ну?

— А Оля: «Пусть убивают! Зато люди с голоду помирать не будут, когда этих сволочей выгонят...»

— Молодчик, Оля! — похвалил Юрка.

Оля устало поднялась, сунула руку за пазуху и вытащила кусок хлеба.

— Вот... это вам... мы с Ленкой ели.

Хлеб был теплый от ее тела. Я немного поел, но есть сразу все стало жалко. Я вернул оставшийся кусочек:

— Не хоч.

Она вскинула на меня свои горячие, повлажневшие глаза и, тотчас же опустив их, взяла хлеб... Потом, уже в тюрьме, вспоминая о ней, я подумал, что так и осталась эта корочка у нее за пазухой...

Мост мы подожгли сразу в трех местах уже под утро, когда часовой устал ходить и, остановившись у мельничного берега, задумался, опершись на перила.

Осторожно, боясь выдать себя, мы по пояс в воде выбрались из парка. А за час до этого Ленька ушел через лаз в Вокзальном переулке — обрезать на мельничной стороне пожарный шланг.

Ночь была прохладная. Над прудом тянулись белые нити тумана. До восхода солнца было еще далеко, но уже начала

таять та чернильная ночная тьма, которая так обычна в наших местах в сентябре после захода луны.

Город спал, глухая мертвая тишина наполняла его улицы.

Мне вспомнилась афиша «Таинственной руки»: над городом, утопающим в сиреневых сумерках, распростерлась зловеющая пятерня, готовая задушить все живое.

Сходство между городом на афише и нашим городом заключалось не в красках, не в рисунке домов или улиц, смутно видимых в предрассветной мгле, а в тревоге, которая стискивала сердце при взгляде на него. Тишина — только на вокзале гудели без конца паровозы...

Стараясь не зашуршать кустарником и травой, не плеснуть водой, мы выкарабкались на берег и на несколько мгновений притаились, прислушиваясь. Все было спокойно: та же гнетущая тишина обнимала город.

— Подождите,— шепнул Юрка, доставая нож. И, согнувшись, побежал в сторону ящика со шлангом.

А через десять минут, ступая по-кошачьи неслышно, он вернулся и пошел в дальний конец моста, туда, где, освещенный красноватым светом фонаря, дремал часовой.

За Юркой, плотно прижимаясь к перилам, двинулся я — мне предстояло дойти до середины моста. А уж за мной шла Оля. Страх за нее охватил меня. Когда мы поднимались по откосу насыпи к мосту, я попытался остановить ее.

— Дай бутылку... я сам...— шепнул я.— Успею в двух местах.

Она молча оттолкнула меня.

Стало светлее, но туман сделался гуще. Смутно видимая, шагах в двадцати от нас, двигалась по мосту тень Юрки.

Оля осталась у начала моста, я пошел дальше. Добравшись до середины, присел на корточки, поставил рядом бутылку и дрожащими пальцами вытащил из кармана спички.

Руки не слушались, я боялся, что опоздаю, не успею вылить бензин и поджечь, что-нибудь помешает.

И вдруг услышал тоненький, жалобный, заячий вскрик. Мы так и не узнали никогда, что произошло с Ленькой,— вероятно, часовой заметил его.

И почти в тот же момент во весь голос закричал Юрка, хотя кричать ему не следовало, вероятно со страха или чтобы подбодрить Леньку.

Тонко звякнуло стекло разбитой бутылки, ослепительным снопом вспыхнуло пламя. И сейчас же темная тень метнулась через перила. По всплескам я догадался, что Юрка плыл к парку...

Тогда и я, еще раз оглянувшись на неподвижный и едва различимый силуэт Оли на другом конце моста, с размаху

швырнул бутылку. Холодные капли брызнули мне на руки, на босые ноги.

Руки у меня дрожали все сильнее. Первая спичка, которую я с трудом зажег, погасла. Тогда я присел на корточки, зажег вторую, дал ей разгореться и уж потом швырнул ее на осколки бутылки, в темную лужу, растекавшуюся по брусьям.

Вспыхнуло пламя. Все кругом стало непроницаемо темно.

Я вскарабкался на перила, хотел прыгнуть в пруд, но тут услышал голос Оли. Там, где осталась девочка, тоже поднимался столб пламени, и за этим пламенем она кричала.

И, вместо того чтобы прыгнуть в воду и плыть к парку, как было условлено, я побежал назад. И, когда я был возле Оли, раздались выстрелы.

Это был, видимо, случайный патруль, который, обходя город, услышал шум на мосту.

Когда я спрыгнул с перил, Оля лежала, подмяв под себя правую руку, запрокинув голову. В двух шагах от нее бушевало пламя.

Я приподнял ее, потащил от огня.

— Больно-о... Пусти-и...

Рукам стало тепло и мокро,— я не сразу догадался, что по ним течет кровь.

Оля становилась тяжелее с каждой секундой, я тащил ее к берегу, напрягаясь из последних сил.

Каблуки ее ботинок громко стучали по шпальным брусьям.

— Потерпи, сейчас...— бормотал я.

Внезапно кто-то ударил меня сзади и обхватил за шею. Я рванулся, выпустил Олю, стараясь укунить державшую меня руку. Оглянувшись на мгновение, увидел искаженное злобой, освещенное прыгающим светом бородатое лицо.

— Девку тащи! — крикнул кто-то с берега из темноты.

— Пушай горит, сука! — прохрипел в ответ тот, который держал меня.

Меня волокли по мосту, отступая перед надвигающимся огнем, тащили и били, и во рту у меня было солоно, и десны резали осколки выбитых зубов. Бросили меня у начала моста, там, где валялись куски искромсанного Юркой пожарного шланга. Я лежал, плача от боли. И вдруг услышал — на мосту закричала Оля:

— Ма-а-ма!

Шатаясь, я встал, рванулся туда, к мосту, где на фоне пламени металась темная фигура людей, пытавшихся погасить огонь. Но меня ударили сзади, и я опять полетел на землю. Земля пахла мазутом и тиной.

Кто-то сильно пнул меня в бок:

— Встань, гад!

Я лежал.

— Поднять!

Чьи-то руки подхватили меня, встряхнули. Прямо перед собой я увидел нервно вздрагивающее худощавое лицо с черными усами, с ярко-красными губами. Офицер смотрел на меня с такой ненавистью, что у меня похолодела спина.

— Кто послал? — спросил он сквозь зубы.

Я не ответил. В это время на мосту снова застонала Оля, и я опять рванулся туда.

Офицер усмехнулся:

— Жалко?

— Этого краснюка тоже не мешало бы поджарить малость, — громко сказал кто-то за моей спиной. — Тогда скажет...

— И так скажет!

Офицер повернулся к пылающему мосту.

Мне скрутили руки назад, связали ноги и швырнули в кузов автомашины. Прижимаясь щекой к доскам, я лежал и вслушивался в голоса людей на мосту. Через несколько минут казаки приволокли из парка избитого до полусмерти Юрку и тоже швырнули в кузов.

### 23. «ЭТО ОНИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЛЮТУЮТ...»

Нас отвезли в Тюремный замок.

Как сквозь сон помню — тащили по коридорам и били чем-то тяжелым и тупым по голове. Потом распахнулась темная дыра двери, оттуда пахнуло тленом и плесенью.

Меня поставили на пороге и толкнули с такой силой, что я пролетел через всю камеру, ударился о противоположную стену и только тогда упал.

Сколько я пролежал без сознания — не знаю.

Очнулся оттого, что к моему разбитому, пылающему лбу кто-то прикладывал влажную тряпку. Тряпка остро пахла плесенью и чуть-чуть камнем. Но прикосновение все же было приятно: оно освежало. И сразу до спазм в горле захотелось пить.

Я пошевелился, повернул голову.

Тусклым красноватым пятном горела в квадратной фрамуге над дверью керосиновая лампа.

Негромкий, спокойный басок спросил из темноты надо мной:

— Отошел чуток?

Едва освещенный тусклым красноватым светом, падающим из фрамуги, на полу возле меня сидел большой борода-

тый человек, немного напоминающий Петра Максимилиановича, такого, каким он пришел с каторги. Лица разглядеть я не мог.

— Испить хочешь? — спросил бородатый. Глаза его синевато блеснули в полутьме. — Так ведь нету, милый, водицы. Тряпочку, я ее вон в углу намочил, в калюжине — со стен текет. Ну, ежели пососать тряпку-то — легчает... Спытай-ка...

Он провел по моим губам тряпкой, и мне действительно стало легче. Я закрыл глаза, и перед ними снова вспыхнул огонь пожара, и я опять потащил Олю по мосту...

— За что они тебя? — из какой-то далекой дали спросил голос бородатого.

— Мост сожгли... на мельницу...

— А-а-а! — с удивлением протянул он. — За это, конечно, положено. Это им нож в горло... — Помолчал, вздохнул: — Эх, покурить бы... напоследок... У нас, в Каиновке, скажу я тебе, во всех дворах самосад первеющий... Да-а... Сам-то чей?

Я назвал свою фамилию.

— Данил Никитича?

— Да.

— Вон что!.. Знаю, как же... В июле, в самую страду, к нам в Каиновку приезжал... от большевиков... Все обсказывал. Землю, дескать, крестьянам. И чтобы никакой войны. Ну, а нам чего же еще?.. Землю-то у нас всю богатеи захапали. У нас их, мироедов, двое: Степанов да еще Паршин Гаврил. Всю как есть землю под себя постелили. Бедняку онучи посушить выкинуть некуда...

Он долго молчал, словно прислушиваясь к звону капель, падающих на каменный пол. Потом продолжал:

— Приехал твой отец, значит, к нам и третьего дня... «Что же, мужики, говорит, до каких пор терпеть будете? Иль вас не касает, что в соседнем селе баб да детишек каратели из пулеметов мертвят? Чего ждете?» Ну и поднялись все...

Падали в тишине капли, и перед моими глазами лилась вода с мельничной плотины и расстилались голубые просторы Калетинского пруда... Я спросил, не открывая глаз, с трудом разжимая запекшиеся губы:

— А вы, дядя, большевик?

— Я-то? А как же, милый... У кого за народ душа горит — обязательно большевик... Нету ему другой пути. Вот и ты, видать, той же стежкой пошел... — Он опять помолчал и опять вздохнул. — Боже мой, до чего же покурить охота.

По коридору глухо и тяжело протопали шаги, на секунду вспыхнуло в двери желтое отверстие волчка.

— Глядят! Всю ночь глядят! — усмехнулся бородатый. — А чего глядеть? — Он что-то поискал у себя в кармане и сунул

мне в руку мягкий, липкий комок. — На-ка... Мне теперь хлеб ни к чему... доел я на земле свою долю... Хлебушек-то, конечно, с лебедой, бедняцкий. А ежели горчит больно, так это еще от самосаду — в карман прямо насыпал, без кисету. Ешь...

Хлеб действительно был горький, вязкий, как глина, — глотать его было трудно. Да и голода особенного я в те минуты не чувствовал — может быть, потому, что очень многое пришлось за последние сутки пережить. Я лежал с полужакрытыми глазами и словно сквозь сон слушал глухое бормотание соседа.

А он, вероятно, и не интересовался тем, слышу я его или нет, просто думал вслух, говорил сам с собой, в последние, еще принадлежавшие ему часы жизни перебирал в памяти самое дорогое, что приходилось ему оставлять на земле.

— Детишек у нас с бабой было семеро, ну троих господь прибрал еще по малолетству... одного даже окстить не успели, так без имени и помер... может, и к лучшему... а двух девчоночек хворь какая-то скорая пристигла, не успели мы с Фисой и оглянуться — мертвенькие... И то спасибо сказать можно, — намаялась бы теперь одна, без пахаря... Старшему мальчонке в прошлом годе на зимнего Миколу пятнадцатый пошел, да и тощий он, слабосильный, какой из него пахарь... Да и пахать не на чем... Была кобыленка, всю жизнь на нее деньги по пятку копил, — в царскую службу взяли — воевать, вишь, германца не на чем... Ох, боже ты мой, покурить бы маленько...

Он долго молчал, опустив на грудь тяжелую бородатую голову, потом вздохнул, посмотрел в крохотное, едва различимое пятнышко «волчка» в двери.

— И вот скажи ты, как все безо всякой, можно сказать, справедливости происходит... Только теперь бы и жить... Мироедов наших, Паршиных там да Степановых, революция под самый корень порезала, нету им теперь никакого дыхания. Земля, значит, определяется простому народу, трудящему, паши ее, матушку, сей, всё как есть по Ленину, по жизни... Только бы, говорю, и жить... А тут — вот, на! И как это они меня, гады, осилили? Я уж, знаешь, парень, и кулаками от них, и зубами — нет, не одолел. Без малого с десятков их на меня навалилось... — Он долго молчал, с хрипом дыша. — И до чего же помирать мне сейчас невозможно, прямо слов никаких нету... Первое дело — земля... А второе — ну как же Фиска одна с ними, с четырьмя-то ртами, совладает, как их к жизни определит? А? — Снова тяжело вздохнул, почесал под пиджаком грудь. — Только и надежда вся: не волки же кругом — люди...

Я стиснул в руке хлеб и забылся. И опять — полуявь, полусон, и в нем все, из чего сложилась моя пятнадцатилетняя

жизнь: милые глаза Подсолнышки, строгая ласковость мамки, запах отцовского табака, заросли тальника на Чармыше и тенистые чащи Калетинского парка, милые губы Оли, песни Петра Максимилиановича, грустная улыбка Надежды Максимовны, копоть и гарь литейного цеха...

Разбудил меня грохот засовов.

В светлом четырехугольнике двери стояли два казака в коротких шинелях.

— Кто тут каиновский? Выходи!

— Это за мной,— сказал бородатый и зачем-то принялся застегивать пиджак.— Прощай, значит... Ты их не робь... Это они перед смертью лютуют...

— Кому сказано, красная сволочь?! Выходи сей же час!

— А торопиться-то мне куда?.. К теще на блины? — бесстрашно и даже лениво спросил мой сосед, не спеша поднимаясь.— Успеете, гниды, справить свою палаческую службу...

Опираясь ладонью о стену, он с трудом встал.

— Ногу-то, видать, мне начисто поломали, сволочи... ровно в огне вся горит...

Стоявший в дверях конвойный не спеша достал красный атласный кисет, свернул самокрутку, высек кресалом огонька, закурил. Бородатый с жадностью потянулся к нему, облизнул губы. Закуривший сказал, блестя в свете папиросы выпуклыми красивыми глазами:

— Вроде ты, большевичок, перед смертью табачком побаловаться жадничал? За дверью-то все твои слезы слышать... На вот справляй последнее свое удовольствие...

Он протянул кисет, красневший в его руке, словно сгусток крови. Я услышал, как бородатый рванулся в темноте к двери и, видимо, наступив на поврежденную ногу, застонал. Я ждал, что он сейчас схватит протянутый ему кисет и примется благодарить... Но он только заскрипел зубами — наверное, очень болела нога — и сказал:

— Это чтобы я перед святой своей смертью твоим палаческим табачишком поганился? Нет. Не требуется!

И, прыгая на одной ноге, опираясь ладонью о стену, стал подвигаться к двери.

— Ишь гордый какой! — усмехнулся казак.— К нему по всему человечеству, с доброй душой, а он...

— Большевик, он и есть большевик! Зверь! — отозвался другой конвоир. И зло рявкнул: — Ну, шагай, упокойничек! Сейчас тебе в аду черти дадут прикурить!

И, схватив бородатого за руку, рванул с такой силой, что тот вылетел в коридор и только там упал. Тяжело, скрипя петлями, захлопнулась дверь, ржavo залязгал засов. Через не-



сколько минут шаги и голоса затихли вдали — их как бы отрезал от меня железный скрежет выходной двери.

А я лежал и думал, что через полчаса этого бородатого смелого человека заруют в землю рядом с повешенными соромовцами и тетей Надей. А может быть, и не заруют совсем, а просто выбросят за ворота тюрьмы в какую-нибудь яму. А потом придут за мной.

И, хотя это было очень страшно, я думал, что отец узнает про мост и скажет: молодец, Данька, не подвел!

Эта ночь, последняя ночь детства, была самой длинной ночью в моей жизни. Не раз и не два, а может быть, сотню раз перебрал я в памяти все, что было у меня самого дорогого, самого заветного.

Избитое тело болело. От каменного пола и стен несло сыростью и смрадом. В голове у меня мутилось от жажды, и то, что я вспоминал, проходило передо мной, как бы занавешенное кровавым туманом, искажавшим воспоминания, уводившим на грань кошмара...

Несколько раз я начинал плакать, но слезы не приносили облегчения. Конечно, я не надеялся, что выйду из тюрьмы живым. Я все ждал скрежета ключа в замке, желтого света фонаря в четырехугольнике распахнутой двери и страшного приказа: «Выходи!» Но в тюрьме было тихо, как в могиле.

Камера, в которой я сидел, помещалась в подвале, окна в ней не было, керосиновая лампа над дверью стала чадить и скоро погасла — сколько времени прошло, я не знал. Я то впадал в забытие, то на какие-то считанные минуты ко мне возвращалось сознание. В одну из таких минут, волоча по камням избитое тело, я отполз в угол, откуда доносился плеск падающих капель, и прямо с пола слизывал застоявшуюся в трещинах между камнями вонючую воду.

Не могу определить, через сколько часов или дней сквозь стены до меня стали доноситься глухие, далекие взрывы, от которых вздрагивала земля. Они становились громче, ближе, но я не сразу понял, что это гул артиллерийской канонады. Слабая надежда проснулась во мне: значит, опять идет бой! Моему воспаленному воображению рисовался отец — в кожаной куртке, с винтовкой за плечами, он командовал наступлением на тюрьму. Но я ошибся: не партизаны, а регулярные красные части наступали на город с юга, от Самары. Узнал я об этом позже, когда очнулся от яркого солнечного света на тюремном дворе...

Красноармейцы в буденновских шлемах выводили и выносили из тюрьмы живых и мертвых. Многих заключенных так избили, что на них страшно было смотреть.

Юрка тоже остался жив: в суматохе отступления колчаковцы не успели расправиться с нами. У Юрки было разбито все лицо, на месте левого глаза зияла затянутая синей опухолью рана.

Когда я увидел Юрку выходящим вслед за мной из подвала тюрьмы, я почему-то не почувствовал радости — может быть, потому, что слишком многое было пережито за эти дни, даже радость была непосильной, даже она причиняла боль...

Вместе с красноармейцами мы пошли в город. Проходя мимо Калетинского пруда, увидели торчавшие низко над водой остатки сгоревших свай. Я смотрел на то место пруда, над которым в ночь пожара ташил по мосту раненую Олю. Вода между черными огрызками свай была спокойна, по ней, гонимые холодным осенним ветром, плыли желтые тополевые листья.

И вдруг я сорвался с места, побежал — меня как будто толкнула мысль: сейчас увижу отца! Ведь, наверное, и его отряд вместе с частями Красной Армии вступил в город. Я оглянулся на Юрку, крикнул ему что-то, и он побежал за мной. Все во мне пело и ликовало: сейчас, сейчас! И только на Промонной улице мы остановились: перейти улицу мешала целая колонна подвод. Лошади шли лениво, и люди шагали возле телег, медлительные и суровые. Я не сразу разглядел страшный груз, лежащий в телегах, а когда разглядел, у меня болезненно сжалось сердце.

На каждой телеге стояли два гроба с заколоченными крышками, простые, сколоченные из старых, тронутых гнилью, бывших в деле досок. И на каждом гробу было что-то написано мелом. Как привязанный, я пошел следом за этим длинным страшным обозом.

На одном гробу белели буквы: «Сташинский Петр». Я забежал с другой стороны. На боковой стенке было написано: «Данил Костров»... Лица отца я так больше и не видел: всех погибших на Святом озере похоронили в закрытых гробах — очень уж изувечены были трупы...

Мама на похоронах не плакала, не бросалась на гроб, как другие женщины, она как бы окаменела от горя, «тронулась», как говорили в толпе.

Тот день был одним из самых тяжелых дней моей жизни: я очень любил отца.

Правда, все происходившее на площади я воспринимал как нечто нереальное, не имеющее отношения ни ко мне, ни к моей семье. Похоронный марш, сентябрьское солнце в погнутых медных трубах оркестра, запах влажной глины из огромной могилы, длинный ряд окрашенных охрой закрытых гробов — все это как сквозь дым, как во сне. Что-то тогда как

будто остановилось во мне: словно я не понимал, что это хоронят моего отца.

И только на обратном пути, когда мы с мамой возвращались с площади, случайная встреча разбудила меня, заставила почувствовать и по-настоящему пережить все.

Мы шли вдвоем, я впервые в жизни вел маму под руку. Она не плакала и ничего не говорила. Многие перегоняли нас; некоторые смеялись, радовались — наконец-то победа! — другие плакали — те, кто похоронил родных.

На углу Проломной улицы нас обогнал человек в драной коричневой сермяге, я его не сразу узнал. Он шел быстро, легко и широко помахивая правой рукой, вполголоса напевая. Вначале я не разобрал слов. А когда разобрал — будто кто ударил меня в самое сердце!

— Гробики сосновые... гробики дубовые!.. — радостно и беспечно мурлыкал прохожий.

Оставив маму, я рванулся за ним. Неожданной и страшной силой налились руки. Но, видимо почувствовав мой взгляд, человек в сермяге обернулся. Это был Кичигин.

Задышавшись от ненависти, я несколько секунд неподвижно смотрел в его сытое, довольное лицо. Потом оглянулся — нужно было найти камень или палку, чтобы ударить этого гада.

Но поблизости ничего не оказалось. С перекошенным от испуга лицом Кичигин воровато скрылся в ближайшей калитке.

Когда мы вернулись к себе в подвал, Подсолнышка и Стасик бросились к нам навстречу.

— Где вы были? — требовательно спросила меня Подсолнышка.

— Мы... мы ходили смотреть новый дом, куда переедем.

— Опять буржуев дом?

— Да.

— И в нем опять пол будет красивыми клеточками?

— Да.

— И большие зеркала тоже будут?

— Будут.

Я повернулся и пошел к двери, чтобы сестренка не видела моего лица. На пороге оглянулся — мама сидела у стола, положив на колени руки, неподвижно, как мертвая.

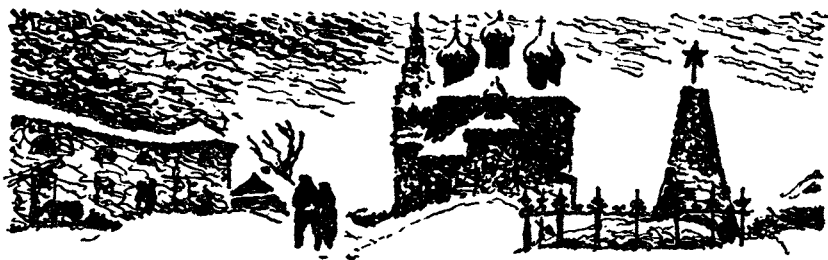
Мы Подсолнышке так и не сказали о гибели отца, и она еще долго, до самой своей смерти, ждала его возвращения.



*Книга  
вторая*

# ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА





## 1. ТРУДНЫЕ ДНИ

Тяжело жить в городе, где много родных могил. И особенно тяжело, если это городок маленький и его можно пройти из конца в конец за какие-нибудь полтора часа. Впервые я понял это в 1920 году, когда умерла Подсолнышка и когда маму увезли в колонию душевнобольных.

В то время жизнь еще не научила меня перешагивать со стиснутыми зубами через дорогие могилы. Ведь не прошло и полгода с тех пор, как расстреляли отца и как сгорела на мосту Оля, я еще по-детски судорожно плакал по ночам, вспоминая их, а тут — новая смерть и новое несчастье.

Из моей жизни почти сразу ушли все, кто был мне дорог, а новых друзей я еще не успел нажить, ни к кому не успел наново привязаться. Пока была жива Подсолнышка, пока рядом со мной была мать, я думал, что только на меня они могут опереться, и считал себя, несмотря на свои пятнадцать лет, главой семьи. А когда их не стало, когда мне уже не о ком было заботиться, я почувствовал, что у меня нет ни желания, ни сил жить.

В щербатых уличных мостовых лежали камни, по которым ступали босые ножки Подсолнышки, вдоль тротуара стояли тополя, к которым прикасалась худенькая ладонь Оли, в самом центре города, на Церковной площади, переименованной в площадь Павших Борцов, за низеньким штакетником выси-

лась сколоченная из досок и выкрашенная охрой пирамидка, украшенная жестяной пятиконечной звездой,— под ней вместе с тридцатью своими товарищами лежал отец.

Все в этом городе напоминало мне о самых дорогих, о самых близких людях, о тех, кто никогда не вернется. И мне было очень трудно жить здесь.

Может быть, я тогда и не думал так, может быть, вообще не думал об этом, но неизвестная мне, беспокойная сила — без всяких раздумий и объяснений — гнала меня прочь из родных мест. Раньше, в мечтах, революция рисовалась мне как сплошной, непрерывный праздник ликующего, победившего народа. А на самом деле жить было так же голодно и холодно, как раньше, и большинство из нас были очень плохо одеты. Это шло вразрез с моими наивными, мальчишескими представлениями о революции и только усиливало желание уехать из родного города.

Конечно, были и праздники. Становилось известно об очередной победе на одном из фронтов или о пуске восстановленного завода, и сам собой вспыхивал митинг, и звучала, взлетая над землей, мелодия «Интернационала», волновавшая в те дни так, что само сердце комком поднималось к горлу и слезы застилали глаза. На таких митингах без заранее подготовленных шпаргалок говорились горячие, искрящиеся радостью слова. Во весь голос мы пели революционные песни, и это было как снова и снова повторяемая присяга революции, и трудности, казалось, отступали на второй план и становились легко одолимыми, и недалеко впереди виделась заря понастоящему счастливого — без голода и холода — дня.

Да и само ощущение свободы, с каким я — и не один я! — ходил тогда по освобожденному революцией городу, сознание, что теперь никто не может меня оскорбить или унижить, радость, что все бывшие «хозяева», все эти купцы и заводчики, тегины и барутины, навсегда ушли из жизни города и из жизни любого из нас, — это чувство само по себе опьяняло, наполняло сердце надеждой.

И все-таки было трудно.

Мне казалось, что в жизни случилось что-то неправильное, что какая-то часть революции погибла вместе с отцом. Казалось, останься он жив — и все в нашем городе было бы иначе, лучше. Эти мысли причиняли мне почти физическую боль, против воли я становился угрюмым и раздражительным. И только к маленькой, угасавшей Подсолнышке я относился по-прежнему, нежность и жалость к этому милому и беспомощному человечку переполняли меня, — может быть, именно невозможность помочь сестренке и делала меня грубым и злым с другими.

И еще мне казалось, что, будь жив отец, мы бы с ним ни за что не остались в этом городе, а были бы там, где шли бои, где продолжалась ожесточенная борьба за революцию.

Да, бои тогда еще шли. Приходя в уком, я прежде всего с жадностью набрасывался на газеты, на шершавые, замусоленные серые листки «Правды» и «Известий», читал и десятки раз перечитывал коротенькие сообщения с фронтов, неприукрашенные рассказы о героических делах. Бои тогда шли на Северном и Западном фронтах, на Южном и Юго-Восточном, на Туркестанском и в глубине Сибири. Колчак и его министры, гоня впереди своего бронепоезда семь вагонов с украденным в Казани золотом и серебром, подходили к Иркутску; Деникин давал пространные интервью английским и американским корреспондентам в Ростове и Таганроге. Юденич воздвигал виселицы для коммунистов в Эстонии. В Одесском порту, ошестинившись дулами орудий, стояли и не собирались уходить военные корабли Антанты.

В нашем городе с заборов и стен домов крупными афишными буквами кричали воззвания: «Бросьте все, что можно, на фронт! Готовьте поезда с оружием, хлебом, одеждой! Да здравствует солидарность станка и винтовки!» По селам и городам Поволжья шла мобилизация, дядя Коля и другие укомовцы то и дело выезжали для ее проведения, а контрики по ночам писали углем и мелом на заборах, рядом с воззваниями: «Далой углем, далой разверстку! Дай соли, гад, дай ситцу!»

Меня неудержимо тянуло на фронт, и, если бы не Подсолнышка и не мать, которая, как мне кажется, уже тогда начинала терять рассудок, я, конечно, еще зимой уехал бы, ушел пешком. Помню, я вырвал из «Правды» и носил с собой кусок страницы, где было напечатано маленькое сообщение с фронта. Я выучил его наизусть, оно врезалось мне в память так, что даже теперь, через сорок лет, я помню его слепые, полустертые строчки:

*«С прискорбием сообщая о смерти замвоенполка товарища Ипато-ва, последовавшей 16 декабря на Радомысловском распределительном пункте от тифа. Покойный находился в непрерывных боях, вынес всю тяжесть боев под Фастовом, находясь все время впереди, заслужив любовь и доверие красноармейцев. Тиф помешал мне отдать последний долг товарищу и своевременно сообщить вам. Примите меры к обеспечению семьи, погибший очень беспокоился о ней. По годам он призыву не подлежал. Ра б и ч е в».*

Я тоже по годам призыву не подлежал. Может быть, он был моим сверстником, этот умерший в тифозном бреду зам-

военполка, может быть, и даже наверное, у него были где-то и мать и какая-нибудь Подсолнышка — иначе он не вспоминал бы о семье перед смертью. Я чувствовал себя в долгу перед ним, перед этим молодым командиром, отдавшим революции все, даже саму жизнь. Я ощущал его как живой укор мне, якобы променявшему борьбу за революцию на мирное и сравнительно спокойное, хотя и голодное житье. Однажды он даже приснился мне — высокий и бледный, в крови, с неразличимыми, расплывающимися чертами, подошел к моей постели и сказал: «Эй ты, контра, вставай!»

Даже участь малолетнего сына генерала Брусилова, приговоренного военным советом при Деникине к смертной казни за то, что отец его сражался в рядах Красной Армии, даже такая судьба казалась мне тогда завидной и героической.

Странно, но я не хотел видеть, не хотел понимать, что не меньше, чем погибший на фронте Ипатов, а гораздо, может быть, больше для окончательного торжества революции делает наш военный комиссар Сергей Вандышев или безногий уездный продовольственный комиссар дядя Коля, день и ночь носившийся по городу на потерявших лоск бывших барутинских, а теперь укомовских жеребцах, — недаром в дядю Колю в течение недели дважды стреляли из-за угла. Я знал, конечно, что без ног на фронте делать нечего, и все-таки, вопреки здравому смыслу, где-то в глубине души готов был считать дядю Колю чуть не отступником. Вероятно, в этом было повинно и чувство зависти, которое я против воли испытывал к Юрке: у него хотя и безногий, но был отец. Не могу передать, как щемило у меня сердце, когда я видел, что дядя Коля, довольный каким-нибудь Юркиным поступком, отечески треплет его по плечу, — мое плечо так жаждало прикосновения отцовской ладони. Правда, в тех случаях, когда это происходило при мне, дядя Коля не раз спохватывался и так же похлопывал по плечу и меня. Но от этого моя глупая обида на Юрку только росла: я не хотел чужого, не хотел милостыни.

Юрка теперь носил черную узенькую повязку, закрывавшую выбитый глаз, — это необъяснимым, притягательным образом красило его повзрослевшее, с полоской намечающихся усиков худое лицо. Вот даже в этом, казалось, обошла меня тогда несправедливая судьба. Мы вместе с Юркой и Олей подожгли нужный белякам мост, нас с Юркой поймали и чуть не убили, а Оля так и сгорела на мосту. Из-за этого поджога Юрка стал красивее, привлекательнее, его как бы отметила, выделила из толпы печать геройства, а у меня теперь были выбиты три передних зуба — это делало меня некрасивым, мешало мне говорить, мешало смеяться, — я буквально старался не раскрывать рта. Глупо, но я иногда даже радо-



вался тому, что Оля погибла: хоть она-то не могла видеть теперь моего лица. Мама утешала меня, что, когда вырасту да заработаю денег, можно будет вставить золотые, а Подсолнышка, та верила, что зубы у меня скоро вырастут новые, «еще лучше», и частенько, чтобы утешить меня, просила дать «пощупать пальчиком — может, выросли?». Эта ее смешная, наивная вера немного успокаивала и утешала меня.

## 2. НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Осенью мы с Юркой работали на восстановлении взорванного белыми железнодорожного полотна и разрушенной снарядами вокзальной водоканализации, а потом, когда из Самары прибыл специальный восстановительный отряд трудармии, помогали на ремонте моста через Чармыш.

Осень была ветреная и злая, почти все время шли дожди и дул северный, ледяной, пронизывающий до костей ветер. Старенькая, простреленная в двух местах шинелишка, выданная мне в цейхгаузе Чека по записке Вандышева, совершенно не грела, рукавиц не было. К вечеру онемевшие от холода и работы пальцы уже не могли держать ни кирку, ни лопату, ноги в худых, разбитых солдатских ботинках деревенели. Счастьем было отбежать в сторону, подбросить в костер обломки старых, пропитанных смолой и мазутом шпал, погреть над огнем руки и из ржавой жестяной кружки выпить горячей воды. Никогда не пил ничего вкуснее!

Приходя домой, я почти без слов, кое-как похлебав маминного варева, валился в свой угол и засыпал, иногда даже не сняв ботинок. В таких случаях Подсолнышка разувала меня.

Мы жили на Северном Выгоне в маленьком домике с огромной русской печью, занимавшей большую половину жилья, — туда мы переехали из подвала на Тюремной стороне. Мама наотрез отказалась перебираться в реквизированный у буржуев особняк, хотя дядя Коля и всячески упрасивал ее, и ругался с ней, и даже, в пылу гнева, угрожал наганом.

— А куда я денусь с детьми, когда вы еще раз побежите из города? — тихо, почти без всякого выражения спрашивала мама.

— Мы не бежали, мы отступали! — кричал дядя Коля, и лицо его пятнами темнело. — Дура ты, Дашка! Ведь революция прежде всего для них, для детишек делалась! — и тыкал коротким, прокуренным, еще черным от сапожного вара пальцем в Сашеньку. — Чтобы они не помирали без времени.

— Без воли божьей ни один не умрет, — кротко упиралась мать.

Дядя Коля остервенело плевался и, ковыляя на своих коротких обрубках, отправлялся за ворота, где его ждала пролетка.

Спорить с мамой было совершенно бесполезно. Ее истрадавшееся, похудевшее лицо выражало непреклонную решимость, в нем было что-то от старинных икон — та же суровая, печальная красота, тот же взгляд, как бы видящий нечто, не видимое другими. С каждым днем она становилась все набожнее, в нашем нищем домишке все чаще можно было застать каких-нибудь странников или странниц, монашек, юродствующих и побирушек христа ради, расстриженных попов, убежавших из родных мест. В переднем углу перед иконой богородицы все время горела коптилка, заменявшая лампаду.

Я с грустью подмечал, как неузнаваемо изменилась мама после смерти отца, как будто с его смертью и в ней умерло что-то. У нее были теперь очень худые, темные и все-таки полупрозрачные руки. И опять-таки странно: несмотря на предельную физическую истощенность, она выглядела в ту последнюю осень более крепкой, более сильной, чем всегда, как будто вера в бога придавала ей силы. Она стала похожа на легкую, почти невесомую птицу и все делала удивительно легко.

Особенно, помню, поразило меня такое событие. Глубокой осенью, в дожди и слякоть, взяв на руки завернутую в теплое одеяло Подсолнышку, мама прошла по непролазной грязи, в которой тонули лошади, несколько километров. Это произошло в дни, когда в одном из ближайших богатых сел, кажется в Езыклинском, попы «подымали навстречу голоду» икону «чудотворной» казанской божьей матери. Странники и монашки, навещавшие наш дом, убедили маму, что «чудотворная», если она будет пронесена над больным ребенком, исцелит его — надо только встать на пути иконы на колени. И наша бедная мамка с Подсолнышкой на руках пошла навстречу иконе, веря в чудо. Чуда, конечно, не произошло, наоборот, именно с тех пор болезнь Сашеньки, даже названия которой тогда никто не знал, начала стремительно развиваться. Однако это не поколебало маминой веры; те же «божьи люди» объяснили ей, что «заступница» не совершила чуда потому, что была разгневана на людей: за гражданскую войну — брат шел на брата и сын на отца, за реки пролитой крови, за безбожников-большевиков, закрывающих церкви и монастыри.

В городе было тихо. Чугунолитейный не работал, мельницы стояли, двери маленьких кустарных мастерских были заколочены досками, казалось, навсегда. Лавки открывались только в день выдачи хлеба, селедок или конины.

И только базар, чудовищно разросшийся, шумел с утра до вечера тысячами голосов. Там продавали и покупали все,

что угодно, — от жестяных кладбищенских венков и восковых цветов с подвенечного платья столетней давности до свиных окороков и чудом занесенного в наш город японского гашиша. И навсегда победившая Советская власть признавалась этим торжищем настолько непрочной, настолько временной, что в уплату за любые блага охотнее всего принимались «николаевки», которых оставалось еще немало по всевозможным укладкам и сундукам.

В один из самых тяжелых для нас дней и мама отнесла на рынок последнее, что она еще берегла «на черный день», — свою единственную праздничную желтую кофточку и тоненькое обручальное колечко, которое «все равно спадало с пальца» — от худобы. Взамен она принесла чугунок картошки и небольшую подмороженную тыкву.

В ноябре ремонт железнодорожных путей был закончен, поезда пошли. И сразу город охватила тревога, смутная, темная, готовая каждую минуту взорваться криком, бунтом, пожаром. Опять по ночам стали частенько постреливать из-за угла в коммунистов, а из деревень привозить продотрядников со вспоротыми и набитыми землей животами. Эта тревога усиливалась от разговоров о том, что «комиссары» собираются вывозить с мельниц оставшийся там хлеб. Часть этого хлеба действительно предстояло отправить по распоряжению Совнаркома голодающему Петрограду.

В конце месяца ударили морозы, в том году особенно жестокие, до сорока градусов. Калетинский пруд за одну ночь покрылся льдом, и по нему, вдоль торчащих из снега обгорелых свай сожженного нами моста, проложили дорогу от мельницы на вокзал. По этой дороге и начали возить с мельницы хлеб. И мельница, и эшелоны, стоявшие на путях, и сам вокзал охранялись пулеметами: вокруг города в опасной близости рыскали остатки разгромленных сапожковских банд.

Подводы с хлебом в пути до вокзала охраняли мы — девять человек первой коммунистической ячейки молодежи. Нам выдали кое-какое обмундирование и винтовки; только три из них были исправны — этого, конечно, никто, кроме нас, не знал. Командовал нами Юрка. Никогда не забуду, какими ненавидящими глазами провожали нас обыватели, когда мы, с винтовками наперевес, шагали вдоль возов с хлебом, какой только бранью нас не осыпали! Мы были и «сволочью», и «паразитами, жиреющими на чужой крови», по нас «уже давно плакали виселицы», мы, конечно, тайком «увозили себе домой каждую ночь по мешку муки».

Мы сами тогда едва держались на ногах от голода, и дома у нас сидели голодные родные, и пределом мечтаний для нас была горячая жиденькая затируха. Но я не унес с мель-

ницы ни одной щепотки муки и, как это ни наивно, до сих пор испытываю чувство радости и гордости: я не взял ни одного хлебного зерна из тех, что были нужны революции.

Единственное, что я позволил себе тогда,— охота на голубей.

Несколько раз пробирался я на знакомый мне с детства мельничный чердак и нашей старинной, так и валявшейся здесь сеткой ловил голубей. Когда я хотел убить первого пойманного мной голубя и не убил его сразу, я заплакал от жалости. Вероятно, как раз от этой ненужной жалости я ударил птицу недостаточно сильно, и она, полуоткрыв клюв, из которого потекла тоненькая струйка крови, смотрела на меня с жалобным и в то же время гневным недоумением. Я уже сделал движение выпустить, бросить несчастную птицу, но вспомнил худенькую шейку Подсолнышки, ее восковые щеки и, зажмурившись, ударил голубя о стропильную перекладину.

Подсолнышке я, конечно, не сказал, что принесенная мной ошипанная пичуга — голубь: вдруг бы она не стала есть. А она ела и приговаривала, что это «ужасно какой вкусный куренок, никогда даже такого не ела».

Потом я еще несколько раз ходил на опустевшую мельницу. Но с каждым днем ловить голубей становилось труднее: их было очень мало и они боялись людей — вероятно, охотился на них не один я.

### 3. «А ЧТОБ ГАЗЕТА БЫЛА...»

Не помню точно, кажется, в начале декабря вечером Вандышев вызвал в уком меня, Юрку и еще троих ребят из нашей комсомольской ячейки и сунул нам в руки измятый бумажный лист. На одной стороне листа косо, с угла на угол, тянулись размазанные полосы типографской краски.

Шурясь на свет лампы, тяжело перекладывая на столе огромные, испятнанные татуировкой кулаки, Вандышев поглядывал то на нас, то в угол, где, оскорбленно нахохлившись и пряча рыжеватую бородку в воротник бекеши, сидел метранпаж бывшей кузнецовской, а теперь укомовской типографии — Василий Ильич Лютаев. Это был небольшого роста старичок с лисьим, ласковым и дряблым лицом, к которому была, казалось, приклеена беленькая, как мыльная пена, аккуратная бородка. Он сидел чинно, стараясь принять независимый вид, но с первого взгляда было видно, что он очень боится Вандышева. Надо сказать, что внешность Вандышева в то время действительно могла испугать: горящие, иступленные глаза и темное, почти черное, с острыми скулами лицо, словно вырубленное из куска антрацита, к тому же в нем

была какая-то перекошенность, смещение черт — это обычно появляется в лице человека после больших потрясений.

— Вот что, укомолы,— сказал наконец Вандышев, с трудом отводя глаза от Лютаева.— Как думаете, что это? — и ткнул кулаком в бумагу.

В комнате было тихо, только за спиной у меня в высоком резном деревянном футляре мерно потикивали часы.

Мы молчали.

— Метранпаж утверждает,— продолжал Вандышев,— что нашу газету «Путь борьбы» печатать в типографии его бывшего хозяина нельзя. Холодно, видите ли, шрифты рассыпаны, нет керосина, нет типографской краски. Этот тип...

Сидевший до этой минуты неподвижно, Лютаев вдруг вскинулся как укушенный, щеки его, покрытые паутиной красных жилок, задрожали.

— Я вам не тип, гражданин Вандышев! — закричал он, задыхаясь.— Я еще пять лет назад страдал здесь за свои революционные убеждения! И не позволю всякому...

— Нет, позволишь,— с угрозой перебил Вандышев.— Вы, эсеры, всегда были предателями! И только предателями...

— Не позволю! — визжал Лютаев.

Вандышев поднялся и медленно, на ходу наливаясь холодной яростью, пошел к Лютаеву. Старинный паркет под его ногами сухо скрипел. И с каждым шагом гнев Лютаева остывал. Метранпаж нехотя сел на край стула и прыгающими от страха злыми глазами следил за Вандышевым.

Постояв возле Лютаева, Вандышев вернулся к столу и сказал:

— Вот, ребята, вам задача. Кровь из горла, а чтоб газета была! Этот саботажник будет вас учить.

Так началась моя работа в типографии.

В полуподвале кузнецовского дома, где помещалась типография, топить было нельзя: какие-то хозяйственные мужички, вероятно вроде жившего рядом торговца Кичигина, еще в дни боев повывирали из рам все стекла, поотвинчивали от оконных рам шпингалеты и ручки и сняли кое-где трубы парового отопления — все, что можно было отвинтить и унести. Наборные кассы были опрокинуты, шрифты перемешаны и залиты каким-то загустевшим маслом — это перед уходом из города сделали белые.

В этой типографии до революции набиралась «Земская газета», во время власти учредилловцев печатался их «Вестник», а теперь должен был печататься «Путь борьбы». Но, как пояснил нам в заключение Вандышев, в то время в типографии окопались эсеры и меньшевики. Наибольшим влиянием среди печатников пользовался, однако, не Лютаев, а не-

кто Никшин, меньшевик, который вскоре после революции вернулся из тобольской ссылки. У него были большие свинцовые глаза, смотревшие на все с пристальной и ядовитой недоброжелательностью, суровое аскетическое лицо, разрубленное поперек узкой и жесткой, как шрам, полосой рта.

Теперь Никшин, заправлявший в городе делами печати, важно и величественно ходил по улицам, несмотря на большие морозы, всегда без шапки, подставляя ветру свои седеющие, как бы заиндевевшие апостольские кудри. При каждом удобном случае он рассказывал всем, кто хотел его слушать, о своих «страданиях за революцию» и намекал, что причиной всех бед страны являются большевики, — если бы, дескать, у власти оказались меньшевики, давно была бы не жизнь, а сущий рай. На одном из митингов кто-то из рабочих, передразнивая Никшина, назвал рисуемую им жизнь не сущим, а «сущим» раем.

Были, конечно, в типографии и свои, преданные партии люди — коммунисты Мешков, Лохматов и Савушкин. Но первый из них ушел с мобилизацией на фронт и, если остался жив, теперь сражался с Деникиным где-нибудь на берегах Дона, второй в начале зимы во главе продотряда выехал для изъятия продразверстки в кулацкое гнездо Езыклинское и назад не вернулся — через неделю нашли его тело без головы, опознав по рубашке да по руке, на которой было родимое пятно. Третьего коммуниста, Савушкина, совсем недавно неизвестные, вероятнее всего свои же печатники — меньшевики или эсеры, поймали ночью на улице и устроили ему «темную». Накрыв голову рогожной дерюгой и завязав эту дерюгу вокруг его шеи, зверски избили — он лежал в госпитале с проломленной в нескольких местах головой, положение его было безнадежно. В результате каждый номер газеты теперь набирался по пять-шесть дней и каждый раз выходил с чудовищными, искажавшими смысл печатками.

По совету Вандышева мы, разобрав шрифты и кое-как отмыв их, перенесли часть наборных касс в одну из комнат укома. Из печатных машин исправной оказалась только одна — маленькая ручная «американка», на которой раньше печатались афиши и объявления. Мы и ее перетащили наверх, так как было решено пока, до весны, печатать хотя бы маленькую и одностороннюю газету, но по возможности ежедневно. Поезда шли кое-как, без всякого расписания, и центральная «Правда» запаздывала к нам на несколько дней — если вообще доходила, а людям очень хотелось знать, что же происходит в стране.

Редактором нашей газеты стал Иосиф Борисович Гейер, студент Казанского университета, — ветром гражданской

войны его занесло в наш городок, и он здесь застрял. Это был рослый приятный блондин с добрым и мягким лицом, с тонкими и гибкими руками пианиста, до чрезвычайности близорукый и поэтому мешковатый и растерянный. Он учился не то на историческом, не то на филологическом факультете, а в нашем городе оказался потому, что здесь всю жизнь жил его дядя — самый знаменитый в нашем городе «артист-дантист», как его любовно величали старички нашего города, щеголявшие вставными зубами.

Меня это обстоятельство, помню, очень взволновало — я мучился вопросом: можно ли мне взамен выбитых вставить искусственные зубы? Я считал себя революционером, а мне казалось, что настоящий революционер должен быть не только честным и смелым, а и красивым. Но я не решался ни о чем спросить Гейера, боялся его умной и деликатной усмешки.

В большой комнате, которая, видимо, раньше служила в доме гостиной, мы расставили наборные кассы и водрузили «американку». Но печи и в этой комнате не топились, сейчас уже не могу вспомнить почему — вернее всего, потому, что не было дров. Надо было ставить какую-нибудь жестяную времянку, которые тогда в общежитии назывались «буржуйками». Но и такую печурку достать было невозможно, их не хватало на только что открывающиеся школы, на госпитали, на детские дома. И нам, с разрешения дядя Коли, пришлось передвинуть ту печку, которая уже стояла в зале укома. Мы поставили ее в двери, соединявшей комнаты. Если «буржуйку» топили непрерывно, в типографии становилось тепло и с окон текли тоненькие, робкие ручьи — на стеклах таял лед.

В соседней комнате, где размещались почти все основные отделы укома, стояло несколько самых разномастных столов, начиная от огромного письменного на резных львиных лапах и кончая ломберными — их зеленое сукно всю зиму напоминало о далекой теплой весне. На стенах, между картинами и разбитым трюмо, рядом с приказами и объявлениями укома, висели плакаты: «Что ты сделал для фронта?» и «Убей вошь!» А одну из стен занимала большая карта Российской империи, на которой каждый, кому хотелось, отмечал доступными ему средствами линии фронтов. У стен приютились два широких дивана, обитых черной клеенкой, — на этих диванах спали задержавшиеся укомовцы, иногда там же спали и мы с Юркой, если в типографии было много дела.

Я забыл рассказать еще об одном обстоятельстве, которое вошло тогда в мою жизнь. Иногда в свободные часы, чаще всего глубокой ночью, наш редактор в большой, нетопленной, обычно запертой комнате играл на рояле. Я очень любил украинские и русские народные песни, но я никогда не слы-

шал по-настоящему хорошей музыки. И когда однажды, задержавшись в типографии, я услышал доносившиеся из глубины дома могучие звуки, я был буквально ошеломлен.

Я оставил печатную машину, пошел по коридорам, дошел до двери, из-за которой доносилась музыка, и открыл ее.

В комнату сквозь холодную броню оконного льда падал чуть подсиненный льдом лунный свет. Огромная лакированная глыба рояля чернела возле самого окна, блики света трепетали и скользили по его поднятой крышке, словно это сама музыка скользила и переливалась по ней.

Я подошел к Гейеру — он не видел меня — и молча, почти не дыша, смотрел на его прыгавшие по клавишам пальцы, на клубы холодного пара, вылетающие из его рта. Я никогда не думал, что обыкновенные человеческие руки могут вырвать из этого черного лакированного ящика такую музыку. В ней было все: и железная поступь закованных в сверкающие доспехи рыцарских полчищ, и сияние покрытых вечным льдом скал, и громовые раскаты волн, грызущих каменные уступы берега...

Когда Иосиф Борисович кончил играть, когда в дальних, темных, наполненных призраками углах замер глухой рокот струн, я спросил шепотом:

— Это что?

Гейер встал и, осторожно опуская крышку рояля, сказал мне с важностью:

— Это, Данил, Бетховен. Могучий человечище был! А?

#### 4. ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК?

Однажды в январе я проснулся очень рано. Подсолнышка еще спала, укрытая поверх одеяла всеми одежонками, какие нашлись в доме. Из-под вороха серой, драной, много раз латанной и перелатанной одежды были видны светлые волосенки девочки и ее лобик. Дыхания не было слышно, но спала она спокойно. Легкий парок выбивался из-под одеяла.

К утру мороз стал еще крепче, чем вечером накануне; на стеклах окон, так же как вчера, бугрился неровный лед. Белым искристым налетом инея покрылись оконные шпингалеты, шляпки гвоздей и угол стены за темной иконой, не помогала и мамина коптилка — лампада.

Дуя на негнущиеся пальцы, постаревшая и поседевшая мама возилась у печки, укладывая костерком куски досок, которые я ночью наломал в изгороди городского сада. Когда я поднялся, мама ничего не сказала, только озабоченно и жалобно посмотрела на меня печальными красивыми глазами.



Вообще она тогда была очень молчаливой, лишь о боге и чудесах могла говорить и слушать без конца.

На шестке печи, едва освещенной коптилкой, стоял чугунок, набитый доверху снегом: мама собиралась, как делала это каждое утро, натаять воды и сварить суп. Видимо, она встала давно и еще до того, как я проснулся, выходила во двор: на стареньких, с вытертыми красными узорами валенках лежал снег.

В те дни еще одна странная особенность появилась у нашей мамы: она стала болезненно чистоплотной, только и делала что прибирала, стирала и мыла.

Сейчас на некрашеном и до блеска выскобленном столе на белой тряпочке серой кучкой лежали горсти две крошек подсолнечного жмыха — три дня назад мне удалось выменять этот жмых на обрывки красной бархатной шторы, найденной за разбитыми бочками в каретнике барутинского дома. Суп из подсолнечного жмыха, который мама тогда варила, Сашенька называла «мой суп»: она ведь у нас была Подсолнышка.

— Сегодня праздник, — не обращаясь ко мне и не поворачиваясь от печки, сказала мама. — Хоть бы муки немного выменять.

И она и я прекрасно знали, что ни продать, ни менять нам совершенно нечего. Я подумал, что надо еще полазить по всяким брошенным буржуйским сараям — может быть, что-нибудь и удастся найти. Но прежде чем заняться этим, я должен был пойти в типографию, печатать набранную вчера газету.

Я ушел.

Все дома с наветренной стороны были занесены сугробами снега почти в рост человека; между сугробами и прорезая их змеились робкие пешеходные тропки. Обычно только по Большой, Проломной и по улицам, ведущим к базару, тянулись широкие санные колеи. Но теперь и их не было видно — столько намело и навалило за ночь снега.

Белое пламя поземки, взвихриваясь за ветром, облизывало снизу стены домов, стволы деревьев и нижние их ветви, подножия телеграфных столбов. Низкое рваное небо только угадывалось вверху — посмотреть туда было нельзя: слепил снег. Ветер выл, свистел и громыхал полуоторванными водосточными трубами; за этим воем и грохотом не угадывался ни один живой звук. Ни огня, ни собачьего лая, ни человеческого голоса, как будто шел я по неживому, брошенному людьми городу. Ощущение такой пустоты я несколько раз испытал во сне.

Засунув руки как можно глубже в рукава шинели, сбывчившись навстречу ветру, иногда останавливаясь и выгребая паль-

цем из ботинок то и дело набивавшийся туда снег, шагал я по пустым улицам.

Ржаво и отвратительно скрипела, раскачиваясь на ветру, кичигинская вывеска — все, что осталось от его магазина.

Проходя под вывеской, я невольно поднял глаза. Все ставни окон были закрыты и прижаты болтами, но в вырезанные сердечком глазки были видны темные, не покрытые морозными рисунками стекла, за ними — отчетливые и такие манящие — зеленели узорчатые листочки гераней.

Да, были еще в городе такие дома, где было тепло, где никто не умирал с голоду. И именно там, в этих домах, в каких-то тайниках, и скрывались неуловимые, несмотря на бесчисленные облавы, застрявшие в городе колчаковцы — это они по ночам стреляли из пистолетов и организовывали в ближних деревнях кулацкие вылазки.

Кичигинская лавка третий год стояла закрытой, двери ее были накрепко заколочены дюймовыми досками. Торговать Кичигину было нечем, но сам он не ушел с отступающими белыми в Сибирь, как ушли многие, пожалел бросить накопленное добро. «Мне бежать нечего: не вешал, не убивал, не грабил! Торговля — она дело любовное, хочешь — купишь, хочешь — нет!» — кричал он в укоме, куда его вызвали для наложения контрибуции. И все же он, видимо, дрожал за свою шкуру: его сын, черноусый красавец Анисим, который работал при учредилках в комендатуре и с чрезвычайной жестокостью расправлялся с коммунистами, убежал с белыми. Если бы Анисим попал в руки наших, ему бы не было пощады.

С Кичигиным теперь осталась только горбатенькая, старая, похожая на бабу-ягу родственница и его дочь, полная, строгая девушка, — я ее помнил с тех пор, когда она в беленьком, чистеньком передничке ходила в женскую гимназию. Даже в этом вызванный в уком Кичигин счел необходимым оправдаться: «А что Сонька в гимназиях вместе с есплотатами училась — так что? Сами пишете: «Учение — свет!»

С этой Сонькой Кичигиной я несколько раз встречался на железнодорожных путях: буржуев выгоняли туда на помощь нам — ремонтировать пути и расчищать снег. Сонька ходила на эту работу в большой белой пуховой шали, повязанной крест-накрест поверх отороченной беличьим мехом зеленой шубки, в меховых варежках и в серых новеньких, еще не стоптанных, круглых в подошве валенках. В течение всего дня она с боязливой старательностью размахивала лопатой и ни разу не подходила к костру, к которому мы вынуждены были бегать через каждые пятнадцать минут.

Очень ненавидел я ее тогда, эту полную, сытую девушку, ненавидел за ее валенки, за рукавички, за румяные, налитые

щеки. И она, вероятно, чувствовала эту мою немую ненависть: каждый раз, оказавшись рядом со мной, испуганно косила глазом в мою сторону и вся сжималась.

Проходя под вывеской и глядя на теплые окна, я вспоминал все это. И если бы под руками у меня оказалась палка или камень, я швырнул бы в окно ненавистного мне уютного дома, в котором было тепло, где пар от дыхания не ходил облаками по комнате.

«Почему же так? — спрашивал я сам себя. — Совершилась революция, за нее погибли такие прекрасные люди, как мой отец, как многие его товарищи. Но все равно теперь, когда в городе люди ежедневно мрут от голодного тифа, такие вот, как этот Кичигин, продолжают сыто и тепло жить за своими высоченными заборами, за своими ставнями, за сотней замков и засовов. Ведь он всю жизнь грабил народ, почему же его не коснулась своим огненным крылом революция?» И мне становилась понятна та безграничная ненависть, которую я читал в глазах нашего «бешеного комиссара» — так прозвали в городе бывшего матроса с «Императора Павла» Сергея Вандышева. Он одновременно возглавлял Чека и был военным комиссаром.

Я внимательно рассмотрел Вандышева далеко не сразу. Вообще в то время в городе появилось много новых людей: одних присылали губком и губисполком, другие возвращались после войны, третьи приезжали из всевозможных скитаний и ссылок. Вандышев был прислан к нам из Самары, и очень скоро после приезда его уже звали «бешеным» за его непреклонную ненависть ко всяким врагам революции.

Родных у Вандышева не было. Позднее я случайно узнал, что всю его семью — отца, мать и двух маленьких сестренек — заживо сожгли в Кустанае каппелевцы; тогда многое в характере этого сурового, замкнутого человека стало мне понятнее и ближе — у меня белые тоже расстреляли отца.

## 5. ХИРУРГ ШУСТОВ

В тот памятный день в улке побывало много народу. Дело в том, что в городе останавливались проходившие из Сибири военные эшелоны и многие из них надо было обеспечить хотя бы на несколько перегонов топливом, надо было принять из них больных тифом — таких в ином эшелоне оказывалось до десятка. Под госпитали в городе уже заняли четыре больших дома, включая самый богатый — калетинский дом, и богадельню. Врачи и санитары сбивались с ног, работая по несколько суток без отдыха.

Всего в нашем городе насчитывалось около десяти, кажется, врачей, но только двое из них — Елена Александровна Воздвиженская и Мария Петровна Стюарт — добровольно работали в тифозных госпиталях. Остальные всячески уклонялись от работы, прятались, предпочитали чистить снег или оставаться без пайка, чем идти в тифозные бараки, в «пересылку на тот свет» — так некоторые местные остряки называли тогда госпитали.

И вот в тот день в уком к Вандышеву уполномоченные Чека одного за другим приводили уклонявшихся от работы врачей. Некоторые из них торопливо и бессвязно извинялись и, получив направление на работу и как-то странно успокоившись, уходили. Но трое врачей — я уже не помню сейчас их фамилий — под разными предлогами отказались работать. У одного из них, видите ли, был застарелый ишиас, у другого серьезно заболела тетка, третий вообще собирался уехать из города. Этих троих не отпустили, а оставили здесь же, в укоме. Обособленной кучкой они жались в углу.

Молчаливо перекладывая на столе свои темные кулаки, Вандышев смотрел на них голодными, осуждающими, какими-то мутными глазами — мне казалось, что он сейчас встанет, подойдет и начнет их бить. И я считал, что он будет прав: ведь там красноармейцы и командиры мучаются в тифозном бреду, им необходима помощь! Мне все время вспоминался молодой командир Ипатов, о смерти которого сообщала «Правда». Ведь вот он не пожалел ничего, оставил родных — пошел. И погиб! Как же смеют эти трое здесь, в тылу, отказываться от работы в госпитале? Я смотрел на них с ненавистью, для меня они были чужие, враги.

В середине дня посланцы Вандышева отыскивали и привели в уком медицинскую знаменитость нашего города — величественно-барственного красавца хирурга, «душку», любимца всех знатных барыnek — Виталия Васильевича Шустова.

Огромного роста, похожий на Шаляпина, знающий об этом сходстве и подчеркивающий его, Шустов вошел в великолепной, распахнутой на груди бобровой шубе. Вошел и остановился, безглаголиво оглядывая всех.

Не задерживаясь, скользнул его взгляд по фигурам хмурых, кое-как одетых укомовцев, перелетел к группе врачей — они все трое подобострастно и угодливо поклонились знаменитому коллеге. Они оживились — видимо, обрадовала простая мысль: либо Шустов всех выручит, либо сам вынужден будет пойти работать. А уж если Шустов пойдет, тогда, значит, никуда не денешься.

И, кто знает, окажись Шустов в укоме с глазу на глаз с Вандышевым, разговор между ними, может быть, вышел бы



совсем другим. Сейчас же присутствие посторонних только взвинтило Шустова, заставило еще более высокомерно вскинуть голову.

Даже мы, в типографии, побросали работу и с любопытством ждали, что будет. Но сразу было видно, что Шустов не боится никаких кар, которыми ему может угрожать Вандышев, — он вошел и, не снимая перчаток, стоял, не здороваясь ни с кем.

— Врач? — спросил Вандышев.

— Да.

— Фамилия?

— Шустов.

— Сынок или брат коньячного короля?  
Шустов брезгливо поморщился.  
— Разве это имеет отношение к делу?  
— Нет. Не имеет. Отказываетесь работать?  
— Не отказываюсь. Я не могу работать в таких условиях.  
— Почему?  
— Без медикаментов, без средств наркоза, без перевязочных средств? Собственно говоря, кухонным ножом ампутировать гангренозные ноги? Не могу, не хочу и не буду.

Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг на друга. Вандышев, уже родной мне, с его черным, антрацитовым лицом и бессонными, измученными глазами, и этот холеный, чисто выбритый, самоуверенный барин, с нескрываемым презрением относящийся ко всему, что он увидел здесь. Я бы обрадовался, если бы Вандышев подошел и ударил его.

Но «бешеный комиссар» молчал, по привычке перекладывая с места на место свои тяжелые кулаки. И в такт этим движениям под темной кожей лица перекатывались желваки. Но заговорил Вандышев тихо и спокойно:

— Вы, врачи, любите говорить о врачебной совести. Вот я к ней и взываю. Там, в госпиталях, лежат люди. Они могут умереть, погибнуть, если им не будет оказана помощь. Ну, согласен, не всех, но ведь некоторых можно спасти. Я вашу совесть спрашиваю...

Шустов не спеша снял и опять натянул перчатку. Потом поднял глаза, они у него были серые, стального цвета и смотрели сейчас так же непримиримо, как у Вандышева.

— А вы сначала у своей совести спросите, господин комиссар,— ответил он.— Кто довел этих несчастных, там, в госпиталях, до такого состояния? Вы! Кто довел страну до того, что она подыхает с голоду, умирает в тифозной горячке? Вы! — Он неожиданно рывком сорвал с руки только что надетую перчатку.— И теперь вы хотите, чтобы мы,— он махнул перчаткой в сторону врачей,— чтобы мы вместе с вами отвечали за вызванную вами дикую смертность?! Хотите теперь свалить на нас ответственность за то, что делается в городе? Не выйдет, господин комиссар!

Тишина была настолько глубокой, что я из другой комнаты слышал стук маятника стенных часов позади Шустова.

— Последний раз спрашиваю: будете работать? — совсем тихо повторил Вандышев с неподвижным лицом, только глаза его, наполненные ненавистью, казались живыми.

— Последний раз отвечаю: нет.

Вандышев встал, медленно вышел из-за стола, темная рука его легла на отполированную до желтого блеска деревянную коробку маузера.

— Тогда я вас сейчас расстреляю.

Кто-то из врачей вскрикнул, кто-то прерывисто, со свистом вздохнул, но ни один мускул не дрогнул на лице Шустова.

— Нет, не расстреляете,— усмехнулся он.— Есть декрет Ленина об отмене расстрела.

Действительно, только на днях в нашей газете был напечатан переданный по телеграфу декрет об отмене смертной казни; я сам набирал его и помнил наизусть.

— Ах, вот как! — воскликнул Вандышев, и рука его, лежавшая на кобуре, вздрогнула.— Вот почему вы набрались смелости так разговаривать и саботажничать?..

Несколько мгновений он что-то решал про себя, потом одну за другой поспешно застегнул пуговицы своей кожанки.

— Ну хорошо,— вздохнул он.— Придется мне, видно, ответить перед Советской властью за нарушение декрета. Что ж, отвечу! Но вас...— Он подошел вплотную к Шустову, и тот невольно сделал шаг назад. И тут выдержка изменила Вандышеву, и он закричал: — Но тебя, гниду монархистскую, я в расход пушу! Своей рукой! — Выхватив из кобуры маузер, он властно кивнул стоявшим у порога уполномоченным Чека: — Пошли!

Что-то на одну секунду дрогнуло в холеном, самоуверенном лице Шустова, но он сейчас же оправился и с выражением высокомерного презрения повернулся и пошел к выходу.

Слышно было, как затихали в коридоре шаги. Никто не произнес ни слова.

Прошло не меньше двух минут. И когда откуда-то снизу донесся приглушенный звук выстрела, один из врачей вскрикнул и что-то быстро заговорил свистящим судорожным шепотом — слов я не мог понять. Потом заговорили все трое. Но как только на пороге показался Вандышев, они замолчали.

Ни на кого не глядя, устало поправляя кобуру, Вандышев прошел и сел за стол. В сторону врачей он даже не посмотрел, но они один за другим медленно, как бы против воли, потянулись к столу. Вандышев коротко называл каждому место работы, и они, торопливо и готовно кланяясь, путаясь в полах пальто и натываясь на столы и стулья, уходили, почему-то обязательно оглядываясь на пороге.

## 6. СОНЯ КИЧИГИНА

И опять работа в уколе шла своим чередом..

Приходили солдатские вдовы с детьми на руках, приходили семьи большевиков, замученных белыми,— бессильные от голода дети на руках уже не плакали, а только сипели, беспомощно открывая рты.

Возвращались и снова отправлялись в уезд продотряды, проводившие изъятие хлебных излишков у кулачья.

Пришла сгорбленная старушка в сиреновом богадельническом салопе колоколом, с провалившимися, удивительно ласковыми глазами, принесла шерстяные чулки и варежки своей вязки: «На фронт внучонку моему нельзя ли послать, голубчики, там теперь холода лютые, сказывают».

Приходили с бескровными гипсовыми лицами выписанные из госпиталя солдаты, задыхаясь, жадно затягивались махоркой и требовали одеть их «во что есть» и отправить на фронт. Их одели, дали им талоны в столовую, и они ушли.

Привели пойманного на задворках дезертира, дрожащего, обросшего рыжими проволочными волосами лохматого парня, и после сурового разговора с ним свели в подвал — до суда.

Дядя Коля без конца крутил ручку старого эриксоновского, только что починенного телефона, кричал: «Алле! Алле!» Мне кажется, что иногда он делал это без особой нужды.

В городе работали две школы — нужны были дрова и детская обувь; для больных детдомовских детей просили достать молока — предстояло реквизировать у кого-то корову или двух-трех коз. А тут на рынке началась перестрелка: за полпуда муки кулаки выменяли у дезертиров разобранный пулемет. Но при облаве он был обнаружен, милиционерам пришлось выдержать настоящий бой.

Один из углов огромного укомовского зала был завален теплыми вещами, собранными и реквизированными в городе и деревне, — их увязывали в тюки для отправки на фронт. Раз два вслед за принесенными в уком вещами с ревом и слезами врывались какие-то толстые, со свекольными щеками женщины и, кляня на чем свет стоит «комиссаров» и грозя приходом банды Сапожкова, бродившей невдалеке, требовали вернуть вещи и судорожными, жадными глазами отыскивали свое барахло в куче в углу.

Привели арестованного на вокзале колчаковского офицера, переодетого в немыслимо рваный, когда-то коричневый, а теперь черный крестьянский зипун, в глубоченном кармане которого оказались кольт и серебряный с вензелем портсигар. Властное тонкогубое лицо странно выпирало из сермяжного, не идущего к нему обрамления; светлые, прозрачные глаза горели такой бессильной ненавистью, что не нужно было ни допросов, ни доказательств.

В городе восстанавливались и уже начали работать железнодорожные мастерские. Ремонтировался единственный дизель электростанции, выведенный из строя белыми. В бывшем кинотеатре «Экспресс», принадлежавшем раньше Гунтерам, открылся Народный дом; там теперь готовили к постановке



«пьесу в восьми актах с прологом и эпилогом» — «Смерть капиталу!». Из всех этих мест приходили, и прибегали, и звонили по телефону товарищи: требовали немедленной помощи, людей, средств.

«Буржуйка» наша отчаянно дымила, в комнате, как над полем сражения, плавали облака дыма, красными пятнами просвечивало сквозь дым раскаленное железо печурки.

У меня второй день болела и кружилась голова; я думал, что это от голода. Хотелось лечь, укрыться с головой своей шинелишкой и лежать, ничего не думая, ничего не желая. Даже сообщения с фронта, только что принесенные с телеграфа, которые я набирал, не так волновали меня, как всегда. Я понимал только, что бои шли на улицах Иркутска, что в центре города укрепились юнкера, поддерживаемые семеновцами, ворвавшимся в город с японским флагом. Верстатка валилась у меня из рук.

Вечером в соседнем зале тянулось очередное бесконечное заседание укома. За низким, «львиным», как мы его прозвали, столом сидел на своих кожаных, уже порыжевших и в одном месте даже залатанных культяпках дядя Коля. Лицо его, ярко освещенное светом близко стоявшей лампы, странно двоилось и смещалось у меня в глазах. Рядом, откинув голову на спинку резного кресла, полузакрыв глаза, дымил папиросой Вандышев. На диване у двери Гейер старательно писал на обрывках бумаги передовую статью. На другом конце дивана — Никшин, суровый и молчаливо враждебный, как бы чем-то невидимым отгороженный от остальных. В углу комнаты, который был виден мне от моей кассы, за особым столом «школьная комиссариха», бывшая учительница реального училища, высокая светловолосая Александра Васильевна Морозова с какой-то другой женщиной, лица и имени которой я не помню, увязывала приготовленные к отправке в армию теплые вещи — шинели, бушлаты, валенки, шапки. Часть этих вещей утром привезли в уком из госпиталей — они остались после умерших. Но в большинстве случаев это были вещи, заведомо негодные к отправке — рваные, сожженные возле походных костров, навечно прокопченные в топившихся по-черному теплушках, изношенные до невозможности. Темной кучей эта рвань лежала возле стола.

С трудом поднимая руку к кассе, я медленно набирал строку за строкой. Они то расплывались у меня перед глазами, то я видел их с какой-то неестественной отчетливостью — увеличенными и яркими. Очень далеко, в какой-то невероятной дали ослепительно горела лампа-«молния». Временами все начинало плыть у меня перед глазами, но я встряхивался, и наваждение исчезало. Иногда я поднимал глаза и, механичес-

ки набирая строку, смотрел на висевшую прямо против меня большую картину: синее ночное небо, коричневые скалы на берегу, костер под скалами, а вокруг огня — рыбаки, и недалеко от них, в розовой и синей полутьме, слабо освещенные отсветами пламени, темные остовы лодок и мачты, за рею одной зацепился тоненький серпик месяца. В этой мирной, идиллической картине все было далекое и чужое, но она почему-то успокаивала — я очень любил на нее смотреть.

Из соседней комнаты долетали обрывки разговоров, отдельные слова и фразы:

— ...полвагона конины... две бочки селедок... госпиталям... детскому дому.

Когда в уюме хлопнула входная дверь, я поднял голову, посмотрел в соседнюю комнату и увидел там Соньку Кичигину. Одета как всегда — в зеленую, отороченную мехом шубку, в меховых варежках и новых валенках, — она стояла у двери и нерешительно смотрела на сидевших за столами людей.

Днем, во время обыска, у Кичигиных были взяты для нужд Красной Армии две оказавшиеся у них лишними пары валенок, короткий меховой полушубок, который никто не носил, и две старые меховые шапки. Я подумал, что отец, наверно, прислал Соньку просить, чтобы часть вещей вернули. То же подумал, как оказалось, и дядя Коля.

— Что тебе, Кичигина? — спросил он. — Если насчет вещей пришла — разговору не будет. Все сказано при изъятии.

Сонька посмотрела на него, потом глянула вниз, на свои ноги, торопливо сдернула варежки и, наклонившись, смахнула с валенок снег. Выпрямилась, глубоко и прерывисто вздохнула.

— Нет... Я не за вещами.

— Тогда не мешай. У нас тут заседание.

— А я... пришла работать.

— То есть как работать?

— Как другие... куда пошлете...

Вандышев тяжело поднялся, бросил в угол догоревший до самых губ окурок, вылез из-за стола и подошел к Соньке. При каждом шаге тяжелая деревянная кобура ударяла его по ноге. Сонька смотрела на нее остановившимися глазами. Щуря немигающие глаза, Вандышев обошел девушку и, усмехнувшись, старательно пощупал шаль у нее на плече.

— Оренбургская?

— Да, оренбургская.

— В колечко продевается?

— Да, продевается...

— Та-ак... — Сунув руки в карманы своей облезлой кожанки, Вандышев встал теперь против Соньки; мне были видны его широко расставленные ноги и обтянутая вытертой ко-

жанкой спина. Он спросил: — Значит, красавица, надоело на печке лежать, калачи с маслом есть? Так, что ли?

Сонька молчала, опустив голову.

— Говори правду! — прикрикнул Вандышев. — Папашка прислал? Дескать, пойдя, доченька, приласкайся к комиссарам — может, и вернутся вещички? Я ведь его сразу раскусил! Так, что ли?

Сонька вскинула на мгновение глаза, оглядела сидевших за столом, как бы прося помощи. Но все в комнате смотрели на нее как на чужую, никто ей не верил, и она поняла это и опустила глаза, быстрыми движениями пальцев перебирая бахрому шали.

— Что молчишь? — спросил Вандышев. — Отец прислал?

Сонька в испуге прижала к груди руки и отступила к двери.

— Нет... Я ушла от него, — ответила она чуть слышно. — Совсем ушла.

## 7. «А ГДЕ Я У ВАС ЖИТЬ БУДУ?»

На минуту опять все поплыло передо мной, я покачнулся и уронил верстатку. К счастью, в ней были набраны только две строки, — я только что перед этим связал гранку. Я наклонился, поднял пустую верстатку, а шрифт собирать не стал: очень уж меня интересовало, что же будет дальше с Сонькой Кичигиной.

Вандышев все так же, с руками в оттопыренных карманах кожанки, стоял против нее.

— Та-а-ак... — еще раз протянул он. — Были белые в силе — твой братец Анисим помогал нас вешать. Стали мы в силе — ты к нам переметнулась. Ух, до чего же подлая ваша порода торгашеская!

Может быть, он и дальше продолжал бы ругать Соньку, но в это время между ним и девушкой осторожно, но решительно протиснулась Александра Васильевна Морозова.

— Погодите, товарищ, так нельзя, — сказала она Вандышеву. И повернулась к Соньке: — Ты действительно хочешь с нами работать?

— Да.

— Ты, может быть, думаешь, что мы сытно, хорошо едим? Что мы получаем большие пайки?

— Не знаю...

— Ты, может быть, думаешь, что мы за свою работу, — она кивнула в сторону стола, на котором сортировала и увязывала вещи, — очень много денег получаем?

Сонька молчала, с робкой надеждой поглядывая на Александру Васильевну, заслонившую ее от Вандышева.

— Ты сегодня кушала? — спросила Морозова, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос.

Сонька подняла на нее глаза.

— Да, кушала.

— Что ты кушала?

— Суп.

— С мясом?

— С бараниной. И еще кашу.

— С хлебом кушала?

— Да.

Александра Васильевна молча вынула из кармана пальто что-то завернутое в носовой платок, развернула: там оказался кусочек хлеба — может быть, восьмушка, может быть, четвертка, — того самого, непеченного, с мякиной, который выдавали всем.

— А я, видишь, еще не обедала, — сказала Морозова и бережно, стараясь не уронить ни крошки, опять завернула хлеб в платочек и спрятала в карман. — Не боишься?

Сонька молчала. В комнате было совершенно тихо. Даже в типографии все притихли и, столпившись у дверей, наблюдали за тем, что происходит в уюме.

— Тебе придется получать такой же паек, — сухо сказала Морозова и, так как Сонька продолжала молча смотреть на нее, спросила еще раз: — Не боишься? Все равно хочешь с нами работать?

— Да, — чуть слышно, одними губами, ответила Сонька.

— Ну хорошо. — Морозова секунду помолчала, глядя на нее. — Но это еще не все, Соня, — продолжала она. И, повернувшись к угловому столу, показала рукой: — Видишь? Мы сейчас отправляем теплые вещи Красной Армии. Мы здесь можем как-нибудь обойтись. А они — в окопах, в степи, на ветру и снегу... Посмотри, каждый из нас отдал все теплое, что у него было. Посмотри, как мы все одеты...

Она повела рукой, и, невольно следуя взглядом за ее жестом, я как будто впервые так отчетливо увидел укомовцев. Ни на одном не было теплой шапки, ни на одном не было валенок или шубняка. Затертая до дыр кожанка Вандышева, обрезанная по низу шинелишка дяди Коли, тоненькое, подбитое ветром пальтишко Морозовой. И на других было надето все очень легкое и старое.

— Видишь?

— Вижу.

— Так если ты хочешь с нами работать, тебе придется сделать то же, — негромко продолжала Морозова. Она отступила несколько шагов назад, нагнулась над кучей, где было сложено негодное для армии барахло, выбрала из кучи рваное

и латаное пальтишко и огромные разбитые английские ботинки и протянула все это Соньке: — Вот, переодевайся.

В комнате стало еще тише, слышно было, как где-то с подоконника старательно, словно считая удары, капала и капала вода.

Сонька с недоверием и недоумением смотрела на рваное пальтишко, от которого еще пахло госпитальной дезинфекцией, на разбитые, с отставшими подметками ботинки. Оглянулась кругом, наверно думая, что это шутка. Но все были серьезны и ждали, глядя на нее.

— Сдрейфила? — засмеялся Вандышев. — Жалко стало? Вот она, ваша классовая сущность!

Сонька еще раз нерешительно оглянулась, посмотрела на себя, на рукавички, на беличьи манжеты шубки, на валенки. Что-то дрогнуло в ее лице, в углах губ и глаз.

Я в глубине души торжествовал вместе с дядей Сергеем. Тоже пришла, шкура, работать на революцию! Я ведь не забыл, как мне приходилось униженно выпрашивать в долг до отцовской полочки в магазине Кичиговых и хлеб, и обрезки мяса, и соль! А теперь, когда революция победила, — пришла!

Но, к моему удивлению, Сонька вдруг сделала два шага к столу и осторожно положила на самый край свои меховые варежки. Потом, отступив от стола, принялась развязывать узел, которым была стянута на ее груди шаль. Руки у нее немного дрожали, и ей пришлось повозиться с узлом несколько секунд. Наконец развязала, и, взмахнув руками, как крыльями, она сняла шаль и так же бережно положила ее на край стола. Под шалью у Соньки оказались две толстые рыжие косы. Очень пушистые волосы, немного растрепавшиеся, когда она снимала шаль, светились над ее головой.

Затем, так же ни на кого не глядя, только все больше краснея, почти пунцовая, она расстегнула шубку, сняла ее и остановилась, не зная, куда положить. Теперь она осталась в розовой с белыми цветочками кофточке и черной юбке.

— Клади! — сказал Вандышев, отодвигая с края стола какие-то бумаги. — Клади, клади, не бойся.

Сонька осторожно перехватила шубку в поясе и, положив ее на стол, опустила руки и по очереди посмотрела на всех, как бы спрашивая, все ли и так ли она сделала. Потом, спохватившись, посмотрела вниз, торопливо нагнулась и, помогая себе ногами, сняла валенки и поставила их рядом, оставшись в серых шерстяных чулках.

Вандышев, смущенный, пододвинул ногой к Соньке лежавшие на полу ботинки и пальтишко.

— Одевайся. Застынешь. У нас хворых и без тебя много.

Осторожно, словно боясь испачкаться, Сонька натянула на

свои полные плечи старенькое пальто, присела на край стула и надела ботинки. Когда она встала и подняла глаза, щеки у нее горели.

Вандышев, нахмурившись и, видимо, чувствуя себя неловко, отошел в сторону.

Но в дело опять вмешалась Морозова. Она вернулась к большому столу, на котором теперь яркой кучкой лежали Сонькины вещи, одну за другой брала их и рассматривала. Затем косо, как-то по-птичьи, глянула на дядю Колю, сказала:

— Правда, солдаты Красной Армии вряд ли смогут носить твою шубку. А перешивать ее нельзя... Так что, я думаю, ты можешь оставить шубку себе... И варежки тоже — очень уж они малы... Правда, товарищи?

Ей ответило сразу несколько голосов:

— Правильно! Верно!

— Валенки твои мы, конечно, отправим. Они пригодятся какой-нибудь медсестре. А тебе, я попрошу, подберут ботинки по ноге... Вот только не знаю, что нам делать с шалью. Как вы думаете, товарищи?

— Нет, шаль пошлите, — неожиданно сказала Сонька. — Вдруг раненому какому-нибудь... — и не договорила, заплакала. — А где я у вас жить буду?

— Найдем, — сказал Вандышев.

## 8. «МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНЫ СВОЕЙ ВЛАСТИ»

Этот день, который я отчетливо помню, один из последних дней перед моей болезнью, был очень богат событиями.

Едва только Морозова отвела в сторону Соньку и только что укомовцы принялись за свое прерванное совещание, как в зал, хмуро посмеиваясь в усы, ввалился помощник машиниста нашего депо Суздальцев. Сейчас я уже не могу вспомнить его имени. Пришел он в уком прямо с работы, на его суровом, словно отлитом из чугуна лице, прорезанном глубокими морщинами, еще лежал тот характерный налет масла и копоти, который всегда покрывает лица железнодорожников. В одной руке Суздальцев нес свой жестяной дорожный сундучок, а в другой — развернутый номер нашей газеты.

Не обращая внимания на то, что в укоме шло заседание, он подошел к столу и бросил на стол перед дядей Колей газетный лист. По очереди посмотрев на сидевших вокруг стола, спросил с веселой злостью:

— А что, товарищи! Давно наша газетка на матерный язык перешла?

Все насторожились. Дядя Коля взял газету, разгладил ее перед собой на столе и принялся просматривать; к нему при-

соединились и Вандышев и Гейер. Но никто из них не мог найти в газете ничего особенного. Суздальцев между тем сел и негнушима, заскоружеными пальцами сворачивал самокрутку.

— Ну где, Суздальцев? Какой матерный язык? — сердито спросил, не вытерпев, Гейер. Лицо у него покраснело, белокурые волосы падали на лоб неровными прядями, близорукие глаза смотрели с тревогой.

Суздальцев тяжело встал. Лицо его, которое только что улыбалось, стало строгим и сразу как бы осунулось, постарело. Он с усилием наклонился над столом и с яростью ткнул черным пальцем в строку одного из заголовков.

— Глядите, черти собачьи, чего делаете! Контру всякую гвоздите, а сами ей помогаете!

Теперь уже и все мы, работавшие в типографии, сторонясь в дверях раскаленной печурки, один за другим пробрались к столу, сгрудились около него, — происшествие касалось нас не меньше, чем остальных. Только Лютаев с безучастным видом остался у талера, где верстал газету.

Оказалось, что в заголовке одной из статей кто-то заменил одну букву — это искажало слово и придавало ему издевательский, хулиганский и даже контрреволюционный смысл. Заметить опечатку было нелегко, так как заголовок набирался курсивом, в котором буквы «д» и «б» очень похожи.

— Это что же получается? — недоуменно спросил дядя Коля, морща лоб, и хотел прочитать заголовок вслух. Но, споткнувшись на первом же слове, ожесточенно плюнул: — Тьфу ты, черт!

Вандышев, чуть не опрокинув в дверях печурку, выскочил в соседнюю комнату, подбежал к Лютаеву и схватил его за грудь. Лютаев выронил гранку, которую собирался заверстывать, она упала углом на пол, и набор со звоном разлетелся в стороны.

— Я тебе покажу, контра поганая! — кричал Вандышев с перекошенным лицом.

— Так ведь курсив... — бормотал, дрожа щеками, Лютаев, пытаясь освободиться из цепких рук Вандышева.

— Я тебе покажу курсив! Обрадовались, гады, что Советская власть расстрел отменила, хором начали саботажничать! Так я тебя, гада, без расстрела следом за Колькой Романовым отправлю! — Он так толкнул Лютаева, что тот не удержался на ногах и упал на колени.

Конечно, невозможно сказать, была ли опечатка действительно следствием злого умысла, или произошло это из-за плохой разборки шрифтов, из-за того, что набиралась газета при свете керосиновой лампочки, или потому, что оттиски были совершенно слепые.

Стоя на коленях и размазывая по дрожащим щекам грязные слезы, Лютаев жизнью своих детей клялся, что он ни при чем, не виноват. Но Вандышев ничего не хотел слушать — казалось, он готов, ни минуты не медля, отвести Лютаева в подвал и там «хлопнуть».

Видимо, Лютаев, так же как мы, прочел на лице Вандышева эту жестокую решимость и понял, что ничто ему не поможет. Он встал с колен и брезгливым движением отряхнул пыль со своих коричневых вельветовых штанов. Швырнув изо всех сил в сторону шило, которое все время держал в руках, он неожиданно сказал с такой же яростью, которая читалась на лице Вандышева:

— Ну и стреляй, идиот ты этакий! Стреляй, если ни божеской, ни Советской власти над собой не признаешь!

Из всех людей, которые меня тогда окружали, мне больше всех нравился Вандышев: как и все мальчишки, я когда-то мечтал о морских просторах и шелесте парусов, о золотых буквах матросской бескозырки. Вандышев! Всегда, в любую стужу, в распахнутой настежь кожанке, в лихо заломленной на затылок бескозырке, этот смелый и решительный человек, так же как мой покойный отец, казался мне образцом мужества.

Когда Лютаев крикнул ему в лицо злые, оскорбительные слова, я думал, что Вандышев тут же на месте убьет его. Но странно, Вандышев вдруг стих, пристально и внимательно, как-то по-новому посмотрел на Лютаева и отступил в сторону. После короткого молчания сказал сквозь зубы:

— А ты, кажись, зубастый! — Помолчал еще и кивнул: — Ну ладно. Еще раз поверю. Но в следующий раз за любую опечатку отвечать будешь ты.

— А я не могу отвечать! — огрызнулся Лютаев, глядя в сторону. — Я не могу отвечать за безобразия, которые будут твориться в этой так называемой типографии! — Но продолжать спор с Вандышевым не стал, с оскорбленным видом отошел к талеру, на котором лежала полусверстанная полоса.

Когда скандал затих и когда следом за ним закончилось совещание, я выбрал свободную минуту и подошел к Вандышеву. Весь тот день стояло у меня в душе непередаваемое смущение: ведь я сам набирал декрет об отмене расстрела, декрет, подписанный Лениным. Как же смел Вандышев нарушить его, расстреляв Шустова? Я знал, как беспредельно Вандышев любил и уважал Ленина, знал, что для него каждое слово, подписанное Лениным, свято, — как же мог он поступить иначе, чем приказывал Ленин?

— Дядя Сергей! — несмело сказал я. — Ведь вот... был декрет, чтобы не расстреливать.



Он отставил в сторону жестяную кружку, из которой пил кипяток, и недоуменно посмотрел на меня:

— Ну да, был...

— Как же вы этого... Шустова?

Словно не понимая, он несколько мгновений пристально смотрел на меня. И вдруг расхохотался, и лицо его совершенно преобразилось. Не помню, у кого из больших писателей я читал, что если улыбка красит лицо человека, значит, оно прекрасно. У Вандышева было как раз такое лицо. Улыбался и смеялся он очень редко, но при этом его черное, антрацитовое лицо всегда светлело и становилось совсем иным — в нем проступала почти женская, почти детская мягкость.

— Ах, вон ты про что! Ах ты, чудак мой беззубый! — Он весело подмигнул мне, но в моих глазах, вероятно, слишком отчетливо читалось смятение, он сделался серьезным и встал. Взял бескозырку, висевшую на спинке кресла, и кивнул: — А ну, пойдем!

Следом за ним я прошел по пустым в тот час коридорам укома, спустился в подвал, где пахло мышами, мокрым камнем и плесенью. Здесь, на пустом ящике, сидел с винтовкой в руках бородатый красноармеец с воспаленными, красными глазами. Когда мы вошли, он встал и вопросительно посмотрел на Вандышева.

— Ничего, Телегин, — кивнул Вандышев и пошел по коридору, в который выходило много дверей.

Шаги его звучали громко и четко. Сводчатые бетонные потолки низко нависали над нашими головами. Где-то капля за каплей падала на камень вода.

Он отдернул засов на одной из дальних дверей и вошел в нее, на ходу оглянувшись на меня. Со стесненным сердцем я вошел следом. Я не понимал, зачем он привел меня в подвал. Пока шли, мне казалось, что сейчас я увижу Шустова, лежащего на бетонном полу с кровавой дырой во лбу. И хотя в то время я на своем коротком веку уже повидал немало мертвых, все во мне протестовало против этого зрелища.

Но я ошибся. В сводчатой комнате, куда мы вошли, на груде синих архивных дел я увидел сутуло сидящего Шустова. У него теперь не было того гордого вида, с каким он разговаривал с Вандышевым в укоме. Лицо обмякло и обрюзгло, он сидел с непокрытой головой, на которой топорщились седеющие кудри. На скрип открываемой двери он устало и злобно вскинул голову.

— Ну как, гражданин Шустов? — спросил Вандышев. — Будете из себя и дальше контру выстраивать? Или, может быть, все-таки потрудитесь для Советской власти?

Шустов молчал. Но, к моему удивлению, Вандышев, подо-

ждав и не дождавшись ответа, довольно мирно подошел к нему и сел напротив, на такую же кипу дел, и посмотрел на него без ненависти, а только с презрительным сожалением.

Я стоял у двери и ждал.

— Слушай, барин,— сказал Вандышев с легкой усмешкой.— Мы, конечно, не будем тебя расстреливать, мы соблюдаем законы своей власти. Но неужели ты, умный, образованный человек, не понимаешь, что мы победили насовсем, навсегда, что мы теперь власть никогда не отдадим ни в чьи руки? Ведь нас миллионы! И всё на земле, вся планета будет принадлежать нам! Как же ты можешь идти против? А? Неужели у тебя действительно не осталось ни на грош разума? С кем ты хочешь быть? С теми, кого мы растопчем, как грязь на дороге, с теми, кого убьем как врагов? Неужели тебе себя не жалко? Такой представительный, такой красавец!

Шустов вскинул голову, в этом жесте еще был гнев, но в том, как он смотрел, уже угадывались раздумье и тревога.

— Прошу меня не агитировать! — сказал он, похлопывая себя перчаткой по колену.— Ничего не выйдет!

Вандышев устало поднялся.

— Ну и хорошо! — равнодушно ответил он, направляясь к двери.— Я-то ведь думал, что ты умный.

Шустов вскочил, но Вандышев, не оглядываясь, захлопнул дверь.

— Видал живоглота? — спросил он меня в коридоре.— Ну, пусть еще посидит, подумает... А ты что, в самом деле думал, что я против Ленина пойду? Эх ты, голова садова! Это я только шкур этих поугагать. Теперь работают!

Так мне была возвращена поколебавшаяся на мгновение вера в нерушимую справедливость всего, что связано с революцией. И я почувствовал огромную, невыразимую никакими словами благодарность к грубоватому и простому матросу Сергею Вандышеву, благодарность за то, что он не втоптал в грязь, не пошатнул эту мою святую, необходимую мне веру.

## 9. ПЕТЬКИН ПАПКА НАШЕЛСЯ!

Вот этот маленький, незаметный для других эпизод и положил начало моему сближению с Вандышевым, стал преддверием нашей неравноправной дружбы, благодаря которой я и увидел «бешеного комиссара» совсем с другой стороны. Нет, он вовсе не был таким суровым и беспощадным, каким рисовала его городская молва,— в этом человеке под внешней грубостью жила очень добрая и отзывчивая душа. Оказывается, Вандышев очень любил детей.

Как-то вечером, освободившись на полчаса от своих бесконечных дел, он, смущенно посмеиваясь, спросил меня:

— А хочешь, Данила, я покажу тебе своего сынишку?

— Сынишку? — удивился я. — Да у вас же, дядя Сергей, и жены-то нет.

Вандышев, туже натягивая на лоб бескозырку, взял меня за руку.

— А ну, пойдем.

На улице было холодно. Повисшая над куполом церкви, обгрызенная с одного края луна стремительно летела между косматыми клочьями туч; тяжело, словно кованный из белого железа, падал снег; морозный ветер обжигал щеки. За покрытыми льдом окнами домов стояла тьма, только три высоких стрельчатых окна в зале укома угадывались сквозь снежный вихревой туман.

Вандышев несколько раз останавливался, пытаясь закутить, но ветер мешал ему, задувал огонек зажигалки. Наконец, прижавшись лицом в угол какого-то парадного, он зажег папиросу, затянулся дымом и только тогда заговорил:

— Небось удивился?

— Удивился, — сознался я.

— Вот-вот... — Он сделал несколько шагов молча. — А дело, видишь ли, какое, Данил... С месяц, что ли, тому назад пошел я в этот самый детский дом. Помер там ребятишек. Ну помер и помер, нынче такое дело не в диковинку... Но накануне пришла ко мне из этого дома нянька, старушечка такая, глаза злые, и губы трясутся. «Ты, спрашивает, бешеный комиссар?» Хотел я ее с этим дурацким вопросом через три моря пугануть, ан гляжу, вроде не стоит, чего-то она важное знает. «Ну я, говорю, бешеный». — «Тогда, — добавляет эта старушка, — мне с тобой поговорить требуется». — «Ну что ж, говорю, божья лампадка, давай выкладывай твои секреты...»

Вандышев рассказывал не торопясь, с большими паузами. Я бежал сбоку, увязая по щиколотку в снегу. И луна бежала над крышами домов не отставая.

— Слушаешь?

— Слушаю, слушаю.

— И вот рассказывает мне эта божья лампадка, что в детском доме детишек почти не кормят. А ведь ты сам знаешь все, что есть, в первую очередь госпиталям да детским домам отдаем... «Как так, спрашиваю, не кормят?» А рука, понимаешь, сама уж вот за эту штуку хватается. — Он с силой хлопнул себя по деревянной кобуре маузера. — Аж свет в глазах померкнул, ничего не вижу. «Как же так, — кричу ей, — не кормят?! Мы все силы, всю свою кровь отдаем, чтобы этим детишкам жизнь наладить!.. Кто?» — кричу.

Вандышев закашлялся, помолчал. Вокруг нас белыми языками взметался снег, на все голоса выл и свистел ветер.

— И вот, значит, подгребаем мы со старушенцией к детскому дому. У меня вся душа пламенем горит — до того я на эту подлость злой, так бы, кажется, голыми руками душил гадов, которые детишек бездолят. И вот входим... то есть я один вхожу... Старушку отпустил, потому как все, что надо, она мне обрисовала. И вот вхожу... Комната большая, вроде как зал у нас в укоме. Столы, стулья, витые с золотом, картины с голыми бабами на стенах висят, одно слово — буржуйский бывший домина. Живи — радуйся. И в этой комнате, значит, детишки безродные. У кого, понимаешь, беляки отцов да матерей сгубили, у кого тифом померли, у кого без вести сгинули. И в комнате этой холодина, скажу я тебе, слов нет. Вшей морозить. На окнах льду — ну толщиной с ладонь... Броня! А детишки одеты легко, какие прямо в чем мать родила... Худые, синие... Вошел я, стою на пороге. И такая меня жаль за сердце взяла, — сказать не могу. Ах вы, думаю, салажата... И они, понимаешь, Дань, все к дверям повернулись и притихли, на меня глядят... и от двери пятятся... Вид-то у меня, сам видишь, не шибко ласковый... Хочу я шумнуть: эй, кто здесь живой, кто здесь начальник?! Уж очень не терпится скорее эту гниду, которая детишек под гибель подводит, своими кулаками пощупать... И только я рот раскрыл, как вдруг из этой толпы детишачьей... этакий мальчонка курносенький... волосенки давно не стрижены, висят космами, худущий — словно весь из прутков связанный. Глаза большие, прямо по пятаку... И глядит, глядит. Да как закричит вдруг во весь голос: «Па-па! Па-па!» И ко мне со всех ног. Подбежал, в колени мне морденкой своей уткнулся, ноги, как клещами, ручонками схватил и плачет и кричит без конца: «Папочка! Па-па!» А какой я ему папа? Я его первый раз вижу. Ну, сам себе думаю: не иначе у мальчонки у этого отец тоже матросского чину-звания был. Родную, значит, душу малец учуял...

И опять Вандышев замолчал, широко шагая чуть впереди меня, изредка сплевывая в снег.

— Да-а... — Он глубоко вздохнул. — Вот этак-то, Дань, и нажил я себе сынишку. Кое-как рознял я ему ручонки, присел возле на корточки. «Здравствуй, говорю, сынка. Как живешь?» Ну тут и все остальные ко мне, сгрудились кругом, смотрят во все глаза, галдят: «Петькин папка нашелся, Петькин папка...» Сел я с ними, сию, а у самого сердце ходуном ходит, белугой реветь впору. Ах, думаю, бедолаги вы, бедолаги! Да когда же это мы вас досыта кормить станем, когда в теплую одежонку оденем? Ведь, думаю, никого у вас не осталось — ни матерей, ни отцов, никого, кроме Советской власти. Но не даст она вам

сгибнуть, вырастит она вас и выкормит, и, придет час, нарядит и выучит, и будете вы жить, не зная никакого капитализма, никакой такой погани, какая до революции нашу жизнь поедом ела.

Докурив папироску, Вандышев бросил окурочек в снег и облизнул пересохшие губы.

— Вот и хожу теперь туда, к своему сыночку, каждый почти день. Уж очень дорого, понимаешь, как он ко мне бегом бежит, как спотыкается. И глазенки, как два фонаря,— так и горят, так и светят...

— Ну, а как же тот? — спросил я.

— Кто? — не понял Вандышев.

— А который продукт воровал?

— А? Оказался не то лакей бывший, не то приказчик. Ну, сидим мы с детишками, он и приходит... Сначала не разглядел меня, с порогу как крикнет: «Чего галдите, поскребки матросские?!» Оказалось, видишь ты, там больше матросские детишки собраны. Везли их из Питера в Сибирь куда-то, на сытые, значит, хлеба, а тут колчаковщина в Сибири хвост подняла... Ну и застряли... — Вандышев помолчал. — Ну, как крикнул он это, я и встал. Встал, а у самого руки трясутся, собой не владею. Подошел к нему. «Ах ты, говорю, акула ты полосатая, живоглот бородатый! Ты что же, говорю, делаешь? Детишки у тебя голодом помирают, а у самого морда как самовар верошный?!»

И опять шли молча, слушая свист ветра.

— Побили, дядя Сергей? — спросил я.

Вандышев с сожалением вздохнул.

— Нельзя! Отвел в Чека, в подвал холодный заперли. Да велел три дня ни крошки ничего ему не давать. Пусть подумает, о детишках вспомнит. Теперь судить будем...

За разговором мы незаметно дошли до особняка богача Дедилина, где помещался детский дом. Почти все окна особняка были погружены во тьму, только в двух теплился слабый, желтоватый свет. Снежинки косо летели в этом желтом свете, появляясь из тьмы и снова исчезая в ней.

— А я думал, дядя Сергей, что и вправду у вас сын...

— Нет, Данила. — Вандышев вздохнул. — И не будет, видно...

— Почему?

— Да ведь пойми, Данилка... Когда же тут с женой цацкаться, если контра кругом на всех языках шипит да зубы оскаливает? Сначала, дорогой, мировую революцию надо на земле наладить, а уж потом... про все прочее думать...

Помню, когда я следом за Вандышевым поднимался по мраморным ступенькам крыльца, мне так захотелось расска-

зять ему о своей жизни, о погибшем отце, о том, как странно переменялась за последнее время мама, о Подсолнышке, об Оле, обо всех дорогих мне людях — о живых и погибших.

Но сказать я ничего не успел: на властный стук Вандышева нам открыли дверь, и в глубине украшенного белыми колоннами вестибюля нас встретила маленькая хлопотливая старушка с добрыми, глубоко запавшими глазами, с лицом, иссеченным множеством тоненьких морщин. Я подумал, что это и есть та самая няня, которая приходила жаловаться Вандышеву на воров. Так и оказалось. Теперь эта няня заведовала детдомом.

— А-а-а, комиссар! — певуче и ласково приветствовала она Вандышева. — Что-то давно не бывал. Ребятенки мои все глаза на дорогу выглядели. А Петька твой...

Она не договорила. На верху лестницы, на широкой площадке, где сверкало высокое, до самого потолка, трюмо в деревянной резной раме и куда выходило несколько дверей из глубины дома, послышалась возня, и истошно радостный вопль пронесся по всему дому. Десятка два мальчишек и девочек, смеясь и толкая друг друга, словно горох посыпались вниз по лестнице. И через несколько секунд Вандышев уже был окружен ватагой худеньких, бледных детишек. Они хватали его за руки, за ноги, кто-то старался вскарабкаться ему на плечи. За визгом и смехом ничего не расслышать.

Старенькая няня — ее звали Прасковей Михайловной — стояла в стороне и с улыбкой смотрела на детей. А Вандышев присел на корточки и, широко расставив руки, загреб в охапку несколько ребятишек и хохотал вместе с ними, чуть не падая на пол. Курносый Петька уже сидел у него на плече, изо всех сил прижимаясь животом к голове «отца», цепко обхватив ее обеими руками. Как мне тут же рассказала Прасковья Михайловна, Петька действительно был сыном кронштадтского матроса, который погиб во время подавления контрреволюционного мятежа на Красной Горке. Мать его подобрали на улице — она была при смерти, Петька, укутанный в старенький отцовский бушлат, лежал рядом. Так он попал в детский дом, который потом эвакуировали из Питера в глубь России.

Дав ребятам пошуметь и посмеяться, Прасковья Михайловна прикрикнула на них.

— Марш наверх, — приказала она. — Холодно. Застынете!

Вандышев встал, придерживая на плече сияющего Петьку.

— Дрова привезли, Михаловна?

— Привезли. Теперь в спальне до тепла топим. Пойдем, погляди...

Вандышев, окруженный детишками, стал подниматься по лестнице.

— Хворых нет? — спросил он, оглядываясь через плечо.

— Бог миловал! — отозвалась Прасковья Михайловна.

Вандышев остановился, посмотрел строго.

— Сколько раз я тебе указывал, Михаловна, чтобы ты детям мозги этим опиумом не напичкивала?

— Да ведь, милый ты мой комиссар! Неужели же бог — плохо?

Лицо Вандышева потемнело, в глазах загорелись недобрые огни.

— Ты еще у меня икон здесь повешивай! Ты знаешь, что есть опиум?

— Знаю, Сереженька, знаю... Так я же про того бога, который до бедного люда добрый... Бог — он, Сереженька, это все доброе, все хорошее, что на земле...

— И революция, стало быть, — бог?

— А как же, милый! Все, что трудящемуся на пользу, — бог.

Вандышев усмехнулся.

— Ох и хитра же ты, Михаловна! — И погрозил ей согнутым пальцем. — Учти: это наши сменщики в революционных делах и мозг у них должен быть ясный, коммунистический... Поняла?

— Как же, как же! Мозги-то у них еще ползать учатся. А вот животишки набивать им каждый день требуется... И мяса вся вышла, и селедки кончаются...

— Завтра вам коровенку пригонят. В Езыклинское за хлебом поехали. Там у одного мироеда три коровы на три души... Многовато по нынешнему времени... Будете молоко пить, салажата!

И опять начался веселый и бестолковый шум. Только двое или трое детишек не принимали участия в общем веселье, жались в стороне и исподлобья смотрели тоскующими глазами... Это были новенькие, еще не обжившиеся здесь дети. Уже в спальне одна из этих новеньких, тоненькая, как щепка, голенастая девочка с черными цыганскими глазами подошла к Вандышеву.

— Дядю, — робко спросила она. — А мий таточку ще не приихав?

Печальная искорка пролетела в глазах Вандышева, но он заставил себя улыбнуться. Подхватил девочку на руки.

— Нет, Оксаночка, ще не приихав. Он ще всякую деникинскую гниду на Донщине рубает. Скоро вернется твий тату. И другие, которые вместе с ним за революцию сражаются, вернутся.

— Скоро?

— Теперь скоро.

По распоряжению Михайловны старшие ребяташки растопили печь лежавшими возле нее дровами, огонь весело и ярко запылал. Для Вандышева положили перед печкой набок табуретку, как, вероятно, делали каждый раз, когда он приходил. Он сел, и вокруг него тесной стайкой сбились ребята.

Я не мог понять, что со мной. В горле у меня стоял комок. Я сел в сторонке и оттуда молча смотрел на Вандышева, на худенькие лица и ручонки детей и думал о Подсолнышке. И впервые мне пришло в голову, что, если мама заболит серьезно, придется Подсолнышку отдать в детский дом: я же не смогу и работать и смотреть за ней. И мне уже виделась сестренка в этой толпе бедно одетых детишек. Что ж, она вполне входила в эту семью: и так же была одета, и такие же у нее были худые руки.

Когда я оторвался от своих печальных раздумий и прислушался к словам Вандышева, оказалось, что он рассказывает детишкам, какая скоро будет на земле жизнь.

— И по всей земле вдоль всех дорог будут насажены сады. Вишневые, яблоневые, виноградные. И никаких заборов не будет. Захотелось тебе яблоко, скажем, или грушу — подойди и рви. И буржуев никаких не останется, все будут трудящиеся. И денег тоже не будет. Вот, скажем, поработал ты, а после работы иди в самый прекрасный магазин и бери все, что твоя душа хочет. Тельняшку надо — бери тельняшку, бушлат требуется тебе — на, пожалуйста! Вот какая будет жизнь.

— А колбасу? — несмело спросила девочка с большими глазами.

— Пожалуйста! — широко распахнул руками Вандышев. — Сколько хочешь. И работать каждый будет самую любимую свою работу. Ну вот ты, Петро, ты кем будешь работать, когда вырастешь?

— Я? — Малыш задумался, сосредоточенно ковыряя в носу. И вдруг оживился. Глаза у него заблестели. — Я — поваром.

— И я! И я! И я поваром! — на все голоса закричали ребяташки.

Вандышев расхохотался:

— Вот так дела! Все будут поварами. А кого же кормить станете, если все будете кашеварить?

В кармане у Вандышева оказалось несколько кусочков сахара, он достал их и, разломав темными сильными пальцами, rozdal детям. Потом мы попрощались и ушли.

Назад шли молча. На улицах было темно и пустынно. Ветер не стихал, и так же тяжело, как и раньше, падал снег. Я шагал следом за Вандышевым, а перед глазами у меня неотступно стояли бескровные, бледные лица, и из-за них на меня смотрели синие глаза Подсолнышки. Я с болью в сердце



думал, что и сестренке моей, наверно, не удастся избежать судьбы этих «безродных», для которых все желания в жизни вытеснялись теперь одним желанием: досыта поесть.

## 10. «ДЕТОНЬКА МОЯ СВЕТЛАЯ...»

Мы вернулись в уком, и я снова принялся за работу. Надо было набрать последние известия в завтрашний номер газеты: только что с телеграфа принесли новые телеграммы. Но работать мне было трудно: наверно, я уже был болен. Временами все качалось и плыло у меня перед глазами, мне хотелось лечь, укутаться с головой шинелью и ни о чем не думать.

Я набирал заметку, которая, если не изменяет память, называлась «Колчак торгует Россией». В ней говорилось, что Колчак заявил правительству США, будто он принужден, если союзники не будут оказывать ему дальнейшей помощи, в целях спасения от большевиков уступить Японии часть Сибири.

В укоме опять начались совещания, они шли без конца. Я не прислушивался к словам, долетавшим в типографию,— все это было обычно. И только на стук входной двери я невольно каждый раз поднимал голову.

Иногда я взглядывал на Соньку Кичигину: она сидела на диване рядом с Морозовой и увязывала одежду в большие узлы. Я думал об этой рыжеволосой девчонке и спрашивал себя: что могло оторвать ее от сытой и теплой жизни и привести к нам, думал о том, как сложна жизнь и какие непонятные силы заставляют иногда людей совершать те или иные поступки.

От этих раздумий меня снова оторвал стук входной двери. Подняв голову, я увидел, что на пороге стоит мать. Она была в своей залатанной, потерявшей цвет кацавейке, с непокрытой головой; я ее не сразу узнал, потому что волосы у нее были совершенно белые — от дыхания на них сел густой иней. В руках она держала большой узел, завернутый в Подсолнышкино, сшитое из разноцветных треугольников одеяло. Я машинально отложил верстатку и подошел к двери.

Мама постояла, обвела всех в комнате странным, рассеянным взглядом, словно никого не узнавая, вероятно, не понимая, где она и как здесь очутилась. Дышала она тяжело, со свистом; белые, обледеневшие волосы беспорядочными космами висели по сторонам лица.

Дядя Коля приподнялся над столом, досадливо морщась. К маме теперь он относился хуже, чем раньше,— она слишком часто говорила ему в лицо обидные, незаслуженные слова, будто это он был виноват в том, что в городе нечего есть, что нет ни хлеба, ни крупы, ни дров.

— Что хотела, Даша? — сухо спросил он.

Мать молчала, не отвечая, может быть даже не слыша. Оглядевшись, она несколько мгновений пристально смотрела на картину над столом, где рыбаки сидели у костра на берегу, потом тяжело, точно ступая по пояс в воде, сделала несколько шагов к столу и только теперь как будто увидела и узнала дядю Колю. Она внимательно посмотрела на него, на других за столом и молча, очень осторожно положила свой сверток на стол.

Я смотрел, спрашивая себя: как же она развернула Подсолнышку и оставила ее без одеяла? Ведь дома холодно, а Подсолнышка совсем больная.

Да, в этот вечер и я уже был по-настоящему болен. С самого утра я чувствовал необычную слабость и головокружение, но думал, что это от голода, оттого, что вот уже много месяцев я ни разу не ел досыта. У меня беспрерывно звенело в ушах, словно через голову текли шумные бурные реки; странное беспокойство овладевало мной, будто мне надо было обязательно куда-то идти, будто я позабыл сделать что-то важное, необходимое.

Все в укоме молчали. Наконец Вандышев спросил:

— Что, гражданочка, принесла?

Мама не слышала вопроса. Она посмотрела на дядю Колю, поправила какую-то складочку на одеяле и сказала тихим невыразительным голосом:

— Вот она... — И вдруг что-то как будто сломалось в ней, она оглянулась кругом безумными глазами и закричала: — Детонька моя светлая... Сашенька! Кровиночка моя горькая!

Я все еще не понимал, что произошло, и во все глаза смотрел на маму. Мне хотелось подойти к ней, взять ее за руку, увести домой, к Подсолнышке, успокоить, согреть. Но в это время Вандышев встал и сурово сказал:

— Ну хватит! Что у тебя тут? — Он откинул в сторону уголки одеяла, и я увидел бледный, безжизненный лобик.

Маленькое, такое дорогое мне личико сестренки было спокойно, на губах чудилась затаенная улыбка.

Все поднялись и молча смотрели на мертвую Подсолнышку. И странно — я не крикнул, не бросился к ней, просто стоял и смотрел. Было так тихо, что отчетливо слышались вой ветра на улице и потрескивание раскаленного железа печки. Мама, с ненавистью глядя на дядю Колю, сказала:

— Сами жрете, поди-ка... Буржуев выгнали, сами на их место сели... на рысках разъезжаете! Блины каждый день пекете! А... а... дети наши... — Она не договорила, рот у нее медленно пополз на сторону, голова наклонилась набок, она взялась рукой за край стола и покачнулась.

Вандышев смотрел на нее с гневным недоумением. Для него это была тоже какая-то разновидность «контры» — он ведь маму мою совсем не знал, ни разу до этого не видел.

Худое, изможденное, с торчащими вперед скулами лицо дяди Коли стало страшным. Ему, наверно, хотелось закричать, что это неправда, что мама повторяет чужие, вражеские слова, но он сдерживался и только смотрел на нее. Морозова подхватила маму под руки и усадила на диван.

Мама села на край, свесив между коленями свои худые, ставшие такими длинными руки. И вдруг в тишине, где отчетливо и раздельно было слышно дыхание многих людей, она тихо засмеялась. Смеялась она бессмысленно и так ласково, как смеялась только очень давно, в самые хорошие, в самые счастливые свои дни.

И вот тут, когда я понял, что мама сходит или уже сошла с ума, что-то надломилось у меня внутри, я закричал и кинулся к ней, не глядя по сторонам. Мне мешала печка, стоявшая в двери. Покачнувшись, я схватился за ее раскаленное железо и закричал от пронзившей меня боли.

Утром на другой день маму отправили в Карамзинскую колонию; там отапливались две палаты для душевнобольных — таких в те годы было немало.

Подсолнышку похоронили.

Похороны я помню как сквозь дым, как кусок полузабытого сна: сани-розвальни, тонущие в снегу, маленький гробик из изъеденных древоточцем досок, ветви деревьев, толстые и белые от инея, словно выкованные из серебра. Но помню — у меня не было жалости к умершей: у нее было спокойное, умиротворенное лицо. Мне казалось, что у нее такое выражение: «Ага, я вас всех обхитрила, я теперь не буду ни мерзнуть, ни голодать».

Маму из колонии увезли в губернский город, где была психиатрическая лечебница, дядя Коля утешал меня, что она скоро поправится, что это у нее временное. Я взял все вещи, которые остались, и перенес их в уком, в соседнюю с типографией комнату — в ней раньше жил кто-то из прислуги.

На стене в углу висела дешевенькая олеография — Христос в Гефсиманском саду: неправдоподобно синее, с очень крупными звездами, небо, незнакомые мне деревья... Под железной койкой валялись рваные тряпки, обрывки писем на непонятном мне языке, пучок тоненьких восковых свечей. В углу стояла виолончель с рваными струнами — только одна, самая толстая, была целая, прикосновение к ней рождало глухой, тоскующий звук.

В своем новом жилище я провел всего одну ночь, на следующий день болезнь окончательно скрутила меня.

Может быть, кто-нибудь упрекнет меня в том, что я в воспоминаниях о первых днях Советской власти, в воспоминаниях о революции привожу слишком много тяжелых подробностей,— может быть, можно было бы обойтись без этого? Нет, нельзя. Нельзя, чтобы те, которые сегодня молоды, придя в наш сравнительно благоустроенный мир, не знали, какой огромной ценой их отцы и матери заплатили когда-то за революцию.

## 11. В ГОСПИТАЛЕ

В себя я пришел в госпитале, и первый знакомый человек, которого я там увидел, была Сонька Кичигина. Она работала санитаркой.

Госпиталь был набит битком, больные лежали не только на койках, но и между ними — и в палатах и в коридорах — на постланных на пол тюфяках, а иногда и просто на охапках соломы.

Я очнулся на койке, в самой теплой и чистой палате: меня устроили так, видно, потому, что привез меня в госпиталь сам комиссар.

Когда я открыл глаза, наступало утро: сквозь обледенелые стекла сочился мягкий снежный свет. У двери, на косяке, еще горела керосиновая лампа с круглым жестяным рефлектором. Прямо под ней, на полу, метался и громко бредил больной.

Как я узнал позже, с того дня, как я попал в госпиталь, до момента, когда очнулся, прошло четырнадцать дней — все это время я пролежал в жестоком бреде и жару. Очнувшись, был настолько слаб, что не мог поднять руки. Хотелось пить. Я напрягся, чтобы крикнуть, но губы шевельнулись, не издав ни звука. И опять — туман, забытие. Когда надо мной склонилось похудевшее лицо Сони, в окна во всю свою холодную зимнюю силу светило солнце.

Потом, помню, около моей койки стояла в белом халате незнакомая мне женщина и, трогая мой лоб приятно холодной ладонью, говорила кому-то, кого я не видел:

— Ну, наш беззубенький выкарабкался...

И опять я проваливался в темную пустоту сна, и опять просыпался и смотрел в окно, то задернутое темной пеленой ночи, то играющее в солнечном луче гранями льда, то окрашенное пожаром заката. Жизнь медленно и трудно возвращалась в мое тело: неподвижно лежа, я с радостью прислушивался к тому, как она все более сильными струями течет во мне — в худых руках, в груди, как она журчит там, словно весенний ручей.

Я был счастлив, что койка моя стоит у окна и мне видно

небо. В теплые дни ледяная броня на стеклах делалась тоньше, прозрачнее, в ней появлялись круглые просветы — такие получаются на замерзшем окне, если на него подышать. Когда я не спал, я смотрел в окно почти не отрываясь — это, вероятно, инстинкт жизни заставлял меня отворачиваться от чужих страданий.

Выздоровливали или умирали одни, их место занимали другие. Выздоровливающие ковыляли от койки к койке, разживаясь бумажкой или табачком, разнося новости. Я сначала ни на что не обращал внимания, как будто лежал в совершенно отдельном помещении, как будто моя койка стояла в пустоте, залитой солнечным светом, ожиданием выздоровления и жизни. В этой солнечной пустоте время от времени появлялись два человека — Соня и Вандышев. Соня подходила, поднимала меня, поддерживая за спину, поила, кормила. И мне были бесконечно отрадны эти ее легкие и в то же время сильные прикосновения, сердце мое наполнялось благодарностью к ее чутким рукам, к ее улыбке. Но непонятное чувство мешало мне. Как только появлялась Соня, меня охватывало тягостное недоумение: мне было необходимо что-то вспомнить, и я никак не мог вспомнить — что.

Из состояния дремотного сна меня вывел один эпизод.

На койке рядом со мной умирал красноармеец Глухов, огромный, плечистый человек с серой щетиной, торчащей из глубоко запавших щек, с большими светло-голубыми, уже не видящими глазами. Он умер тихо, ночью, почти на рассвете. Я очнулся, сам не знаю отчего, очнулся и открыл глаза.

Тщедушный солдатик, двигаясь неловко, стараясь не зашибить культяпку ампутированной ноги, возился у изголовья Глухова, шарил под подушкой, держась одной рукой за спинку койки. В ответ на мой взгляд он подмигнул:

— Гляжу — кисет у него где... он напоследок и не курил вовсе.

Потом пришла Соня и с ней еще один санитар, недавно выздоровевший паренек, почти мальчик, качающийся и худой. Они принесли полотняные носилки и хотели положить на них Глухова, но никак не могли снять его с койки: ноги умершего оказались просунутыми между прутьями в спинке койки и так застыли. В конце концов его вывезли вместе с койкой.

Вот этот случай и заставил меня по-настоящему очнуться. С этого часа я уже не находился в солнечной пустоте, где не было ничего, кроме приятных воспоминаний и надежд, неясных и светлых. Теперь меня болезненно остро касалось все происходившее кругом, как будто кто-то мстил мне за то, что я долгое время стоял в стороне, не прикасаясь к ранам, которые наносила людям жизнь.

Именно тогда я впервые с поразительной отчетливостью увидел свои последние перед госпиталем дни, словно ослепительный столб прожекторного света ударил туда, в прошлое. Мраморный лобик Подсолнышки, скрип широких полозьев по снегу, белые ветви деревьев, ломающиеся от тяжести инея, желтая пасть могилы и беззащитный гробик в ней, сколоченный из изъеденных древоточцем досок. Именно тогда в мою душу со всей силой ударила смерть Сашеньки, именно тогда я понял, что больше никогда не увижу ее синих, доверчивых и добрых глаз, не услышу ее голоса, ее смеха. И все для меня померкло, все потеряло цену.

Как раз тогда я начал понимать, что меня беспокоило при взгляде на Соню: она принадлежала к враждебному мне миру, который я привык ненавидеть, который был виноват в гибели отца, в смерти Подсолнышки, в болезни мамы. Во мне опять просыпалось подозрение, что уход Сони от отца — это неправда, обман: сейчас, когда Советская власть победила, даже самые ярые враги вынуждены признавать ее и подчиняться ее приказам. Может быть, и Сонька такая? Мне было неприятно думать так, потому что она мне нравилась, нравились ее ловкие руки, ее доброе лицо, ее улыбка.

Становилось теплее. В палатах госпиталя менялись люди: одни, выздоравливая, уезжали на фронт, в основном на Южный, — именно там, под Новороссийском, шли теперь ожесточенные бои; другие, потерявшие руку или ногу, уходили в «мирную жизнь», ковыляя на самодельных костылях и культяпках. Скоро должна была наступить и моя очередь. И вопрос о том, куда я пойду, начинал смутно беспокоить меня. Родных у меня не осталось, идти было некуда, и я решил: выздоровею и уйду на фронт, на мой век боев хватит.

Соня относилась ко мне хорошо. Иногда, в редкие часы затишья, вечером или рано утром, она подсаживалась ко мне на койку, и мы разговаривали обо всем, что приходило в голову. Я и раньше знал, что она училась в гимназии, но меня поразило то, что и она читала «Овода» и что книга ей нравилась. Это, помню, меня даже обидело: эта прекрасная книга была моя, ее должны были ненавидеть Кичигины.

— А разве среди революционеров не было людей из дворян и духовенства? — спросила Соня.

Я подумал об Оводе и согласился:

— Да, были.

— Ну вот, видишь, — сказала Соня, вставая. На секунду она задумалась, щеки у нее порозовели. — И Ленин до революции был дворянином.

Я даже приподнялся на койке.

— Ну, это ты врешь!

— Я тоже не знала,— насильно укладывая меня, негромко сказала Соня.— Мне Сережа сказал. Да ложись же ты!

— Какой Сережа?

— Какой... Ну Вандышев...— Лицо у Сони пятнами покраснело, и она, ничего больше не слушая, убежала.

А я лежал и спрашивал себя: почему она назвала Вандышева Сережей, почему покраснела? Мне все еще невдомек было, что за те две недели, которые я провалялся в бреду, жизнь на земле шла своим чередом.

Однажды Соня принесла и потихоньку сунула мне под подушку две печеные картошки. Они были еще теплые и пахли золой. Это было в день, когда по госпиталю проводился сбор пожертвований для Красной Армии. Раненые и больные отдавали табак и бумагу, у двоих были шерстяные носки, у одного почти новые рукавицы, многие отдавали деньги, чтобы комиссия купила табак или сухарей.

Легостаев, у которого была ампутирована нога, отдал один сапог. «Может, найдется и там калечный вроде меня»,— невесело пошутил он. Раненый комиссар Свитин отдал золотое обручальное кольцо, а врач Мария Петровна Стюарт — гранатовые сережки. У меня не было ничего, кроме двух печеных картошек, спрятанных под подушкой. Я лежал и думал: можно ли послать их?

В эту минуту к моей койке и подошел Вандышев — в последние дни он часто навещал меня. Правда, в госпиталь он ходил и раньше, наблюдал за тем, как содержатся раненые, хорошо ли их кормят и лечат. Но, как мне тогда казалось, ко мне он проявлял более дружеское внимание, чем к кому-либо другому.

Он уселся на подоконник рядом с койкой и, свертывая папиросу, спросил, как дела. Я сказал, что, наверно, скоро выпишусь и уеду на фронт.

— Да тебя же любая сопля перешибет! — засмеялся он.— Очень ты на фронте нужен. Мы тебе здесь дело найдем.

Подошла Соня, застенчивая и смущенная. На щеках у нее опять пылали красные пятна.

— Здравствуйте,— сказала она, на секунду вскидывая на Вандышева сияющие глаза.— Бинтов еще не привезли?

— Нет,— покачал головой Вандышев, и темное лицо его, когда он смотрел на Соню, светлело.— Устала?

— Да нет, что вы!

Ее позвали из соседней палаты, и она убежала.

Вандышев рассказал мне, что мать моя так никого и не узнаёт, только смеется и молится. Временами ей мерещится, что вернулся отец, она разговаривает с ним иногда обо мне, а больше о Саше — сестренку она, конечно, любила сильнее.





Обычно, явившись в госпиталь, Вандышев проходил по всем палатам, присаживался на койки к выздоравливающим, делился табачком, рассказывал новости — он называл это «завернуть политику».

Помню, что новости, которые он сообщал нам, становились день ото дня тревожнее. С наступлением весны снова оживились вражеские армии на юге Украины и на западе. Поляки готовились к походу на нашу республику. Дядя Сергей говорил, что Америка передала Польше все свои военные запасы, оставшиеся в Европе после первой мировой войны: более двадцати тысяч пулеметов, двести танков, триста аэропланов, — эти цифры я помню. А на юге врангелевская армия, имея за спиной хорошо укрепленный Крым, наступала на Донбасс и Каховку. Туда, в Крым, на американских пароходах «Сангомоне» и «Честере Вальси» было доставлено четыреста тысяч ящиков шрапнельных снарядов и взрывчатки. В общем, по заключению Вандышева, снова «накатывался штормяга».

— Скоро и я, брат, уеду, — сказал он, вставая. — Надоело околачиваться в тылу, да все не пускают, черти. Ну, бывай!

Я остановил его, взяв за горячую, сухую руку, и сказал про картошку. Он подумал. Снова сел и спросил:

— А откуда картошка?

— Соня...

— А! Она добрая... А ты сам-то что же, не хочешь есть?

Что я мог ему ответить? Конечно, мне очень хотелось съесть эту картошку, но у меня не было даже щепотки махорки, чтобы высыпать ее в общую кучу табака на табурете посреди палаты. Но я не хотел, не мог быть хуже других.

— Н-да! Хорошего ты батьки сын, Данька! — С пристальным любопытством разглядывая меня, Вандышев покрутил головой. — А посылать картошку, ясное дело, нельзя. — Он вдруг озорно усмехнулся: — А знаешь что?

И посоветовал разыграть эти две картофелины в лотерею.

Через два дня в газете «Путь борьбы» была напечатана заметка без подписи. Я думаю, что написал ее сам Вандышев. В ней говорилось: «Больные и раненые второго госпиталя в пользу «Недели фронта» устроили американскую лотерею. Были разыграны имевшиеся у больного Д. две вареные картофелины. В пользу «Недели фронта» выручено 780 рублей».

## 12. ТОВАРИЩИ УЕЗЖАЮТ НА ФРОНТ

До того, как я попал в госпиталь, я думал, что я очень много знаю, что я много пережил и испытал. Но оказалось, мой прежний мир был до убожества мал: в нем жило и боро-

лось, любило и страдало всего несколько десятков человек. А настоящий мир был подлинно необъятен: в нем миллионы людей рождались и умирали, страдали и радовались, приходили и уходили. И каждый из этих людей имел свое собственное отношение ко всему остальному на земле, имел свой круг представлений о счастье и жизни.

Лишь на втором месяце болезни я стал внимательнее присматриваться к людям, окружавшим меня в госпитале, и на фоне чужих жизней мои собственные страдания и радости показались мне мелкими и ничтожными. Это тоже, как мне кажется, помогло выздоровлению, потому что иначе чувство сиротства, охватившее меня тогда, было бы очень сильно.

Да, многие дорогие мне люди ушли из жизни, но мир не был для меня пустым. В него все плотнее день ото дня входили многие другие, и прежде всего Вандышев. При ближайшем рассмотрении он оказывался вовсе не таким уж суровым: у него были удивительно мягкие, женственно красивые глаза, особенно когда он улыбался. Он был грубоват, любил солдатовское слово, как он сам говорил, но это шло вовсе не от врожденной грубости. Раз два он принимался рассказывать мне о своей родной деревне где-то в Сибири, и такими радостными, такими родными казались мне нарисованные им березовые пейзажи и синие озера, такой мощью веяло от таежных просторов! О своей семье Вандышев никогда не говорил: вероятно, слишком свежа была рана, чтобы можно было ее тревожить. Он очень любил говорить о том, какая прекрасная жизнь настанет для трудящихся после того, как мы победим всех врагов и справимся с послевоенной разрухой. И лицо у него во время таких разговоров становилось одухотворенным, как бы светящимся изнутри. Я вспоминал, как иногда по ночам, оставшись из-за срочной работы в типографии, я украдкой наблюдал за Вандышевым. Все давно уже спали, а он сидел за столом, подперев кулаками голову, и, наморщив лоб, что-нибудь читал, шевеля губами. Устав, он закуривал и, откинувшись к спинке кресла, с удовлетворением смотрел в лепной потолок, на котором резвились гипсовые купидоны. Потом говорил: «Так!» — и снова принимался за книгу.

Интересно было мне наблюдать и за Соней Кичигиной. Раньше она казалась мне балованной буржуйской девчонкой, которую я ненавидел, ненавидел бездумно, не размышляя, — мы с ней, как это принято говорить, стояли по разные стороны баррикады. Но, когда я увидел, как она ухаживает за больными, не гнушаясь ни ран, ни грязи, ни матерной брани, когда я увидел на ней такие же опорки, какие были в то время на всех нас, я еще раз подумал: а ведь не одна она пришла в революцию из враждебного класса. А тут еще Вандышев

подтвердил мне, что Ленин — бывший дворянин. Это меня поразило. Я считал Ленина рабочим, таким же, каким был мой отец, каким был дядя Коля. А оказывается, все в мире было сложнее, чем я думал. И похудевшие, побледневшие щеки Со-ни были для меня одним из доказательств этого.

Жила Соня при госпитале, в комнате под лестницей, где спали по очереди три наши «милосердные сестры»: две девушки, Соня и Тamarочка, и бывшая прачка, пожилая, некрасивая, вся в родинках Марина Николаевна. У них тогда не было ничего такого, что сейчас определяется понятием «рабочий день», — они работали все время, когда это было нужно.

Соня не дружила по-настоящему ни с юркой, похожей на козочку, темноглазой Тamarочкой, ни с Мариной Николаев-ной — между ними, несмотря на общность труда, стояла невидимая преграда. Объяснялось это тем, что Соня — дочь торговца, которого все в городе хорошо знали, тем, что она училась в гимназии.

Отдаляло Соню от подруг, видимо, и то, что раза два в неделю к ней приходил отец. Однажды, когда я уже мог сидеть, привалившись к спинке кровати, я видел, как старик Кичигин — совершенно непохожий на того сытого, черноусого мужчину, который когда-то, важно сидя за прилавком, читал «Биржевые ведомости», — робко топтался на крыльце госпи-таля, разговаривая с Соней. В его фигуре, пришибленной и жалкой, в самой его, может быть нарочито бедной и неряш-ливой, одежде, в том, как он заискивающе смотрел на Соню, я увидел многое, чего не замечал раньше.

Мне не было слышно слов их разговора, я только видел, как они шевелили губами: Кичигин — торопливо и виновато упрасывая о чем-то, а Соня — не глядя на него, упрямая и строгая, какой никогда не бывала в палате. В конце разгово-ра, что-то стерев со щеки худой vareжкой, Кичигин так горь-ко, так потерянно махнул рукой, что мне даже стало его жал-ко. Он молча протянул дочери небольшой узелок, но она сначала отрицательно покачала головой и только после неко-торого раздумья взяла узелок и ушла.

Что было в узелке, я узнал получасом позже: несколькими больным, в том числе и мне, Соня сунула по кусочку лепешки. Я съел этот кусок, думая о Кичигине и вспоминая нашего мельничного мастера Мельгузина, всю жизнь любившего мою маму и погибшего страшной, одинокой смертью. Вот и этот Кичигин, человек когда-то богатый и гордый, которому я за-видовал чуть не с первых дней моего голодного, нищего детст-ва, человек, гордившийся тем, что у него сын «первеющий на весь город красавец, можно сказать» и «дочь в гимназиях вместе с знатными девицами обучается», — что оставалось

ему теперь в жизни? И вспомнилась мне еще одна подробность, которую я знал о Кичигине с детства. Когда-то у него была великолепная ангорская кошка Няяда, мальчишкой я ее частенько видел у него в магазине. Каждый год она приносила ему нескольких котят, но он собственноручно топил их в ведре, предварительно, из фарисейской жалости, подогрев воду. Топил он котят потому, что не хотел, чтобы у кого-нибудь в городе была такая же ангорская кошка, как у него. Няяда эта давно сдохла, и в доме Кичигина, кроме него самого и страшной горбатенькой прислуги — какой-то дальней его родственницы, — вероятно, не было теперь ни одного живого существа.

И мне уже казалось странным, что я мог когда-то завидовать такому человеку. Вот я выздоровею, пойду на фронт, мы победим всех врагов, и какая же безграничная жизнь распадается перед тобой, Данька! Я думал, что, когда на всей земле жизнь будет мирная и хорошая, я повидаю все интересные страны: и эти самые, манящие, как сказка, Гавайские острова, и Индию, и Африку, а одинокий, никому не нужный Кичигин так и умрет за своим высоким забором.

Иосиф Борисович тоже, уже перед отъездом, навестил меня. Ничего не видя со света, протирая очки, он долго топтался в дверях палаты. У меня взволнованно забилося сердце: к кому пришел? Ко мне? Но, поставив и так, видимо, и не найдя того, кого ему было надо, Гейер вышел. Не могу сказать, какой горькой обидой наполнилось мое сердце: даже не подошел! Я и не представлял себе, как изменила меня болезнь — я был стриженный, белый, с костяным лицом.

Через минуту Иосиф Борисович вернулся вместе с Соней, и она, улыбнувшись ему, неслышно подошла к моей койке. — Да вот же он, наш Данька!

Она подставила к моей койке табурет, и Гейер сел. Снял свою старенькую кепку, с доброй и виноватой улыбкой долго рассматривал меня сквозь блестящие стекла очков, одно из которых было теперь разбито. Лицо у него — бледное и усталое, рот смяли с обеих сторон суровые складки. Я не удивился этим переменам, так как из рассказов Вандышева знал, что Гейеру пришлось несколько раз выезжать с продотрядом в села, где кулаки отказывались сдавать хлеб.

— А ты, Даня, хорошо выглядишь. Ей-богу! — сказал Гейер с подчеркнутой бодростью и покраснел. Снял очки и, часто моргая светлыми ресницами, посмотрел на меня с выражением какой-то особенной нежности — так на меня иногда смотрела мама. — Теперь скоро встанешь?

— Наверно, скоро.

— Давай вставай. А то ребята по тебе соскучились.

Соня стояла рядом, освещенная бьющим в окна солнечным светом, и с улыбкой слушала. Гейер, помявшись, виновато взглянул на нее снизу вверх.

— Я тут, Сонечка, небольшую передачку принес. Можно?

— Ну конечно же! — по-детски взмахнув руками, обрадовалась Соня. — Мы всегда рады, когда кто-нибудь добрый приносит нам передачи. У нас ведь только суп да каша. А они знаете как есть хотят, которые выздоравливают?! У-у! Обжоры!

Гейер достал из кармана пиджака завернутую в газету горбушку черного хлеба и две маленькие, сухие, как камень, воблы. Я заметил, что его белые худые пальцы стали еще длиннее, еще больше похудели.

— На вот, друже, — сказал он. — Извини за бедность, сам знаешь...

Меня охватило странное, до слез, волнение. Хотелось заплакать от благодарности к этому почти незнакомому человеку, который принес мне свой недельный паек. Но я, конечно, не заплакал, а только грубовато отмахнулся:

— Ну вот еще!

Гейер с мягкой настойчивостью положил хлеб и рыбу на одеяло, рядом с моей рукой.

— Я ведь попрощаться зашел, — не давая мне возразить, поспешно продолжал он. — Уезжаю, брат...

— Куда?!

— На фронт, друже! На Украину вторглись белополяки. Прут на Киев.

Больные прислушивались к словам Гейера. Многие приподнялись на койках. Лежащий через койку от меня Бардик сел, свесив на пол босые, желтые, как репа, ноги.

— Опять, значит, лезут?!

И сразу откликнулось несколько голосов, загудели, заговорили.

Гейер улыбнулся Бардику своей обычной сдержанной улыбкой:

— Ничего, товарищ! Ленин пишет, что мы их побьем. Значит, побьем. — И снова повернулся ко мне: — Вот так-то, друже. Прощай, значит. — И встал. — Пойду собираться.

— Уже?

— Пора. Я ведь не один еду, целой артелью гремим.

— А из наших кто еще?

— Да кто... Юра едет... еще комсомольцы едут... Вандышев...

Соня негромко вскрикнула и схватилась рукой за грудь. Когда я взглянул на нее, меня поразило выражение ее лица. Рот открылся, красивые серые глаза стали странно большими, и в них стремительно накапливались слезы.

— Да как же так? — растерянно спросила она. — Да как же это? Боже ты мой!

Она рывком повернулась и ушла.

И только тогда я понял нехитрую историю этой только что начавшейся любви. Я припомнил румянец волнения, которым озарялось лицо Сони, когда приходил Вандышев, ее робкие и ласковые взгляды, веселую стремительность, с какой она принималась в его присутствии носиться по палатам.

«Так вот оно что! — думал я после ухода Гейера. — А ты воображал, дурак, что это ради тебя Вандышев так часто ходит в госпиталь, что это ради тебя целыми часами просиживает в палате!» Я вспоминал, как Соня много раз провожала Вандышева на крыльцо и как они стояли там, разговаривая и улыбаясь друг другу, — совсем не такие, какими были в палате. Иногда Соня спускалась с крыльца и провожала Вандышева дальше, мне не было видно куда.

Палата жила своей привычной жизнью, а я лежал и думал. Вот, значит, как! Уезжает Гейер, уезжает Вандышев, уезжают мои укомолы. Уезжают все, кто способен носить оружие. И опять я один.

Смеркалось.

За день лед на окнах почти растаял, отчетливо чернели голые ветви тополей, красным пылающим шаром катилось по городским крышам солнце. Небо вздымалось чистое, залитое каким-то подводным зеленоватым светом; черными тенями проносились птицы.

### 13. «ХЛЕБЦА БЫ ДОСЫТА ПОЕСТЬ...»

Но оказалось, что Вандышев уехал не сразу: некому было сдать дела по Чека и комиссариату. А положение в уезде оставалось тяжелым: сопротивление кулачья все нарастало. По рассказам того же Вандышева я знал, что в те дни продовольственные отряды, отправлявшиеся в уезд, снабжались не только мандатами и литературой, но и бомбами.

Как только по селам прошла весть о новом вторжении Антанты на Украину, кулачье и прятавшиеся по всяким подпольям белогвардейцы зашевелились. Чаше стали поступать сведения об изуверских убийствах председателей комбедов и сельсоветов, коммунистов и продовольственных уполномоченных, о бесчеловечных надругательствах над ними. К нам в госпиталь с площади Павших Борцов то и дело долетало замедленное, скорбное дыхание духового оркестра, это хватающее за душу «Вы жертвою пали», — хоронили тех, кого привозили домой из последних командировок. Сейчас, спустя со-

рок лет, когда я вспоминаю то тревожное время, мне часто приходят на память стихи моего друга, безвременно погибшего Виктора Багрова:

Рассекая над собою  
белый омут высоты,  
Колокольни поднимают  
обагренные кресты,  
И ревет, как зверь голодный,  
над разбуженным селом  
Бог кулацкого восстания  
колокольным языком.

И еще:

Только спят, разгладив брови,  
И проснуться им нельзя,  
Наши лучшие ребята,  
Наши лучшие друзья.  
Кровь застыла над губами,  
Как сургучная печать,  
Не могли мы при разлуке  
Эти губы целовать.  
Спят они, разгладив брови,  
Безмятежным вечным сном,  
Зацелованы до крови  
Вороненым топором.

Мне кажется, что приведенные мной строчки очень точно передают атмосферу тех дней, когда каждую минуту можно было ожидать какой-нибудь вражеской вылазки, какой-нибудь провокации. А у нас именно Вандышев был той силой, которая ломала в самом истоке вражеское сопротивление.

И только в конце апреля, когда телеграф принес известие, что белополяки вплотную подошли к Киеву, настало время и для Вандышева идти на фронт.

В тот день, накануне его отъезда, мне опять приснилась Подсолнышка, приснилась так отчетливо, так ярко, словно я видел ее наяву. В ситцевом белом с синими горохами платье, с растрепанными льняными волосенками, она подошла к моей койке и, засмеявшись, излучая глазенками синий ласковый свет, тронула пальчиком мои губы: «Все не выросли зубки?» А потом села рядом на койку и заплакала, сказала сквозь слезы: «К тебе, Дань, хочу, к мамке».

Этот сон опять с беспощадной силой повернул меня лицом к прошлому. И сразу отошло в сторону и ощущение выздоровления и сама искрящаяся, хотя и замедленная радость возвращения к жизни — все, что наполняло меня в те дни.

А утро было солнечное и тихое. Ласковый, бархатный свет солнца неслышно плыл в окна веселыми, пронизанными пылью реками — в этом радостном, непрерывно струящемся сиянии так неприглядно, так страшно выглядели наши бескровные лица и руки, наша убогая одежка.

Недалеко от меня метался в бреду молоденький, еще безусый солдатик с выпуклым крутым лбом и скорбными, чуть перекошенными губами, несколько дней назад его сняли с одного из сибирских эшелонов. Вообще из сибирских поездов в наш, самый близкий к вокзалу, госпиталь поступало много больных: в Сибири свирепствовал тиф. Хотя тиф в тот год косил тысячи людей не только в Сибири.

Глядя на воспаленные, невидящие глаза соседа, на его покрытый испариной лоб, я вспоминал телеграммы, которые мне пришлось набирать за день до того, как меня свалила болезнь. В одной из них говорилось, что, «покидая Харьков, белые оставили там двадцать тысяч тифозных больных».

Я лежал, вспоминал, думал. А солнце светило с весенней щедростью, и на подоконниках вихрастые воробышки, греясь на солнечном припеке, с суматошной деловитостью чистили перышки.

Теперь, когда с окон спала ледяная броня, я окончательно узнал дом, где помещался госпиталь, узнал по деревьям в саду, по голому бронзовому мальчугану, который держал в руках большую рыбу. Это был дом князя Калетина.

Кстати, совсем недавно, через четыре десятилетия после тех событий, я получил из родного моего города письмо. Прислал мне его Валерик — младший Юркин сынишка. Он пишет, что в калетинском доме теперь помещается городской Дворец пионеров. Значит, в той палате, где лежали мы, гомонят с утра до вечера ребята. Мне было очень радостно это прочитать.

Но, оглядываясь на те дни, я вспоминаю, что даже у тяжелобольных не было тогда чувства подавленности, обреченности, все спешили, торопились поскорее выздороветь и уйти из госпиталя: каждого за стенами госпиталя ждали важные, неотложные и радостные дела.

— Земля-то уж, поди-ка, отмякла. Теперь самая об семенах забота,— задумчиво говорил, сидя на подоконнике и попыхивая сигаркой, Бардик, бородатый солдат с светлыми, чуть удивленными, неподвижными глазами, с рукой на перевязи.— Ох, до чего же, братцы, охота босыми ногами по такой земле походить. А? И до чего же пахать охота — так бы ее руками и ковырял. Аж ладони чешутся.

— А на чем пахать? — хмуро отозвался от самой двери Легостаев, скуластый, с болезненным лицом. Он сидел на своей койке и с тоской смотрел в окно.



— А хучь на корове! — весело сверкнул глазами Бардик.

— А ежели у меня ее нету? Одна кошка в хозяйстве оставалась. Да и ту, поди-ка, в голодуху сожрали.

— Ну, помогут! — воскликнул Бардик. — Чай Советская власть, она, милый ты мой, своя, наша. У вас земли-то какие?

— Раньше все суглинок был. А как помещичью да кулацкую поделили, пишут — ничего, жить можно. — Легостаев замолчал на мгновение и вдруг сказал с непередаваемой болью: — Эх, ногу мне вот как жалко! — Вздохнув, он бросил мгновенный сердитый взгляд на свою культяпку. — Какой же я без нее пахарь?

— Ну, шорничать станешь, хомуты там всякие, шлеи... тоже в хозяйстве нужное. Аль сапоги шить. Не обучен?

— Нет.

— Ну, выучишься, дело нехитрое, были бы руки! Да и вообще сказать, неужели не найдешь дела? Да боже ж ты мой! Вот только бы отсюда поскорее вырваться. Да хлебца бы досыта поесть. А то бы еще картошки жареной.

— Это бы да! — вздохнул третий.

И начался бесконечный разговор о хлебе, о земле, о праздниках и буднях — обо всем, из чего складывается жизнь. Я не раз замечал, что в больнице, так же как в тюрьме, люди очень много говорят о том, чего лишены: о воле, о еде, о родных. Вместе с радостью, которую эти разговоры приносят человеку, они поддерживают в нем силу и желание жить, хотя и доставляют боль.

#### 14. «ПАДАЛЬ БУРЖУАЗНАЯ...»

Солдатский разговор о земле и хлебе был прерван приездом Вандышева.

Услышав негромкий дребезг колес под окном, я приподнялся на койке, выглянул. У крыльца остановилась пролетка, запряженная одним из серых барутинских жеребцов, худым и облезлым. В пролетке сидели трое: Вандышев, маленький солдат с невыразительным, серым, испятнанным веснушками лицом, с винтовкой, поставленной между коленями, и незнакомый мне рыжий человек. Он был в военной фуражке со светлым пятном от сорванной кокарды. Когда рыжий ступил на землю, оказалось, что одна нога у него деревянная, он с силой опирался на толстую некрашеную самодельную палку.

Следом за рыжим выпрыгнул из пролетки Вандышев и вытащил большой тюк, завернутый в серое одеяло. Неловко, цепляясь прикладом винтовки за жестяное крыло пролетки, слез с козел солдатик. И все трое один за другим молча поднялись по истертым ступеням каменного крыльца.

Кажется, я забыл сказать, что рядом с нашей палатой помещалась небольшая, в одно окошко, комнатка — дежурка, где на табурете возле столика с ночником, коротая спокойные, если они выдавались, часы, дремала по ночам санитарка. Из дежурки одна дверь вела в нашу палату, а другая, в противоположной стене, — в коридор, откуда можно было выйти на крыльцо.

В дежурку, где в это время никого не было, и вошли Вандышев и рыженький одноногий военный. Веснушчатый солдат с винтовкой остановился на пороге, не решаясь войти, беспокойно посматривая в раскрытую дверь нашей палаты.

Вандышев бросил на пол тук в сером одеяле и тяжело перевел дух. Высморкавшись в грязный платок, заглянул в нашу палату, кивнул больным, едва заметно улыбнулся мне. Громко позвал:

— Соня!

На его темном, заострившемся лице были озабоченность и тревога, лоб пересекала косая черта. Я потянулся навстречу, думая, что он подойдет ко мне, как всегда, но он не взглянул больше в мою сторону.

— Софья! — сердито позвал еще раз.

Далеко, через несколько комнат, хлопнула дверь, послышались стремительные шаги. Соня вылетела из глубины дома, как большая белая птица — на дежурной сестре последнее время всегда был надет белый халат, они носили его по очереди. Не очень чистый, с пятнами крови, он все же казался в нашей палате ослепительно белым.

Соня вбежала в дежурку и остановилась, в радостном смятении всплеснула руками:

— Сереженька! Не уехал?

Смушенно оглянувшись на рыжего военного, приехавшего с ним, Вандышев посмотрел на Соню строго, и она забормотала смущенно и виновато:

— То есть, я хотела... не уехали, товарищ комиссар?

— Завтра уеду. А пока вот — простыни на бинты... Пришлось опять по буржуям одалживаться. — Он махнул рукой на тук, вскинул потеплевшие глаза и сказал Соне тише: — И у твоего были. Плачет старичишка: уж ежели, говорит, дочку отняли, так и все берите, не жалко. Врет, мерзавец!

Соня сейчас же принялась развязывать тук, но Вандышев остановил ее:

— Погоди. Успеется. Позови сюда этого...

— Кого? — спросила Соня.

— Ну, Шустова!

Шустов работал в нашем госпитале.

Надо сказать, что за последние недели к нему в госпитале

привыкли, привыкли подчиняться его властному, непреклонному характеру. И не только врачи и сестры: самые отчаянные, самые взбалмошные больные побаивались этого огромного, сильного человека, смотревшего на все кругом с барственным пренебрежением. Уважать его заставляло и то, что он был замечательным хирургом.

— Где он? — спросил Вандышев.

— Там. — Соня показала в глубину комнат.

— Операций сегодня не делал?

— Нет. Из укома, говорит, почему-то запретили. Злой. Ну и пусть гниют, говорит... А ведь есть тяжелые.

— Иди, — перебил Вандышев. — Зови.

Операционная находилась в другом крыле дома, стоны и крики даже во время самых тяжелых операций в нашу палату не доносились.

Соня ушла.

Я думал, что теперь Вандышев обязательно подойдет ко мне. Ведь сам же сказал, что завтра уезжает, неужели не подойдет попрощаться! Но он стоял молча, сбычившись, неподвижно глядя своими угольными глазами в пространство.

В нашей палате, где помещалось тогда человек двадцать, все насторожились. Стало тихо, только молодой, крутолобый солдатик мычал в бреду:

— Лыжи-то надень, без лыж в тайге знаешь...

Наконец в соседней палате послышались тяжелые шаги — я сразу узнал походку Шустова. Хирург прошел по палате, ни на кого не глядя, полы его халата развевались по сторонам.

Войдя в дежурку, он кивнул Вандышеву и властно спросил:

— Ну! Где анестезирующие средства?

Я думал, что Вандышев, как и в прошлые свои приезды, начнет оправдываться, объяснять, почему задержка, но он молчал. Взглянув на его лицо, я испугался, так иступленно горели на нем глаза. Расстегивая кобуру маузера, Вандышев глухо сказал:

— Скинь халат!

Все, кто мог двигаться в нашей палате, потянулись к дверям. Даже тяжелобольные приподнялись на койках — очень уж страшно прозвучал голос «бешеного комиссара», очень уж много ненависти вложил он в два коротких слова.

— Что? Здесь я... — начал было Шустов своим рокошущим шаляпинским басом.

Но Вандышев рванулся к нему и крикнул на этот раз во весь голос:

— Скинь халат, говорю! Гад!

Мне была видна широкая спина Шустова. Пожав плечами, чуть помедлив, он легким движением плеч скинул халат и брезгливо швырнул его на табурет.

— Ну? — спросил он высокомерно. — А потом опять будете просить, чтобы я на вас работал?

— Нет, — бросил Вандышев. — Больше не будем!

Он подошел вплотную к Шустову. Тот спокойно стоял, ждал. Вандышев был на целую голову ниже хирурга и уже его в плечах — казалось, Шустову стоит только махнуть рукой и от «бешеного комиссара» не останется и следа.

— А ну, иди сюда! — сказал Вандышев и, обойдя Шустова, пошел в нашу палату, где все больные, предчувствуя недоброе, поднялись на койках.

Чуть помедлив, Шустов вошел следом за Вандышевым и встал посреди палаты. В его походке, в выражении его холерного, чисто выбритого лица появилась необычная для него неуверенность.

— Вот я хочу, — продолжал Вандышев, — чтобы все они, — он широко повел по палате рукой, — чтобы все они слышали наш последний с тобой разговор. — Он опять подошел вплотную к Шустову и спросил его громким горячим шепотом: — Ты зачем, гад, ногу Легостаева отрезал?

Шустов чуть заметно побледнел.

В палате стало так тихо, что отчетливо слышался воробьиный писк за окном. Здесь, в нашей палате, кроме Легостаева, лежало еще трое больных, которых оперировал Шустов, — обмороженные руки и ноги — гангрена. Слова Вандышева как бы вскинули их на койках. Легостаев с выпученными глазами и открытым ртом сел на койке, беспомощно шаря в воздухе рукой. У двери дежурки Соня ахнула и обеими руками схватилась за грудь.

— Значит, надо было, вот и отрезал, — с усилием ответил Шустов. — Я — хирург. Мое дело — резать.

— Твое дело здоровых людей резать? Ногу-то можно было спасти.

— Откуда вы знаете? — надменно вскинулся Шустов. Все его высокомерие вернулось к нему. — Вы же, насколько я понимаю, даже не коновал?.. Я ему жизнь спасал, а...

Судорожным движением Вандышев выхватил из кармана кожанки лист бумаги.

— Вот! Врачи и сестры, которые присутствовали на операции, написали. Они уговаривали тебя взять ногу в лубки? Я не врач, даже не коновал — это ты прав. Но вот пишет врач — она тридцать лет врач. Могу я ей верить? Читай!

Шустов усталым и спокойным жестом отстранил протянутый ему листок бумаги.

— Так пусть бы она и лечила! — небрежно сказал он. — Она — терапевт. А я — хирург! Мое дело...

Но Вандышев перебил его:

— Обрадовался, монархист, что красноармейцу можешь ногу оттяпать?! Так? — Вандышев, с трудом сдерживаясь, наступал на хирурга, лицо его все больше перекашивалось и темнело.

Шустов отступал шаг за шагом, мне было видно, как дрожала его крупная белая рука.

— Но я не только это хочу у тебя спросить, подонок ты человеческий. Я хочу тебя спросить: может быть, и всех остальных, — Вандышев указал рукой на послеоперационных, — может быть, и их ты напрасно лишил половины жизни? А?

В палате стояла мертвая тишина.

— Отвечай!

Шустов молчал.

И тогда Легостаев, койка которого находилась между дверью и Шустовым, бесшумным, крадущимся движением схватил стоявший у койки костыль. Изогнувшись на койке, он, шатаясь, размахнулся и ударил сзади Шустова костылем по голове. Тот вскрикнул, вскинув руки, схватился за голову и обернулся. И тут Легостаев ударил его второй раз.

— А-а-а! — закричал Шустов, зажав ладонями лицо.

С других коек, крича, поднимались больные. Шустов не выдержал, побежал.

На пороге дежурки Легостаев успел подставить ему под ноги костыль, и Шустов со всего размаха упал в дежурку.

Легостаев прыгал возле койки на своей единственной ноге и, захлебываясь, кричал:

— Пустите... Я ему душу через горло выну!

Но Вандышев уже стоял на пороге.

— Стойте! — сказал он. — Никаких самосудов. Будем судить революционным судом. И все вы будете на том суде прокурорами. Вот. — Оглянувшись, он вытер ладонью вспотевшее лицо и поманил к себе из дежурки рыжего одноногого человека; тот, хмурясь и часто моргая, стоял у порога.

— Вот новый хирург — Иван Силыч Панаев, — сказал Вандышев и крикнул солдату у двери, кивнув на Шустова, с трудом поднявшегося с пола: — Веди эту мразь в Чека, Сидоров! Шаг в сторону — пуля в спину. Ясно?

— Есть такое дело! Я его, гада, ублагодворю, — готовно, почти с радостью отозвался веснушчатый солдатик, вскидывая на руку винтовку. — Он у меня убежит! Ну, шагай, падаль буржуазная!

Шустов, понураясь, вышел в дверь.

Вандышев уехал, так и не подошел ко мне.

В эту ночь в нашей палате долго не могли уснуть. Раненые и обмороженные, которым Шустов делал операции, теперь думали, что операции сделаны зря, что руку или ногу можно было спасти. Легостаев, накрывшись с головой одеялом, ворочался, вздыхал и, как мне кажется, плакал.

Прикрученная лампа на косяке двери едва светила, но через окна в палату лился таинственный желтоватый свет — луна медленно катилась над голыми верхушками деревьев.

Наконец я задремал. В полусне я скакал по Проломной улице на гривастом огненно-рыжем жеребце. Я гнался за Шустовым, а он бежал впереди, и не бежал, а летел над рыбьей чешуей мостовых, размахивая белыми полами халата, как крыльями, и иногда оглядывался на меня вытаращенными от страха глазами. Под мышкой он нес отрезанную легостаевскую ногу, и мне необходимо было догнать его и отнять ногу, чтобы приставить ее назад Легостаеву. Но потом оказалось, что это не Шустов, а Соня, она остановилась посреди улицы и заплакала навзрыд, спрашивая: «А я? А я как же?»

Я проснулся.

Луна ушла в сторону, ее не стало видно, палату наполнял полумрак. Только в дежурке на столике горела лампа. В ее неярком, тающем свете я увидел Соню — она стояла, судорожно выпрямившись, и плакала, глядя на кого-то, кого мне не было видно.

— А я? — спрашивала она.

Стараясь не шуметь, я приподнялся на койке и украдкой заглянул в дверь дежурки. На табурете, широко расставив ноги и положив темные руки на колени, сидел Вандышев. Исподлобья требовательным и неподвижным взглядом смотрел на Соню, смотрел с таким выражением, словно прощался.

— А ты останешься, — сказал он наконец. — Разобьем белополяков — вернусь. Не разлюбишь и не станешь контрой — поженимся. Станешь контрой — своей рукой убью к чертовой бабушке. Поняла?

— Не останусь я.

— Останешься.

— Нет! Ты думаешь, ты упрямый, а я — так себе? Сереженька, милый, не могу без тебя! Куда ты — туда и я. Разве же на фронте сестры милосердия не нужны?

— Ну!

— Ну вот. Ты подумай, зачем останусь? Отец грозитя убить, если не вернусь. И ведь, сам знаешь, нет мне без тебя... ничего! Прогонишь — как собачонка сзади побегу, может, — она всхлипнула, — и понадоблюсь в трудный час.

Вандышев молчал. Его лицо светилось странным ласковым светом.

— Знаешь, Софья,— медленно проговорил он, доставая кiset.— Если бы этот разговор вчера был — без слова бы взял. А нынче — не могу!

— Из-за Шустова?

— Видишь, как она глубоко сидит, проклятая ваша суть! Под тюрьму, под пулю готов — лишь бы напакостить.

— Сереженька! Так ведь я сама, сама пришла к вам. Ведь ты меня не заставлял. Правда? Ну, милый ты мой, ведь умру без тебя... руки на себя подыму...

— Не болтай глупостей!

— Нет, буду! — Соня решительно вытерла глаза и щеки. — Вот поеду с тобой, и все! А не возьмешь — вот богом клянусь, мамой покойницей клянусь,— одна уйду!

— Помолчи!

— Только и знаешь одно: помолчи'да помолчи! А я у тебя не на допросе в Чека! — И вдруг неожиданно легко опустилась перед Вандышевым на колени.— Да ведь у меня на всей земле — один ты. Неужели не понимаешь?

Вандышев молчал, глядя в пол. И тогда Соня поднялась и сказала с какой-то спокойной яростью:

— Ну, как хочешь! Навязываться тебе со своей любовью не буду. А на фронт завтра же уйду. Возьмут, врешь! Не все такие, как ты.

Вандышев встал, застегнул кожанку, лицо у него было спокойное.

— Поцелуй меня! — сказал он строго.

— Завтра в вагоне поцелую! — ответила Соня и обернулась к нашей палате: крутолобый солдатик вскрикнул в бреду. Соня неслышно прошла в палату, наклонилась над ним.

— Испить, милый? Сейчас...

В дежурке хлопнула дверь, Вандышев ушел.

Следующий день был первым по-настоящему внешним, все было напоено теплом и светом. Соня выставила в нашей палате вторые рамы, и в окна с волнующей силой ворвалась жизнь — гудками маневровых паровозов на станции, криком грачей на вершинах тополей, щебетом невидимого ручья, воробыным писком, детскими голосами, доносившимися изда-лека. Солнце светило прямо в мое окно, так отраднo было ощущать на руках и лице его теплую ласку. На деревьях лопались почки, и кое-где, на солнечном пригреве, уже зеленели маленькие, словно игрушечные, листочки. У каменной истрескавшейся чаши фонтана первая трава протягивала вверх зеленые перышки.

После обеда пришел Кичигин. Одетый в невероятно рва-

ный пиджачишко, в засаленной высокой фуражке, он несколько минут топтался у крыльца, робко заглядывая в окна и не смея попросить, чтобы вызвали Соню.

Меня, конечно, он не мог узнать — я похудел и вытянулся, рубашка висела на мне, как на огородном пугале. И я Кичигина не узнал бы, если бы он не приходил в госпиталь несколько раз: куда девалась его сытость, его самодовольство. Сгорбленный, с седыми нечистыми волосами, как бы случайно налипшими на его острый подбородок, с нищенской палочкой в руке, он был очень похож на одного из тех бесчисленных скитальцев, которых голод гонял в те годы по всей стране.

Но вот Соня, пробегая в дежурку, увидела в окно отца, и сразу ее милая улыбка потускнела, поблекла. И, когда она минуту спустя вышла на крыльцо, лицо у нее было строгое и неподвижное.

Теперь, когда окно было распахнуто, мне был слышен весь их разговор.

— Зачем вы опять пришли, папаша? — чуть слышно спросила Соня. — Я ведь просила.

— Да ведь как же я не приду? Дочь ты мне? Ты да Анисим, никого у меня, кроме вас, не осталось. Единственные, можно сказать...

— То-то вы меня, единственную, за этого плюгавого старичишку, за Гуськова, замуж отдать норовите.

— Да ведь ладно уж. Не хочешь своего счастья — воля твоя. У него вон, погляди, два дома каких, опять же лабаз мучной. Ты бы за ним горя век не знала, как царица жила бы. А ведь все это — революции эти — пустое дело, озорство одно. А торговля, она как была спокон веков, так и будет. Без торговли ни одно государство не стоит, весь мир торговлей держится. Вот и жила бы.

— Опять вы за старое, папаша!

— Молчу, молчу. Я к тому пришел — наведалься бы домой, и обужа ведь и одежда есть, а то ходишь как гилячка какая. И опять же — поесть. Тут же, знаю, на одной баланде живешь.

— Ничего мне не надо! — перебила Соня. И после секундного раздумья тихо добавила: — Я на фронт еду.

— Батюшки, на фронт! — Кичигин вскинул руки и уронил свой нищенский посошок. Не глядя нагнулся и, отыскивая посошок, долго шарил по ступенькам дрожащей рукой. — На фронт! — У него тряслись руки и губы, правый глаз в припухших красных веках беспрерывно слезился. Он впился глазами в Соню и, видимо, не верил ей.

Но девушка смотрела спокойно и строго, и он поверил и опять уронил палку и бессильно сел на ступени.



Соня стояла над ним, вероятно не зная, что делать, но в это время в глубине госпиталя раздался голос Марины Николаевны:

— Со-о-ня!

И она повернулась — уйти.

— Постой! — с неожиданной живостью воскликнул Кичигин, поднимаясь со ступенек. — Чего я тебя хочу просить, дочка... — Голос его стал почти умоляющим. — Анисима, слышь, в Чека поймали, сидит, не иначе как засудят. Будто зверствовал над красными. А? Ты попросила бы хахалю своего...

— Какого хахалю? — деревенеющим голосом переспросила Соня.

— Ну, этого... комиссара твоего...

Соня несколько мгновений молчала, потом сказала медленно и раздельно:

— Он не хахаль мне, а муж... Вот! И вас, папаша, прошу больше ко мне не приходить.

— А Анисим? — шепотом спросил Кичигин, вплотную приблизив свое лицо к лицу Сони. — Очнись, бога побойся! Брат ведь! Неужто не жалко? Неужто так и погибать ему ни за что?

— А скольких он людей погубил? — таким же шепотом спросила Соня. — Думаете, не знаю?

Она выпрямилась и пошла к двери.

Ушла, а Кичигин снова сел на ступеньки и, не шевелясь, закрыв руками лицо, сидел несколько часов. Иногда с надеждой оглядывался на окна, на дверь: видимо, надеялся, что Соня передумает, выйдет. Но она не вышла. Уже в сумерки Кичигин, тяжело ступая, поплелся, как побитая собака, прочь.

## 16. АНИСИМ

Ночь опять обещала быть лунной.

Теперь, когда стекла окон не покрывались льдом, луна в начале ночи заливала всю палату тревожным, неподвижным светом. В этом свете все становилось нереальным, призрачным, как во сне. стакан на тумбочке в дежурке сверкал и, казалось, плыл по воздуху. Металлические шары на спинках одной из кроватей голубели, словно две огромные звезды, безгранично раздвигая комнату и наполняя сиянием. И было странно слышать, как в этой сказочно освещенной комнате тяжело, с присвистом, вздыхал потерявший покой Легостаев, как мой сосед говорил в бреду:

— Ну и убивай... убивай, черная твоя душа...

Но примерно в полночь все затихло, даже тяжелобольные забылись сном. В дежурку прошла наконец-то освободившая-



ся, заплаканная Соня, прошла и села у тумбочки. И почти сейчас же за окном мелькнула в лунном свете чья-то тень. Она прошмыгнула к окошку дежурки и постучала в него — раздался осторожный звон стекла.

Соня встрепенулась, как проснувшаяся птица, и бросилась к окну. Крикнула шепотом:

— Сережа?!

После короткого молчания глухой голос сказал за окном:

— Я это... Анисим! Выйдь на минутку...

Так вот это кто! Анисим, тот самый сынок Кичигина, который зверски расправлялся с попавшими к нему в руки коммунистами, Сонькин брат. Но ведь старик Кичигин только

сегодня сказал, что Анисима поймали и он сидит в Чека. Значит, ему удалось бежать, и, дождавшись ночи, он прежде всего явился сюда к сестре? И сразу мое недоверие к Соньке вспыхнуло с прежней силой: видимо, она все это время только притворялась хорошей, нашей, а на самом деле была связана с беляками? Я сел на койке и потянулся к окну, прячась за косяк, чтобы меня не увидели со двора.

Через полминуты скрипнула одна дверь, потом, поглуше, другая, и я увидел Соньку на крыльце. Ее белый халат выделялся на фоне кирпичной стены очень отчетливо, рыжие волосы блестели под луной, как хорошо начищенная медь. Но почти сейчас же темный силуэт Анисима, повернувшегося ко мне спиной, заслониł белый халат. Я всмотрелся. Одет Анисим был в черную, во многих местах изодранную рубашку, в такие же штаны, босой.

Напрягаясь до боли в ушах, я прислушивался: слова долетали глухо, но разобрать их было все-таки можно.

— Сережку ждала? — с ненавистью спросил Анисим.

— Уходи! — деревянным голосом сказала Соня.

— Не бойся, уйду... — Анисим помолчал и неожиданно заговорил совсем другим тоном, просительно и ласково: — Я тебя, сестренка, хочу чего-то попросить, а? Вынеси мне, Соня, бушлатишко какой рваный, а то шинелишку да ботинки, у вас же после мертвяков этого добра много... Да хлеба кусок. К старику нельзя идти. Там, должно, караулят. Они палили по мне, когда я из окошка в уборной выкинулся. Вот задело чуток, в плечо. Ну да мы еще поживем. Иди вынеси.

— Уходи, — с тем же выражением повторила Соня.

— Значит, родному брату помочь не хочешь? — свистящим шепотом спросил Анисим. — Значит, пусть погибает? Да? (Соня молчала.) Ну и тебе тогда... Иди, говорю, ежели дальше жить хочешь. (Соня молчала.) Нас много, мы тебя все равно найдем.

Соня повторила, повысив голос:

— Уходи, а то крикну.

И тут я увидел отведенную за спину правую руку Анисима — она сжимала черный железный прут, тяжелый, оттягивающий руку вниз. Когда он размахнулся, я рванулся к окну, изо всей силы ударил в стекло кулаком, закричал:

— Соня!

Анисим рывком обернулся на звон брызнувшего в стороны стекла, но это не помешало ему ударить. Соня вскрикнула и откинулась к стене. Анисим темной тенью метнулся вниз, в тьму, в чашу деревьев.

А по палатам уже со всех ног бежали перепуганные сестры, ковыляя, постукивая деревянной ногой, Панаев.

Через полминуты Тамара и Марина Николаевна ввели Соню в дежурку и, поддерживая под руки, усадили на табурет. К счастью, удар пришелся не по голове, а по плечу, на левом рукаве халата проступали пятна крови. Соня плакала, кусая губы и морщась от боли, как ребенок.

— Кто? — настойчиво спрашивал, наклонясь над ней, Панаев. — Кто тебя?

Я с замиранием сердца ждал, что ответит Соня: выдаст ли брата?

— Кто, кто... — сказала она с трудом. — Контрик один.

Панаев побежал к телефону, звонить в Чека.

Но прежде чем оттуда кто-либо явился, во дворе раздались тревожные крики и зарево почти сразу вошло в палату пляшущими багровыми пятнами, поползло, усиливаясь с каждой минутой, по койкам, по лицам, по потолку.

Закричали:

— Горим! Гори-им! Братцы, не бросайте! Как же я без ноги?!

Я вскарабкался на подоконник, встал на колени и распахнул окно. Горел каретный сарай, в стороне от госпиталя, за деревьями, горел сильно и жарко.

Перепуганные сестры метались по палатам, помогая больным. Забыв о боли, Соня тащила из коридора носилки. Но вошел Панаев и с укором сказал:

— Ну чего повскакали? Что за паника?! Горит каретник. А госпиталь каменный — не загорится, — и добавил, почему-то обращаясь к Соне: — Сейчас приедет Вандышев.

Оказалось, что из Чека в ту ночь бежало шесть человек. По городу шла облава.

Через десять минут в парке, освещенные красными отсветами пламени, забегали темные фигуры людей. Но задержать никого не удалось.

Поздно ночью, почти уже под утро, запыхавшийся, усталый Вандышев сидел в дежурке и разговаривал с Соней.

— Кто это был? — строго спросил он.

— Анисим.

— Я так и знал. Как же это он промахнулся?

— Данька закричал. Анисим обернулся и ударил мимо.

— Молодец Данька!

Я лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим.

— Убьют они тебя, Сереженька, — сказала Соня с тоской.

— Ну, это поглядим. Меня убить трудно, я живучий. А вот тебе, пожалуй, достанется.

— Он грозился...

— Да-а-а, — вздохнул Вандышев, осторожно закуривая. — Их тут целая шайка. — Он задумался.

Полузакрыв глаза, я смотрел на его темное, такое дорогое мне лицо. Неожиданно он встал.

— Вот, видно, и придется по-твоему делать. Ну, если бы ты не сказала, что это Анисим, не взял бы. А теперь — едем. Пойду сейчас к главному вашему. Тут тебя заменят. А иначе зазря убьют.

И назавтра Соня вместе с Вандышевым уехала на Польский фронт. Я думал, что больше никогда не увижу ни ее, ни дядю Сергея. Вот, говорил я себе, и еще два хороших человека — мужественный, самоотверженный Вандышев и милая, красивая и добрая Соня — ушли из твоей жизни, ушли, чтобы никогда в нее не вернуться. Но я ошибался, как часто ошибаются люди, думая о будущем: жизнь готовила всем нам еще не одну встречу.

### 17. «ПИШИ МЕНЯ, СТЕПАНЫЧ!»

Через две недели вышел из госпиталя и я. Попрощался с Легостаевым, с крутолобым солдатиком, пришедшим к тому времени в сознание, с другими товарищами по палате.

День был яркий, радостный, в парке звенели и свистели птицы.

Я посидел на освещенной солнцем скамеечке у стены госпиталя, напротив фонтана. Бронзовый мальчишка сжимал пухлыми руками бронзовую рыбу. В каменных трещинах фонтана нежно зеленела трава. Чуть ощутимый теплый ветер перелистывал молодые листочки тополей и лип, шелестел в еще голых зарослях акации и малинника. Узенькие тропинки убегали от крыльца в парк. За темными стволами деревьев призывно голубела вода.

Я нашел палочку и, опираясь на нее, подчиняясь каким-то неясным зовам, пошел в глубь парка. Лег под деревом в прошлогоднюю траву, лицом вниз, и вновь все несчастья, что случились со мной за последние годы, налетели, опрокинулись на меня, и снова очень остро и горько почувствовал, что я на земле один. Долго лежал так.

Но вот рядом, на тропинке, зашелестели шаги, остановились, и голос санитарки Марины Николаевны удивленно спросил:

— Кто? Даня? — Сильные руки охватили меня, повернули лицом вверх. — Ты что же это, милый мой? Ты же опять насмерть застудишься! Вставай-ка, вставай! Боже ты мой. Да ты бы домой шел, ишь тебя, как былинку, качает.

И опять слезы стиснули мне горло. «Да нет у меня никакого дома! — хотелось мне крикнуть. — Некуда мне идти!»

Но я ничего не сказал. Марина Николаевна под руку про-

водила меня по мощенной красным кирпичом аллее до самых ворот.

Ее доброе, некрасивое, изрытое морщинами усталое лицо светилось лаской.

— А ты радуйся,— говорила она, чуть шепелявя,— радуйся: живой. Мы ведь и не надеялись, что встанешь. Боже мой, сколько глаз я своими руками за эту зиму позакрыла...

У ворот она легонько подтолкнула меня:

— Иди, сынок.— И, кажется, украдкой перекрестила мне спину.

Моста через Калетинский пруд не было, мне пришлось идти мимо кладбища. Я зашел. Могилка Подсолнышки уже покрывалась первой травой. Я посидел возле, нарвал горстку желтых ромашек, положил на холмик. «Прощай, Подсолнышка, так и не довелось тебе хорошо пожить, не довелось перед смертью досыта поесть». Нет, я, кажется, тогда уже не умел плакать, не умел жаловаться. Глаза у меня были сухие, но в груди было так тяжело, словно там лежал камень.

Я пошел дальше — в город, в уком.

Но дойти до укома мне сразу не пришлось. Выйдя из кладбищенских чугунных ворот, в которые были вделаны две овальные иконы с темными, почти неразличимыми лицами, я услышал вдали медный грохот оркестра, торжественный и в то же время веселый шум толпы. А через несколько минут порыв ветра донес до меня знакомые слова о вихрях враждебных и роковом бое.

Оглядевшись, я увидел на воротах и крышах домов самодельные красные флаги — некоторые из них были просто лоскутами разорванной красной рубашки или юбки; заметил чистую, праздничную одежду перегонявших меня людей, у многих на груди красовались красные банты. И только тогда я вдруг вспомнил: сегодня же Первое мая! И как я мог позабыть — ведь и в госпитале с нетерпением ждали наступления этого дня и готовились к его встрече.

И снова теплой, поднимающей и в то же время печальной волной нахлынули воспоминания. В прошлом году, в день 7-го ноября, мы все еще были вместе: мама, Подсолнышка и я. Мама и в будние дни нередко заходила тайком ото всех на площадь Павших Борцов постоять возле могилы отца, а в тот день, когда на площади проводился митинг, посвященный второй годовщине революции, принесла туда горшочек с живой геранью, которую вырастила Подсолнышка.

Я понимал, что, несмотря на фантастическую религиозность, мама испытывала горькую радость оттого, что память об отце берегут в городе, что в дни годовщины революции на братскую могилу всегда приносят огромный венок из зеленых

сосновых веток, оплетенных кумачовыми лентами: «Вечная память вам, борцы за свободу». Это радовало и меня, хотя, помню, мне всегда было грустно и неприятно смотреть, как потом этот венок моют непрерывные холодные дожди, как, еще позже, заваливает его снег. Для меня это было такое тяжелое зрелище, что в 1919-м, в конце ноября, когда венок уже порядочно потрепали осенние ветры, я взял его и принес домой. Мама повесила венок под иконой в переднем углу. Я спорил с ней, говорил, что не надо вешать венок рядом с иконами, но мама ничего не хотела слушать.

Эти дни врезались мне в память не только тем, что в это время особенно больно вспоминалось об отце, а еще и тем радостным, торжественным настроением, которое приподнимало над землей и куда-то, против моей воли, неудержимо несло. Заслышав звуки праздничного марша, я всегда с трудом сдерживал подступавшие к горлу слезы радости, грудь распирало сладким и гордым волнением, а губы сами собой выговаривали слова песен, которые звучали тогда — я уже, кажется, говорил об этом — словно слова присяги. И лица людей, окружавших меня в такие дни, были радостными и торжественными, все улыбались и пели, совсем незнакомые люди здоровались, а иногда и обнимались друг с другом, как будто все принятые до этого условности вдруг переставали существовать, как будто наступало на земле подлинное и истинное братство. И все люди на празднике были одеты старательно и чисто, пусть в старенькие, пусть застиранные и залатанные рубахи и кофточки, но во все самое лучшее, что сохранилось у людей после многих лет войны и разрухи.

Я пошел быстрее. Навстречу неслись звуки оркестра, глаза слепила сверкавшая на солнце медь начищенных до золотого блеска оркестровых труб.

Тогда в нашем городке, конечно, не было хорошего оркестра, не было и в помине той праздничной пышности, того яркого, многокрасочного изобилия, которыми отличаются дни первомайских и революционных торжеств в теперешние дни. Но от этого праздники не были менее желанными и менее радостными, недостаток пышности восполнялся полнотой чувств, еще не успевших остыть после недавних побед над врагами революции. А может быть, все было и еще проще: праздники тогда не стали настолько привычными, как теперь, и поэтому волновали сильнее.

Я очень торопился, но слабость качала меня из стороны в сторону, и все люди, спешившие на площадь, шли быстрее меня, обгоняли. Подпрыгивая, бежали босоногие мальчишки, загорелые, оборванные, с усыпанными веснушками лицами. Торжественно, в начищенных медных касках, проехал пожар-

ный обоз. От бывшей богадельни прошел комендантский взвод — вооруженные чем попало пареньки и вернувшиеся с войны инвалиды. Мелькнуло одно или два знакомых лица, но я даже не успел узнать их: они мелькали словно в быстро несущемся сне и сразу исчезали, заслонялись другими.

На площади собралось много народу. Здесь были и рабочие — мужчины и женщины, и солдаты — инвалиды войны, и детишки, и крестьяне, приехавшие на базар, несколько подвод обособленной кучкой сгрудилось на краю площади. Все это было ярко освещено солнцем.

В то время в нашем городе на площади и на перекрестках больших улиц стояли огромные пожарные чаны, наполненные водой. По праздникам на одном из таких чанов, накрытом толстыми досками, размещался оркестр.

Так было и в тот день. По краям самодельного помоста, у ног оркестрантов сидели, свесив босые ноги, мальчишки. У братской могилы в почетном карауле стояли два красноармейца из комендантского взвода — безусый, белобрысый паренек с испуганным лицом, с большими карими, похожими на пятаки глазами и пожилой рыжеватый солдат со шрамом, перечеркивающим весь лоб рваной красной чертой. Между ними, у деревянной пирамидки, заново окрашенной по случаю праздника, зеленели огромный хвойный венок и букетики простеньких полевых цветов.

На одной стороне помоста на дощатой трибуне стояли несколько человек. Я сразу узнал среди них дядю Колю и Александру Васильевну Морозову. Тогда они показались мне самыми родными людьми — злой кулак, все время сжимавший мое сердце, как будто разжался. «Нет, ты не остался на земле один, — сказал я себе, — они еще здесь, рядом с тобой, товарищи твоего отца!» Дядя Коля стоял ближе других ко мне — я его хорошо видел. Он еще больше похудел и осунулся, вертикальные морщины на щеках стали глубже. Он был скрыт по грудь барьером трибуны, и я подумал, что ему, безногому, пришлось ради этого случая встать на табурет. Морозова, в светлом платочке и белой кофточке, опиралась обеими руками на барьер рядом с дядей Колей.

Мне хотелось быть с ними. Я протискивался вперед, все ближе к трибуне, вслушивался в слова, которые дядя Коля, потрясая кулаком, бросал в толпу. Разговор шел о белополяках, они снова поднялись на нашу молодую республику войной. Дядя Коля призывал тех, кто не обязан идти на фронт по мобилизации, но способен носить оружие, тут же, на митинге, записываться в добровольческий отряд, который сегодня уезжает на запад.

Я все видел и слышал сквозь пелену тумана, у меня кру-



жила голова, тошнило, подгибались ноги. Несколько раз я с тоской вспоминал о своей госпитальной койке — с какой радостью я лег бы сейчас на нее и уснул. Но вдруг один маленький эпизод как бы разбудил меня, вернул из полусонного состояния к реальной жизни, к тому, что происходило на площади.

В стороне от меня на крестьянских телегах — во многие из них были впряжены коровы — хмуро сидели приехавшие на базар мужики. С недоверием и недоброжелательностью слушали они то, что говорилось с трибуны. И когда дядя Коля замолчал, еще раз повторив, что все, кому дорога Советская власть и кто способен носить оружие, должны тут же записаться в добровольческий отряд, один из этих мужиков, представительный, властный, в рваной, расстегнутой на груди рубашке, встал в телеге на колени и, вздернув широкую, лопатой, бороду, громко крикнул:

— Эй, ты! Милай! Наши-то сыны давно на фронтах свои головы положили. А ты сам-от што жа? Ты ба и шел, ежели надо? А?!

На площади стало так тихо, что я отчетливо слышал, как в церковном садике чирикали воробьи.

Дядя Коля ответил не сразу. С побледневшим лицом он всматривался в бородатого старика. А тот, бесстрашно выставив вперед сивую, с золотым отливом бороду, ждал. Глаза его горели веселым и злым огнем. Оглянувшись по сторонам, он продолжал:

— Я к чему говорю, граждане. Ведь ежели она кому родная, Советская-то власть, тот первый и должен иттить. Так я полагаю? А он что жа, сам нас на войну, значит, загоняет, а сам в кусты? Этак-то, видит бог, негоже!

Видимо, старик не знал, что у дяди Коли нет ног. С трепетом я ждал, что дядя Коля ответит.

Постояв несколько мгновений молча, дядя Коля стал двигаться к краю трибуны, перебирая руками по барьеру. Я не понимал, как он двигается — ведь он безногий. И вдруг дядя Коля вышел из-за барьера на помост рядом с оркестром. И я закричал от удивления и радости: у него были ноги! Правда, стоял он на них неуверенно и, на миг отпустив край барьера, сразу снова схватился за него рукой. Со странным, напряженным выражением он огляделся кругом, словно отыскивая что-то необходимое. Вся толпа на площади молчала и ждала. Оглянувшись на оркестр, дядя Коля молча протянул барабанщику руку и пошевелил пальцами. Барабанщик, недоумевая, протянул ему свою колотушку, которой он во время игры оркестра колотил по барабану. Дядя Коля взял эту толстую палку с круглым набалдашником на конце и теперь уже с ненави-

стью поглядел на все еще ожидавшего ответа бородатого мужика.

— Эй ты, кулацкий последыш! Обрадовался, что белые опять зашевелились? Агитировать начал?! — крикнул дядя Коля, подняв руку с колотушкой. — Гляди сюда, волчья твоя кровь! — И он изо всех сил ударил себя палкой сначала по одной, потом по другой ноге. Жесткий металлический звон пролетел над площадью. — Гляди! — И, бросив назад колотушку — барабанщик поймал ее на лету, — дядя Коля судорожным рывком подтянул штанины на обеих ногах — под ними остро блеснул на солнце белый металл и красное дерево новых протезов. — Гляди! Я уже полжизни оставил там, куда сейчас зову трудящихся людей. Не тебя зову, живоглот! У тебя, подика, несколько хлебных ям позарыто, и сюда ты приехал с рабоче-го народа шакуру драть, хотя и надел рваную рубашку! А мои медали вот они! — Он неуклюже взмахнул правой ногой и вдруг покачнулся и стал валиться на бок. И если бы его не подхватили под руки и не сунули ему в руки новенький, еще не затертый руками костыль, он, наверно, упал бы с помоста.

И сразу многоголосый гвалт поднялся на площади. Рабочие, которые стояли близко к подводе бородатого, с таким гневом кинулись к нему, что он, нахлобучив шапку, торопливо сел, растерянно бормоча:

— Так я што жа, я ничего, я ведь и не знал, истинный бог, не знал! — И принялся нахлестывать свою лошададку кнутом, выбираясь из толпы.

А возле трибуны уже звучали требовательные голоса:

— Пиши меня, Николай Степаныч!

— Меня пиши, Вагин!

— Душить эту контру надо, вот что!

— Опять хвост подняли...

— Услышали: беляки под самым Киевом!

— Пиши меня, Степаныч!

Когда я протискивался к трибуне, дядя Коля сидел на опрокинутом ящике и странно, напряженно улыбался. Рядом с ним в кепке с пуговкой, остроносенький паренек записывал тех, кто хотел идти на фронт.

К нему подходили старики, которым давно перевалило за полвека, и совсем молодые ребята, почти мальчишки. Подошел безрукий — рукав шинели прижат к боку солдатским ремнем.

— А я их и одной рукой душить буду, гадов. Пиши, говорю!

Его записали.

— Запиши меня, — сказал я пареньку, когда подошла моя очередь.

И тут дядя Коля узнал меня.

— Данилка! Когда ты?

— Нынче.

Паренек со списком, глядя на меня, ждал.

— Пиши дальше,— кивнул ему дядя Коля.— Этот только что из госпиталя. Поправка требуется. Садись, Дань...

Я присел рядом с ним на край ящика. И вдруг ощутил на своем лице чей-то пристальный взгляд, острый, недобрый. Глянув в толпу, я за плечами стоявших поблизости разглядел сморщенное личико Кичигина. Он смотрел на меня с такой ненавистью, что мне стало холодно. И мне с непередаваемой отчетливостью припомнилась сцена, когда хоронили отца. После похорон мы с мамой шли с площади Павших Борцов, потрясенные свалившимся на нас несчастьем. А впереди подпрыгивающей походкой шел какой-то старичок и на мотив веселой игривой песенки пел: «Гробики сосновые... гробики дубовые! Гробики сосновые... гробики дубовые!..» Это и был Кичигин.

Тогда я бросился за ним, хотел догнать, ударить, избить, но он, перепуганный, исчез в чьем-то дворе. Странно, почему-то в госпитале, когда Кичигин приходил к Соне, я ни разу не вспомнил об этом — вероятно, виной тому была болезнь, «отбившая», как говорят в народе, мне память. А сейчас воспоминание о том случае бросило меня в дрожь, и я рванулся к ненавистному мне человеку.

— Ты что? — удивленно спросил дядя Коля.

— Кичигин,— шепнул я.

— А-а-а... Погоди, дойдут еще у нас руки и до этой сволочи.

Когда я снова взглянул в толпу, Кичигина уже не было.

## 18. У дяди Коли

С митинга мы с дядей Колей пошли вместе. Не спрашивая моего согласия, он сказал, что я буду теперь жить у него.

— Конечно. Будешь нам заместо Юры,— подтвердила тетя Настя.

Она присоединилась к нам сразу же после митинга. Пока я ее не видел, она как будто выросла, окрепла, раздалась в плечах. Голова у нее была туго повязана красным платочком, уже выгоревшим от солнца,— такие платочки были в большом ходу в рабочей среде. Тетя Настя стала теперь делегаткой, работала в женотделе, налаживала работу каких-то пошивочных мастерских.

Я спросил ее: не было ли писем от Юрки? Она вздохнула, покачала головой:

— Нету, да ведь они нынче не ходят, а ползают, письма-то.

Я спросил еще: а как же Юрка с одним глазом воевать будет?

— Я его об том же спрашивала,— усмехнулась тетя Настя.— А он отвечает: «Так даже способнее: когда стрелять — глаз не надо прищуривать». Вот ты и поговори с ним. Да вы все такие!

Мы вместе пошли на чугунолитейный заводик Хохрякова, на котором я когда-то недолго работал,— там в этот день тоже должен был быть митинг.

— А может, не пойдешь, Николя? — с тревогой спросила Настя, кивая на костыли дяди Коли.

— Надо, мать,— поморщившись, ответил он.

Еще до этого я обратил внимание, что шагал дядя Коля с трудом, неуклюже выбрасывая вперед костыли и тяжело перекидывая свое тело,— видимо, еще не привык к протезам.

— А где же ваша пролетка, дядя Коля? — спросил я.

— В укоме во дворе стоит.

— А что же вы... пешком?

— Жеребцы, милый мой, воевать уехали!

На чугунолитейном было непривычно для глаза чисто и празднично. Раньше здесь везде валялись кучи горелой формочной земли, окалины, мусора, груды чугунного лома. Теперь все это было старательно прибрано, дорожки посыпаны песком. Старая вывеска над воротами «Хохряков и сын», правда, еще сохранялась, но на ней висело кумачовое полотнище с белыми буквами: «Здесь хозяин пролетариат».

И праздник первой отливки и коротенький митинг, посвященный пуску первого восстановленного в нашем городке промышленного предприятия, оказались очень короткими. Металла заготовили немного, из него отлили только квадратную плиту с надписью: «Да здравствует мировая революция!» И все собравшиеся в торжественном молчании стояли вокруг медленно тускнеющей плиты. Из оранжево-багровой, какой плита была, когда разбили опоку, она постепенно превращалась в темно-вишневую; по ней, как бы постепенно сгущаясь, текли закатные краски — именно так темнеет небо в час, когда за горизонтом исчезло солнце. Сначала потемнели глубоко врезанные буквы, потом углы квадратной плиты, словно кто-то невидимый постепенно обламывал их; квадратная плита превращалась в многогранник, потом в круг. А майское солнце весело светило вниз сквозь закопченные стекла потолка, и, по мере того как остывала плита, солнечные лучи становились все сильнее, видимее, ярче.

Потом литейщики поздравляли друг друга с первой отливкой, а дядю Колю с новыми ногами.

— Теперь тебе и износу не будет, Степаныч!

— Тебе бы еще и голову такую! А?

И все громко и необидно смеялись, похлопывая дядю Колю по плечам и спине. Потом, уже у выхода, старый литейщик с корявыми, обожженными руками остановил всех. У него было подвижное, сухое лицо, темные, прищуренные глаза — я помнил его еще с тех пор, как работал в литейке. Меня он не узнал.

— А вот чего... — Он встал в воротах цеха, в снопах солнечного света. — А давайте-ка, ребята, отобьем телеграмму Ильичу, а? Чай, ему тоже радостно будет, что мы завод к делу определили... Тоже порадуются...

Тут же, «по поручению митинга», составили телеграмму, и литейщики гурьбой пошли на вокзал отправлять ее. А я с дядей Колей и тетей Настей — к ним домой.

Жили теперь Вагины на Проломной улице, в небольшом доме, брошенном кем-то — уже не помню кем — из богатеев, недалеко от лавчонки Кичигина. Меня поразила в просторных сенях куча сваленной в углу и изрубленной на куски мягкой мебели — торчали блестящие спиральные пружины, багровели лоскутья красного бархата, топырились вверх позолоченные ножки кресел, острыми кусками неба голубели осколки зеркала, похожие на сквозные дырки в полу.

— Что это, дядя Коля? — спросил я.

— А это, видишь, сам не гам и тебе не дам. Перед бегством — видно, чтобы нам с тобой не досталось на этих пружинах качаться, — хозяин из последних сил постарался... И дом подпалил — слава богу, залить успели.

В комнате, где жили Вагины, на двух подоконниках были развешаны для просушки старые бинты и лоскутья одежды, тоже, видимо, служившие бинтами. На самом видном месте, посреди двух натюрмортов с яблоками и свежей рыбой, висел небольшой, прибитый гвоздиками портрет Ленина. Обрезанная шинель дяди Коли висела у входа на оленьем рогу. У двери матово поблескивала никелированными шарами кровать.

Как только мы вошли, дядя Коля отбросил костыли и не сел, а прямо повалился на кровать, по лицу у него пробежала гримаса боли. Но через секунду он уже улыбался.

— Ты меня извини, Данилка, — сказал он. — Никак я с новыми своими ходулями не подружусь. Трут, собаки!

Переваливаясь с боку на бок, он стащил с себя штаны — Настя помогала ему, — и я увидел его протезы: коричневая кожа, металлические, белого блеска, планки, ремни. Настя растегнула пряжки на ремнях, которыми протезы пристегивались к ногам, и с мертвым тяжелым стуком металлические ноги одна за другой упали на пол.

— Ты потише с ними, мать, — усмехаясь, попросил дядя Коля. — Мне на них теперь до самой могилы танцевать!

Кульяпки у него были забинтованы, и Настя осторожно разматала бинты и тряпки. Только тогда я понял назначение таких же, сушившихся на подоконниках бинтов.

— Душно им. Да ничего, привыкнут,— сказал дядя Коля.— А то знаешь, Дань, уж очень это обидно — ходить по земле и аккуратно людям в пупы, а то в зады гляделками упираться. Ну, шагать пока трудно. Нынче вот еще бы надо на электростанцию — пускать пробуем...

— Куда тебе! — прикрикнула Настя.— Утром же тебе в Самару ехать! И так душа у меня изболелась: как доедешь!

— Ничего, доеду! Чем ныть, ты бы покормила лучше нас с Данькой, мать! А?

Пока Настя разогревала обед, я спросил дядю Колю:

— А в Самару зачем?

— Партийная конференция, дорогой. Дальнейшую жизнь нашу определять будем — что к чему... Эх, жалко, батька твой не дожил, вот кому нынче бы делами тут заворачивать! Людей у нас знающих маловато, Дань. Учились-то на медные, на трудовые... а кто получше — каторга да тюрьма заживо съели...

Настя принесла дымящуюся миску супа, от нее тек по всей комнате вкусный, щекочущий аромат.

На праздничный обед у Вагиных был суп с воблой — у этого супа было преимущество: его не надо было солить — и поджаренный на сковороде подсолнечный жмых; сытно и чуть горьковато пахло подсолнечным маслом.

Дядя Коля ел и рассказывал, с каким трудом удалось восстановить разрушенную белыми дизельную электростанцию, — к сожалению, он не мог пойти: «Надо ходули свои к завтраму поберечь».

С той самой минуты, как я увидел дядю Колю, я все порывался спросить его о маме: как она себя чувствует, когда вернется? Но я боялся задавать ему и тете Насте вопросы: а вдруг услышу в ответ что-нибудь страшное — я ведь очень любил свою мамку, любил и жалел. Странное, нетерпеливое беспокойство овладело мной, я не мог сидеть за столом, не мог есть. Тетя Настя внимательно, с жалостью и нежностью, заглянула мне в глаза:

— Ты про мамку хочешь спросить, Дань?

— Да.

— Никого, говорят, не узнаёт, ничего не понимает... Только молится и молится.

Я взглянул на дядю Колю: насупившись, он смотрел в сторону, в окно.

— А если поехать туда? — спросил я.— Пустят к ней?

Дядя Коля со стуком положил на стол ложку, твердо сказал:

— Не надо... не надо тревожить... Ей так легче... Понимаешь?

Я не удержался, заплакал. Дядя Коля и Настя делали вид, что не замечают моих слез.

Мы почти кончили обед, когда пришел Кичигин. Он вошел неслышно, вошел и остановился у двери, сняв свою заношенную, засаленную фуражку и глядя на нас хитрыми, остренькими глазами. В руке у него был самодельный посошок, с которым он теперь никогда не расставался. Неторопливо оглядев нас, он устремил довольный и немного удивленный взгляд на так и оставшиеся лежать у кровати протезы дядя Коли. Осторожно вытянув руку с посошком, потрогал концом палки протезы и с деланным умилением покачал головой:

— Ишь ты, какой добрый струмент тебе по твоей калечности приспособили! Умственная вещь! Теперь тебя, значит, никакими собаками не затравят! А?

Отложив ложку, дядя Коля хмуро смотрел на бывшего лавочника.

— А тебе хотелось бы, гражданин Кичигин? Чтобы затравили? А? То-то бы ты возрадовался!

Секунду помедлив, Кичигин протестующе протянул вперед дрожжащую руку с посошком:

— Упаси бог! Упаси бог! Да я что? Разве я зверь животная? Я ведь, Миколай Степаныч, человек божественный. А бог он как? Он внушает нам: всякая власть есть от бога. Потому подчиняйся ей и смирай гордыню...

— Ну ладно, гордыня! — отмахнулся дядя Коля. — Зачем пришел, говори!

— А ты на меня не шибко кричи, Миколай Степаныч! — Кичигин с укором покачал головой. — Я, можно сказать, не к тебе пришел. Я к Советской власти пришел. Прослышан я про справедливость ее, будто тружеников она не забивает, вот и пришел...

— Труженик! — хмыкнул дядя Коля. — Ну-ну, выкладывай! Чего надо?

— Да ведь дело-то простое, Миколай Степаныч. И как ты есть человек справедливый, не уважить его тебе никак невозможно... Совсем невозможно...

Перекладывая с места на место алюминиевую солдатскую ложку, недобро сведя брови, дядя Коля ждал.

Кичигин, помявшись, продолжал:

— Дело у меня справедливое, Миколай Степаныч... Я так полагаю, ежели бы тут сам Карла Марла был, — Кичигин показал посошком на портрет Ленина, — и он бы...

Дядя Коля в ярости стукнул ложкой по столу:

— Чего надо?!



Кичигин попятился было к порогу, но, глянув на лежавшие у кровати протезы, едва приметно усмехнулся и остановился:

— Паек мне, Миколай Степаныч, отказывают!

— Какой паек?

— А как же?! — искренне удивился Кичигин. — Красноармейским старикам паек Советская власть определила? Определила! Вот возьми по нашей, по Проломной улице. У кого сыны в Красной Армии сражаются — тут тебе и паек. Третьего дни соль давали... а у которых детские карточки — и муку белую, слышь, давать будут... А? Опять же мыло, хучь оно и собачьего сала, а все одно мыло... на барахолке на крупу выменивают которые! Это как?

Кичигин замолчал и вопросительно уставился на дядю Колю.

— А за кого же тебе паек? — спросил тот.

— А Сонька! — почти в восторге воскликнул Кичигин. — Моя это дочь? Моя! Кормил я ее? Кормил! Поил? Поил. Воеет она за вас, чтобы вам... То есть воеет. И, промежду прочим, не по мобилизации там какой, а добровольно, своей охотой. Это как? — Он вперил в дядю Колю свои остренькие глазки, казавшиеся теперь наивными и глуповатыми. — Опять же то учесть требуется: кто меня всякой возможности пропитание



добывать лишил? Вы и лишили... Так что же я теперь — с голоду погибать без срока без времени должен? Да я самому Ленину на вас жалобу писать буду!..

Кичигин так распалился, что даже посошком в пол пристукнул. Дядя Коля смотрел на него, сжав губы. Если бы у него были ноги, он, наверно, вскочил бы. Но он сидел, только лицо у него медленно наливалось кровью.

— А за Анисима, который коммунистам глаза выкалывал, может быть, тебе, падаль ты этакая, тоже паек требуется? Иди отсюда, пока цел.

Но Кичигин, поглядывая на лежавшие на полу протезы, и не думал уходить.

— Анисим сам собой, я за него, за дурака, не ответчик. И не про него я разговор веду. Я про Соньку спрашиваю. Воюет она за вас? Воюет...

— Так ведь ты же сам, живоглот, ее из дому выжил! Какая она тебе теперь дочь?

— Это дело наше, семейное. А ты мне по справедливости отвечать должен.

Дядя Коля с тоской взглянул на свои протезы.

— Эх! — горько вздохнул он. — Данька, дай ты ему по шее, пожалуйста.

Я встал из-за стола и покачнулся. Кичигин, боязливо посмотрев в сторону Насти, пренебрежительно мотнул головой в мою сторону:

— А этот что же?.. В вышибалы к тебе определился? Вон оно как! И паек ему, значит, положите за это? А?

Настя, встав из-за стола, пошла к Кичигину. Он попятился, выставив вперед посошок.

— А ты постой, бабочка, постой... У меня еще одно дело к твоему комиссару имеется. Первостепенности дело, ей-богу.

Настя оглянулась на дядю Колю. Тот с ненавистью всматривался в лицо Кичигина. Однако сдержался, спросил:

— Что еще?

— А я вот насчет торговлишки хотел поговорить... — Голос Кичигина стал ласковым и доверительным. — Ходил я в магазин ваш, смотрел, и вот что я тебе скажу: не умеют ваши молодцы торговать, вовсе не умеют... Я ведь на этом деле всю как есть жизнь, все зубы на нем съел. Вот погляди-ка! — И он, широко раскрыв рот, показал беловатые бескровные десны. — Уж я-то знаю, как торговать требуется! Чтобы торговля, значит, доход давала. Без дохода какая торговля? Один смех! А от такой торговлишки, как у вас ныне, к рукам не больно много пристанет... А я ведь понимаю: и вам пить-есть надо... Вот я и прошу: определи ты меня на торговую должность — не пожалеешь! Весь барыш пополам, ей-богу...

Но тут не вытерпела Настя. Она бросилась к Кичигину, схватила его своими сильными руками за плечи, повернула к себе спиной и коленом ударила его сзади.

— Ах ты, гнида паршивая, ах ты, ворюга беззубая! — Она еще раз ударила Кичигина ногой, и он, пролетев несколько шагов, стукнулся о косяк плечом.

— За што?! — со слезами крикнул он, поворачивая к нам сморщенное лицо. — Я же к вам по-доброму, по-хорошему...

Настя пошла к нему, и он, испуганно оглядываясь на нее, побежал по коридору.

— Запри за ним дверь! — крикнул дядя Коля. — А то опять явится! — и повернулся ко мне: — Ох, еще долго такие вот живоглоты нас изнутри грызть будут!

## 19. АЛЫЕ ПАРУСА

На следующее утро дядя Коля уехал в Самару, а я пошел в уком — определяться на какую-нибудь работу.

В укоме за «львиным» столом бойкая, незнакомая мне девушка, голова которой была осыпана светлыми кудряшками, оглушительно стучала на «ундервуде». Рослый и нескладный однорукий мужчина в кожанке что-то диктовал ей, расхаживая из угла в угол. Он оглянулся на меня — у него было широкое, испытанное оспинами лицо — и строго спросил:

— Тебе чего, товарищ?

Я не знал, что ответить. Я надеялся встретить в укоме знакомых и, помню, в первую минуту растерялся. Но в это время из соседней комнаты, где раньше помещалась типография, вышла Морозова. Она стала еще более строгой и худой, чем была раньше, одетая, как обычно, в темное платье. Она тоже не сразу узнала меня, но, узнав, быстро пошла навстречу.

— Даня?

— Я.

Однорукий человек, не обращая на нас внимания, снова принялся диктовать, расхаживая из угла в угол. Морозова увела меня в соседнюю комнату, усадила на диван. Рассказала то, что я уже знал: что дядю Колю срочно вызвали в Самару, а все мои товарищи, восемь человек из ячейки укомомла, ушли на фронт. Сейчас организуется новая ячейка, занимается этим девушка, которая стучит на «ундервуде».

— Что же думаешь, Даня? — спросила Морозова, поглаживая мое колено легкой рукой.

— Поеду на фронт.

— На фронт? Да тебя же ветром качает! Нет, нет, надо сначала окрепнуть. На фронте нужны сильные, а не такие, как ты.

Александра Васильевна заведовала в то время детскими садами и единственной столовой города — в нее она и определила меня на работу. Через полчаса она отвела меня туда. В столовой меня накормили черной чечевичной похлебкой и жиденькой перловой кашей и сказали, чтобы я завтра с утра приходил работать.

Потом Александра Васильевна, взяв меня, как маленького, за руку, повела к себе. Я никогда не забуду эту с виду тихую, но на самом деле решительную и властную женщину с мягким и в то же время строгим лицом, не забуду ее глаз. Эти глаза — самое запоминающееся в ее лице, — спокойные, внимательные, смотрели на меня с выражением требовательного участия и доброты.

Вначале я не хотел идти к Морозовой, мне казалось, что в этом есть что-то от милостыни, что-то унижающее меня; тем более что ночевать я мог у тети Насти. Но спорить с Александрой Васильевной оказалось невозможно.

Жила она в собственном доме в глубине сиреневого сада, с причудливым, похожим на старинный замок мезонином, выкрашенным в голубой цвет, с крылечком, выходящим в чисто подметенный маленький дворик, с квадратной терраской, застекленной разноцветными — синими, желтыми и красными — стеклами, на ней стояла качалка и круглый плетеный стол.

— Ты не думай, что я тебя из милости к себе зову, — сказала Александра Васильевна, как бы угадав мои мысли. — Я, наоборот, хочу просить тебя о помощи. Видишь ли, Даня, у меня дочь очень больная, уже давно, и лежит все время одна. Я, ты сам знаешь, с утра до вечера по городу бегаю. А ей, конечно, скучно, хотя она и привыкла. С тобой ей будет веселее — ну, после твоей работы... А? А поправишься — уедешь на фронт. Хорошо, милый?

Мы прошли в дом, миновали крохотную прихожую, тесно заставленную старыми, отслужившими свой срок вещами, затем еще комнату с круглым столом под белоснежной скатертью и вошли в спальню. На кровати у раскрытого окна лежала, вытянувшись во весь рост, девушка. Ее лицо поразило меня строгой, никогда не встречавшейся мне раньше красотой — такие лица позднее я видел на итальянских картинах. Шевелящиеся зеленовато-золотые отсветы солнца с трудом пробивались сквозь густую листву, падали из окна на лицо, странно оживляя и окрашивая его. Большие бледно-голубые глаза, чуть-чуть напоминавшие глаза ее матери, смотрели грустно и добро — они словно гладили все, на что смотрели. И рот у нее был большой, но не грубый, а как бы вырезанный резцом сильного, властного и в то же время нежного художника. В комнате было много книг: и на подоконнике, и на невы-

соком шкафу, по полкам, занимавшим сплошь две глухие стены, на столике у кровати, даже на полу.

Когда мы вошли, девушка читала, положив книгу на небольшую деревянную подставочку и делая в ней пометки карандашом.

— Ты, мама? — удивилась она, опуская книгу. — Так рано сегодня?

— Мы, Ксаночка. Это вот Даня, помнишь, я рассказывала?

— Конечно.

— Он вышел из госпиталя, и я попросила его пожить до отправки на фронт с нами.

— Хорошо, мама. Проходите, Даня. Мама, освободи, пожалуйста, этот стул. Ты опять уйдешь?

— Да, детка.

Так состоялась моя первая встреча с Ксенией Морозовой. В ней было что-то гриновское, что-то от его «Алых парусов» — почти мистическая вера в голубое, счастливое будущее. Она прекрасно владела французским и английским и прочла в подлиннике все, что можно было достать в нашем городе; у нее были, как мне тогда казалось, необыкновенные знания по истории и медицине. Она знала подробности всех восстаний и революций, ее влекла к ним, по ее собственному выражению, кровавая заинтересованность в окончательной победе революции. Она верила, что только после победы революции медицина станет всемогущей наукой и любые болезни, даже такая, как у нее, будут излечимы.

Над ее кроватью висел портрет кудрявого, большеглазого юноши в военной форме, ее брата Владимира, расстрелянного в шестнадцатом году на фронте за попытку организации в армии «вооруженного мятежа».

Правда, в присутствии Ксении мне поначалу было очень неловко, как всегда бывает неловко здоровому человеку в присутствии тяжелобольного. Но вскоре я убедился, что жалеть Ксению не нужно, она жила в каком-то особенном, радостном мире, полном надежд и ожидания будущих радостей. Она часами рассказывала мне подробности о смелых путешествиях и неожиданных открытиях, о том, как живут люди в далеких странах, даже названия которых я никогда не слышал. И, пожалуй, впервые в моей жизни далекие Гавайские острова показались мне не вымыслом, не розовой сказкой, а действительностью, землей, где я когда-то обязательно побываю.

В те дни, которые я провел в доме Морозовых, я ходил как пьяный, в моей голове проносились имена, события, даты, каждый день я узнавал удивительные вещи. Впервые перед моим мысленным взором распахивались просторы необъятной, залитой кровью империи Чингисхана, по каменистым пыль-

ным дорогам возвращались на родину, держась руками друг за друга, десятки тысяч ослепленных турками болгар, Спартак с последней горстью соратников пробивался к спасительному берегу Адриатического моря, и римские плуги распахивали перемешанную со щебнем землю Карфагена...

## 20. «ИДИ, ДОХЛЕБЫВАЙ КРАДЕНОЕ»

И еще одно милое, добрейшее существо встретилось мне в семье Морозовых — тетя Василиса, или, как все ее звали, тетя Вася. Это была большая, как печь, толстая, несмотря на голод, женщина, на редкость отзывчивая и жалостливая, — недаром Александра Васильевна величала ее «всеобщей мамой». Эта «всеобщая мама» никогда не могла равнодушно пройти мимо чужого горя. Она то и дело приводила с улиц плачущих, замурзанных детишек, жалких стариков и старух и на кухне поила их морковным чаем и кормила тем, что могла оторвать от скудного пайка семьи. Она выросла на Волге, в молодости сплавляла плоты, рыбачила, работала в женской артели грузчиков в Самаре — все это было так неправдоподобно, так не шло к ней, что я не сразу поверил рассказу Ксении.

Тетя Вася знала огромное количество песен и сказок и умела удивительно своеобразно передавать их: песни она не пела, а как бы выговаривала мягким, певучим речитативом — от этого они получались удивительно волнующими и трогательными. И во всех ее рассказах присутствовали сильные, хорошие люди, которые никогда не теряли веселого мужества.

Когда Александра Васильевна привела меня к себе, тети Васи не было дома — стояла в одной из бесконечных очередей, то ли за хлебом, то ли за селедкой. Появилась она уже под вечер, большая, толстая, шумная, увидела меня, бледного и худшего, и я сразу стал предметом трогательных ее забот.

В первые же дни, которые я провел в семье Морозовых, я понял истоки мужества Ксении: тетя Вася жила у них уже четырнадцать лет. Только она с ее добротой и необидной жалостливостью, только она с ее неисчерпаемым запасом рассказов и песен могла помочь Ксении не пасть духом на протяжении всех этих долгих и тяжелых лет. Тетя Вася не сюсюкала над больной, не причитала, в ее жалости была какая-то, может быть, даже нарочитая грубоватость, непоколебимая вера в необходимость мужества. Именно поэтому в доме Морозовых, несмотря на болезнь Ксении, всегда было как-то особенно светло и легко, здесь никто не ныл и не жаловался на судьбу. Именно тетя Вася внушила Ксении веру в то, что ее болезнь может быть излечена после победы революции, когда медицина будет действительно служить народу. И мне тогда тоже не

показалось странным, что Ксения, которая теоретическую медицину знала, пожалуй, не хуже иного врача, все же верила в излечимость своего недуга. И Александра Васильевна тоже надеялась, что ее Ксенечка когда-нибудь выздоровеет. Правда, когда она говорила об этом, голос ее звучал скорбно.

Много лет позже, в очень тяжелые для меня годы, я не раз думал, что человек бывает несчастлив только потому, что он сам убежден в своем несчастье. Человек, даже получающий от жизни очень немногое, но довольный этим, чувствует себя счастливым в полном смысле этого слова, и наоборот, человек, имеющий многое и все же чем-то недовольный, может чувствовать себя несчастным. Я думаю, что, если бы Ксения поверила в свое несчастье, если бы она сочла себя несчастной, она не смогла бы прожить и года. А она не унывала, она многому училась и много работала. Она не только читала, она писала сама — к сожалению, ее стихи не удержались в моей памяти, не удержались, может быть, потому, что за коротенький срок она прочла их очень много. Я помню только их ощущение, их, если так можно сказать, «воздух». Это были стихи о смелых и сильных людях, стихи о мужестве и борьбе.

На другой день я пошел в столовую. Меня поставили работать «кухонным мужиком»: носить воду, выливать помои, колоть дрова, топить печи. Это была тяжелая работа, под силу здоровому, крепкому человеку, а мне трудно было поднять собственную руку. Никогда не забуду выражения презрительного сожаления, с которым смотрел на меня старший повар Семен Петрович Золотухин, полный, лысый старичок с седыми, торчащими вперед редкими усами. До революции он работал шеф-поваром в каком-то третьесортном ресторане Москвы и на все, что ему приходилось делать теперь — на пустые супы и жиденькую кашу, — смотрел с невыразимым презрением. Меня он возненавидел с первого взгляда — не пойму за что. Вероятнее всего за то, что я принимал посильное участие в гражданской войне, а он до дрожи в руках ненавидел все связанное с революцией. Он говорил, что революция «у каждого благородного человека сожрала жизнь». В первый же день Золотухин долго стоял у распахнутой двери кухни и с издевкой наблюдал, как я бессильно взмахиваю топором, как несусь и выливаю в котел четверть ведра воды.

— Да-с! — говорил он, зло шурясь. — Да-с! Это вам, молодой человек, не газетки печатать и не чужие мельницы грабить.

Если бы часа через два в столовую не пришла Морозова, я, наверно, в то же утро ушел бы на вокзал, сел в первый же попутный эшелон и уехал на фронт. Но пришла Александра Васильевна, и мой старичок поблек и стих — видно было, что он не на шутку побаивается вежливой и тихой «комиссарихи».

На мое счастье, его через два дня выгнали из столовой за кражу продуктов, и мне сразу стало легко.

Работа моя была скучна, но все время, которое я был занят дровами и водой, я перебирал в памяти удивительные рассказы Ксении, ее голос звучал в моих ушах, ее глаза смотрели на меня из прохладной глубины колодца, откуда я доставал воду, из миски с чечевичным супом, которым меня по просьбе Морозовой немного подкармливали. Мне казалось странным, что, прожив в этом городке много лет, я даже не подозревал, что за стенами маленького скрытого палисадником домика всю жизнь лежит в постели такая красивая и умная девушка. А ведь по пути на Чармыш мы не раз проходили мимо ее дома.

В столовой питались рабочие и служащие, которые работали и жили неподалеку, в том числе и укомовцы. Изредка в открытую дверь, сквозь кухонный чад, я видел безрукого человека в рыжей кожанке и почти всегда вместе с ним кудрявую девушку, которая работала в укоме пишмашинисткой и вела комсомольскую работу. Каждый раз мне очень хотелось подойти к ней, но было стыдно, что я работаю на кухне, я считал, что не имею права говорить о комсомоле, пока не уйду с этой работы. Но однажды девушка сама подошла ко мне.

Это было уже в конце дня, я выносил во двор последнее ведро помоев. Девушка вышла на кухонное крыльцо и встала в дверях. Я почувствовал себя неловко, выливая помой, облил ноги и потому замешкался у помойки, ожидая, пока девушка уйдет. Но она стояла и ждала. Она была очень тоненькая, словно перетянутая корсетом, с милым, немного птичьим личиком, небрежно обрамленным светлыми кудряшками. На голове у нее пламенела красная косынка. Блузка и юбка — застиранные, вылинявшие, на ногах — такие же, как у меня, коричневые английские ботинки.

— Здравствуй, — сказала она.

— Здравствуйте.

— Мне нужно с тобой поговорить. Ты кончил работу?

— Кончил.

У меня не было охоты разговаривать с ней, я считал, что ничего не заслужил, кроме упреков. Мне казалось, что я должен был уйти с этой работы, но в то же время чувствовал себя прикованным к столовой, где мне давали лишнюю миску супа, — уж очень я тогда был голодный и слабый.

Мы вышли со двора. За воротами девушка остановилась и, повернувшись ко мне, сказала, протягивая руку:

— Меня зовут Надежда.

Вечернее солнце светило ей в лицо; зеленоватые, с золотистыми крапинками глаза щурились, почти совсем скрываясь за длинными прямыми ресницами.

Я неловко пожал худенькую и сухую, как щепочка, руку.  
— Мне о тебе говорил дядя Коля. Он хотел, чтобы ты помог. А то я одна ничего не умею.— И столько беспомощности прозвучало в этих словах, что вся моя неприязнь к ней исчезла.

— Если смогу.

— Сможешь. Ладно?

— Ладно. Только... я скоро уеду.

— Куда?

— На фронт.

— И я бы уехала, да уком не пускает.

Мы шли по улице, сторонясь друг друга.

Надя рассказала, что налаживать комсомольскую работу трудно: все стоящие ребята на фронте, никого не осталось, а с «контриками», с детьми буржуев, она не должна, конечно, иметь дела. А вести работу нужно, нужно устраивать молодежные вечера, диспуты, ставить спектакли.

— С меня же уком спрашивает, понимаешь? — сказала она и насупилась.— Это очень нужно. А что я одна могу?

На белый, не тронутый загаром, пересеченный едва наме-чающимися морщинками лоб набежала тень.

Нет, когда я присмотрелся к ней, она оказалась вовсе не неприятной, в ней была доверчивость и беспомощность, которые мне льстили. Я чувствовал себя сильнее ее.

— Знаешь, Даня, что сейчас надо? — продолжала Надя, поднимая на меня взгляд немного косых глаз.— Надо написать пьесу — про революцию, про всю нашу жизнь... Из Самары обещали прислать, да только когда еще пришлют. Скажи,— она остановилась и взяла меня за руку,— ты не сможешь написать? А?

— Ну что ты! Я же не умею.— И вдруг вспомнил Ксению, ее стихи, ее рассказы — она так хорошо рассказывала, так много знала.

Я рассказал Наде про Ксению.

— Вот она, наверно, сможет.

— Давай пойдем к ней.

Через полчаса мы сидели в комнате Ксении. Она выслушала Надю с пылающими щеками, я еще никогда не видел ее такой. Надя рассказала о себе: отца у нее, так же как у меня, убили белые, а мать умерла давно. Надя только по фотографии знала ее лицо. Отец у нее работал обходчиком путей, и жили они где-то под Оренбургом, в маленьком домике посреди степи, расцеленной надвое железнодорожным полотном. А потом, в дни революции, перебрались в город.

Ксения согласилась написать пьесу: да, хорошо, она попробует; правда, нельзя ручаться, что это удастся, но она с радостью возьмется за дело...



А поздно вечером Александра Васильевна, сидя на крыльчке, со слезами на глазах выговаривала мне:

— Ах, Даня, Даня... Да ведь ты пойми, что я всю жизнь нарочно оберегала ее от соприкосновения с живой жизнью... Она все время жила в мире, который сама создавала. А теперь, когда ее по-настоящему позовет жизнь,— бог мой, неужели ты не понимаешь, как она будет несчастна?!

Пьесу, которую написала Ксения, мне прочитать не удалось: через четыре дня я уехал на фронт. Непосредственным поводом к этому послужило столкновение с Кичигиным.

Случилось это в конце дня. Я сидел на крыльчке кухни с глиняной миской на коленях и ел суп. Рядом со мной на ступеньках стояли пустые ведра, мне предстояло натаскать в котлы воды. Ворота на улицу были распахнуты: только что со склада привезли продукты на завтра и я еще не успел ворота закрыть.

Мимо столовой, шаркая ногами по деревянному тротуару, шел Кичигин, шел, с трудом переставляя ноги, опираясь на палочку и глядя кругом слезящимися, пронзительными глазами. Увидев меня, остановился в воротах, беззубо пошамкал ртом и кивнул.

— Ждраштвуй.— Он ужасно осунулся и постарел. И говорить стал совершенно иначе, словно девяностолетний. Бороденка у него заметно поседела.

— Здравствуйте,— ответил я.

— Жрешь?— спросил Кичигин.— Другие все на фронт уехали, а ты, штало быть, тут швою революцию празднуешь? Обрадовался дармовщине-то? Эх, вы-ы! Герои!— Подождал ответа и совсем другим тоном, деловито спросил:— Похлебка-то послена?

Не дождавшись ответа, плюнул себе под ноги и пошел дальше, шаркая подошвами по щелястым доскам тротуара, глухо постукивая посошком.

Я поставил миску с недоеденным супом на ступеньку и встал как оплеванный. Он, эта сволочь, которая всю жизнь сосала кровь из наших отцов и матерей, упрекает меня в том, что я чуть ли не предал революцию, променял ее на миску супа! Я выбежал за ворота, догнал Кичигина, схватил за плечо.

Он повернулся, глазки его осветились лукавым торжеством, страха в них не было.

— Ну, шего?— весело усмехнулся он.

— Как ты сказал?— шепотом спросил я.

— А как ты слышал, так и шказал,— еще веселее усмехнулся Кичигин.— Что? Колет? То-то вот. У других отымаете, а сами воруете. Ботинки-то с какого покойника снял?!

Я не знаю, зачем побежал догонять этого гнусного челове-

ка; я стоял перед ним, опустив руки, и бессмысленно смотрел в его ядовитые, слезящиеся глаза.

Он с торжеством подмигнул:

— Ну иди, дохлебывай краденое. А то простынет!

И, бесстрашно подставив мне спину, не спеша зашагал дальше, все так же шаркая подошвами и потыкивая в землю посошком.

Не доев суп, я ушел из столовой. Горькие слезы давили мне горло, на душе было смутно и тяжело.

Несколько раз подходил к дому Морозовых — мне хотелось попрощаться с ними перед отъездом. Но я так и не решился зайти: они бы меня непустили.

Я бродил по знакомым улицам, побывал на кладбище, постоял у братской могилы на площади Павших Борцов. На зеленом дерне могилы лежал полуувядший букет простеньких полевых цветов. Рядом с братской могилой смутно желтел свежий, недавно насыпанный холм земли.

Из оцепенения, из темной полудремоты, в состоянии которой я бродил по городу, меня вывел паровозный гудок. Он прозвучал как властный голос, позвавший куда-то, куда я не мог, не имел права опоздать.

## 21. НА ФРОНТ

Вечером я сидел в прокопченной теплушке, битком набитой красноармейцами, и слушал, как громко и нестройно мужские голоса пели про бродягу, бежавшего с Сахалина. Играла гармонь. В маршевый перестук колес влетались странно тревожащие сердце слова: «...жена найдет... себе... другого...» Надрывался на подъемах паровоз, окутанный белыми и серыми клубами, за распахнутыми дверьми вагона уходили назад поля и леса, теплой синевой манили озера и реки, клонились на болотах березки, как бы подгибающие ноги, чтобы встать на колени; одинокие сосны вздымались к небу зеленые кроны.

Я впервые ехал в поезде и впервые выезжал за пределы маленького мира, где прошло мое детство, где остались люди — живые и мертвые, — которых любил. Радость, вызванная сознанием, что наконец-то и я еду на фронт, заглушалась болью расставания с родными местами, эта боль рождала неясную тревогу — сам не знаю о чем.

Гасло на западе пылающее небо, загроможденное красными и оранжевыми взвихренными облаками, поджигающее все, к чему прикасался его раскаленный край: синий зубчатый лес на горизонте, землю, колокольни и кресты церквей.

Ночью я спал беспокойно: навалились тягучие кошмарные сны, наполненные убеганиями и погонями, медным рыком пожарного колокола, железным грохотом вагонных колес. На остановках просыпался от внезапно наступавшей тишины, садился на нарах и, не понимая, где я, долго смотрел в распахнутую вагонную дверь — там, над зеленым огнем семафора, теплилась, вздрагивая, звезда.

По обе стороны дверей были настланы в два яруса нары, и на них, вплитирку друг к другу, лежали мои новые товарищи, красноармейцы Сибирской дивизии. Днем пели песни, рассказывали друг другу о мирной жизни, о боях, в которых довелось быть. Искали в рубашках и подштанниках вшей и, сменяя друг друга, сидели в дверях вагона, свесив наружу ноги в разношенных сапогах, в трофейных английских ботинках и просто в лаптях.

Мне тоже нравилось сидеть в дверях, свесив наружу ноги и глотая теплый, пахнущий железом и мазутом дымный ветер, глядеть, как пролетает мимо земля, как петляют, растворяясь в зелени камышей, узенькие речушки, слушать, как грохочут стальные переплеты мостов.

Кое-где в полях работали женщины и дети. Когда эшелон приближался, они выпрямлялись и, заслонившись ладонью от солнца, смотрели вслед поезду печальными глазами.

На крутых поворотах эшелон, заметно наклоняясь внутрь описываемого круга, изгибался огромной красной змеей, и тогда становился виден его хвост. На предпоследней платформе дымились зеленые походные кухни с помятыми боками, а на последней — сизой горой громоздились тюки прессованного сена. В нескольких вагонах везли лошадей: перевесив через деревянные перекладки морды, они помахивали разномастными гривами и, завидя блестящую поблизости воду, требовательно и тоскливо ржали.

В нашем вагоне беспрерывно, с утра до вечера, пиликала гармошка, старенькая ливенка; до этого она играла, наверно, на тысячах вечеринок и свадеб. Как мне сказал мой сосед по нарам Костя Рагулин, гармошка была «местная», то есть общая, ее нашли при погрузке в эшелон в Иркутске, она валялась под нарами в углу вагона.

Играли на ней без исключения все, но по-настоящему выманивать наружу ее звонкую душу умел только Костя, милый и застенчивый паренек, с добрыми красивыми губами, с задумчивым, немного удивленным взглядом синевато-серых глаз. У него были светлые брови, похожие на два пшеничных колоса, подвижные и выразительные, и такие же светлые, мягкие, как шелк, волосы.

Костя был моим ровесником, но уже участвовал в боях —



при взятии Черемхова и Иркутска. Родом он был из Анжеро-Судженска, отец его всю жизнь работал там забойщиком и погиб пять лет назад при завале угольной шахты. Вместо отца работать под землю на откатку пошла Костина мать, да и у самого у него с двенадцати лет появились на руках синеватые, словно вытатуированные отметинки — нажитые в шахте шрамы. Осталась у него там, на родине, и сестренка, семилетняя Леля, или, как он ее звал, Елка. Он ее очень любил, и мне она тоже издала полюбилась: все маленькие девочки казались мне тогда похожими на Подсолнышку и вызывали у меня чувство болезненной, щемящей нежности.

Мы с Костей скоро подружились.

Помню, поезд стоял на каком-то полустанке. Тяжело дышал через несколько вагонов от нас паровоз, мимо дверей летели искры. Щелястые доски перрона были влажны от росы, мокрыми были и ржавые, крашенные охрой крыши пакгауза, тянувшегося вблизи пути.

Вдоль эшелона пробежал вихрастый солдатик из хозяйственной команды, без всякой нужды размахивая руками и весело крича в двери вагонов:

— Давай за жратвой, черти полосатые! Приглашения ждете, благородия бесштанные?!

Один за другим красноармейцы выпрыгивали из вагонов, гремя мисками и котелками. Вслед за другими выпрыгнул и я, выпрыгнул и остановился, не зная, что делать. Посуды у меня не было, а обращаться с просьбой к военному, который вчера посадил меня в эшелон, мне казалось неудобным. И я, наверно, так и остался бы в то утро не евши, если бы не Костя. Отбежав от вагона, он вдруг остановился и оглянулся.

— Айда! — крикнул он мне.

Я молча развел пустыми руками.

— Посуды нет? Пойдем, я получу на тебя!

И через четверть часа мы с ним сидели рядом на нарах и, передавая друг другу деревянную, расписанную, но с обгрызенными краями ложку, по очереди черпали из помятого солдатского котелка густую перловую кашу. Она была немного недосолена, но казалась мне необычайно вкусной.

— Ты что худой да белый? — спросил Костя. — Болел, что ли?

— Тиф.

— Вон что! Из нашего вагона одного тифозного же в Челябе сняли. Как раз ты на его место лег. Сухарей у тебя нет?

— Нет.

— У меня осталось чуток, на, поешь.

Мы послали, вытерли пальцами стенки котелка, облили пальцы. В это время сердито заревел паровоз, загрмели,

словно огромные цепи, крюки сцеплений, эшелон тронулся. Кто-то отставший, под хохот и улюлюканье товарищей, мчался вдоль поезда, застегивая на ходу штаны.

Мы с Костей часами сидели рядом в дверях вагона или лежали на нарах, рассказывая друг другу о жизни. Детство у нас было похожее — нищее детство рабочих мальчишек с его скухими радостями и частыми горестями, с ранним трудом ради куска хлеба, с мечтой о вольной и богатой жизни, с неясными стремлениями неведомо куда.

Эшелон мчался, гудя и окутываясь дымом, минуя полустанки, подолгу застревая на узловых станциях, забитых поездами, поломанными вагонами, сгоревшими паровозами, толпами ободранных, голодных людей. В одном городке, названия которого я не могу вспомнить, встречать эшелон пришли рабочие машиностроительного завода, с красными знаменами — «Смерть буржуазной Антанте!» — с песнями, с дешевыми, собранными наспех подарками. Влезая по очереди на низенькую багажную тележку, потрясая худыми кулаками, люди говорили горячие слова, а мы кричали в ответ «ура», все вместе пели «Интернационал». И потом опять поезд летел, грохоча на мостах, сея на крыши искры, тревожно и требовательно гудя.

Каждый день в вагон приходил наш политрук товарищ Слепаков, чернявый, наголо стриженный, со свежим рваным шрамом, наискось перечеркивавшим правую щеку, с темными промасленными руками металлиста. Иногда он приносил с собой табачок, иногда сам одалживал у солдат и, окутанный густым ядовитым дымом, рассказывал новости, сидя на краю нар, по-мальчишески болтая ногами в щегольских офицерских сапогах. Он-то и принес нам сообщение о том, что дивизия наша с Польского фронта «повернута на юг», и Костя, выпрыгнув на очередной остановке из вагона, огромными буквами написал мелом на вагонной двери: «На Врангеля!»

К этому времени я уже освоился с новой обстановкой, подружился с людьми, рядом с которыми мне предстояло воевать. В вагоне были и пожилые, бородатые мужики, отцы семей, степенные и рассудительные, с тоской и заботой глядевшие на нищие поля, тянувшиеся вдоль пути, на жалкие хатенки, на разоренную войной и голодом Россию. Были и молодые, еще ни разу не брившиеся ребята. Эти зубоскалили и пели песни и, где только можно, заигрывали с молодухами и девчатами. Были в вагоне два китайца — Ван Ди-сян из Иркутска, где он работал в прачечной, сутулый, неправдоподобно худой, с пепельно-серым лицом, и второй, имя которого я забыл, с золотых приисков Бодайбо. Оба уже в годах, молчаливые, с лицами, обтянутыми темной шершавой кожей, изборожденной глубокими морщинами, они держались чуть особняком, по

большей части сидели рядом на нарах и безучастно покуривали свои тоненькие трубочки, изредка перекидываясь коротенькими словами. Сначала они показались мне чужими в вагоне и вообще в эшелоне — какое, думал я, имеют отношение эти китайцы к нашей русской революции? Но Костя рассказал, что во время боев в Иркутске они вели себя с редким мужеством, бесстрашно и смело, недаром на них были красные рубашки, те самые, которые московские рабочие прислали дивизии в подарок за победу над Колчаком.

Поезд шел.

Проплывали мимо березовые рощи, похожие одна на другую и все-таки разные — то пронизанные вечерним красноватым светом, то освещенные жарким июльским солнцем, то заштрихованные косой, дрожащей сеткой летнего дождя. Мелькали мимо полуразвалившиеся, крытые соломой хибарки, и дети бежали за вагонами, размахивая ручонками; проплывали мимо города — нагромождения красных кирпичных громад, с вытянутыми к небу и по большей части бездымными в тот год трубами заводов, с разбитыми водокачками. По сторонам пути лежали обломки изуродованных вагонов и паровозов, груды искромсанного, обгорелого железа, рельсы, изогнутые и завязанные в узлы.

И везде след за грустным вниманием смотрели женщины. Иногда во время стоянки какая-нибудь подходила к вагону с крынкой молока и следила за тем, как «солдатики» пьют, скорбными материнскими глазами.

Впервые в те дни я увидел, как велика, как необъятна родная земля, впервые понял, как много в ней нищеты и горя. Боже мой, думал я, ведь, может быть, и сейчас под какой-нибудь из этих крыш умирает от голода какая-нибудь Подсолнышка и сходит с ума чья-то мамка, и только наша окончательная победа может это остановить. И тогда мне казалось, что эшелон движется непростительно медленно, что он слишком часто останавливается и слишком подолгу стоит.

## 22. «ТРИ АРШИНА НА ЧЕЛОВЕКА»

Если мне не изменяет память, на станцию Апостолово наш эшелон прибыл девятнадцатого июля. Поезд остановили в степи, недалеко от города.

День был душный, тяжелый. Раскаленный, неподвижный воздух дрожал над уходящими к горизонту полями, над пыльными железными крышами станционных построек, над уползавшими вдаль дорогами. Странные, похожие на зеленые свечи пирамидальные тополя, застывшие на буграх неподвижные

ветряные мельницы, белые домики городских окраин — все виделось неясно, словно смотреть приходилось сквозь стремительно текущую воду. И над всем неподвижно стояло в выцветшем безоблачном небе июльское солнце.

Где-то на юге и на юго-востоке от Апостолова шли бои. Оттуда, из-за края земли, рождая тревогу, иногда доползало глухое чугунное ворчание, и не понять было — гром ли это далекой, невидимой грозы или грохот артиллерийской канонады. Выпрыгнув из вагона, я увидел на крышах нашего эшелона пулеметы, возле них, изнывая от зноя, лежали бойцы.

Началась выгрузка. Скатывали с платформ кухни и орудия, до этого скрытые под зелеными брезентовыми полотнищами, с матерной бранью тянули из вагонов упиравшихся, бьющих копытами и беспокойно косящих глазами лошадей. Далеко в поле, по обе стороны полотна, маячили на горизонте верховые. Запыленный зеленый автомобиль, таща за собой желтый шлейф пыли, мчался вдоль полотна; в нем, держась за борт и глядя на эшелон, стоял пожилой командир в черной кожаной фуражке; за автомобилем скакали верховые.

Выгрузились мы быстро, но двинуться дальше смогли не сразу. Своих лошадей у нас было мало, а набрать подводы у населения оказалось делом нелегким. Только к вечеру в самом Апостолове и в соседних хуторах и экономиях удалось набрать лошадей.

Мы с Костей и двое китайцев ехали на одной подводе. Вез нас маленький подслеповатый мужичок с бельмом на правом глазу — поэтому-то, как он со злой радостью объяснил нам, «ни белые, ни вот красные в армию не берут, только что в подводы, едри их корень, бесперечь гоняють». У него было маленькое остренькое личико с пучком редких рыжих волос на подбородке и непомерно большие для его роста узловатые, клешнястые руки.

Жар спадал, вечерело. Солнце стало больше и багровее, нижним краем оно уже касалось вонзившихся в небо острокопечных верхушек тополей. По сторонам дороги высились заросли кукурузы, над ними, косо перечеркивая небо, реяли птичьи стаи. Кое-где на узких полосках работали женщины и дети. Заслышав шум на дороге, они испуганно выпрямлялись и провожали нас тревожными взглядами, и опять, спеша, принимались за свое дело.

— Вот беда-то,— вздохнул подводчик, сдвигая на самые глаза соломенный бриль.— Никак не дають убрать хлеб. И убирать некому. Хучь бы ночи лунные скорее, што ли, ночами бы которые работали. А то только заявишься на полосу, ан, глядишь, опять постреливають, опять кого-то нелегкая несеть. И чего воюють, чего воюють? — Он глубоко вздохнул и, огля-



нувшись на закурившего Вана, облизал остреньким красным языком запекшиеся губы.

— Твоя кури есть? — дружелюбно спросил Ван.

— Какое кури! Вот уже который день не куримши, — и украдкой пощупал карман своих широких полотняных штанов. Наверно, у него все-таки был табак.

Ван достал круглый резиновый кисет, протянул:

— Кури надо.

Свернув огромную самокрутку, подводчик жадно затянулся дымом и сразу заговорил веселее.

— Вот я и говорю: чего воюют? — уже почти добродушно продолжал он. — Ежели за землю, так ведь, боже ты мой, он и Врангель, сказывают, обещает...

— Три аршина на человека, — улыбнулся Костя.

— Зачем три? Три это, мил человек, покойнику, а не человеку. А мне, ежели я, скажем, хозяйствовать стану, — мне, к примеру, и тридцати десятин мало. — Осторожно оглянувшись, старик полез в карман штанов и вытащил сложенную во много раз, истертую на сгибах газету. Это оказалась «Великая Россия», издававшаяся в то время в Крыму правительством Врангеля. — Вот тут читай-ка... — Старик, прищурившись от дыма, деловито ткнул пальцем в место, зачитанное до дыр.

Насколько я теперь помню, там было написано, что «земля не предоставляется на разграбление деревенской толпе, а уступается за плату хорошему хозяину».

— Слыхал? — поднял брови старичок. — Стало быть...

— А чем же вы за нее, дедушка, платить будете? — спросил я.

— Так ведь, милый ты мой, пишут же опять в другой газетке, на двадцать пять годов рассрочка! Неужели за этакий-то срок не оправдаю?! А? Ведь до ста десятин брать можно! Это же, прямо сказать, — простор, море! Тут только бы силу да здоровье послал господь, а уж размахнуться есть где! — Он мечтательно посмотрел в поле. — Лошадок штук пяток прикупить, волов десяточек — живи! Да-а-а... Вот бы она, жизнь! Сынов у меня четверо, ежели переженить дураков, у каждого, скажем, жана — работников хватить.

— А сыновья воюют?

— Один в бегах, где-то по плавням путается, чуть мне за него шею не свернули — дескать, подай да выложи его, сукина сына! А я игде же его выну — у него, у дурака, своя башка. А двое у генерала Слащева — по мибилизации. Ну, а один еще, едри его корень, за ваших стражается.

— А ты сам, дедок, за кого? — спросил Костя.

— Я-то? — Ссунув на затылок бриль, подводчик усмехнулся сквозь седые, прокуренные до кукурузной желтизны

усы.— А я ведь по поговорке, сынок,— мужику где тепло, там и родина.

Костя насупился, невесело посмотрел вдаль.

— Тебе, видно, дедушка, и при Столыпине не больно холодно было? — спросил он.

— А что?! — Подводчик вызывающе вскинул рыжие кустистые брови.— Не жаловались! И лошадки были, и волы, и земляца — все как у людей.

— На хуторе жили, на отрубях?

— Вот-вот.

— Из кулаков, значит? — спросил Костя.

— Вот! — Подводчик обиженно засопел.— Я с тобой, па-рень, по-душевному, а ты... — Он помолчал и, глядя в сторону, пробормотал: — Молоко материно на губах не просохло, а туда же, в комиссары, едри его корень! — И, спрыгнув с телеги, сердито зашагал рядом. Но сердился недолго. С любопытством оглянулся на Вана, на другого китайца: они, не принимая участия в разговоре, с кажущимся безразличием покуривали свои тоненькие длинные трубочки.

— А вот, скажем, опять непонятное для моего ума дело,— берясь рукой за наклейку и обращаясь к Вану, заговорил подводчик.— Вот, скажем, ты, не знаю, как тебя звать-величать...

— Ван Ди-сян.

— Иван, стало быть. Ну вот... кто ты, Иван, есть? Из какой то есть земли?

— Моя — китаез, чайна.

— Ага, вон оно что! — закивал головой дед.— Вполне понятное дело! Как же, как же — китайский чай. Пивали когда-то до революции, чтоб ей... Ну так вот, Ванюшка,— перебил он сам себя,— скажи ты мне на милость, никак я умом не разберусь... Ну, скажем, вот они воюют,— он махнул кнутовищем вперед, на другие подводы,— это понятно... каждому охота чужого добра кусок урвать. А вот, скажем, ты и товарищ твой, не знаю его имени-звания... Вам-то какая хворость за чужую беду животы свои класть? Тут ведь очень простое дело, и убить могут. А ежели, скажем, к туземникам, из туземной, значить, бригады попадешься, так, глядишь, и шкуру живьем сдерут. Это как? А ведь война кончится — тут вам, китаезы которые, прямо скажу, никакой земли не обломится, не дадим. А? Ты на меня не обижайся, Ванюшка, я душевно. Тут и русским-то всем едва досыта хватить.

— Моя понимаю нету,— покачал головой Ван.

— Ну конечно! Игде тебе русского человека понять! Никаких понятий у вас, азиатов, нету... Потому, говорю, и лезете в чужую землю воевать безо всякого смысла. Убьют ведь, говорю, зазря убьют! Пониме? Бельмес!

Ван, конечно, хорошо понимал, о чем спрашивает его наш словоохотливый возница, но просто-напросто не хотел говорить. Плотно сжав тонкогубый рот, прищурившись до того, что глаз совсем не стало видно, он смотрел вдаль и изредка затягивался своей пахучей трубкой.

Послюнив палец, старик бережно потушил окурок и спрятал в карман. И снова, хитро и ехидно прищурившись, обратился к Вану:

— Вот, Иван, как ни гляди, а выходить — дурак ты! И жизнь твоя без никакой пользы.

Ван молчал. Зато Костя неожиданно соскочил с подводы и схватил оторопевшего подводчика за плечо, остановил. Когда я взглянул на Костю, я не узнал его: на белом, помертвевшем лице прыгали губы, а глаза, всегда ласковые и добрые, налились такой ненавистью, что в них нельзя было смотреть.

— Ты замолчишь, гнида кулацкая? — шепотом спросил он.

Старик испугался. Отодвинувшись от Кости, деловито подобрал упущенные вожжи, заорал на лошадей и ушел вперед. И больше ни с кем из нас не сказал ни слова.

Далеко за степью садилось солнце. Черный силуэт ветряка на дальнем холме, на горизонте, стоял неподвижно, вскинув черные крылья, словно женщина, заломившая руки. Дребезжали, позвякивая железными ходами, телеги и тачанки, громыхали в хвосте обоза походные кухни, по сторонам шляха, уже почти невидимые, скакали разведчики.

### 23. ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Ночевали в небольшом селе на берегу мелкой, заросшей камышом речонки. Над домами белела высокая колокольня, похожая на палец, показывающий в небо, на ней матово голубел высоко вскинутый крест.

Когда въехали в улицу, солнце село, лиловые облака, освещенные по нижнему краю ушедшим за горизонт солнцем, громоздились над землей, как горы. Стояли у ворот пригорюнившиеся женщины, ребятишки с криками бежали по сторонам дороги, поднимая босыми ногами пыль. Требовательно мычали коровы, и тонко скрипели колодезные журавли.

С вечера мне и Косте выпала очередь нести караул у одной из околиц. Мы лежали на односкатной, почти плоской крыше сарая во дворе пустого, давно покинутого хозяевами дома — двор зарос бурьяном и лебедой в рост человека. Для Кости это было привычное дело — караул, он скучал, позевывал, что-то чуть слышно насвистывал. А для меня все было внове, поручение мне казалось исполненным особой важности и смысла.

Я напряженно всматривался в закатившуюся степь, вслушивался в таинственные, едва различимые шорохи, ни на секунду не выпуская из рук винтовки.

Вскоре Косте, видимо, надоело лежать молча, и он шепотом спросил:

— Ты, Данил, куда после войны?

— Еще не знаю.

— Давай к нам, в Сибирь! А? — Костя приподнялся на локте, глаза у него ярко блестели. — Ведь никого у тебя нет, а мама и Елка тебе обрадуются. Пойдем вместе на шахту. Там знаешь как интересно, и жить вместе с нами станешь.

— Не знаю. К мамке надо съездить... А потом... Мне на море хотелось. Матросом бы на корабль наняться, поплавать. По морям по всяким, по океанам.

— Да, — вздохнул Костя, — это бы здорово. И я бы... только Елку да мать жалко, как они там одни?

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо.

— Гляди, Данил, звезды здесь какие крупные! А? Особенно вон та, над ветряком. Как это у Пушкина написано... пленительная звезда...

— Звезда пленительного счастья...

— Да... пленительного... А может, знаешь, он как раз про эту самую звезду и написал? Смотрел, смотрел и написал.

— Может быть.

— И мы вот на нее глядим. А пройдет еще пятьдесят лет, мы старые станем, и буржуев уже никаких не останется, а она, наверно, вот так же... а? Как думаешь?

— Будет. Звезды по миллиону лет живут.

Мы помолчали.

— А знаешь, я еще какие стихи люблю? — по-прежнему глядя в небо, спросил Костя. И медленно, словно вслушиваясь в каждое слово, прочитал: — «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем...» — и опять повернулся ко мне. — Вот смотри, Даня... все слова известны и тебе и мне, а он их поставил как-то по-своему и до чего же хорошо, прямо чудо какое-то!

Всходила луна, заливая степь желтым, призрачным светом.

Костя вздохнул всей грудью.

— «Я вас любил. Любовь еще, быть может...» И что это такое — любовь? А? Ты, Дань, любил кого-нибудь? Ну конечно, не мамку, не Подсолнышку твою, а так — девчонку?..

Я вспомнил Олю, сгоревшую на мосту, но не знал, можно ли было назвать любовью ту робкую, странную нежность, которая некоторое время жила в моем сердце.

— Не знаю, Костя.

— И я не знаю... А целовался?

— С кем?

— Ну с девчонками.

— Нет.

— И я не целовался. А ведь интересно, правда?

Вдали, в полутьме, раздалось тихое поскрипывание колес и негромкий женский голос:

— Цо-об... Цо-об...

Спрыгнув с крыши, мы крадучись вышли к дороге и притаились. Когда скрип колес раздался совсем близко, Костя крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

Женский голос ответил без всякого испуга, устало и грустно:

— До дому идемо. Н-но!

Мы пошли навстречу.

Показалась телега, в которую была впряжена черная с белыми пятнами корова. На телеге, на куче снопов, сидели два малыша, прикрытые по плечам какой-то дерюжкой, а рядом с телегой шагала невысокая худая женщина. Лица ее, скрытого низко опущенным белым платком, разглядеть было нельзя.

— Откуда? — строго спросил Костя.

— Да из поля... Пшеницу убирали... — Женщина устало вздохнула. — А вы кто? Червонные аль опять белые?

— Красные... червонные...

— Ну, слава богу! — Поправив на голове платок, женщина взмахнула прутиком: — Ну-у!

Мы невольно расступились, пропуская телегу, и долго смотрели ей вслед.

Около полуночи километрах в трех от нас, на высоком бугре, загорелся ветряк. Зарево осветило поля, деревья на краю села, белые как сахар дома с темными квадратами окон.

Горела ветрянка жарко, пламя за несколько минут охватило ее всю, и странно — при полном безветрии она принялась махать горящими крыльями. Багровые пятна света прыгали по степи, озаряя тяжелые головы неубранных подсолнухов и серую дорогу, уползавшую вдаль. На фоне горящего ветряка раза два мелькнули темные силуэты всадников — подъезжали наши разъезды.

## 24. ГАННА

Нас сменили в полночь. Ночью мне спалось плохо, и я проснулся на рассвете. Вышел на низенькое крыльцо дома, где мы ночевали, и за покосившимся плетнем увидел черную с белыми пятнами коровенку. Присев возле на корточки, корову

доила повязанная белым платком худая женщина. Рядом, сунув в рот пальчик, стояла босоногая беловолосая девчушка лет шести. В руке она держала пустую глиняную кружку.

Пододвиг корову, женщина зачерпнула в кружку молока и дала девочке. Та с видимым наслаждением выпила, облизнулась и, сказав: «Дякую, мамо!» — развеселившись, поскакала на одной ножке в дом. Женщина отнесла молоко, а потом, расчистив небольшой ток, принялась молотить привезенные ночью снопы. Сил у нее было мало, и она часто останавливалась отдыхать и, отставив цеп, вытирала лицо и шею.

Вышел Костя, мы переглянулись и, не сказав друг другу ни слова, полезли через плетень.

— А ну, тетя, дайте я попробую,— сказал Костя.

Женщина молча посмотрела на нас и измученно улыбнулась. И хотя ни я, ни Костя не умели молотить, мы выбили из снопов все, что там было, до последнего зерна.

Женщину звали Ганной. Все в ее хозяйстве пришло в упадок, просела, почти провалилась крыша в коровнике, покосились окружавшие двор плетни. Мы все это, как умели и могли, поправили, помогли провеять хлеб. Когда мы собирались уходить, Ганна расплакалась и повела нас в дом.

— Даже попотчевать нечем,— сказала она и развела руками.

Две беловолосые синеглазые девочки сидели за столом и из одной миски ели суп, только что сваренный из намолоченного зерна. Хлеба на столе не было. Нам перед выходом из Апостолова выдали хлеб и сахар, кое-что из этого запаса оставалось у нас с Костей в вещевом мешке.

Перепрыгнув через плетень, я сбегал в дом, где мы ночевали.

— Господи! Да зачем вы? — всплеснула Ганна руками, когда я положил на стол перед девчушками сахар и хлеб. Я подсел к старшей девочке. Спросил:

— Тебя как зовут?

— Галю,— едва слышно ответила она.

— Кушай, Галю,— сказал я, придвигая ей хлеб и сахар.— И сестренке скажи, чтобы ела...

Меньшая девочка пристально и удивленно смотрела на сахар...

— А это твою такое? — спросила она, поднимая на меня свои светлые, доверчивые глаза.

— Сахар.

— Он вкусный?

— Да.

— Как соль все равно?

— Нет, он по-другому вкусный... Ешь...

Ганна и нам налила миску супа, и, пока мы, не смея отказать, ели, она рассказала нам свою печальную историю. Говорила она мягко, певуче, выговаривая букву «г» так, как ее выговаривают только на Украине. Рассказывала без слез, с любовью и жалостью поглядывая на своих девочек.

— Мы ведь тоже не хуже людей жили... И хлебушек всегда был, и куры были... теперь одна коровенка осталась, да и ту, боюсь, придут какие-нибудь бандюги, зарежут... А раньше хорошо жили. Я за Павлом как за каменной стеной, ни горя ни заботы... Да сгинул он на этой войне проклятой, чтобы подохнуть, кто ее выдумал...

— Не вернулся с германской?

Ганна махнула рукой, и в глазах у нее появился слезный, перламутровый блеск.

— Вернулся. Слепой да контуженный... глаза газами выело... Два года, пока помер, и провалялся.— Она махнула рукой на стоявшую у двери кровать, на которой был свален ворох одежды.— С тоски больше и помер. Посидит-посидит, выйдет во двор и тычется туда-сюда... уж больно ему мне помочь хочется. А от слепого какая же помощь! И есть совсем перестал, вроде совестно ему... Налью я шей там или похлебки, а он две-три ложки хлебнет да и отодвинет — дескать, не хочется... А я-то с глазами — вижу...

Девочки сидели молча. Младшая, нахмурившись, грызла сахар, старшая, не поднимая опущенных глаз, слушала рассказ матери.

Перед тем как уйти из села, я выпросил у повара лишний черпак каши и принес девочкам. Они ели и доверчиво смотрели на меня своими чудесными чистыми глазами.

## 25. «ГРЕШНОГО СЛУЖИТЕЛЯ ТВОЕГО...»

Нестерпимо жгло солнце, скрипели немазанные колеса, звенело оружие. Огромное душное облако пыли клубилось над степью, и сквозь него даже яростное августовское солнце было едва видно.

На берег Днепра мы вышли вечером третьего или четвертого августа, точно не могу вспомнить. В полукилометре от нас, ниже по течению реки, в зелени акаций и тополей возвымались купола и колоколенки какого-то монастыря — они выглядели так мирно, что просто не верилось, будто где-то рядом идут бои. В монастыре звонили к вечерне, медлительный, густой звон печально плыл над землей.

Не выходя на открытый берег, наши части остановились — здесь нам предстояло ждать приказ о дальнейшем движении.

Белые, как оказалось, уже ушли за Днепр,— ушли и сожгли за собой все мосты, разрушили все переправы.

Днепр! С какой жадностью, с какой тоской смотрели мы на голубой простор, оправленный в сочную зелень плавней, на озера, лежавшие в пойме, словно куски разбитого небесного свода. Как хотелось сорвать с себя пропыленную, просоленную потом рубашу и сломя голову броситься с кручи вниз, добежать до воды и нырнуть в прохладную глубину.

Разворачивались и торопливо исчезали в степи отпущенные нами подводы; встревоженные чем-то командиры, передавая друг другу бинокль, рассматривали Заднепровье — там, за дрожащей пеленой зноя, ощущалось непонятное движение.

А колокол на монастырской колокольне все звонил и звонил — то медленно, то чуть быстрее, то на несколько минут замолкал совсем.

— Балуется кто-то,— сказал Костя.— Не умеет.

И вдруг в синей дали Заднепровья, за зелеными купами прибрежных раки, один за другим вспыхнули белые дымки, и через несколько секунд со свистящим воем над нашими головами пронеслись два первых снаряда. Один лег далеко в степи, вскинув к небу черный веер земли, а второй взорвался там, где грудились повозки обоза. Словно ребенок завизжала раненая лошадь, полетели в стороны щепки разбитой повозки, враспынную побежали люди.

Колокол звонил быстрее, веселее, и я увидел, как двое командиров — наш Слепаков и кто-то еще,— вскочив на лошадей, поскакали к монастырю. На ходу Слепаков крикнул:

— За мной!

Монастырь был обнесен высокой кирпичной стеной, чугунные ворота, в узоре которых переплетались кресты и копыя, были заперты изнутри. Несколько минут мы колотили прикладами в ворота, и только тогда за их чугунной вязью появилось красное, перепуганное лицо.

— Открывай! — кричал Слепаков, тыча сквозь чугунные узоры дулом нагана.

Колокол смолк, а орудия белых с той стороны все били и били, наши части передвигались, уходили за монастырь.

Перепуганный монах дрожащими руками отвел в сторону железный засов, и мы ворвались внутрь монастырского двора. Вымощенный крупным булыжником, он напоминал двор тюрьмы. Только у одного домика зеленели жалкие кусты акации.

Монах, открывший ворота, был толстый, рыхлый, словно слепленный из теста, губы и щеки у него дрожали. Упав на колени перед Слепаковым, он заплакал, повторяя:

— Не я... не я... не я...



Стоя на четвереньках, он кланялся Слепакову. По толстым губам на подбородок текли слюни.

— У, лягушати́на! — Слепаков толкнул его и побежал дальше.

Следом за ним мы бросились к входу на колокольню — маленькому сводчатому отверстию, похожему на лаз в пещеру. Но в эту секунду над нашими головами, на колокольне, раздался пронзительный крик и оттуда, кувyrкаясь в воздухе, полетело что-то похожее на бутылку — только тогда, когда на самой середине двора брызнул в стороны взрыв, я понял, что это была граната. Она упала в двух шагах от лежавшего неподвижного толстого монаха. За какую-то секунду до взрыва он стремительно вскинулся, словно разбуженный несшимся с колокольни криком, и стоял так, с недоумением глядя на летящую вниз гранату. Взрыв опрокинул его навзничь.

Никого из наших взрывом не задело. Крик на колокольне стих.

Несколько долгих мгновений мы стояли неподвижно, глядя то друг на друга, то на убитого, под которым растекалась по камням темная лужа крови.

В пропахшей плесенью глубине хода на колокольню раздался странный, нарастающий шум. Кто-то спускался по лестнице и иступленным красивым басом пел:

— Да-а востре-еснет бо-ог... и расточатся врази... е-е-го...  
Слепаков шепнул:

— У него, наверно, еще гранаты!

И мы отпрянули от входа, спрятались в уступах каменных, выщербленных временем и ветром стен.

Голос поющего становился громче. Мы ждали, стиснув винтовки.

Но вот он вышел, и вид его так поразил нас, что никто не двинулся с места. Это был высокий, до странности худой монах с лицом апостола, воодушевленным и одухотворенным, с целой копной седых, развеваемых ветром волос, с глазами темными и горящими. Одетый в черную потрепанную рясу, он шел, не глядя по сторонам, и широкими взмахами сияющего на солнце золотого креста крестил пространство перед собой. Он дошел до середины двора и только тут как будто увидел убитого. Остановился и задумался, задержав крест в воздухе. Здесь его и обхватил подкравшийся сзади Слепаков. С него сорвали рясу, связали руки. Он боролся с каким-то страшным, звериным иступлением, кусая нам руки и ноги.

Когда его связали и подняли, он выпрямился и, глядя в небо, сказал громко и истоно:

— И меня, грешного служителя твоего...

С большими предосторожностями вскарабкались мы по

крутым истертым ступеням, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Наверху посвистывал ветер, сердито ворковали голуби.

На колокольне никого не было. Большой позеленевший колокол чуть подрагивал, по его краю вились славянские буквы: «Приидите ко мне вси страждущие и обремененные...» И тяжелый язык колокола с привязанной к нему черной захватанной веревкой шевелился, словно живой.

Несколько минут мы с Костей смотрели вниз. И это очень живо напомнило мне детство — так мы смотрели когда-то с Юркой в высокое окно мельничного чердака. И так же уходила вдаль земля, прогретая солнечным зноем.

Но было теперь у меня и другое чувство. Передо мной, за Днепром, за его голубым разливом, таился враг, которого надо было гнать с родной земли, гнать до самого моря, чтобы никогда больше его нога не ступала на освобожденную революцией землю.

## 26. У БОЛЬШОЙ КАХОВКИ

Спустились сумерки. Зажглись первые звезды. И сразу все стало как бы нереальным: и красные кирпичные стены монастыря, и сверкающий на колокольне крест, и сам Днепр, залитый лунным светом. Луна поднималась над Заднепровьем, становясь с каждой минутой светлее и меньше, плотным синеватым облаком простиралась под ней тьма, зелень на том берегу казалась черной. А Днепр все больше наливался серебристым трепещущим светом, широкая лунная дорога, перекинутая с нашего берега на другой, шевелилась и, казалось, двигалась поперек реки.

Орудия на том берегу смолкли. Кашевары, зацепив убитую лошадь веревкой за ноги и привязав ее к патронной двуколке, выволокли тушу к монастырю. Задымились кухни, и скоро мы с Костей, сидя у монастырской стены, хлебали горячий, обжигающий, чуть посоленный, сваренный из конины суп — он припахивал пóтом, но все же казался удивительно вкусным.

Ночью мы легли на разостланную шинель у самой стены; стена дышала раскаленным за день кирпичом и пылью. Лагерь затихал. Горьковатый запах полыни щекотал в носу, пели в высохшей траве кузнечики. Небо стояло над нами высокое и чистое, и те же звезды, к которым я привык с детства, беззвучно и неподвижно летели над землей.

На той стороне Днепра, откуда стреляли орудия белых, было тихо — ни дыма, ни огня костра, только один раз криво взметнулась в небо и погасла в нем красная звезда ракеты.

Мы с Костей долго не спали. У него совершенно разбились

сапоги, и последние километры пути он шел босиком. Жесткая, словно выкованная из железа степная трава до крови изрезала ему ноги. Когда к нам, обходя притихший, бормочущий во сне лагерь, подошел Слепаков, Костя пожаловался:

— Как же дальше, товарищ командир?

Слепаков присел на корточки, посмотрел на израненные Костины ноги, молча покрутил головой. Встал.

— Пойдем.

Я знал, что в обозе не было ни одной пары обуви, и сквозь сон думал: куда же командир повел Костю? Оказалось, что с убитой лошади содрали шкуру, разрезали эту шкуру на куски и теперь раздавали куски бойцам, у которых обувь пришла в совершенную негодность. Из этой кожи можно было кое-как, при помощи ремешка, продетого в прорезанные дырки, сделать постолы. Костя обулся в эти модельные обутки.

На рассвете мы пошли дальше, вниз по течению Днепра, стараясь не выходить на открытые места. Шли по селам с нерусскими названиями: Мильглузендорф, Шлингендорф, по безлюдным, словно вымершим улицам, сбегавшим к Днепру. Ни один человеческий голос не окликал нас здесь, только собаки яростно лаяли и звенели цепями. Днепр с каждым часом отодвигался от нас, все более широкой зеленой полосой ложился слева от нас лиманы.

Подошли к Бериславу.

Сейчас, когда я оглядываюсь на те памятные годы, я словно сквозь желтоватый лунный дым вижу десятка два ветряных мельниц, оцепивших Берислав со стороны степи. Ветряки стояли, вытянувшись на несколько километров, будто ряд часовых, — темные неподвижные башни с вскинутыми к небу крыльями. Высокие колокольни двух церквей, взметнувшихся над крышами низеньких домов свои немые купола, казалось, командовали этим темным воинством, оберегавшим город. Тысячи обеспокоенных галок стремительными крикливыми тучами носились над колокольнями и мельницами, над скоплением людей, подвод, тачанок, орудий.

К утру войскам приказали рассредоточиться, замаскироваться в укрытиях, чтобы не привлекать к себе внимания врага. Никто не знал, что будет дальше. Предполагавшийся в ночь с шестого на седьмое штурм Днепра держался в тайне из опасения, что он может стать известным врагу. Но все чувствовали, что приближаются бои.

— Ну вот! — сказал Костя. — Теперь, пожалуй, пора написать своим.

Какое-то смутное, горячее нетерпение томило меня, я не мог найти себе места. Там, внизу, под береговыми кручами Днепра, что-то готовилось — это ощущалось по тысячам



мелочей. На быках и лошадях всю ночь туда везли бревна и доски, для чего разобрали на окраине города несколько амбаров, провезли огромные ржавые понтоны — они глухо и тревожно гроыхали на каждой выбоине дороги. Туда и оттуда безостановочно скакали верховые. Под кручу осторожно спу-  
скали орудия и патронные двуколки.

Но участвовать в боях за переправы нашему полку не пришлось. Потом мы узнали, что в эту ночь на сотнях рыбац-  
их лодок, байд, плотов и понтонов, под кинжальным огнем пулеметов и орудий противника, бойцы Латышской и 51-й ди-  
визий форсировали Днепр и закрепились на левом берегу. К утру были поставлены понтоны на месте той части моста,

южнее Берислава, которую взорвали отступающие белые, и навели новый понтонный мост у Большой Каховки.

Когда переправлялись мы, я видел только следы боев: опрокинутые и поломанные лодки, разбитые плоты, связанные колючей проволокой, затонувшие у берега, пробитые снарядами понтоны. У самого моста, у воды, лежали убитые и утонувшие бойцы, лежали рядышком, лицом вверх, освещенные ярким утренним солнцем, ноги у них были в воде. Несколько бойцов, скинув гимнастерки, подставив солнцу потные загорелые спины, торопливо копали в сотне шагов от воды могилу. Во многих местах на понтонах, по которым мы шли, темнели, как ржавчина, пятна только что засохшей крови. С верховой стороны понтонов течение прибило к ним обломки лодок, весла, казачью фуражку с сверкающим лакированным козырьком.

## 27. СНОВА ДЯДЯ СЕРЕЖА

В Каховке я и встретил своих старых друзей.

Прямо с марша нас поставили на рытье окопов, на установку заграждений из колючей проволоки — так началось создание на левом берегу Днепра того укрепленного пятачка, который позднее получил название Каховского плацдарма.

Целыми днями под палящим солнцем мы били заступами и ломами затвердевшую землю, разматывали клубки колючки. Работали с яростью, с остервенением — вот-вот из зарослей кукурузы, поднимавшихся невдалеке, могли вырваться на полном скаку и развернуться пулеметные тачанки врангелевцев, могла вылететь их конница.

В короткие минуты передышки, лежа в пыльной, изломанной зноем августовской траве, в колючих зарослях курая, я до боли в глазах всматривался в незнакомое мне места. Мирно стояли на холмах возле Любимовки ветряные мельницы с неподвижными широкими крыльями, в зелени садов, словно куски рафинада, белели хатки с соломенными, обмазанными глиной крышами. Шмыгали под ногами мыши-полевки, высоко в небе спокойными кругами кружил ястреб.

Из рассказов Слепакова мы знали, что прямо против нас стоит корпус врангелевского генерала Слащева, а севернее — кавалерийский корпус Барбовича и Туземная бригада. О жестокости этих частей нам много порассказал рывший с нами окопы одноглазый, хмурый каховский крестьянин Остап Чумак. С горечью и злобой рассказывал он о том, как с десяти лет батрачил в фальцфейновских имениях, как за копейки грузил хлеб в хорловском порту, как воровал соль на Сиваше, как тогдашняя владелица Аскании-Нова Софья Фальцфейн,

которой он однажды не угодил, ударила его стеклом по лицу, по самому глазу.

— Я той сучке свой глаз никола не забуду,— с тоской говорил он, глядя на небо.— Из-за глаза я счастье свое потерял... Кому одноглазый парубок нужен? Я ей оба глаза выкопаю, тильки бы не ускакала с бароном.

На другой день нас, едва передвигавших ноги, послали в плавни Плоского лимана — готовить колья для проволочных укреплений. Не могу описать, как я был счастлив, на минуту окунувшись в теплую, зацветшую, подернутую ряской воду.

Вечером мы снова поднялись наверх.

За Днестром в пыльное мутно-красное облако садилось солнце, вода в лиманных озерах и в самом Днестре была покрыта розовой пленкой, отражения черных деревьев пронзали Днестр до самого дна. По понтонному мосту, пригнувшись к гривам коней, скакали черные всадники, остро поблескивало не то оружие, не то сбруя.

В селе беловолосые ребятишки бегали по улицам, размахивая палками,— играли в войну. У колодца стояли женщины с ведрами на круто изогнутых коромыслах и смотрели на нас.

В тот вечер Слепаков и послал меня с донесением,— послал не потому, что выделял меня среди других, а просто потому, что я первым попался ему на глаза.

Штаб помещался в большом шатровом доме возле церкви, в тени огромных вековых акаций. Привязанные у палисадника лошади нетерпеливо били в твердую землю копытами, терлись боками одна о другую, отгоняя мошкар и комаров; мелодично, совсем как серебряные, позванивали стремена. Над крыльцом, едва различимый в полутьме, неподвижно висел красный флаг, а на распахнутой двери, освещенной падающим из дома светом, крупными буквами было написано мелом: «Ревком».

Запахавшись, я взбежал на крыльцо, переступил порог. В переднем углу за деревянным, чисто выскобленным столом сидели пять или шесть человек. Они о чем-то спорили, тыча пальцами в разостланную на столе карту, передвигая по ней маленькую керосиновую лампу! Не глядя им в лица, я шагнул к столу и сказал:

— От Слепакова.

И только после этого увидел лежавшие на карте темные, испятнанные синей татуировкой руки. Что-то толкнуло меня в самое сердце: где, когда видел я эти руки? Я вскинул глаза и столкнулся с глядевшими на меня в упор глазами Вандышева. На лице у него — удивление и радость, он встал и шагнул ко мне:

— Данька?!

— Дядя Сережа!

Пока командир читал донесение, мы вышли на крыльцо Синее, пронзенное звездами небо стояло высоко над землей, оно казалось еще выше потому, что где-то недалеко девочки высокими и удивительно чистыми голосами пели: «Будешь ты на вик кохана, смерть одна разлучит нас...»

Неожиданно и очень сильно Вандышев обнял меня.

— Данилка! Милый. Ну как там?

— Да все по-прежнему.

— Анисима не поймали?

— Кажется, нет.

— Давно оттуда?

— С месяц.

До этой встречи я не раз думал о том, как было бы хорошо, если бы судьба снова свела меня с Вандышевым, мне казалось, что я должен сказать ему что-то очень-очень важное. А оказалось: несколько ничего не значащих слов и — говорить не о чем. Потом я убедился, что в жизни часто бывает так. Мы стояли и молчали. И вдруг сбоку, из темноты, в полосу света, падавшего из двери, протянулась женская рука. Она мягко и легко прикрыла сверху темную руку Вандышева, лежавшую на перилах. И достаточно было одного этого жеста, чтобы понять, что женщина, протянувшая из темноты руку, очень любит Вандышева.

— Пойдем, поешь, — с ласковой просьбой сказал голос Со-ни Кичигиной.

Я повернулся к ней.

— Боже мой! Данька?!

Она шагнула на ступеньку низенького крылечка, ее сильные белые, пахнущие карболкой руки обхватили меня, притянули к себе, я уткнулся носом ей в грудь. Платье на груди пахло póтом и тоже карболкой.

Она прижимала меня все сильнее, я услышал, что она плачет.

— Ну, пошла-поехала, — хмуро сказал Вандышев. — Перестань.

Но Соня не слушала.

— Данечка, милый... Ребенок ведь у нас будет, Данечка...

Я оглянулся на Вандышева, он стоял молча, только глаза горели в темноте, как два черных костра. Он очень мягким, несвойственным ему жестом положил на плечо Соне руку.

— Ну хватит. Иди. Скоро приду.

Но Соня все смотрела на меня со странной пристальностью, глаза и щеки блестели от слез. Я заметил, что она похудела и на лице возле губ легли какие-то темные пятна, похожие на застарелые синяки.

— Как там старикашка мой? Живой?

— Живой.

— Опять ты о нем! — рассердился Вандышев. — Сколько раз сказано было...

— Так ведь отец он мне, Сереженька! Какой ни на есть — отец!

— Ну и жила бы с ним! — с сердцем сказал Вандышев, уходя в дом.

Толкая нас, в штаб прошли двое военных. Соня взяла меня за руку, потянула в темноту.

— Посиди со мной, Даня.

Мы сели в темноте на завалинку, и Соня ощупью нашла мою руку, взяла ее в свои.

— Трудно мне с ним, Дань... неласковый он, железный... Кроме революции и войны, у него ничего другого нет... А я... сны мне снятся темные, страшные, все покойники да убитые... Боюсь я — вредно это ему. — И она осторожным движением прижала мою ладонь к своему животу. — Боюсь: а вдруг из-за всего этого, что я столько ужасов всяких вижу, плохим родится? А? Как ты думаешь? Там, у нас, бабы всегда говорили: если женщина в положении, на цветы надо смотреть, на красивое и думать надо о красивом, о добром... А тут, господи боже мой! Вот, забыть никак не могу — еще на том фронте было: заняли мы село какое-то, не помню какое, а там наши пленные, белыми замученные, человек двадцать. Руки назад колючей проволокой закручены, и на шеях колючая проволока — тоже клещами... — Она говорила и говорила, словно не могла остановиться, словно во сне. — И двое из них еще живые были. Ну зачем, Данечка милый, зачем изуверство такое? Откуда звери такие родятся? — Помолчала, подняла мою руку к своему лицу и вытерла ею слезы. И опять опустила ее и прижала к животу. — Я ведь не за себя, Даня, — сказала она тише и глуше, — я за него, за маленького...

Было ли это так или мне показалось, но что-то как будто шевельнулось у меня под рукой. Я хотел сказать: все наладится, все будет хорошо, но в это время в светлом четырехугольнике двери появился темный силуэт, и голос Вандышева позвал:

— Данил!

Я только стиснул руку Сони и бегом поднялся на крыльцо. И через несколько минут уже мчался по улицам, прижимая ладонью карман гимнастерки, в котором лежал пакет.



Утром наш полк перевели в Любимовку, километрах в пяти или шести от Каховки по Мелитопольскому тракту.

Ночевали мы в большом доме; в переднем углу во всю высоту стен висели иконы старинного письма: многочисленные богородицы, Иисусы, бородастые святые со строгими, печальными лицами. Стены были оклеены аляповатыми многокрасочными олеографиями: спокойное, тихое море и белые паруса шхуны на горизонте, переход Суворова через Альпы и что-то еще—кажется, танец Иродиады с головой Иоанна-крестителя.

В простенке висело зеркало, дешевенькое кривое стекло с испорченной, испятнанной потеками ржавчины амальгамой. Я подошел к нему. Заходящее солнце стояло низко, в уровень с окном, в его свете я увидел опаленное зноем, коричневое, худое лицо — оно показалось мне лицом настоящего солдата.

Жарко пылали в печи сухие кукурузные стебли. Молодая женщина с грустным, покорным, когда-то, наверное, очень красивым лицом, напрягая жилистые измученные руки, ухватом передвигала на ярко освещенном шестке черные чугуны. На лавке у стола, положив на колени руки, сидел старый, столетний седой дед в длинной холщовой рубаше и в холщовых синих штанах. Его красные глаза беспрерывно слезились, он не вытирал слез.

— Вы бы легли, таточку,— несколько раз говорила женщина от печки.

Но старик не отвечал ей.

Я подсел к нему, хотел заговорить, но женщина строго покачала головой:

— Не замай его, хлопчик. Он помирать собрался...

Лежа рядом с Костей на куче соломы, посланной на полу, я украдкой смотрел на старика, на женщину, освещенную прыгающим светом печи, на большеглазого теленка, привязанного веревочкой к ножке кровати у самой двери. Беспомощный, со свисающей с мягких губ тягучей слюной, он стоял, покачиваясь на тонких ножках, и жалобно и неуверенно мычал, словно пробуя голос. Хозяйка сказала, что он родился только утром, и это показалось мне несправедливым — столько хороших людей гибнет под пулями и шашками, а вот родился теленок и будет жить.

Костя крепко спал, лицом вверх, светлые его брови, похожие на колоски пшеницы, были удивленно вскинуты, словно и он думал во сне над каким-то неразрешенным вопросом.

Мы с Костей так и не разлучались все это время, ели из одного котелка и спали, укрываясь одной шинелью — у нас она была одна на двоих. В Косте было много удивительной,

подкупающей мягкости, так не вязавшейся с суровой обстановкой тех дней, много почти детской доверчивости к людям; я очень привязался к нему.

В ту ночь, помнится, я видел во сне Ксению и тетю Васю — как будто они жили в том доме, где мы ночевали. Тетя Вася возилась у печки, передвигая чугуны, и негромким, чуть надтреснутым голосом пела: «Уихав козак на чужбину далеко...», а Ксения, как теленок, была привязана к ножке кровати тонкой самодельной веревочкой. Проснувшись среди ночи, не открывая глаз, я вспомнил сон и обругал себя за то, что так и не написал ни слова этим добрым людям, которые когда-то помогли мне.

На рассвете мы с Костей, голые до пояса, плескались у колодца, рядом с деревянной почерневшей колодой, из которой поили скот. Студеная колодезная вода обжигала тело, мы визжали и прыгали, как мальчишки, шурясь на солнце, лениво смотревшее в разрывы между легкими облаками.

И опять весь день рыли окопы, забивали в землю колья и опутывали их колючей проволокой — возводился второй пояс укреплений, охватывающий не только обе Каховки, Большую и Малую, а и Любимовку, и Софиевку, и ряд хуторов.

В степи, за окопами, было спокойно, лишь раза два на дальнем, полускрытом пыльной завесой бугре появлялись всадники. И вечером было тихо. Солнце садилось в багровое месиво облаков, и, несмотря на войну, ветрянка на горизонте деловито помахивала крыльями — молола хлеб нового урожая.

Вечером Слепаков рассказал нам, что Врангель спешно укрепляет Крым, что там, на укреплении Турецкого вала, работают крупнейшие военные специалисты, такие, как английские адмиралы Сеймур, Перси и Мак-Малей, французские генералы Кейз, Манжен и Фок.

В те дни французское правительство спешно отправляло в Крым крупные военно-морские силы. В Крыму находилась американская военная миссия во главе с адмиралом Мак-Келли, через американский Красный Крест туда непрерывным потоком шли военные материалы, оружие и боеприпасы; один за другим — и в Севастополь, и в Феодосию, и в Евпаторию — приходили транспорты и корабли.

Измученные дневной работой бойцы сидели вокруг Слепакова тесным кольцом. За Днепром узкой красной речушкой текла по земле вечерняя заря.

— Так что видите, ребята, — сказал в заключение Слепаков, — бьемся мы не только против Врангеля. Одного его мы бы давно утопили в Черном море. Нет. Бьемся мы со всей гидрой международной буржуазии. А значит, биться нам, не жалея сил, пока стучит в нашей груди пролетарское сердце.

Помню, тогда я испытывал какое-то незнакомое мне раньше счастье, мне было так хорошо среди товарищей, у всех у нас было так много общего и в прошлом и в будущем.

А ночь оказалась тревожной. На севере, километрах в десяти от нас, разливалось, растекалось по небу зарево, на его фоне отчетливо вырезался черный придорожный крест, стоявший на перекрестке дорог перед нашим окопом. Несколько раз взлетали в небо ракеты. А с запада надвигалась гроза — там глухо перекатывался гром и с сухой яростью били в землю желтые молнии.

## 29. СОНЯ

Утром пятнадцатого августа мы получили приказ о наступлении. Как сейчас помню этот душный, раскаленный день, блекло-синее, потемневшее от зноя небо, потрескавшуюся землю. Желто-бурые заросли кукурузы поднимались по сторонам дороги высокой стеной. Пыль, пыль, пыль. Слепило солнце, тучами вились над лошадьми оводы, нестерпимо хотелось пить.

Когда отошли от Любимовки километра два, разведка натолкнулась на притаившиеся в кукурузе пулеметные тачанки белых. И сразу после первого выстрела из невидимой с дороги долинки с гиканьем и свистом вырвалась конница. Отступать нам было нельзя — все равно конники порубили бы нас, — а залечь для обороны тоже оказалось невозможно. Кругом стояла высокая, выше человеческого роста, кукуруза, лежа в которой нельзя было ничего увидеть впереди. И только поэтому, а вовсе не потому, что мы были безумно храбрыми, мы стоя в упор расстреливали мчавшихся на нас черных конников, окруженных блеском вскинутых над головами сабель.

Никогда не забуду ощущений того боя. Было страшно так, что сердце останавливалось в груди, но еще страшнее казалось повернуться и побежать, подставить спину. Я стрелял почти не целясь: так у меня дрожали руки. Черный силуэт с вертикально поднятой шашкой, похожей на падающую молнию, мчался на меня, я уже видел широко открытый, кричащий рот, белые влажные зубы, светлое пятно кокарды на синей фуражке. И вдруг в двух шагах от меня всадник вскинулся в седле и опрокинулся назад, и шашка упала из его руки острием вниз. Лошадь повернулась и ускакала, унося убитого, передо мной осталась только воткнувшаяся в землю шашка, покачивавшаяся в кукурузе, поблескивая серебряным эфесом. Белые отступили. После боя я подобрал шашку и подумал, что на ее синеватой, чистой, как зеркало, стали могла бы запечься моя кровь. Как странно!

Еще одна маленькая, незначительная деталь запомнилась мне. До сих пор не могу забыть, как с жестяным, легким и все-таки отчетливо слышимым шелестом падали скошенные пулями стебли кукурузы. Из всех звуков боя для меня этот шелест был самым громким и самым страшным, не могу объяснить почему.

Мы пошли дальше.

Горел подожженный отступающими врангелевцами хутор, удушливый дым полз с гумна, горели скирды необмолоченного хлеба. Жарко, со стремительной и веселой яростью огонь пожирал соломенные крыши сараев, окружавших дом. Двери в доме были распахнуты, ни во дворе, ни в доме никого не было видно. По доброй ли воле хозяева покинули свое жилье или врангелевцы насильно угнали их с собой? Кто знает! Единственным живым существом во дворе хутора была собака, небольшой лохматый песик, обыкновенная дворняга, прикованная цепью к конуре. Совсем рядом, в нескольких шагах от конуры, словно огромный костер, горел амбар, на собаку сыпались искры, шерсть на спине у нее уже дымилась. Натягивая цепь, собака прыгала в стороны, вставала на дыбы, падала, крутилась по земле, снова вставала на дыбы и выла.

Этот вой и заставил меня остановиться, когда мы пробежали мимо. Нет, это не был собачий вой, какой я иногда слышал по ночам, это был почти человеческий крик о помощи.

Дом и двор горели так жарко, что помочь собаке было, казалось, невозможно. Я всегда любил собак — за их ум, за их звериную верность, за их преданность человеку. Я не мог пройти мимо этого умоляющего о спасении пса. Но, подбежав к дому, я сейчас же отпрянул — нестерпимая жара почти физически оттолкнула меня. Что оставалось делать? Убить. Я встал на колено против распахнутых ворот, прицелился и выстрелил. Но собака так прыгала и крутилась, что я промахнулся. Я прицелился снова. Но вдруг кто-то с силой оттолкнул меня и пробежал в ворота.

Это был Костя. Оказалось, он вылил на себя у колодца бадью воды — я понял это, когда он вбежал во двор и от него сразу пошел пар. Непривычно сутулясь, он изо всей силы ударил прикладом в стену конуры, где было ввинчено кольцо цепи. И удивительно, песик вдруг перестал метаться и прыгать, он обессиленно лег на землю и, высунув язык, с которого стекали клочки пены, молча, если так можно сказать про собаку, смотрел на Костю. Спасаясь от жары, Костя встал на колени, пригнулся и продолжал бить прикладом. Третьим или четвертым ударом ему удалось проломить доску. Тогда он схватил цепь и с силой рванул — из горящей конуры вылетела доска. Еще через мгновение человек и собака выскочили из огня.

Отбежав от дома, Костя остановился с широко открытым ртом, вдруг зашатался и как подкошенный упал. Я бросился к нему, оттащил подальше от дома и своей промасленной кепочкой, доставшейся мне от кого-то по наследству, потушил у него на спине и на плечах тлевшую гимнастерку. А пес, позванивая цепью, ползал около него и благодарно повизгивал, в глазах у него блестели слезы. Пусть тот, кто не поверит мне, посмеется над этими собачьими слезами, но, даю честное слово, пес плакал.

Этого неказистого, белого, в желтых подпалинах песика, спасенного Костей из огня, в полку прозвали Антанткой, и он «воевал» с нами до самой своей смерти. Он ходил и бегал за Костей словно привязанный, словно прикованный к нему той самой цепью, которую мы бросили в степи неподалеку от горящего хутора. Стоило кому-нибудь даже в шутку напасть на Костю, как Антантка со вставшей дыбом шерстью, с оскаленными зубами самозабвенно набрасывалась на обидчика и, не обращая внимания на пинки и побои, мертвой хваткой вцеплялась в ноги, в полы бушлата или шинели — во все, что могли ухватить зубы.

В тот день в нескольких километрах от сгоревшего хутора мы снова столкнулись с врангелевцами, и там я был первый раз ранен. Рана была пушечная, пуля пробила мякоть левой руки выше локтя, но Костя не сумел перевязать ее как следует, и потому я потерял много крови. Вечером, когда, отступив перед налетевшей на нас лавой конницы Барбовича, мы вернулись на Каховский плацдарм, мне пришлось пойти на перевязочный пункт. Костя пошел меня провожать.

Темнело. Кое-где в окнах горели робкие огоньки. В одном из дворов в легких воротцах стояла пожилая женщина и смотрела на нас. В руке она держала белое оцинкованное ведро, дымившееся парным молоком.

— Ранили, сынок? — спросила она.

— Ранили, мамаша, — кивнул Костя.

— Молочка, может, испьете? — спросила женщина.

Мы остановились. Светлокосая девушка в белой кофточке, слышавшая наш разговор, сбегала в хату, принесла глиняную кружку. Женщина зачерпнула молока и, пока я пил, не сводила с меня взгляда.

— Мать-то у тебя живая? — спросила она.

— Живая.

— Она у него с ума сошла, — добавил Костя, и мы пошли дальше, слушая, как причитает сзади сердобольная женщина.

И вдруг на меня волной нахлынули воспоминания: отец, мама, Подсолнышка, вся моя прошлая жизнь с ее маленькими радостями и большими печальями. И как будто все боли, ко-

торые я когда-либо пережил, собрались вдруг в одну боль — мне стало так тяжело, что я заплакал. Мне было стыдно, что Костя видит мои слезы, и я злился на него, хотя и сам понимал, что это глупо.

У санпункта стояла санитарная двуколка, с нее снимали мертвого человека. Кто-то из стоявших возле вполголоса рассказывал, что это командир полка Грудман, — разорвавшимся поблизости снарядом ему оторвало ногу, и он истек кровью. Вышел врач, молча пощупал пульс и показал куда-то в сторону рукой. Грудмана унесли.

Перевязывала меня Соня. Я совсем забыл, что могу встретить ее на санпункте, забыл, что она где-то здесь, и, когда увидел ее, удивился и обрадовался. А она с испугом бросилась ко мне:

— Даня!

— А, пустяки.

Я постарался улыбнуться, но улыбка, наверно, вышла у меня кривой.

Торопливо разрезав рукав гимнастерки и рубашки, Соня осмотрела черную и еще кровоточившую рану.

— Хороши пустяки! — проворчала она. — Так и гангрену нажить можно.

Пока она перевязывала меня, суматоха в санпункте утихла, легкораненые были перевязаны и ушли, тяжелых отправили в Каховку. Немолодой доктор с седенькой бородкой уселся за стол и что-то писал. Соня вышла меня проводить.

Мы постояли у крыльца. На земле у наших ног лежали желтые квадраты оконного света. Притихшая, осунувшаяся, усталая, Соня молча стояла рядом со мной и словно слушала что-то далекое, такое, чего не мог слышать я.

— Ты, Даня, какие сны видишь? — неожиданно спросила она.

Я ответил не сразу. Мои сны были немислимой смесью кошмаров и ясных, спокойных и солнечных картин детства, в них наивно переплеталось и самое дорогое для меня и самое страшное, что пришлось пережить.

— А я, наверно, Даня, умру скоро, — тихо продолжала Соня, не дожидаясь ответа. Мне показалось, что, произнося эти слова, она улыбалась. — Сон я такой видела...

Костя сидел недалеко от нас на бревне. Антантка вышла из темноты и, потершись о мои ноги, внимательно и недоверчиво посмотрела на Соню и опять ушла.

— Глупости ты говоришь, — сказал я.

— Может, и глупости... А снилось знаешь что? Будто я учусь в гимназии, там, у нас на родине. И вот сижу я будто в классе одна-одинешенька. И наш учитель по геометрии Ну-

тес... Это мы его так прозвали, он за каждым словом приговаривал: «Нуте-с, нуте-с...» Так вот, стоит Нутес у доски, а доски-то, оказывается, и нет. А стоит такое позолоченное, как в церкви, паникадило, и на нем штук сто свечей. Тоненькие, восковые. И все горят. И будто стою я перед этим паникадилом и Нутес так строго и с укором говорит мне: «Как же это вы, Кичигина, ни одной свечи не можете вертикально поставить? А? Я же ведь вам сто раз объяснял, что есть перпендикуляр...» И вдруг оказывается, что это вовсе не Нутес, а Сережа... И будто он начинает одну за другой задувать свечи. Задует и на меня посмотрит, задует и посмотрит.— Соня замолчала, вздохнула.— Как думаешь, к чему это?

— Не знаю.

— Вот и я тоже не знаю.

Мы поговорили еще о каких-то пустяках и расстались.

### 30. ПЛЕН

В суматохе почти непрерывных боев, наступлений и отступлений я не заметил, как ступила на землю осень. И однажды совсем неожиданно, когда наш полк отвели на два дня в резерв, в Любимовку, чтобы принять пришедшее из Сибири пополнение и чтобы дать нам отдохнуть и отоспаться, я увидел косо летящие на землю пожелтевшие тополиные листья. Слово очнувшись после долгого сна, я с недоумением смотрел кругом — на уходящие к горизонту холмы и белые хатки в медной осенней листве, на темные ветряки на холмах, лениво машущие широкими решетчатыми крыльями.

А потом наш полк снова ушел из Любимовки по дорогам, ведущим на восток.

Небо в тот день хмурилось с самого утра, мелкий знобящий дождик то принимался сорить, то затихал. Среди полуубранных полей, в зарослях пожелтевшей, потоптанной кукурузы одиноко и тоскливо мерцали озера дождевой воды. Порывистый ветер, налетавший с запада, рвал с деревьев медные листья, катил по степи темные шары перекасти-поля. В нескольких километрах за Черной долиной мы натолкнулись на офицерские дроздовские части. Завязался бой. И как получилось, что в этом бою нас отрезали от своих, не помню, не знаю. Помню только, что я бежал рядом с Костей по необруненным полям, перепрыгивая через овраги и ручьи, изредка обочиваясь и стреляя.

Когда дроздовцы отстали, я упал на мокрую землю лицом вниз и долго лежал так. Шелестели на ветру подсолнечные будылья, шуршал дождь.

Мне было страшно и горько. Вот, думалось, мечтал о подвигах, о героической борьбе с врагами революции, думал, что сумею прямо посмотреть смерти в глаза, а дошло дело до настоящей опасности — и, как самый подлый трус, позабыв обо всем, бежал, спасая шкуру. Какое счастье, что еще не бросил винтовку.

Отдышавшись, я встал, осмотрелся. Там, где мы были совсем недавно, занималось зарево, горела ветрянка. Вообще горящие ветряные мельницы сопровождали нас в течение всего того осеннего похода. Темные клочья дыма низко стлались над безрадостными, придавленными дождем полями.

Потом мы собрались вместе, тринадцать человек, — остальных, наверно, убили. В числе тринадцати были Костя и Ван.

Весь день мы пробирались на запад: где-то там, за поднимающимися из балок туманами, лежал родной нам Каховский плацдарм. Брели, а иногда ползли прямо полями: по дорогам то и дело проносились конники в черных шинелях — мы были в расположении врага. Где-то на юге глухо стонала канонада.

Уже ночью мы натолкнулись на старый, покосившийся сарай, рядом темнел колодезный сруб. Окованная железными обручами бадья, стучаясь о деревянные стенки сруба, опускалась в колодец страшно долго — казалось, она никогда не достигнет воды. Но вот наконец наполнилась — стало легче. Но в это время невдалеке блеснул свет, послышался стариковский кашель и шорох шагов. Кто-то шел к колодцу, освещивая под ноги фонарем, из стороны в сторону качалось пламя керосиновой лампы без стекла. Видна была огромная жилистая рука, державшая фонарь. Шагах в двух от колодца человек с фонарем остановился.

— Кто? — спросил глухой стариковский голос.

— Свои, дидусь.

— Кто свои?

Мы молчали.

Старик тоже долго молчал. Наконец сказал:

— Христом-богом прошу, хлопцы... внуки у меня... Ежели застанут вас здесь — и их порубают... Уходите за ради бога... В Матвеевке они...

— Кто?

— Кичигинцы. От батьки Махна отряд.

Мы пошли. Но отошли от хутора недалеко — может быть, сто, может быть, двести метров, до гумна, где стояли ометы прошлогодней соломы. И здесь решили передохнуть: измучены были до невозможности.

Ван остался сторожить. Мы с Костей выкопали в омете пещеру, в ней было тепло и сухо. Легли, прижавшись друг к другу, в ногах примостилась Антантка.



— Вот попали,— сказал Костя, когда немного согрелись.— Как думаешь, проберемся к своим?

Но мне не хотелось говорить — до того тоскливо и тяжело было на душе. Я скоро уснул.

И странно, по какому-то закону контрастов снились чистые и радостные сны. Снились Подсолнышка, снилась мама, будто пекла пироги с капустой и с мясом и что-то веселое рассказывала Подсолнышке.

Когда загремели выстрелы, мы выскочили из омета, но было уже поздно. Захлебываясь, строчил пулемет. Ван Ди-сян кричал диким, предсмертным криком, кто-то матерно ругался знакомым голосом. Стекла окон на хуторе от вспышек выстрелов оживали, блестили тревожно и зло.

Эта стычка кончилась тем, что пятеро были зарублены, а оставшихся в живых махновцы согнали во двор хутора.

Уже рассветало, и день обещал быть неожиданно ясным,— восток был чист и прозрачен. Мы стояли посреди двора, окруженные махновцами, а человек двадцать из них еще продолжали ковырять шашками в ометах соломы, один бородатый, белозубый дядька в казачьих, с красными лампасами штанах с матерными прибаутками швырял гранаты в распахнутый люк погреба. За углом хутора стояли расписные тачанки и небольшим табуном топтались подседланные кони.

Нас осталось восемь человек — Костя, я и еще шестеро, имен которых не помню.

Мы стояли, ожидая смерти, и я со странной отчетливостью видел, как по лезвию шашки ближайшего ко мне казака текли капли крови. Перепуганные хозяева хутора жались у крыльца — седой старик, маленькая чернявая бабушка и двое детишек, мальчишки лет шести и восьми, в длинных рубашонках из домотканого полотна.

Пинками и тычками нас заставили встать в ряд, и тогда к нам от тачанок подошел главарь этого отряда. Опереточно разряженный, в красных плисовых шароварах, в венгерке с серебряными шнурами на груди, с белым черепом, нашитым на правый рукав, к нам шел — я едва удержался от крика — Анисим Кичигин, похудевший, почерневший, с беспокойным и жадным огнем в глубине красных выпуклых глаз.

У крыльца в голос заплакал меньший мальчуган. Анисим, пошатнувшись, повернулся и пошел к крыльцу. Встал против старика; даже на расстоянии мне было видно, как подрагивает у него спина.

— Жид? — спросил Анисим.

— Ни. Який я жид? Сами бачите...

— Православный?

— Верую...



— «Ве-рую!» — передразнил Анисим. — А знаешь ли ты, собачья кровь, мой приказ, что ни один православный не должен давать приюта жидам и коммунистам?

— Та вон самы...

— Самы-ы! А ты где был? — Широко размахнувшись, Анисим хлестнул плеткой наискось по лицу старика, и на бескровном лице того вспыхнула огненная полоса.

Старик не крикнул, а только как-то жалобно, как котенок, пискнул и стал медленно оседать к земле.

Анисим вернулся к нам, прошел вдоль строя, хмуро вглядываясь в лица. Все внутри у меня сжалось: узнает, не узнает? На несколько секунд его взгляд задержался на моем лице, но он равнодушно отвел глаза — видимо, я был совсем не похож на того мальчонку, который когда-то покупал в магазине Кичигина соль и хлеб.

— Почем продаете, гады, родную землю? — спросил Анисим, и лицо у него скривилось.

Никто не ответил.

— Молчите? А ну, кто жидаы и коммунисты — выходи вперед.

Строй стоял неподвижно.

— Если добровольно, — продолжал Анисим, — остальных оставлю жить. — Он взмахнул рукой, и на двух пальцах у не-

го, на среднем и безымянном, ярко блеснули массивные золотые кольца.

Что-то дрогнуло у меня в сердце, словно какая-то сила подняла меня, до того захотелось мне сделать этот последний в жизни шаг — шагнуть и сказать в лицо этой сволочи, что я — коммунист, хотя коммунистом тогда я еще не был. Но я не сделал этого шага, ноги в коленях дрожали так, что я мог упасть.

Строй стоял неподвижно. Тогда Анисим ткнул плеткой в грудь Косте.

— А ну, выйди.

Костя, побелев, вышел из строя.

— Ты, сосунок, кажется, самый молодой из этой шайки, — продолжал Анисим. — Неужели тебе жить неохота? А?

У Кости дрогнули и шевельнулись губы, но что он сказал, я не расслышал.

— Ну, показывай, показывай, — почти ласково понукал его Кичигин. — Кто? Покажешь кто — возьму с собой денщиком. Все что хочешь будет. А?

Костя молчал. Мне было видно, как дрожали у него спина и руки.

— Молчишь? — с угрозой спросил Кичигин. — Ну, как хочешь, дурак! Значит, с тебя и начнем!

Он махнул плеткой, и на Костю навалилось несколько человек. Но в это время Антантка, высоко подпрыгнув, с яростным визгом вцепилась в руку одному из тех, кто схватил Костю. Это было так неожиданно, что все растерялись. Кто-то ударил Антантку, кто-то пытался ее оторвать, но она с яростью кидалась то на одного, то на другого.

И только тут я увидел, что Анисим пьян. Он стоял и смотрел на собачонку с бессмысленной улыбкой, как будто ему доставляла радость ярость этого песика, как будто он видел или вспоминал что-то далекое, почти забытое, но дорогое ему. И когда один из его отряда, схватив Антантку, оттащил ее в сторону и, держа за горло, вытащил шашку, Анисим сердито крикнул:

— Петренок! А ну, отпусти!

И отошел, чуть покачиваясь, и сел на край колоды, из которой поили скот. Оттуда долго смотрел то на нас, то на Антантку, которая снова прижалась к ногам Кости.

— Гады вы все! — сказал наконец Анисим и встал. — Гады! — Мне казалось, что он вот-вот заплачет. — Скажите вашей собачонке спасибо: устал я вас вешать... Пусть вас сам батька казнит.

И через несколько минут нас, погоняя ударами плетей, погнали по пустынной дороге, где наполненные дождевой водой колеи блестели, как убегающие вдаль рельсы.

Тупое отчаяние овладело мною. Я шагал позади Кости, с трудом переставляя ноги, не обращая внимания на лужи и колдобины, не чувствуя ударов, которыми нас изредка награждали конвоиры. Правда, они вскоре отстали от нас и занялись Антанткой, которая, повесив хвост, уныло плелась сзади. Казаки, нахлестывая коней, по очереди гонялись за собачонкой, стараясь зарубить ее шашками, несколько раз стреляли, но она ускользала и от шашек и от пуль, словно была заговорена. Отбежав в сторону, посидев там, она опять, поскуливая, бежала за нами.

А день действительно оказался хорошим, солнце поднималось над краем степи по-летнему горячее и яркое. Белели в стороне хаты деревень, и кое-где над крышами вился из труб соломенный дым — люди готовили себе еду. И, может быть, в избах мычали новорожденные телята и плакали дети. А мы шли мимо, и, наверное, у всех у нас была одна мысль: неужели это последний день жизни? Неужели завтра солнце взойдет без нас?

Конвоиров было двое, остальные бандиты вместе с Анисимом ускакали дальше. Конвоиры ехали позади, покуривая и посмеиваясь, ругая какого-то чертова Федькѣ, который вчера разбил бутылъ самогона.

Я шел и вспоминал жизнь, вспоминал свои мечты и надежды. Было до слез обидно, что именно сейчас, накануне полной победы революции, кончается — и кончается так бесславно — моя маленькая жизнь и что никто из тех, кто мне дорог, никогда ничего о моей смерти не узнает.

Иногда я украдкой посматривал по сторонам: нельзя ли бежать? Но поля расстилались кругом далеко открытые глазу, спрятаться нигде было нельзя — всякий побежавший был бы через пять минут мертв.

Часа через два мы пришли в село. По улицам скакали верховые, ходили солдаты. К палисадам у некоторых домов были привязаны оседланные кони, в окнах зеленели цветы с красными бутонами — не то бегонии, не то герани. Из-за цветов на нас выглядывали испуганные женские лица.

На площади возле кирпичной церквушки с узкими стрельчатыми окнами табором стояли тачанки. Два казака, смеясь и ругаясь, вели на веревке пеструю корову, она, чуя недоброе, упиралась, клоня к земле круторогую голову. Один из казаков колот ее шашкой в зад. Железная узорчатая дверь в церковь была распахнута, оттуда несло похоронное пение.

Нас подогнали к большому амбару, рядом с ветряной мельницей. В амбар вела низенькая, похожая на тюремную дверь,

на ней висел большой, как пудовая гиря, замок. У амбара, на старом мельничном жернове, сидел казак с серым равнодушным лицом и лузгал семечки, все вокруг было заплевано шелухой. Чуть в стороне лежали два трупа — один в обтрепанной, изгрызенной по подолу шинелишке, а другой просто в нательной серой, когда-то, наверное, белой рубахе, оба босые. Невдалеке сидела худая черная собака и глядела на нас голодными глазами.

Сторож отпер замок, и нас загнали в амбар. Здесь было темно, пахло прелым, лежалым зерном, паутиной и мышиным пометом. Мы падали, спотыкаясь на высоком пороге и толкая друг друга.

Дверь закрыли, стало совсем темно, только внизу, у самого порога, на избитом деревянном полу расплывалось небольшое пятно света. Он падал из кошачьего лаза, вырезанного в низу двери.

Я сел на пол, прижался спиной к бревенчатой стене. Ощупал стены и пол вокруг — рядом стояла широкая деревянная лопата и метла.

Тяжелое дыхание раздавалось в разных углах амбара, и, привыкнув к темноте, я разглядел несколько смутных фигур вдоль стен. Оказалось, что в амбаре до нас уже сидели люди.

— Откудова, ребята? — спросил кто-то шепелявым, старческим голосом из темноты.

Никому не хотелось говорить, и поэтому ответили не сразу:

— Из Каховки.

— Красноармейцы, что ли?

— Да.

— Ну, значит, горькая будет ваша судьба. Теперь они все озверели, лютуют — страсть... вешают и вашего и нашего брата по всем селам — по площадям. Для острастки, значит.

Это и мы знали.

— А вы, дедушка, откуда? — спросил Костя после нескольких минут тягостного молчания.

— Не больно я дедушка, — ответил, чуть помедлив, шепелявый голос. — Зубья вот вчера повышибли, и стал дедушка, — и, помолчав, добавил: — Здешние мы.

— Кто теперь здесь?

— Да сразу-то и не поймешь кто. Целую неделю какого-то батьки банда стоит. А теперь еще генерала Барбовича конники налетели.

Помолчали.

— А за что вам... зубы-то? — спросил я.

— Да ведь как сказать... — Шепелявый помолчал, и слышно было, как он облизнул губы. — У меня, видишь ты... нога. —

Он постучал в темноте чем-то по полу, и я понял, что стучит он деревянной ногой.— За царя-батюшку оставил я ее, ногу-то, под самым, почитай, Пинском. Ну, с тех пор вроде отвоевался, подался в инвалиды. Так и жил... Конечно, будь я при ноге, и я бы их, живоготов, под корень резал. А теперь...

Снаружи донесся монотонный, медленный звон похоронного колокола — видимо, тот, кого отпевали, отправился из церкви к последнему пристанищу.

— Кого хоронят? — спросил кто-то из наших.

— А вот его и хоронят, за которого нас с женой завтра на площади вешать станут.

Шепелявый опять вздохнул:

— Дело-то, видишь, какое... Жена моя, Ксюша, пригласилась одному ихнему полковнику, фамилии этой сволочи не знаю. Ну, увидел он ее, конечно, у колодца — и, значит, сразу к нам на постой. Как ты его непустишь? Вот и стоит, значит. И вот усылает он меня: дескать, сходи-ка, мужик, в штаб, записку снеси. Ну, понес я. А он в это время — к ней. Вертаюсь я из поручения — быстренько так обернулся, — а он ее в сенцах ломает. Увидел меня, отпустил и говорит: «Ты што, хромая собака, под ногами путаешься? На мазарки тебе охота?» А я ему: «У меня, говорю, нога хромая, а у тебя, сволочь золотопогонная, душа хромая на все четыре копыта». Ну, он за пистолет и ко мне. А Ксюшка к печке кинулась, чугунок там у нее со щами кипел. Ну, она ему чугунок этот сзади на голову и надела. Завизжал он, чисто свинья. А тут я его под самый дых кулаком — кулак-то у меня трудный, кузнец я. Ну, и поплыл он к господу богу. А тут, как на грех, адъютант к нему...— Рассказчик вздохнул и сплюнул в темноте.— Ксюшку жалко, в тяжестях она, первеньким. У нас, видишь ли, детишек семь годов не было... И вот, понесла...

Опять помолчали, вслушиваясь в тягучий похоронный звон.

— Она здесь? — спросил я, пристальнее всматриваясь в полутьму.

— Нету. Ее в другой анбар заперли. Завтра, слышь, на площади встренетесь. Эх, выбратся бы!

Кузнец встал и, постукивая по полу деревяшкой, пошел вдоль стен, ощупывая бревна. Потом со вздохом вернулся и сел рядом со мной.

— Тяжко,— сказал он глухо.— В грудях все прямо вот как болит. Ты бы парень, рассказал чего... а?

А что я мог ему рассказать? Я сидел, забившись в угол, и с замиранием сердца прислушивался к тому, что происходит на улице. Мне казалось просто невозможным, что меня сегодня

или завтра убьют. Откуда-то должно было прийти избавление.

Ночь мы с Костей провели без сна, лежа на полу, почти не разговаривая, подавленные тоской. В углу кто-то громким шепотом молился, без конца повторяя: «Пресвятая мати». Где-то неподалеку повизгивала Антантка.

Но никого из тех, кто сидел в амбаре, не убили. На исходе ночи на северной окраине села послышалась винтовочная и пулеметная стрельба, стремительный топот множества копыт. «Ура! Даешь!» Это пробивались на юг наши конные части. Белые в панике метнулись в стороны, не успев расправиться с нами. Правда, они все же подожгли амбар, и, если бы не могучие руки кузнеца, мы, вероятно, сгорели бы живьем. Просунув обе руки в кошачий лаз в нижней части двери, кузнец одним рывком выломал часть крайней доски, остальное не составило для него труда.

Выпрыгнув из амбара, припадая на деревянную ногу, он побежал в сторону, сложив рупором у рта ладони:

— Ксюша! Ксюша-а!

Мне показалось, что издали ему ответил стонущий женский крик.

Около двадцати беляков было взято в то утро в плен, и на рассвете, когда их вели по селу, я с ненавистью всматривался в их искаженные страхом лица. К сожалению, Анисима среди них не было.

### 32. РАНЫ... РАНЫ...

Ночь была холодная, темная. С запада тяжелыми ледяными волнами накатывался ветер, нес по земле снежную пыль. словно мокрые, рваные тряпки, мотались над землей низкие лохматые тучи.

И в ту ночь мы с Костей были рядом. Мы все еще были живы, хотя многие из тех, кто вместе с нами ехал в теплушке, уже погибли — немало осталось на полях Украины наспех закопанных могил. При каждом отступлении на Каховский плацдарм в наш полк вливалось пополнение: туляки, ярославцы, питерцы, москвичи. Но часто мы не успевали даже познакомиться: очередное наступление кидало в бой и оказывалось, что товарищ погиб и даже тело его пришлось оставить врагу.

В ту ночь мы сидели четверо на дне окопа, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и вдруг из степи сквозь вой ветра пробился железный, нарастающий шум, как будто ползло огромное металлическое чудовище, скрежеща по земле кованым телом.

Вскочив, схватившись за оружие, мы ждали.

Голос Слепакова донесся откуда-то из темноты:

— Гранаты готовы! Танки!

Шум нарастал, земля гудела и дрожала, дрожь передавалась рукам и всему телу, глаза, напрягаясь до слез, всматривались в дымящуюся снегом тьму.

В глубине обороны, за нашими спинами, тяжело ухнуло орудие. С воем и визгом пролетели снаряды. На фоне взрыва я увидел черный силуэт идущего на наши окопы танка. Из его темной туши, как змеинные жала, высовывались острые языки огня.

Кто-то крикнул:

— Господи! Зараз подавит усих!

Слепаков пробежал по краю окопа, прыгнул в него, и сквозь грохот выстрелов я услышал обрывки его брани.

Снаряд, ударивший в бруствер, заставил меня присесть, прижаться к промерзлой стене окопа. И когда через секунду я снова поднялся, танки, освещенные вспыхнувшим в полукилометре от нас прожектором, уже рвали колючую проволоку, уминая ее в землю, топча, волоча за собой.

Наша артиллерия открыла беглый огонь, между танками вздымались черные, опрокинутые конуса взрывов, вырванные из тьмы мгновенными вспышками пламени. Один танк, подбитый прямым попаданием, вздыбился и тяжело осел, зарылся железным носом в развороченную землю, другой провалился в яму, покрытую камышом,— она служила нам баней. Подоженный снарядом, загорелся за второй линией окопов сарай.

Костю ранили после того, как мы отступили за вторую линию. Снаряд упал рядом с ним, и сначала Антантка неестественно высоко подпрыгнула, перевернулась в воздухе и с глухим стуком упала, потом упал Костя.

Я бросился к нему, перевернул лицом вверх. Он был без сознания, из рукава на мои пальцы текла кровь.

— Костя! Костя!

Он не отзывался. Кровь текла и текла. Я попробовал поднять его и нести, но он был очень тяжел. Я снял шинель, бросил на землю и втащил на нее Костю. Взявшись за полу, я поволок шинель по обледенелой земле.

Шум боя стихал — видимо, атака захлебнулась. Сарай догорал. С каждой минутой становилось темнее, тени наползали из степи на освещенное прыгающим светом пространство.

Я уже выбился из сил, когда у самой околицы навстречу мне попались бегущие с окровавленными носилками санитары. И хотя Соня была одета в куций белый полушубочек, которого я на ней никогда раньше не видел, и в заячью папаху, я ее сразу узнал.

— Соня!



Она остановилась, потом, разглядев меня, подбежала. Задыхаясь, крикнула:

— Он? Сережа?

— Нет.

— Господи, а я думала...

Она встала на колени возле Кости, ощупала его быстрыми, осторожными движениями. Я стоял, вытирая пот. Соня приподнялась, махнула рукой санитарам:

— Идите! Я останусь!

И тени санитаров, бежавших с ней, растаяли в темноте.

— Живой? — спросил я.

— Угу. Да помоги ты! Что стоишь, как мертвый!

Соня расстегнула рубашку Кости, рвала зубами бинты.

— Ну вот, кое-как. — Облегченно вздохнула, встала. — Надо скорей. Понесем. — Она приподняла обвисающее тело, перехватила покрепче. Я взял Костю с другой стороны, и мы пошли.

И как раз в этот момент в холодной темноте за нами снова послышались танки. И снова начала бить артиллерия. Со стороны хутора Терны низко, бреющим полетом пронесся вражеский аэроплан.

Устав, мы остановились.

— Что делать? — крикнула Соня. — Ах, дура какая, носилки услала. Умрет, — и снова, наклонившись над раненым, приподняла его.

Загорелся хутор Терны. Багровое пламя заплясало над ним, в небо полетели искры и огненные галки. Мы тащили Костю, останавливаясь и оглядываясь. Ноги его волочились по земле. А дребезг танков все нарастал, догоняя нас.

И через несколько секунд, оглянувшись, я увидел танк. Он шел прямо на нас, а немного в стороне, по дороге к днепровским переправам, мчались второй и третий.

Мы опустили Костю на землю и стояли как вкопанные. А танк шел, брызжа во все стороны огнем, ныряя в долинки и снова выныривая, и двумя веерами разлеталась у него изпод гусениц земля.

Танк шел на нас, перестав стрелять.

И это было так страшно, что до сих пор я иногда вижу это во сне, и у меня останавливается сердце.

— Беги! — крикнул я Соне и побежал сам.

Она кинулась в другую сторону, и, оглянувшись, я увидел, что танк повернул за ней. Она остановилась.

— Дура! Беги! — кричал я, хотя и понимал, что она не могла меня слышать.

Когда танк был уже в нескольких метрах от нее, она вдруг закричала, — закричала так, что я услышал этот острый, прон-



зительный крик сквозь шум боя. Я видел, как она схватилась обеими руками за живот и опустилась на колени.

Танк все шел, в свете разгорающегося пожара на его борту бежали белые слова: «За Русь святую». Я закрыл глаза. Я не мог видеть, как раздавят Соню. Но в этот момент удар потряс землю, что-то взвизгнуло, заскрежетало. И когда я открыл глаза, танк, как раненый зверь, крутился на одной гусенице. К нему бежали наши.

Я подбежал к Соне.

— Дань,— сказала она шепотом,— Сережу найди.

— Раненая?

Я бросился искать санитаров, чтобы перенести Костю и Соню в лазарет,— я надеялся, что им обоим можно спасти жизнь.

В день, когда умерла Соня, на церковной площади в Большой Каховке приехавшие из Москвы шефы знакомились с нашей дивизией. Дул все тот же режущий, пронизывающий ветер, гул и ломал обнаженные ветви деревьев в церковном саду, сек лица и руки ледяной крупой. Я стоял в строю и слушал речи о революции, о нашем долге перед нею, о международной буржуазии, а перед моими глазами, заслоняя все, застыли лица Кости и Сони.

На параде пронесли перед строем привезенное москвичами знамя, по красному бархату летели серебряные буквы: «Уничтожить Врангеля!» Прошли два английских танка «Рикардо», захваченные в последнем бою. Надписи «За Русь святую» на обоих танках были замазаны, и поверх свежего зеленого пятна краски белели слова: «Это есть наш последний...» и «Москвич-пролетарий».

После митинга я вместе с Вандышевым зашел в госпиталь, навестить Костю и Соноу. Они лежали в том самом доме, где мы ночевали два месяца назад, где собирался умирать седобородый старик и где впервые вставал на подгибающиеся ножки только что родившийся теленок.

На полу в избе была постлана солома, и на ней вповалку лежали раненые. Седобородый старик, который, оказывается, так и не умер, сидел за столом в кухоньке и, облизывая после каждого глотка ложку, хлебал из солдатского котелка чечевичный суп.

Костя был без сознания. Он меня не узнал. Я посиделazole, всматриваясь в искаженное болью лицо.

В нагрудном кармане лежавшей у его ног гимнастерки я нащупал письмо, достал его и, прочитав, взял с собой. Там было написано:

«Мама и Елочка. Я живой, и ничего плохого со мной не случилось. Скоро мы прогоним всех врагов, и тогда я вернусь домой, и мы будем жить вместе, как раньше, и у нас все будет: и хлеб, и сахар, и новое платье у Елки. Только ты, Елка, слушайся маму. Приеду, подарю тебе красноармейскую звезду...»

Письмо не было окончено. Я спрятал его, чтобы потом отослать в Анжеро-Судженск, и мы с Вандышевым перешли в маленькую комнату за деревянной щелястой перегородкой, где отдельно от мужчин лежала Соня.

Широкая деревянная кровать, на которой, вероятно, до этого и рождались и умирали многие. Иконка в углу, на ней — божья мать смотрит вниз, на Соноу, огромными печальными глазами. Подушка в цветной наволочке, и по ней — пронизанные светом золотые Сонины косы.

Когда мы вошли, Соня чуть привсталала. По щекам и губам у нее перекашивающей лицо тенью прошла боль. Она обрадовалась.

— Сереженька?..— и покосилась в мою сторону залитым кровью глазом.— Пусть он уйдет.

Вандышев посмотрел на меня, и я вышел, сел на крыльцо. На площади после митинга еще гомонили люди, играл оркестр. Мне было тяжело и обидно. Костя не узнал меня. Соня сказала, чтобы я ушел. Она, вероятно, даже не подозревала, что все те дни я носил в сердце отсвет ее милой улыбки, что по ночам она снилась мне, что я слышал ее голос за каждым углом.

Не знаю, сколько я просидел. Но вот вышел Вандышев, грузно сел рядом и, рассыпая табак себе на колени, сказал:

— Иди. Зовет.

Я вошел, подошел к кровати. Соня прикоснулась к моей руке пальцами, они были горячими, обжигали. Она долго молчала, глядя на меня из какой-то далекой дали, и я тоже молчал, не мог говорить. Наконец Соня спросила:

— Поедешь туда?

— Куда?

— Ну, туда! К нам, на родину!

— Не знаю.

— Поезжай. Только отцу ничего не говори. Пусть думает, что живая.

Я стоял возле кровати и смотрел на милое осунувшееся лицо, мягко освещенное падавшим из окна светом октябрьского солнца, на латунные колечки кос. Хозяйка дома, молча вытирая слезы, вошла и встала в дверях.

— Ничего не надо, тетя Гарпина,— сказала Соня. И когда хозяйка ушла, снова обратилась ко мне: — Сядь, Дня.

Я послушно сел рядом с кроватью на табурет.

— Я ведь что думала... Вот кончится война, будем мы с Сережей жить, и будет у нас мальчишечка маленький или девочка. А вот — не будет...— Она помолчала.— Вот лежу и думаю, думаю: как же это так? Вот сколько мыслей в голове, и сердце болит, прямо слов нет. И вдруг ничего этого не будет? А? Ни боли, ни мыслей.— Каким-то судорожным рывком она приподнялась на кровати и посмотрела на меня в упор большими, странно посветлевшими глазами.— Как же это так: не будет? А куда же все это — вот то, которое во мне? Ведь не может пропасть, словно кто подул и загасил... Ведь не может? А? Как ты думаешь? Наверно же есть что-то, ну пусть не бог, а как хочешь назови... Помнишь, я про сон говорила?

Она помолчала, и вдруг крупные светлые слезы, словно стеклянные бусины, покатались по алебастровым щекам, губы изогнулись и задрожали.

— Жить хочется! Боже мой, как хочется жить, Даня! И... страшно. Только глаза закрою, как опять на меня этот танк несется, и убежать не могу — ноги от земли никак не оторву. А он все ближе...

Она опять замолчала, утомленная, и закрыла глаза, и я молчал, не зная, что говорить, как утешить. И вдруг в этой тишине где-то неподалеку отчетливо и громко западали на пол капли — побежала с подоконника вода. Соня, прислушавшись, открыла глаза и сказала со слабой улыбкой:

— Слышишь? Вот так — капля за каплей — уходит моя жизнь...

Мне хотелось заплакать, но я засмеялся как мог веселее и сказал:

— Ну и трусиха ты! Да с чего ты взяла? Разве такие молодые да сильные умирают?

Она посмотрела очень пристально, стараясь понять, говорю ли я то, что думаю, или просто хочу ее утешить. Но лицо у нее чуть порозовело, тоска в глазах растаяла.

— Ты и вправду так думаешь? — спросила она шепотом. — Может, и правда все это я глупости напридумывала?! Не может же быть, чтобы я так вот и померла! Да? И войне конец скоро... И солнышко светит.

— Ну конечно!

— Ведь я вон какая здоровая! Да?

— Я же говорю...

— И чего это я вдруг? Смешная, правда? Это, наверно, со страха, что ли. Другие вон как тяжело раненные и то выздоравливают!

В это время в комнату вошел Вандышев.

— Нам пора, Данил, — сказал он. — Опять вроде за хуторами накапливают силы. Видно, опять начнется сейчас... Только два слова скажу.

Я попрощался с Соней и ушел и больше живую ее не видел.

Хоронили мы ее с Вандышевым через день, перед выходом в наступление. Хоронили отдельно от мужчин, убитых в последнем бою, — так хотел Вандышев.

День был морозный, бодрый, холодно и ярко светило солнце. Замерзшая земля звенела под заступами, как железная. Гроб из старых, темных досок привезли на кладбище на санитарной двуколке, и, кроме нас, проводить Соню пришли ее подруги, две медсестры, и скуластый молчаливый хирург.

И опять шли бои. Опять тысячами голосов шумели митинги в освобожденных селах, опять избирались ревкомы и над соломёнными крышами взвивались красные флаги. К началу ноября войска Врангеля уже оставили Агайман, Чаплинку, Рождественку, Отраду, откатываясь через Перекоп и Чонгар в Крым.

В Агаймане я узнал, что Костю отправили в стационарный госпиталь в Бериславе,— положение его оставалось тяжелым, в сознание так и не приходил.

Как раз в это время Слепаков взял меня к себе ординарцем взамен убитого Миши Колоскова, и поэтому во время решающих боев за Перекоп я видел многое, чего не увидел бы, оставаясь просто в строю. Несколько раз, но всегда мельком, я видел Ворошилова и Буденного, один раз даже довелось исполнить поручение Фрунзе, передать командиру Латышской дивизии срочный пакет. Правда, события тех дней пролетели мимо меня очень стремительно, хочется сказать — со скоростью падающей звезды, теперь я не могу вспомнить всего. Вероятно, сказалось и только что пережитое: разлука с Костей и Сонины похороны — они все еще стояли передо мной, и на душе было темно и холодно, как в подвале. Я все еще не мог привыкнуть, что ни Кости, ни Сони нет. Заснув, я еще по привычке шупал рукой — рядом ли Костя, и в каждой мелькнувшей мимо девушке мне мерещилось что-то Сонино — ее улыбка, ее голос, блеск позолоченных колечек ее кос.

Сейчас, когда я вспоминаю те дни, закрыв глаза, я вижу все это сразу: и сотни трупов на колючей проволоке перед Турецким валом, и темные пятна чаклаков на покрытом ледяной коркой пустыре Сиваша, и пугающие туннели голубого прожекторного света, проложенные в ночной тьме с Литовского полуострова, и черные, разваливающиеся столбы грязи, поднятые над Сивашем снарядами, когда начался обстрел штурмовой колонны, слышу хруст льда под ногами, и выстрелы, и хриплую матерную брань, и чьи-то стоны, и хлопающий звук лопающихся постромок у орудий, застрявших в соленой сивашской грязи.

И на этом фоне, вспоминая, я снова вижу людей, освещенных мертвенным прожекторным светом или всплесками багрового пламени орудийных залпов, кое-как одетых и кое-как обутых, на пронзительном ноябрьском ветру срывающих с себя шинели и гимнастерки, чтобы подстелить под колеса утопающих в грязи орудий, рвущих голыми руками колючую проволоку и падающих на нее, чтобы по их телам могли пройти идущие следом.

И потом — бои под Юшунем и у Карповой Балки, и разбитые дороги, и по сторонам трупы людей и лошадей, перевернутые тачанки и брошенные орудия, задравшие к небу тупые немые рыла. И встречи в селах, где прямо на площадях стояли покрытые расшитыми скатертями столы и дымилась в глиняных мисках приготовленная для нас еда, чьи-то объятия и поцелуи, и слезы радости и восторга, и слова из самого сердца, и толпы пленных с испуганными, тоскливыми глазами.

И, наконец, ослепительный солнечный день, белые, пыльные, карабкающиеся по кручам домики Севастополя, узенькие, мощенные крупным булыжником улицы, наполненные людьми, и за крутыми обрывами берега — ослепительная синева моря, открывшего мне впервые свою вечную, бессмертную красоту.

Море в тот день было пустынно. По нему несколько дней назад под охраной крейсеров Антанты на ста двадцати шести судах убежали за море те, кому Советская власть была ненавистна. Около ста тысяч человек, не считая судовых команд, покинуло в те дни землю родины — большинство с тем, чтобы никогда больше на нее не вернуться.

У Севастополя, когда мы подходили, нас встретили толпы народа и представители подпольного ревкома. Хлеб и соль на расшитых рушниках, красные флаги, поздние осенние цветы, огромные, махровые, каких я никогда не видел раньше, и митинг на Нахимовской набережной, у подножия чугунного адмирала. И первая ночь после многих бездомных, холодных ночей, — ночь в теплой, чистой постели в одном из номеров Северной гостиницы, где остановился тогда Слепаков.

Я часто думаю, что жизнь, как она складывается, почти всегда не похожа на наши представления о ней, на наши предположения. Помню, я ходил по залитым осенним солнцем улицам Севастополя. Ходил и мечтал о том, как через несколько дней вернусь в Берислав, найду Костю, и, когда он выздоровеет, будем жить вместе, то ли на моей родине, то ли на его, помогая друг другу. И моя мама снова будет здорова, и Ксения Морозова тоже, и все, кто болен и голоден, будут здоровы и сыты.

Я ходил напоенный радостью и ожиданием чего-то хорошего и необходимого, а на улицах и на рынке открывались магазины, и фунт мелких крымских яблочек стоил на врангелевские деньги — на базаре они еще были в ходу — десять тысяч, а на советские — двести пятьдесят рублей. Мне очень хотелось купить яблок, но ни советских, ни врангелевских денег у меня не было. А люди входили в магазины и выходили из них со свертками. Веселый, подвыпивший морячок нес в каждой руке по бутылке со сверкающим серебряным горлышком.

Меня наполняли чувства, светлые и радостные, как день, как небо над головой, как море с его перламутровой, нежной, переливающейся голубизной, с его безграничным, распирающим грудь простором, и вера в завтрашний день, и сожаление о тех, кто до этого дня не дожил.

Я любил сидеть на берегу моря, у Графской пристани, на скользких, покрытых зеленым малахитовым налетом камнях, и слушать, как шумит море. В этом тысячелетнем гуле мне чудилось что-то, чего я никогда не слышал раньше, оно успокаивало и усыпляло и в то же время настойчиво звало куда-то, не понять было куда. Ясно было одно: последний враг изгнан из нашей земли, Ленин поздравил нашу армию с победой. Начинается новая жизнь.

### 35. КОНЕЦ ВОЙНЫ

И следующий день был солнечный и радостный, нежно и задумчиво шуршали опавшие листья, пахло морем, вином и рыбой, глухо и незлобиво шумел прибой, расстилал под Приморским бульваром белые, подсиненные отсветом неба кружева пены. Они набегали на песок и сейчас же таяли, исчезали и снова набегали — без конца. Мальчишки в коротких штанишках рыбачили, стоя на блестящих, отполированных водой камнях, дымили у причалов суда нашей флотилии, вошедшие ночью в бухту.

Я долго сидел на берегу: торопиться некуда. Война кончилась, шла демобилизация, в одном из пакгаузов на Корабельной стороне в гряде других винтовок лежала и моя — дай бог, думал я, чтобы она больше никогда никому не понадобилась.

Море шумело, покрытое белыми гребешками, дул свежий осенний ветер. Покачивались, очерчивая в небе круги, матчы каботажных и военных судов, стоявших в бухте. Четверо матросов в бушлатах и бескозырках на гребной шлюпке с баграми в руках вылавливали неподалеку от берега трупы. Я уже слышал много рассказов о том, как шла белогвардейская эвакуация, как люди стреляли и швыряли гранаты друг в друга, как топили женщин и детей, лишь бы попасть на палубу уходящего, уже стоявшего под парами парохода.

Выловив очередного утопленника, матросы подгребали к берегу и в нескольких шагах от меня выволакивали труп на берег — там, на чистом янтарном песке, ногами к воде, уже лежало несколько тел. Ближе ко мне — чернявый человек в офицерском мундире, в одном сапоге — другой, вероятно, успел снять перед тем, как пойти ко дну; лежал он не шевелясь — война и для него была окончена.



Я долго стоял, глядя на лежавшее с краю тело. Что-то было знакомо мне в этом мертвом человеке, в давно небритом, расплывшемся усатом лице. И хотя мне хотелось как можно скорее отойти, я присел на корточки.

Один из матросов со шлюпки зычно закричал мне:

— Эй! Греби отсюда, пока цел! За кольцами ловчишь-ся? — и погрозил мне багром.

— За какими кольцами?

Недоумевая, я встал и хотел уйти, но, уже сделав шаг в сторону, увидел руку утопленника, и, собственно, не руку, а два кольца на ее пальцах. Толстые золотые кольца. Где, когда я видел это?

И тут словно чей-то громкий голос крикнул мне: «Анисим!»

Да, это был он. Несомненно. С далекой, потухающей или уже потухшей ненавистью я всматривался в него.

Потом пошел прочь. Мне очень хотелось сейчас же найти Вандышева и рассказать ему — как никто другой, он был бы рад, что Анисим не ушел от возмездия.

Но ни в порту, ни в комендатуре дяди Сергея не было, и никто не мог сказать мне, когда он придет.

И я снова пошел бродить по туманным веселым улицам. У вокзала мне встретилась большая группа пленных; они шли, окруженные конвоем, и было так странно слышать, что они смеются. И только отойдя, я подумал, что они, наверно, просто-напросто рады, что попали в плен, что останутся живы — ведь Советская власть не расстреливает пленных. И опять на сердце стало легко и светло. Потом какой-то старый рыбак за-тащил меня к себе в маленький, слепленный из нетесаных камней дом за низким каменным забором, и мы что-то вкусное и очень наперченное ели и пили молодое вино, и целовались, и плакали...

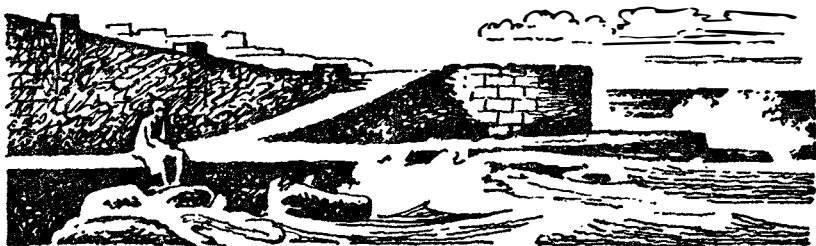
Вот этими встречами в Севастополе и закончилась для меня гражданская война, и началась новая полоса моей жизни, совсем другая, с новыми радостями и печальми, с другими людьми, в ином краю...



Книга  
третья

# ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ





## 1. У МОРЯ

В ту далекую осень в Севастополе стояли ясные дни, пронизанные холодеющим солнечным золотом, удивительно тихие после только что отгремевших боев, непривычные и как бы остановившиеся с большого разбега. Да, некуда спешить, можно целыми днями бродить в белокаменных улочках и переулках, карабкаться по истертым гранитным и песчаниковым ступеням, сидеть и слушать, как шумит море.

Мне, попавшему к морю впервые, оно представлялось бескрайним, голубым чудом, я не уставал всматриваться в его слепящую даль, следить за прибором, то лижущим, то грызущим все, до чего он мог дотянуться, — и каменные уступы берега, и ржавую, изорванную осколками снарядов бортовую обшивку смертельно израненных барж и буксиров, и зеленое от мха подножие памятника затопленным во время Крымской войны кораблям. И как, наверное, у всех, у меня море рождало беспокойную, требующую деяния мысль о комариной мгновенности человеческой жизни, о том, как ничтожно мало дано нам делать и жить. Это ощущение усиливалось доносившимся с Корабельной стороны скорбным дыханием траурного марша: там каждый день хоронили умерших от ран красноармейцев и командиров, сражавшихся на Перекопе и Сиваше, под Ишунью и Симферополем.

В день, когда начинается эта повесть, я долго сидел на берегу моря у Графской пристани, думая: что же дальше? Гражданская война на юге России окончилась: 16 ноября

1920 года наши взяли Керчь — последний город, который удерживали в Крыму белые.

...Сейчас, когда с расстояния полувековой давности я оглядываюсь на то время, я не могу не вспомнить и залитых кровью родных полей, по которым мне, в ряду миллионов, пришлось пройти в Великой Отечественной войне, не могу не вспомнить бесчисленных братских могил — на тысячи человек!

Но тогда, у моря, мне казалось, что мы победили навеки, что война для нас окончена навсегда, хотя в те ноябрьские дни семеновские бандиты и японские самураи еще сжигали в паровозных топках таких, как Сергей Лазо, и распинали на воротах ревкомов и сельсоветов коммунистов Волочаевска и Хабаровска, Читы и Владивостока.

Тянуло ли меня тогда на родину, в места, где пробежало босиком мое нищее, голодное детство, где, недалеко от Симбирска, в Карамзинской колонии душевнобольных, томилась мать? Если бы я знал, что мне разрешат с ней увидеться, позволят взять ее из больницы и заботиться о ней, я бы, конечно, не раздумывая ни минуты, поехал, пошел бы пешком. Но еще до отправки на фронт я знал, что мама больна безнадежно, она уже никого не узнавала, только без конца нянчила соломенную подушку, которую звала Подсолнышкой, кутала ее в свои тряпки и «кормила» жалкой больничной похлебкой.

Я решил посоветоваться с Вандышевым, поговорить. Мне было совершенно безразлично тогда, где жить, а море так властно и так обещающе звало к себе. Сотни и тысячи матросов были убиты в последних боях, и хотя многие корабли, полузатонувшие и покалеченные, стояли на приколе, люди на них были нужны. Там могло найтись место и мне.

Вот тогда-то, по пути в порт, я и столкнулся на Нахимовской улице с девчонкой, которая потом надолго вошла в мою жизнь.

Она кралась по улице, держась вплотную к стенам и заборам, оглядываясь с тревогой и страхом. Худенькая, голенастая, босая, синенькое платье плотно облепляло на ветру ее острые колени. Светлые, чуть схваченные ржавчинкой волосы нечесаными прядями падали на худую шею, на сожженные солнцем плечи; из выреза платья торчали ключицы.

Девочка подошла к желтому одноэтажному дому, где в больших квадратных окнах красовались стеклянные, наполненные синей и розовой жидкостью шары, — такие шары раньше иногда заменяли для аптек вывески. Правда, на этот раз была и вывеска, обновленная, видимо, недавно, при белых: «Аптекарские товары и напитки. С. А. Бугазианос».

Не видя меня, девочка поднялась на крыльцо и, встав на цыпочки, позвонила.

Дверь долго не открывали.

Я подошел ближе, и девочка оглянулась. Смуглые щеки ее блеснули от слез.

Я не сразу понял, что ее испугало. Она рванулась от двери, хотела бежать, но остановилась; прижала к губам худые пальцы, и этот ее жест поразил меня: точно так же несколько лет назад делала в испуге Оля Беженка, первая моя мальчишеская любовь, так и не ставшая любовью.

Когда я подошел вплотную, дверь аптеки открылась, в щель, через щепочку, выглянуло испуганное лицо.

— Мне нужно бинты, — быстро сказала девочка.

Аптекарь несколько мгновений смотрел на нее, словно не понимая. Потом закричал визгливо и жалобно:

— Ха! Бинты! И йод? Ну конечно, я так и думал! — Он с трудом высунул в щель руку и показал в мою сторону. — Вон у него! Весь мой честный труд грабили, дом мой, гроб мой! А какие деньги принесла? Керенки? Советки? Будьте вы прокляты! У него, вот у него бинты! — и с силой, со стеклянным дребезгом захлопнулась дверь.

Вобрав голову в плечи, девочка побежала по улице. Я догнал ее и пошел рядом. С немим страхом и мольбой она оглядывалась на мою рваную шинель, на буденновский шлем. Поворачивала из улицы в улицу, поднимаясь все выше, и на каждом повороте оглядывалась на меня. А я не знал, что меня вело за ней. Вероятнее всего, ненависть, которая сквозила в каждом ее жесте, в каждом взгляде. Я не мог этой ненависти ни понять, ни простить.

— погоди! — пытался я остановить девчонку.

Но только тогда, когда она вконец обессилела, она остановилась и, прильнув к стене, как загнанный звереныш, исподлобья посмотрела на меня, беспомощно опустив руки. Испачканные йодом пальцы с судорожной торопливостью перебирали оборки платья.

— У вас правда есть бинты? — спросила она, задыхаясь от бега. — Совсем нечем перевязывать. Я все рубашки и платье изорвала...

Я молча разглядывал ее.

— У вас отец есть? — спросила она еще.

В моей памяти мелькнула далекая жестяная звезда над братской могилой. Я сказал:

— Его убили.

— Кто?

— Белые.

Девочка отшатнулась, словно я ее ударил.

- И вы... ненавидите?
- Кого?
- Ну... белых.
- А кто этих сволочей любит!

Перепугавшись, она сорвалась с места и побежала, пошатываясь. Я снова догнал ее, схватил за руку. Она дрожала, как в лихорадке.

— Вы ему ничего не сделаете? — спросила она шепотом. — И, может быть, правда у вас есть бинты?

— Иди! — прикрикнул я.

Мы пришли на окраину города. В кривом, круто карабкающемся по каменным уступам переулке прямо с улицы, по скрипучей деревянной лестнице, поднялись во второй этаж. Почти весь этаж опоясывала терраса; толстые узловатые стебли винограда образовали над ней шатер, сквозь который теперь, когда облетела листва, просвечивал холодный хрусталь осеннего неба.

Я глянул вниз. Пыльный, каменный, белый, как все города юга, Севастополь лежал по обеим сторонам бухты. Вдоль берегов причудливо змеились улицы в булыжной чешуе мостовых. За серыми башнями, стерегущими вход в бухту, ослепительно и неподвижно раскинулось блестящее, как ртуть, море; над ним дрожала серовато-жемчужная, просвеченная солнцем мгла. А глубоко внизу, у причалов, темнели уцелевшие в боях суда. Чуть слышно, как ночной шепот, доносился сюда прибой.

По дороге девочка сказала мне, что зовут ее Олей, и я снова почувствовал волнение, как будто из далекого, трудного и все-таки милого прошлого хлынула на меня волна еще не остывшего чувства. Мне показалось знаменательным, что зовут эту девочку так же, как звали ту, погибшую и почти родную мне.

Фамилия этой новой Оли была Жестякова. Она родилась и выросла в Севастополе, в том самом доме, куда мы пришли. Дом принадлежал ломовому извозчику Хабибуле Усманову. Отец Оли, капитан Жестяков, снимал у Хабибулы верхний этаж с тех пор, как родилась Оля и умерла — вскоре после рождения Оли — ее мать. Нередко отец брал Олю с собой в плавание, если «Жемчужина» шла куда-нибудь недалеко, в Балаклаву или в Ялту, — к морю девочка привыкла с пеленок... Она рассказывала об этом рваными, неуклюжими фразами, с той торопливой услужливостью, с какой говорят, если хотят задобрить и подкупить.

Мы вошли. Тяжелый запах гноя и тлена. Но больного я увидел не сразу: его кровать стояла за синей занавеской в балконной нише, выходившей окнами к морю. Войдя, еще не

закрыв за собой дверь, я ощутил дразнящий аромат той властной романтики, которая ведома мальчишкам всех времен. Пересеченные кривыми пунктирами, голубели на стенах морские карты, на столе и этажерке громоздились груды книг и необычных безделушек, тускло блеснул медью старый судовой компас. Всеми цветами перламутра играли раковины, похожие на осколки радуги, в углу темнела старинная, в серебре, икона, а под ней Будда из пожелтевшей кости, зажмурившись, молитвенно складывал ладони. Кривой турецкий ятаган дразнил янтарной рукоятью, а японский веер, распахнутый над детской кроватью, где, вероятно, спала Оля, как будто колыхался. Кусок мира, чужого мне!

И только несколькими мгновениями позже я разглядел другие подробности: белый эмалированный таз, испачканный кровью, рядом — куча окровавленных бинтов, бурые кровавые пятна на занавеске. На столе посреди комнаты блеснула пустая консервная жестянка с этикеткой на непонятном мне языке, рядом с ней лежал складной матросский нож.

Пока я стоял и рассматривал это необычное жилье, занавеска, прикрывавшая нишу, зашевелилась; жилистая, поросшая черными волосами рука откинула ткань в сторону. Глухой и больной голос спросил:

— Ну что там, Ольга?

Жестяков с усилием повернул голову, и я увидел его воспаленное лицо. На нем очень глубоко горели глаза, показавшиеся мне сначала бессмысленными, на запавших щеках торчала давно не бритая грязно-седая щетина. Капитан долго и неподвижно всматривался в меня с таким выражением, словно я был не человек, а привидение. И вдруг его лицо свернула на сторону мучительная гримаса. Гнев, страх, нетерпение, ненависть — все было в ней.

— Зачем ты привела этого мерзавца? — хрипло спросил он, приподнимаясь на локте и шаря под подушкой.

Я невольно попятился, схватился за скобу двери: уж очень было бы глупо умереть так. Но Оля заслонила меня.

— Папочка, успокойся. У него — бинты. Он, наверно, поможет. — Она осторожно взяла из вдруг ослабевшей руки отца маленький черный пистолет, положила на стол и тихо сказала мне: — Не бойтесь... там нет пуль...

— А-а-а! — Скрипнув зубами, капитан откинулся на подушку, рука его выпустила занавеску, по которой летали синие птицы и плыли под тугими парусами синие корабли.

Оля постояла перед занавеской, ожидая. И ткань снова отлетела в сторону.

— К черту! — закричал Жестяков, глядя на меня воспаленными, дрожащими от ненависти глазами. — К черту! Доби-

вать пришел, палачья твоя душа? Мало вам, что всю Россию в крови потопили? Да?

— Красная Армия не добывает раненых,— сказал я.

Я понял, что передо мной один из тех, кому не удалось при эвакуации бежать из города. Мне захотелось повернуться и уйти: дьявол с ними, с этими недобитками, пусть подымают, как знают, пусть хотя бы такой ценой заплатят за несчастья, которые принесли народу. Я вспомнил колодец в Строгановке, набитый телами связанных пленных, обугленные трупы в имении Фальцфейнов, полторы тысячи гробов, которые пронесли наши бойцы по улицам Харькова после отступления белых. Это хоронили только замученных в контрразведке.

До боли стиснув челюсти, я повернулся и пошел к двери. Но у самого порога меня догнала Оля. С силой отчаяния вцепилась в мое плечо и, оглядываясь на снова неподвижную занавеску, заговорила сбивчивым, горячечным шепотом:

— Не уходите... Вы добрый... Я боюсь одна... У него ноги... Вы посмотрите... Я прошу, посмотрите...

Почему я не ушел тогда — не знаю. Стараясь унять внезапную дрожь рук, я снова вернулся за Олей к постели белогвардейца. Он в упор смотрел на меня синеватыми, налитыми предсмертной тоской глазами.

Оля осторожно приподняла испачканную кровью простыню, прикрывавшую ноги Жестякова. Там я увидел кучу тряпок, даже не бинтов, а лоскутьев — обрывки платья, полотенца, полосы, вырванные из скатерти.

— Ну, что уставился?! — истерически закричал Жестяков, весь дрожа. — Гангрены никогда не видел, дурак?! — И неожиданно заплакал, до крови закусив губу, заплакал злыми слезами бессильной ненависти. Если бы он был в состоянии дотянуться, он, наверное, попытался бы укусить, ударить, задушить меня. Но сил у него уже не было...

## 2. СМЕРТЬ КАПИТАНА ЖЕСТЯКОВА

Немного позже из рассказов Оли и из нескольких сохранившихся документов я узнал некоторые подробности о жизни Жестякова. Всю гражданскую войну он воевал против нас. «Жемчужина», небольшая каботажная посудина, которой он командовал, в последнее время принимала участие в высадке десанта генералов Улагая и Черепова. Осенью 1920 года Врангель бросил этот десант в Приморско-Ахтырскую и Новороссийск, надеясь через Кубань и Дон прорваться в тылы Красной Армии. В одной из последних высадок лафетом



скользнувшего по палубе орудия Жестякову раздробило ноги. Врача на «Жемчужине» не было, а посадить себя на вражеский берег Жестяков команде не разрешил.

Обычно, когда отец уходил в плавание, Оля, наследуя тысячелетний опыт жен и дочерей моряков, терпеливо ждала его. Из окон и с террасы был хорошо виден вход в бухту, и, вооружившись биноклем, девочка с утра до вечера рассматривала входившие в бухту суда, хотя и без бинокля за несколько километров узнавала «Жемчужину», которая была для нее вторым домом.

И вот, уже после штурма Перекопа, когда Оля увидела входившую в бухту «Жемчужину», она, как всегда, опрометью бросилась вниз, к причалам, встречать отца. Но, вместо того чтобы подойти к причальной стенке, «Жемчужина» остановилась посреди бухты: на пассажирских и на грузовых причалах бесновались орды обезумевших людей, жаждущих покинуть берега России. Деятельное, ревностное участие в эвакуации Крыма принимал американский Красный Крест. Миноноски Антанты без отдыха курсировали между Крымом и Константинополем, не успевая вывозить бегущих. В Севастополе десятки тысяч людей металась по набережным, ожидая спасительной, как им казалось, эвакуации. Для ускорения эвакуации американцы развернули на острове Поти промежуточный лагерь. Там был и госпиталь для раненых офицеров. Туда должен был бы попасть и Жестяков... Сейчас с тех дней прошло почти полвека, а здравый смысл до сих пор не устает возмущаться: что было тогда нужно американцам на нашей земле? Много позже, уже не помню где, я читал, что во время посадки врангелевцев на согнанные в Севастополь суда к Врангелю подошел глава американской военной миссии генерал МакКелли и, пожимая Черному барону руку, с чувством сказал: «Я всегда был поклонником вашего дела и более чем когда бы то ни было являюсь им сегодня». Эвакуация проходила так стремительно, что семейства многих «деятелей», занимавших высокие посты при «правителе юга России» Врангеле, остались в Крыму, в том числе в Феодосии осталась семья начальника французской военной миссии полковника Бертрана. Сам Врангель удрал из Крыма на крейсере «Адмирал Корнилов».

...Оля сбежала вниз. Огромная, воющая, безумная, стреляющая толпа уже осаждала трап «Жемчужины»: военный катер, под угрозой расстрела, заставил команду подвести судно к причалу. Уже было известно, что в то утро части Красной Армии прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и теперь неудержимой лавиной катились на юг — бои шли уже возле Ишуни.

Еще до того как «Жемчужина» причалила, двое друзей Жестякова — кочегар и механик — свезли капитана в шлюпке на берег. И, когда Оля сбежала к причалу, отец полулежал на набережной, прислонившись спиной к чугунному кнехту, и с бессильным презрением смотрел на тех, рядом с кем сражался все эти годы. Отталкивая женщин и детей, размахивая оружием, бросались на abordаж «Жемчужины» офицеры Мамонтова и Улагая, Черепанова и Краснова, напуганные возможностью и неизбежностью расплаты...

Я сидел у постели Жестякова, он упорно смотрел в стену, и я видел, что ему стыдно и своих слез, и своего бессилия. Наконец нервные, с синими татуированными якорями руки перестали беспокойно шарить по простыне и успокоились на груди.

— Ольга, — он вздохнул, облизал губы, — спустись к Хабибуле, попроси на цигарку.

Не ответив, Оля ушла. Стукнула дверь, сухо заскрипели ступени. Жестяков продолжал смотреть в стену. Потом вздохнул еще раз и с болезненной улыбкой покосился на меня.

— Такой добрый татарин, из ваших, наверно, — сказал он, показав глазами в пол. — Привез меня с пристани, втащил сюда и радуется: «Ай-яй-яй, Николай Ваньч, плохая твоя дела, кончай, вышла твоя жизнь. Подари, говорит, сапоги новые, мертвому они тебе зачем?» — Опершись на локоть, Жестяков попытался приподняться, но ему, вероятно, было больно, он закурил губу и побледнел, прикрыв глаза. Но сейчас же открыл их и, преодолевая слабость и боль, продолжал: — Конеч мне, парень. Конеч. Ты своим там скажи... девчонка-то ведь не виновата... И вот что... Написал я письмо брату в Москву. Пойдут поезда, посади ее. Я заплачу, у меня часы золотые... Посади, а? Он не даст ей погибнуть... Конечно, и ему не очень-то сладкая будет жизнь, наверно, в Сибирь загоните! Ну, делать нечего... Вот оно, письмо. И часы держи.

Он достал из-под подушки записку, протянул мне. Я положил часы на стол и прочитал:

«Брат Алешка! Погибаю глупо, бессмысленно, но упрекнуть себя ни в чем не могу. Жил, как верил, подлостей не совершал, за чужим не гнался. Остается Ольга, несмышлениш мой милый, единственная ценность, которую оставляю после себя на земле. Будь ей вместо меня. Николай.

Р. S. Помоги Крабу, если он доберется до тебя».

Я сидел рядом с кроватью и, глядя на дергающееся лицо Жестякова, чувствовал, что мне не жалко его, нет, — пусть сдыхает! — мне было жалко девчонку. Я вспомнил, что мне пришлось пережить, когда хоронили отца: чувство необычайного сиротства и одиночества, не утихающая ни ночью, ни днем боль в груди, — как будто в самое сердце вбит гвоздь. То же



предстояло пережить и ей, даже, пожалуй, тяжелее: ведь как-никак я чувствовал себя парнем, почти мужчиной, и рядом со мной были тогда и мама и Подсолнышка.

За дверью заскрипели ступеньки, в дверь пахнуло ветром и морем.

— Хабибула опять про сапоги спрашивал,— сказала Оля.

Разжав загорелый кулачок, высыпала на кусок газеты щепоть крупно покрошенного табаку-самосаду.

Пока Жестяков трясущимися руками сворачивал папиросу, я взял со стола обрывки газеты — это был издававшийся при Врангеле листок «Голос России». Я разобрал несколько строк:

«Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю... Да благословит нас бог... Слушайте, русские люди, за что мы боремся... За освобождение русского народа от ига коммунизма... за то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси... Помогите мне, русские люди, спасти родину... генерал Врангель...»

— Иди скажи: пусть приносит ведро картошки и забирает сапоги, живоглот вшивый! Сапоги мне теперь, дочунь, долго не понадобятся, а картошка в парадном мундире — это вещь! Правда?

— Ты все шутишь, папа.

— А что же? Плакать? До этого еще не дошло! Да не забудь: конское ведро! Конское, широкое такое!.. Тебе на неделю хватит.

Оля ушла снова. Обжигая губы, Жестяков докурил сигарку.

— Ну вот, полегчало немного... — Он пристально и недолго посмотрел на меня, словно вспоминая, как я очутился в его доме, что мне надо. И, вспомнив, усмехнулся с прежней ненавистью: — Ну что же, парень... Иди доноси... Скажи, капитан «Жемчужины». Они знают... Да, слушай! Что вы сделали с этой Фанни Ройд? А? Четвертовали? Сожгли на костре? Кишки по стенам развесили? А?

Глаза Жестякова блеснули почти безумно.

— Какая Фанни Ройд? — спросил я, вставая.

— Ну вот, в Ленина вашего стреляла. Ну, Каплан! Не смогла, идиотка! Нашли кого посылать! А! И пули как следует отравить не сумели! Идиоты! Надо было посылать, чтобы без промаха. Вон как Урицкого в Питере хлопнули. Мужика посылать на такие дела! Идиоты!

Я стоял рядом с постелью этого подыхающего врага, и все внутри у меня дрожало от ненависти. Ленин, Ильич — имя, самое святое для меня и окружавших меня людей. Но что я мог ответить? Ударить умирающего? Плюнуть?

Я не сделал ни того ни другого. До боли стиснув кулаки и зубы, пошел к двери.

На террасе постоял, успокаиваясь. Море неслышно плескалось под кручей берега, домики на Корабельной белели, как куски рафинада. В бухту входил небольшой черный пароходик, кажется минный тральщик. Еще утром, в порту, я слышал разговор о немецких минах — то и дело они встречались у наших берегов.

Снизу, робко посматривая на меня, поднималась Оля, на лбу у нее прорезались тоненькие морщинки, делая ее похожей на маленькую старушку.

— Вы помогуте достать бинты? — шепотом спросила она, глядя на меня снизу вверх, и несмело, виновато улыбнулась. — А я думала, что красноармейцы все страшные. Бородатые, и руки в крови... — Мельком она взглянула на мои руки.

— Сами вы бородатые! — крикнул я и, шагая через две ступеньки, ушел, давая себе слово, что никогда ничто не заставит меня еще раз переступить порог этого дома...

И все же я рассказал о Жестякове Вандышеву.

Вечером капитана отвезли в больницу на Нахимовской улице, а еще через день он умер от общего заражения крови. Узнав это, я опять пошел к Оле.

Шагая по пыльным осенним улицам навстречу холодному стеклянному ветру, я ни о чем не думал, просто что-то необъяснимое мешало мне бросить эту беспомощную девочку.

Норд-ост дул резкими, режущими порывами, гоня по улицам кованные из ржавой жести листья. Даже в бухте море перекатывалось тяжелыми чугунными волнами, покрытыми пеной. У товарных причалов швартовался пришедший из Одессы пароход.

Когда я пришел к Жестяковым, Оля сидела у окна и, положив на колени руки, беззвучно плакала. Хабибула, кряжистый, чуть сутуловатый, с редкими черными усиками и светлыми острыми глазами, ходил по комнате и ощупывал вещи. Лицо у него выражало неодобрение: слишком многие вещи в жилище Жестяковых в те трудные годы не имели смысла, не имели цены. Ну кому мог понадобиться тогда костяной Будда или японский веер, причудливо изогнутые морские раковины или обломки кораллов? За все это, сваленное в кучу, на рынке не дали бы и двух печеных картошек.

Мне хотелось выгнать татарина: он напоминал мародера, обирающего на поле сражения еще не остывшие трупы. Но он был здесь хозяином. Я молча наблюдал за ним, за его пренебрежительными и в то же время хищными, оценивающими руками; он не обращал на меня внимания.

Я сел рядом с Олей, прикоснулся к ее руке. Она молча подняла исплаканное, мокрое от слез лицо, посмотрела с болью.

— Он умрет?

Я не ответил. Хабибула остановился возле и, почесывая затылок, спросил:

— А без ног зачим жить будит? Коляскам ездить? Христам ради просить? Тьфу! — Помолчал и, не дождавшись ответа, спросил: — Сам ты как теперь жить станишь? Такой маленький, каждый обидеть можна... Ты смотри, разный вещь никому не давай... Рынка возить будем...

Косо оглядев меня, потоптался еще немного и ушел. Оля молча присела на корточки возле печурки, достала котелок с картошкой. Слив воду, бережно завернула несколько картошек в платок.

— Это ему... Вы его не кормите, наверно?.. Он же за белых.

— Ему больше не надо,— сказал я.

— Как — не надо?! — Она посмотрела на меня безумящими, какими-то тающими глазами и, бросив узелок, зажав руками рот, выбежала.

Я пошел следом; ожидая ее, посидел у ворот больницы, глядя сквозь голые ветви тополей на море. Горизонт за баш-

нями был пустынен и холоден, свинцовая пелена туч нависала над ним.

Мне было необъяснимо печально, радость недавней победы потускнела, остыла. Я думал о своей матери, которая лежала, может быть, в таком же вот больничном здании далеко отсюда. Жива ли?

Еще недавно я думал: достаточно победить, выгнать с нашей земли последних врагов, и сразу настанет сытая и беспечальная жизнь — праздник. А на деле все складывалось иначе, те же очереди за маленькой пайкой хлеба, та же жиденькая чечевичная похлебка, или «шрапнель», то же непроходящее ощущение голода. Моя мальчишеская вера в непреклонную справедливость всего, что связано с революцией, держала в те дни суровый экзамен; отгремели праздничные митинги, похоронили павших, и почему-то еще виднее стали не заслоненные войной нужда и разруха. Голодные, оборванные детишки бродили по улицам, потеряв, казалось, навсегда радость жизни, глядя погасшими, старческими глазами.

Оля вышла из ворот и села рядом со мной. Глаза у нее были сухие. Лицо ее за эти полчаса стало старше лет на десять, — она выглядела женщиной, прожившей долгую жизнь и видевшей много горя.

— Это что такое — морг? — спросила она.

— Морг... ну это, как тебе сказать... ну комната такая...

— А зачем?

Я боялся, что, узнав правду, она будет беспрестанно плакать и мне придется утешать ее, а какими словами мог я утешить? Но, к моему удивлению, она не плакала ни в тот день, ни на следующий, когда хоронили капитана; она застыла, окаменела.

За капитанский костюм Жестякова Хабибула сколотил из старых, почерневших досок узенький гроб и отвез тело на кладбище. Он шагал рядом со своим коньком, помахивая кнутом, равнодушно поглядывая в небо, откуда сорилась на землю холодная снежная пыль. Мы с Олей шли позади телеги, и я спрашивал себя: что же теперь с ней будет? Письмо Жестякова в Москву, которое мы нашли под его подушкой, лежало у меня в кармане...

### 3. НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздно вечером мы с Вандышевым сидели в порту на крыльце комендатуры. В нескольких метрах от нас в синеватой тьме вздыхало утихшее, засыпающее море. Солнце давно село, но за темным зубчатым гребнем Корабельной стороны еще кровавилась закатная, тающая с каждой секундой полоса.

Вандышев, кутаясь в бушлат, молча курил. Тлеющий огонек папиросы освещал на его руке синий татуированный якорек, совсем такой же, как был у Жестякова. Позади нас иногда распахивалась дверь, и желтый четырехугольник света, ломаясь на неровностях каменных плит, опрокидывался на землю.

Потом Вандышев рассказывал, как прошел день. Оказывается, далеко не все беляки сумели уйти из города, сейчас они делали последние подлости, какие могли. В Севастополе, и в порту и в районе вокзала, остались склады боеприпасов и оружия, продуктов, обмундирования, медикаментов — все, что врангелевцы не успели израсходовать, вывезти или уничтожить, а запасено оказалось немало: ведь в течение многих месяцев именно в южных портах России разгружались суда, посланные Деникину и Врангелю Антантой. Часть продуктов и медикаментов отступавшие все же сумели испортить и сжечь, часть в дни эвакуации разграбило население. А теперь по ночам кто-то пытался поджечь военные склады, видимо все еще не считая войну окончательно проигранной; один из складов, на Большой Балаклавской, взорвался и сгорел, как костер, погибло шесть человек. По ночам убивали часовых и патрульных, и где-то в Аккермановских каменоломнях прятались банды, вооруженные бомбами и пулеметами.

Вандышев говорил коротко, устало и зло и курил почти беспрерывно.

Я, в свою очередь, рассказал ему о Жестякове, о его последних словах, о письме.

— Да, само собой, девчонка пока не виновата, — согласился Вандышев. — Но ведь, Данилка, может, как раз из таких волчат и вырастают Капланихи. — Широко размахнувшись, швырнул в сторону моря окуроч, падучей звездой он прочертил темноту и погас за парашетом. — Дать в тот день волю народу, от этой твари мокрого места не осталось бы! — сердито буркнул Вандышев и сочно, по-матросски выругался. Снова достал кисет и зашуршал бумагой. — На кого руку подняла! А? Ильич всю свою святую жизнь за трудовой народ на костер кладет, а она... — И опять длинно выругался и скрипнул зубами. — Так бы я тогда сам ее и удавил... Как гадюка бешеная. Глазищи пышут, словно вся черным огнем изнутри взялась... Голову руками зажмет да об стенку ее, об стенку: «Как же я не убила, как?!» И все курить просила...

— Ты видел ее, дядя Сергей?

— Я тогда в охране в Кремле был. А комендантом стоял тоже балтиец, с крейсера «Диана», Мальков Павел... Раньше-то, еще в Смольном, в Питере, нас, матросни, человек пятьсот возле революционного комитета было; как сошли с кораблей

на штурм, так и остались. Ну и этот Мальков тоже. Он и в Смольном с самого начала — комендантом. Парень решительный, как черт. Ну и сила тоже чертячья, шомпола в узлы завязывал. Вот он, дня через три, что ли, после как Ильича поранили, вызывает меня и еще двух: «Поехали». Куда, чего — не спрашиваем, знаем, ежели с ним, значит, серьезно... Сам-то Пашка вовсе с лица черный тогда стал... да и все мы ни живые ни мертвые ходили: как Ильич? Пули-то ядовитые, травленные. Ну, поехали на Лубянку. Забрали мы эту змею в Кремль, заперли в подвал... Он, Павел, каждый час ходил, смотрел. Не то что боялся — убежит, боялся, как бы кто из нас не прикончил. Уж больно сердце у каждого тогда горело прямо до нестерпимости. А она, Капланиха-то, в дверь стучит да кричит: «Матросики, вас в обман тянут, в предательство. Покупите дайте, за народ страдаю...»

Вандышев замолчал, и я долго не решался спросить, что дальше. Прошло несколько минут. Становилось все холоднее.

— Ну, а дальше, дядя Сергей?

— Ну, известно что... Раньше-то мы им всякую поблажку от смерти давали, сколько ни пакости — живи дальше, нет у нас на вас ни веревки, ни пули... А тут в один день: утром в Питере Урицкого жизни решили, а вечером в Москве Ильича хотели... Какой может быть наш ответ? Один: резать нечисть под самый корень, рвать ее из нашей земли...

И снова молчали. Небо совсем потемнело, полоска зари на западе погасла. И моря не стало слышно...

— Еще помню, — сказал Вандышев негромко, — в том же, восемнадцатом, в самом начале, зимой, выступал Владимир Ильич в Питере, в Михайловском манеже. Кончился митинг — народ от всего сердца шумит. Вышел Ильич, в машину сел, а тут из толпы — стрельба. В него. Хорошо, случился рядом коммунист заграничный, по фамилии Платтен, он Ильича собой прикрыл... Его, Платтена, и ранило... — Вандышев потер ладонями затекшие колени. — Н-да... Вся мировая буржуазия ненавидит, если кто за народ. Попадись белякам ты и я — тоже милости не проси: либо петля, либо живьем в землю.

Сзади в дверь хриплый голос позвал:

— Вандышев! Будя небо коптить! Чай стынет!

— И то! — отозвался Вандышев, вставая. — Пойдем, Данил, пополощем кишки горяченьким... Зябко стало.

В неуютном, давно не беленном помещении комендатуры несколько человек пили из жестяных кружек чай с американскими галетами и сахаринном, забеливали сгущенным молоком. Взорванная врангелевцами электростанция не работала; помещение освещала воткнутая в пустую бутылку стеариновая свеча. Потухала в углу железная печурка, отблески пламени,



падающие из ее дверцы, дрожали на бетонном полу. В ведерном жестяном чайнике на печке горячо klokотала вода.

Напившись, отодвинув кружку, Вандышев закурил и повернулся ко мне:

— А ну-ка, покажи письмо...

Я достал записку Жестякова, отдал. Вандышев взял ее двумя пальцами и, развернув, прочитал.

— Н-да... Надо бы и этих его сродничков в Москве пощупать. Может, и сроднички вроде его, к Ленину ненавистные. Теперь эта контра в каждом темном углу хоронится, ждет, когда укусить можно...

Старый боцман с «Меркурия», заросший рыжей проволокой, обожженный ветром и солнцем, запрокинув голову, пустил к потолку густую струю дыма.

— Очень даже просто. Сколько лет они нашей кровью жили... Вот помню...

И потекли один за другим бесконечные солдатские и мужицкие рассказы о мытарствах и унижениях, о бесправии и беззаконии, о запоротых насмерть, о расстрелянных и повешенных, об умерших от голода и тифа, о вековой и, казалось, безысходной нужде.

В моей памяти эти рассказы воскрешали картины моего собственного детства, словно все, что рассказывали, сменяя друг друга, солдаты и матросы, было частью моей собственной жизни.

— Ну, чего рассопливились, братва? — прервал наконец поток воспоминаний Вандышев. — Теперь наше дело гордое, вперед глядеть надо. Пошли спать, Данька.

Легли мы с дядей Сергеем рядом. В соседней с комендатурой комнате было брошено на пол несколько матрацев, взятых из врангелевского цейхгауза. Здесь вповалку спали по ночам работники порта, у кого не было в Севастополе своего жилья.

Заснул я поздно. Чужие воспоминания вернули и мою память к прошлому, я снова ощущал у себя на голове шершавую ладонь отца, мягкие добрые губы матери, худенькую ручонку сестры.

И вся моя ночь была полна тяжелыми, пугающими снами, где самая неправдоподобная правда перемежалась с неправдой, похожей на правду. Снова я волок на разостланной шинели истекающего кровью Костю Рагулина, гонял голубей и хоронил маленькую Подсолнышку, снова сидел вместе с другими пленниками в горящем амбаре, и туда входил Жестяков, с трудом переставляя негнущиеся, замотанные окровавленными тряпками ноги. И то и дело мелькало худое лицо Оли, оно двоилось, казалось мне то лицом Оли Беженки — и тогда снова пылал мост и пропитой бас истошно орал: «Пушай горит,

сука!» — то лицом Оли Жестяковой, измученным не по годам и скорбным, как у иконы...

В те дни я уже работал, но не на корабле, как мне хотелось, а в составе одной из комендантских команд. Работа у нас была самая разная. То мы ремонтировали что-нибудь в судоремонтных мастерских, то участвовали в ночных облавах, то хоронили мертвых, то сортировали оставшееся от белых барахло, то чинили на станции вагоны и подъездные пути.

К вечеру, на следующий день, поев в столовой, спрятав в карман шинели пару галет, я пошел к Оле. Сумерки медленно текли по улицам и переулкам, бухту застилало туманом. Сквозь него едва пробивались редкие огоньки. По-зимнему низкое небо давило землю, и музыка, что неслась из недавно открытого «Дома моряка», казалась нездешней, словно доносилась с луны.

В окошках у Хабибулы горел свет, я невольно задержался возле окон и долго стоял, глядя на кусок чужой жизни. Пять малышей сидели за столом и ели суп, черпая ложками из большой деревянной миски; у печки возилась немолодая, но еще красивая женщина с черными косами. Сам Хабибула сидел на низеньком стульчике и чинил хомут. Изредка поднимая голову, что-то говорил женщине у печки, — слов расслышать было нельзя.

Я посмотрел вверх — в окнах Жестяковых было темно. Я осторожно поднялся по лестнице, набухшие от влаги ступени теперь не скрипели. На террасе я постоял, прислушиваясь, глядя вниз, в туманную тьму, в глубине которой, колыша над собой мрак, дышало и вздымалось море. Казалось, что стоишь над пропастью, у которой нет дна.

Когда я поднимался по лестнице, мне почудилось, что за Олиной дверью сердито бубнит какой-то мужской голос, но теперь в квартире стало совершенно тихо. Я долго стоял — ни шороха, ни звука. Постучал, позвал:

— Оля!

И тогда дверь неожиданно распахнулась и ударила меня в грудь. В тот же момент черная огромная тень шарахнулась из темноты квартиры, с силой толкнула меня, я отлетел к перилам и упал. Загрохотали под каблуками ступеньки лестницы, потом булыжник, и, наконец, стремительно убегающие шаги затихли. Внизу во дворе, звеня цепью, остервенело лаяла собака.

В черном четырехугольнике двери появилось светлое пятно Олиного платья, голос ее испуганно спросил:

— Здесь кто?

Потирая ушибленное плечо, я встал, в глазах у меня плясали огненные круги. Спросил:

— Там больше никого нет?

— Никого.

— А кто был?

Она помолчала, потом ответила неуверенно и чуть слышно:

— Не знаю. Он папу спрашивал. Искал...

Я подошел к Оле вплотную и, даже не прикасаясь к ней, почувствовал, как она дрожала.

— А он не вернется?

— Не знаю.

В кармане у меня лежал пистолет Жестякова, я стискивал его запотевшую в ладони рукоятку, хотя и понимал полную бесполезность незаряженного оружия.

— Иди. Холодно,— сказала Оля и, взяв меня за руку, потянула за собой.— Мне страшно одной. Мне все кажется, что кто-то лежит...

Внизу во дворе Хабибулы заскрежетала петлями дверь, на темном крыльце появилась фигура хозяина. Подняв голову, он закричал:

— Ей, Олька! Кто лестницам сейчас бегал?

— Кошка...— помедлив, ответила Оля.

— Бульна большой кошка... Смотри, приду, глядеть эта кошка буду. Палкам здоровый биру, палкам гляжу...

Но лезть вверх Хабибуле, видимо, не хотелось, он почесал под рубашкой грудь, сладко зевнул, успокоил рвавшуюся с цепи собаку:

— Куш, Шайтан, куш... Ашать тебе нада, черт? У, прожора...— и хлопнул дверью.

Мы вошли в Олину комнату. Тихо, пусто, едва заметно синели квадраты окон.

— Сейчас печку затоплю, будет светло,— сказала Оля.

Я ощупью отыскал стул и сел, следя в темноте за смутным светлым пятном Олиного платья; она неслышно двигалась, стучала какими-то деревяшками, шуршала бумагой.

— Чем топишь?— спросил я.— Книгами, что ли?

— Табуретка...

Когда в жестяной пасти печурки за клубилось веселое пламя, я увидел разбросанные по полу, сброшенные с полок книги, письма, бумаги, фотографии.

— Он что-то искал,— объяснила Оля, заметив мой взгляд.— Я не хотела. Он на меня кричал...

Мне подумалось: «Что, какие документы искал неизвестный в вещах покойного капитана? Зачем? Что в них, в этих документах? Может быть, они имеют какое-то отношение к «Крабу»? А может быть, это он и был?»

...Вот эти неожиданные встречи в Севастополе и повернули мою дальнейшую жизнь иначе, чем я предполагал. Я хотел

остаться у моря, хотел стать матросом, а потом капитаном дальнего плавания, бросать корабельные сходни на синий лед Антарктиды, пожить под сказочными радугами северного сияния... Но все вышло иначе.

Когда я рассказал Вандышеву о ночной встрече у Жестяковых, он задумался и снова долго вчитывался в те несколько слов, что нацарапал перед смертью капитан.

— Нечистое здесь, Данил, дело. Какую-нибудь пакость удумают.

Следующую ночь, спрятавшись у дома Хабибулы, мы караулили, ожидая, что вот-вот в темноте послышится шорох крадущихся шагов, мелькнет беззвучная тень, блеснет свет карманного фонаря. Но — ничего: ни шороха, ни тени, ни звука.

И вот тогда-то Вандышев и сказал мне:

— Вот что, Данил. Поговорил я кое с кем, и решили мы так. Особо околачиваться тебе здесь нечего. Матросов да грузчиков и без тебя наберем. Парень ты молодой, и голова у тебя варит. Надо тебе подаваться на учебу. Спецы старые саботируют без конца, никакой управы на них нету. Нужны нам свои красные специалисты. Об этом и Ильич сколько раз говорил. Так вот, ежели поехать тебе в Москву? А? Там и рабаки разные, и вообще...

У меня прямо дух захватило от этих слов. Москва? В моих мечтах она рисовалась светлым центром мира, я и подумать не смел, что могу когда-нибудь жить и учиться в ней.

А Вандышев продолжал:

— Это — первое. А второе, дорогой мой, — это жестяковское нам с тобой наследство. Девчонка эта, конечно, не в счет. Можно сразу тут же в детдом определить, не умрет с голоду, не дадим. Но интересно ведь: что это за птица, «Краб» этот самый? Я-то здесь вокруг этого змеиног гнезда пошурую. А нет ли там, аккуратно под боком у Ильича, еще какой-нибудь подлости? Я тебе тоже письмо дам, есть там дружок у меня, Роман Корожда зовут. Вместе на крейсере медяшки драили. А на штурме, когда Зимний у беляков отбивали, руку ему один юнкеришка повредил. Теперь он там всякую контру к ногтю берет в особом отряде — ежели, конечно, не устукали.

Вандышев обнял меня сильной рукой за плечи,дохнул в лицо табачным дымом.

— Только знаешь чего, Данилка? Жалко ведь мне с тобой расставаться: прикипел я к тебе сердцем. То ли своих у меня нету, то ли еще что... Ну ведь надо и тебе на фарватер выбиваться. А? Подумаешь, скажи...

— А чего же думать, дядя Сергей?

— Ну ладно,— засмеялся Вандышев, доставая кисет.— Я так и знал. И как это ты и в тюрьме сидел, и воевал, а курить не научился? Чудное дело! Первое дело для мужика — табачок. Да чтобы позлее, чтобы душу царапало...

#### 4. ДОРОГА

Теперь, когда я вспоминаю то свое первое путешествие в Москву, оно кажется мне очень длинным — такое оно было долгое и тяжелое. Никаких прямых поездов до Москвы тогда не было и, конечно, не могло быть, напрямик шли только эшелоны с продуктами для голодающих городов центра, для Москвы и Питера.

Многие мосты, поврежденные во время боев, еще не были восстановлены, и тогда мы прямо по льду перебирались с одного берега на другой и шли по шпалам до следующей станции, где через два-три дня снова с боем и трудом забирались в промерзшие, покрытые изморозью теплушки или в пассажирские вагоны с выбитыми окнами. Ехали демобилизованные красноармейцы, ехали мешочники с солью (соль тогда в Москве и на Поволжье стоила чуть ли не сто тысяч рублей фунт), ехало множество людей в поисках лучшей доли, спасаясь от голодной смерти. Умирали в вагонах и на больших станциях, замерзшие тела вытаскивали на перрон и уносили в какой-нибудь пристанционный сарайчик, чтобы затем, попозже, похоронить. В некоторых местах и пути были разрушены. Это во время боев помогали белым жители зажиточных немецких селений. Я вспоминал Мильглузендорф, Шлингендорф и другие такие же села на берегу Днепра, сквозь которые мы несколько месяцев назад прошли. Кулаки сгоняли в большой табун волов, лошадей и коров и, развинтив в двух местах рельсы, зацепляли их веревками или цепями и впряженным в эту часть пути стадом оттаскивали рельсы на несколько километров в сторону. Отремонтировать такие пути без машин и тягла было трудно, тем более зимой.

У нас с Олей было немного сухарей, несколько банок консервов из того запаса, что выдали мне на дорогу, да чемодан с ее вещами, которые нам иногда удавалось обменять на лепешки или шматок сала. К счастью, нам почти всегда помогали сесть в теплушку, где стояла жестяная печка. На станциях пассажиры теплушки высказывали и ломали остатки каких-то строений, ломали, прячась от станционных служителей, заборы и крали припасенные для паровозов дрова. Кипятку почти нигде не было, на многих станциях водокачки были разрушены, приходилось набирать в котелки снег.

Но все это не могло заглушить моего радостного, приподнятого чувства: я ехал в Москву, мы победили. Я не представлял себе тогда, что и Москва в конце двадцатого года находилась в крайне бедственном положении, что в ней не было ни хлеба, ни дров, что она стояла, закованная в броню льда и снега, заметенная сугробами, по ночам едва освещенная, с остановившимся, замерзающим дыханием.

Правда, когда мы проехали разоренные последними боями гражданской войны места, уже за Харьковом, стало лучше: здесь на некоторых станциях был кипяток, больше порядка. Но почти на всех узловых станциях по вагонам ходили санитарные противотифозные комиссии и при малейшем подозрении на тиф без всяких поблажек, несмотря на сопротивление, снимали с поезда, отправляли в санприемники и больницы. И на стенах и заборах висели плакаты: «Что ты сделал для фронта?»

Красноармейцы, воодушевленные победой, несмотря на холод и трудности пути, без конца пели, то в одном, то в другом вагоне гремела «Варшавянка», или «Смело, товарищи, в ногу», или широкие раздольные русские и украинские песни. Мешочники жались по углам, боясь за свое добро, нередко при облавах кое-кого из них ссаживали с поезда. Они кричали, и плакали, и божились, что везут для себя, для своих детей, умирающих от голода, но иногда достаточно было одного взгляда на сытую физиономию, чтобы понять, что это просто-напросто спекулянты.

Перед отъездом я достал Оле солдатскую телогрейку, она надела ее под пальто, но, несмотря на это, мерзла и куталась почти всю дорогу, даже тогда, когда мы ехали в тепле. Она молчала, я редко-редко мог заставить ее сказать несколько слов. Она боялась дороги, боялась Москвы, боялась неизвестного ей дяди, к которому ехала.

— Если будет плохо,— говорил я ей,— тебя устроят в детский дом, теперь много бездомных детей, их устраивают в приюты, там будешь жить и учиться, и все будет хорошо.

Она слушала и молчала.

Нередко кто-нибудь из красноармейцев подсаживался к ней, заговаривал, кормил ее чем-нибудь из своего скудного по тому времени солдатского пайка. Она сначала на всех глядела со страхом и забивалась в темные углы, с тревогой и просьбой о помощи оглядываясь на меня. Но большинство красноармейцев, особенно пожилых, жалели ее, видя в ней своих, может быть, вот таких же измученных и худых детишек, их глаза светились той берущей за сердце лаской, которая рождается только в очень тяжелых условиях, где слабому без такой душевной поддержки невозможно прожить.

Помню, где-то под Харьковом солдаты втащили в наш вагон полузамерзшего на перроне старика, лохматого, почти потерявшего человеческий облик, оттирали снегом его обмороженные ноги, и он плакал, словно ребенок, так ему было больно.

— Терпи, папаша, терпи, ежели еще плясать хочешь,— смеялись солдаты.

Потом напоили старика кипятком с солью, и он все пил, обжигаясь, и умилялся: до чего же сладкая она, соль...

Он ехал с нами долго, почти до самой Москвы, и все подсаживался к Оле, глядел на нее слезящимися глазами.

— Вот у меня внученька такая же, ровно свечечка, все как есть скрозь нее видать... Перед тем как уехать мне, все просила, сладенького хочу, деда, сольцы бы... Вот везу ей карман цельный... Жива ли? Ну, совсем как ты с личика...

Оля подружилась с ним, он негромко рассказывал ей о своей жизни.

— Отца-то у нее, сына, значит, моего,— Фаддеем звали — белые затиранили. Как, значит, Деникин Орел занял, тут и пошла катавасия... Фаддей-то не успел со своими уйтить, тут его смертушка и пристигла. И день, вот как сейчас помню, такой радостный, такой солнешный был, ну пасха и пасха. Неужели, думаю, и убьют его при этаким-то солнышке? А им што? Ты зачем, спрашивают, такой-разэтаким, землю чужую пахал? Зачем делил? Земли тебе? Ну вот тебе и земля. Закопали его по шейку в землю и сидели округ, пока не помер, в лицо плевали...

Самым, пожалуй, ярким, самым отчетливым, что мне запомнилось в этом нашем долгом путешествии, были севшие где-то на Орловщине мужики — трое. В тот день наша теплушка была набита до того, что сидеть и то приходилось по очереди, а уж спать — где там. И вот на каком-то полустанке, в разгар метели, когда кто-то из красноармейцев выпрыгнул за нуждой, эти трое и подошли к вагону. Один, самый старый, снял шапку, попросил:

— Не дайте сгннуть, милые, посадите...

— Да куда же сажать, деда? Гляди-ка тут что!

— Так ведь, милые... От мира мы, к Ленину в Москву идем... дело самой неотложности...

— К Ленину? — переспросили из вагона.

И сразу стало тихо.

— А ну-ка, деда, давай руку.

Так эти трое ходоков и оказались в нашем вагоне. Конечно, рассказывая теперь о тех давних встречах, я, вероятно, привожу не все дословно так, как оно было сказано: это просто невозможно. Но я отчетливо помню смысл и интонации сказанного, отдельные слова и фразы. Для меня эти встречи в пути

оказались запоминающимися еще и потому, что они постепенно вводили меня в новый мир.

Ходоков усадили около печки, они согрелись, развязали свои кушаки, распахнули полушубки. Все трое были одеты бедно, все на них изношенное до дыр, в заплатках, на ногах лапти.

— Ну как, деды, с озимыми? Отсеялись? — спросил кто-то и вздохнул. — Ах, выйти бы по весне на пашню, да чтобы коняшка, да грачи в борозде...

— Отсеялись, да не все... — отозвался тот, что был старше, с кудельной седоватой бородой, закрывавшей ему шею и грудь. — Кулаки — те, известное дело, отсеялись, да и то не в пример прошлым годам, только что на свои животы, на свой прокорм... «Что нам, говорят, Советскую власть да большевиков кормить, пушай сами и пашут, ежели жрать охота...» Вот так-то, мила душа...

Кто-то протянул старику кисет и кусок бумаги:

— Кури, деда.

Он отрицательно покачал головой:

— Не набалованы, мила душа... — Было в лице его что-то от Льва Толстого: высокий, избитый глубокими морщинами лоб, запавшие, острые бесцветные глаза под седым навесом бровей. — Не набалованы, — повторил он и оглянулся на одного из своих попутчиков, однорукого тщедушного мужичка с рыженьким клинышком бородки и озорными, хотя и потускневшими глазами. — Хоша вот Митрий балует, на фронте выучился, на германской... Кури, Митрий, все одно дыму тут — не передохнуть...

— А ты, деда, слезай, ежели душно... Пешочком-то воздух — чистый янтарь, — пошутил кто-то.

Но старик посмотрел сурово, и шутник смолк.

— Мне, ежели хочешь, хоть плыть, а быть... Мир послал, наш мир, бедняцкий... Ежели, сказали, Тимофей Петров, не добьешься до самого Ленина, нет тебе в нашу деревню возврата...

— Да чего же вы к Ленину-то? — спросил солдат, сидевший за спиной старика. — Чай, сами знаете, раненый он был, ему теперь бы покой да покой...

— Знаем, всё знаем, — кивнул старик. — И за раны его не меньше твоего боли приняли... А нет без его слова нам никакого решения! Вот ты скажи-ка, громкий... — Старик оглянулся на того, что сидел за его плечом. — Ты, к примеру, крестьянствовал?

— Не, мы рабочего сословия... кузнецы... плужок, скажем, вашему брату отковать или еще что — это наши мозоли...

— Вот то-то... Тебе урожай не урожай — тебе одна стынь-



жара... А вот я или вот он, Митрий... Нам знать надо, как же теперь дальше жить... Ну, помещиков прогнали, земля теперь есть. За всю осень я на себе, на старухе да на снохе вдовой два осьминника вспахал... А сеять опять же чем, когда у меня с прошлого лета ни зерна нету? А? Опять я — на поклон к Савве Лукичу: дай до новины. «Ну-к што, говорит, возьми, Тимофей». Насыпал меру. «С урожаем, говорит, две вернешь». Не взять? А сеять как же? Ну взял, ржица тощенькая, голодного году... Стало быть, опять мне кабала... Так? Опять он силу забирает, Савва-то. И закону на него нету, никакой управы... Доброе, дескать, дело творю... Ну ишо у попа сохранилось зерно. Так тот и вовсе не по-божьему: три меры за меру... пастырь божий... Наши-то сельсоветчики только руками разводят... А тут весна скоро, яровой клин пахать... Опять, стало быть, старуху да сноху запрягать, либо у того же Саввы коняшку просить? А он что, даром?

И опять старик оглянулся на кузнеца.

— Твое дело, мила душа, простое, постучал молотком, тут тебе и хлебушек... А ить его растить надо, за ним, как за дитем, ходить требуется... Ну и скажи, вдруг снова немилость божья — снова от колоса до колоса не слышать голоса?.. Чего я тогда Савве отдавать стану? Стало быть, опять я в батраки к нему... да еще в темные батраки, в тайные, потому он все же опасается: вдруг его власть как помещика признает, к ногтю возьмет? А? Нет, мила душа, что ни говори, один у нас выход — к Ленину, он все скажет... А что ранетый, так мы ему горшочек меду, на травах настоенный, везем, — моя старуха от любой хвори медом лечит, могутная сила у меду...

Из темного угла в падающий от печурки круг света выдвинулся молодой солдат.

— Не возьмет он вашего меду, дед...

— Почему такое не возьмет? Мы же не как-нибудь, для пользы его, для здоровья...

— Все равно не возьмет. А ежели и возьмет, куда-нибудь в детский дом сиротишкам отправит, — не такой он человек, чтобы в мед булку обмакивать, когда народ голодом помирает... Я в Смольном еще у него был, в карауле стоял... Как мне пайка хлебная вроде глины — так и ему... Только что чай бесперечь пьет... Ну, это от сна... Спать ему совсем некогда...

Старик задумался, глядя в огонь, медленно, словно лаская, поглаживал бороду. Вздохнул.

— Ну, его воля... как скажет. Ежели скажет: сиротам, пушай сиротам... Только ведь что же это? Он же так и помереть очень просто может... А? Ну, а кругом чего же глядят?! Не ест — силком кормить надо, чтобы жил и жил. Мы-то что же без него будем?

Старику никто не ответил, монотонно стучали под полом колеса, изредка гудел где-то недалеко паровоз, выла за стенами метель, сорила в щели ледяной крупой...

— Ну что ж, поесть, что ли...— Старик вопросительно и виновато посмотрел кругом.— Вы сами-то, служивые, отужинали?

— Ешь, деда, ешь.

Старик, а за ним и его молчаливые спутники достали из мешков по черной травяной лепешке, по луковице и, сосредоточенно жуя, принялись ужинать.

## 5. «ДА Я ЖЕ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ!»

В Москву мы приехали ночью. Несколько часов стояли на какой-то подмосковной товарной станции, на забитых вагонами путях. По-прежнему бушевала, крутила снежные смерчи метель, а в теплушке не осталось дров, чтобы еще раз протопить. Когда теперь подъезжаешь к Москве, зарево над нею видно за много десятков километров, далекий край неба медленно плавится и раскаляется все сильнее, и, даже не глядя на часы и на мелькающие мимо дачные платформы, твердо знаешь — недалеко. Тогда все было по-другому. Выла метель, изредка перекликались в снежной мути чьи-то хриплые сердитые голоса, и все. Даже огней семафора не было видно.

Наконец, морозно скрипя пристывшими колесами, эшелон тронулся, но шел еще медленнее, чем всегда, словно подкрадывался к спящему, укутанному в снежную шубу городу.

Курский вокзал, едва-едва освещенный, был забит людьми, больше всего здесь было демобилизованных, едущих по домам. Они выскакивали на обледенелый перрон при шуме любого подходящего к вокзалу поезда, и только зычный голос дежурных кондукторов, кричавших, что поезд никуда не пойдет, останавливал людей и возвращал их к дверям вокзала, из которых клубами валил пар. Во всех залах вокзала вповалку, прямо на полу лежали оборванные серые люди, плакали дети, у дверей коменданта водоворотом крутилась толпа. Пахло махоркой и потом; керосиновые фонари, по одному на зал, тонули в мертвом сиреневом дыму.

Да, Москва была не похожа на тот светлый город, какой я успел нарисовать себе, в ней не было ни угля, ни дров, не было керосина, работала одна электростанция и то с половинной нагрузкой, и, как я узнал назавтра, в самом Кремле нередко гас свет.

Наши попутчики, те, кому предстояло ехать дальше, отправились разыскивать земляков, а несколько человек, кто оста-

вался в Москве, сбились кучкой посреди зала и уселись на холодном, заплеванном полу: все укромные углы, где можно было бы спрятаться от толчков толпы, были заняты.

А тут еще перед самым рассветом по вокзалу пошла облава, проверка документов: искали каких-то бандитов. Трое мужчин, двое в шинелях и один в кожаной куртке, бегло просмотрели мои документы, бумаги ходоков, сидевших рядом, покосились на Олю. Но, видимо, очень уж она была мала и худа, о ней даже ничего не спросили. Они прошли в другой зал, где была уборная, и через минуту оттуда донеслись крики, звон разбитого стекла и выстрел — видимо, патруль нашел того, кого искал.

Его провели мимо нас. Он был в драном пальтишке, напоминавшем женский салон, но салон этот распахнулся, и из-под него стала видна диагональная тужурка с форменными пуговицами. Властное и худое лицо с тяжелым подбородком было вскинута, и глаза зорко смотрели по сторонам, словно арестованный кого-то искал. В уборной он пытался вылезти в окно, но не успел.

Когда, наступая на руки и ноги спящих, подталкиваемый в спину наганом, он прошел мимо нас, сидевший невдалеке на скамейке пожилой человек с темным усталым лицом сказал:

— Из этих, из эсеров... Это они и бомбу в Леонтьевском переулке кинули.

— Как — бомбу? — спросил старик, приехавший с нами.

— А так... Подкрались к окошку, где совещание, и швырь туда. А там человек двести собралось, вся наша партийная московская гвардия, только что Ильича да Якова Михайловича Свердлова не было... Ну, бомба прямо посередь комнаты и — бах... Лежит и дымит, — верная всем смерть... И тут земляк мой, может, слышали, Загорский Владимир Михайлович, прыгнул к ней, к стерве, хотел, значит, в окошко выкинуть... Но не успел — как она жажнет! Двенадцать человек насмерть, а раненых — не меньше человек шестьдесят... Вот такие волки и кинули.

И все посмотрели на дверь, за которой скрылся арестованный.

— Ну, мила душа, а этот как же, земляк-то твой? Неужели тоже?

— А ты как думал? Ему — первая смерть... Зато сколько жизней собой заслонил. Совесть у него доподлинная была...

Спать мне не хотелось, но и в город по такой метельной тьме идти казалось рискованно. Ходоки и мы с Олей прижались к скамейке, где сидел земляк Загорского, достали свою жалкую еду. А он, откинувшись на спинку дивана, курил, глядя в потолок, и негромко говорил:

— А то вот еще, может, слышали, посла германского, Мир-

баха, они убили, прямо к нему в контору пришли и — наповал...

— Это зачем же? — спросил старик.

— А чтобы немец замирение с нами порвал, чтобы озлился. Чтобы снова война... Им, которые империалисты,— первое дело война...

Старик с уважением посмотрел на рабочего и спросил:

— А вы-то сами, мила душа, куда же путь держите?.. По одеже-то вроде не мобилизованный, вроде не с фронта...

Рабочий осторожно погасил окурок о борт скамьи.

— Нет, я уж два года как отвоевался, глаза мне повредило... видеть ничего не стал... А еду не один, нас тут трое. Дружки с комендантом насчет проезда воют... За хлебом едем... В Москве по заводам за этот месяц на рабочего по восемь фунтов выдали, а на семью, на жену там, на детишек,— и того меньше... Ну вот и разрешили нам от завода, для всех.

— И куда же?

— Так ведь куда. Волга вся под голодом. Белоруссию чужаки драли-драли, живого места не осталось, у вас, поди-ка, тоже...

Старик отломил половину темной травяной лепешки, протянул:

— На вот, проведай — чем живы...

— Не лучше нашего...

— На-ка с луковкой, вот как гоже...

— Спасибо.

Несколько минут жевали молча, бережно стряхивая крошки в ладонь.

Завязывая мешок, старик сказал с грустным сожалением:

— Вот, стало быть, и позавтракали и пообедали...— и спросил соседа: — А ты как? Партийный иль нет? Вроде, по словам по твоим, ты должен бы партийным, а?

— А куда же без нее теперь, без партии? — спросил рабочий и встал: от комнаты коменданта пробирались двое молодых ребят, размахивая бумажками.

— Порядок. Едем!

— С богом вас,— негромко пожелал старик, застегивая полушубок, и повернулся к своим: — И нам пора... Пока дорогу найдем, пока что...

Трамваи в тот день не ходили, только редко-редко продребезжит где-то в стороне требовательный звонок. То ли не давали тока, то ли мешали снежные заносы. К началу дня во многих местах на путях уже копошились люди с лопатами, расчищая пути, здесь были и женщины и подростки, одетые серо и бедно, в разбитых и растоптанных валенках и ботинках, были и в лаптях. Но кое-где видны были и хорошо одетые, вероятно, те, кто еще не работал на новую власть и кого

выгнали на расчистку снега насильно,— по бекешам и пиджакам угадывались бывшие торговцы, приказчики, чиновники, даже попик один, маленький и сытый, в длинном черном пальто, старательно, но бестолково ковырял на одном месте лопатой... Покрикивали молодые ребята и девушки, командовавшие работами,— видимо, комсомольцы. Кое-где горели на перекрестках костры, возле них толпились озябшие люди.

Мы останавливались, расспрашивали о дороге и снова брели дальше. Нам с Олей до самой Красной площади оказалось по пути с дорожками,— брат капитана Жестякова жил в одном из арбатских переулков.

У Иверской часовни мы распростились с дорожками, распростились, как старые знакомые, почти друзья: и мы и они чувствовали себя в этом большом и еще чужом городе одиноко, неуверенно.

— Вот и дошли, стало быть, мила душа, до самого сердца земли русской. Чем-то теперь господь обрадует... Допустят до Ленина, альбо так и пойдем с чем пришли? — Сняв шапку, он истово перекрестился на темную икону у входа в Иверскую, где уже собирались нищие и калеки.— Помоги, заступница...

Метель стихала; в белесой мути утра вздымались в небо красные кирпичные зубчатые стены Кремля, островерхие башни с темными и узкими глазницами окошек, темные чугунные фигуры Минина и Пожарского высились над заснеженной площадью.

Дорожки ушли, а мы с Олей постояли еще, глядя, как медленно тают в тумане их неторопливые тени. Вот, думалось мне, может быть, они сегодня увидят Ильича и будут с ним говорить. Какой он? Тогда я еще ни разу не видел изображения Владимира Ильича: газеты не печатали никаких портретов,— только имя его шло по стране из края в край.

— Пойдем,— потянула меня Оля.— Ноги озябли... У нас в Севастополе никогда не было столько снега...

И опять брели по незнакомым улицам, останавливая встречающих и расспрашивая, как пройти. Некоторые просто не отвечали, другие, озябшие так же, как мы, сердито огрызались и махали в сторону Арбата рукой.

Жил Алексей Жестяков в Мерзляковском переулке, в доме Шабалина, большом, шестизэтажном, кирпичном, довольно мрачном, давно не ремонтировавшемся здании. Я еще раз проверил по записке покойного капитана адрес, и мы вошли в подъезд. За черной проволоочной сеткой мертво стояла железная коробка лифта, на ступеньках лестницы примерзли грязные комья давно не чищенного снега. Поднимались медленно, ожидая, что кто-нибудь попадется навстречу, чтобы еще раз спросить, но дом, казалось, вымер, словно мы были в городе,



давно оставленном людьми. Некоторые двери были заколочены досками, из-под них выглядывали медные и эмалированные дощечки.

На четвертом этаже мы потоптались перед обитой черной клеенкой дверью, отряхнули с валенок снег, нерешительно поглядывая друг на друга.

«Инженер Алексей Иванович Жестяков» — было вырезано на латунной, позеленевшей от времени и невзгод дощечке с загнутым углом. Под этой дощечкой, точно маленький, разглядывающий нас глаз, белела костяная кнопка звонка. Мы раз за разом нажимали ее и ждали ответа, но в глубине квартиры все молчало. Звонили снова и снова. Не знаю, сколько еще времени толкались бы мы у немой, словно заколдованной

двери, если бы не старушка, которая спускалась сверху с небольшими салазочками, — к ним были привязаны какие-то завернутые в полосатую шаль вещи. Она остановилась и, шурясь, долго разглядывала нас.

— Звоните? — спросила она с непонятым ехидством.

— Да.

— К инженеру?

— Ага.

— Ну, звоните, миленькие, звоните.

И, кряхтя, потащила со ступеньки на ступеньку свою ношу. И, только спустившись еще на два или три марша, прокричала, словно прокаркала снизу:

— Электрические-то звонки по всей Москве который год не работают! Звоните, миленькие, звоните!

Тогда я принялся стучать в дверь, сначала робко, чуть слышно, потом все громче и громче.

— А может быть, его и нет? — сказала Оля. — Может, он тоже умер?

Но как раз в этот момент совершенно бесшумно приоткрылась, а затем распахнулась дверь. На пороге появился взлохмаченный старик в наброшенной на плечи дорогой шубе, с очками в одной руке и с книгой в другой. Он надел очки, — в тоненькой золотой оправе они были почти невидимы на его худом лице, но именно они придавали ему странное, не от мира сего, выражение. Во всем его внешнем облике было что-то от Дон-Кихота.

— Обыск? Облава? — спросил он неожиданно молодым, звонким голосом, глядя на мою буденовку и шинель. Но тут увидел Олю, и что-то как бы дрогнуло и сместилось в его лице. Снял очки, торопливо протер их не первой свежести платком и снова водрузил на свой горбатый аристократический нос. В его лице почти не было сходства с покойным капитаном. — Ты кто? — спросил он Олю, наклоняясь к ней.

— Оля.

— Николкина?

— Да.

— А он где же? — Но, увидев слезы на глазах девочки, замахал руками. — Не говори, не говори, понимаю... Он — с тобой? — Алексей Иванович кивнул в мою сторону.

— Он привез меня...

— Ага! Сколько же лет я тебя не видел? Боже мой, да я же тебя никогда не видел! Только карточки... Ну, проходи в мою берлогу. И вы проходите. Только холодно, как на полюсе. Книгами топить не могу — не поднимается рука. А больше, увы, чем?.. Табуретки, стулья и кухонный шкаф — все принесено в жертву...

Квартира была большая, из трех или четырех комнат и кухни, и почти все комнаты были заставлены шкафами с книгами. В самой маленькой комнате, в кабинете, книги валялись повсюду: на подоконниках, на креслах, на полу в промерзшем, белом от инея углу, на столе. Чугунная печурка была центром и божеством этого арктического острова, на ней стоял никелированный кофейник. Согнутая коленом жестяная труба уходила в окно, покрытое толстым слоем льда.

Алексей Иванович подошел к письменному столу, где высились груды книг и лежали листы рукописи и чертежи, потыкал пальцем в чернильницу.

— Замерзло! Арктика. Ледниковый период.— И, повернувшись, пристально и добро всмотрелся в Олю.— Н-да! Ты, девочка, совсем как пергамент... Ну, вы пока не раздевайтесь. А я поищу в классических творениях то, что можно принести в жертву погибающей жизни... Садитесь, садитесь к печке, сейчас зажжем жертвенный огонь...

Он ушел в коридор, где тоже стояли шкафы с книгами, долго шуршал там листами, вздыхал и бормотал что-то, чего нельзя было разобрать. Вернувшись, со вздохом положил у печурки несколько книг и, не снимая шубы, присел возле. Каждую книгу перелистывал, словно прощался с ней, и приговаривал:

— Кошунство? Конечно, кошунство! Но если человечество выздоровеет от этой чумы, великого Льва русской литературы оно, вероятно, переиздаст еще раз. Так что прости, старик... И ты извини, великий насмешник<sup>1</sup>. Нужда... И не ради себя...

Потом Алексей Иванович принес из кухни несколько деревянных крашеных брусков — остатки шкафа.

— Все туда, все туда,— приговаривал он почти весело и все поглядывал и поглядывал на Олю.— Каменный век. Палеолит.

Я с удивлением рассматривал этого странного человека, его козлиную, устремленную острием вперед седую бородку, его подагрически припухшие крючковатые пальцы, его одежду, слушал малопонятные мне слова. И комната была под стать этому чудаковатому, но, видимо, доброму и милому старику. Несмотря на холод и закованные льдом окна, в ней мне чудился какой-то странный, особенный уют, тепло. Позднее я догадался, что ощущение тепла исходило от висевшего над столом портрета грустной и красивой женщины с большими, обведенными тенью глазами, смотревшей прямо и — мимо. У нее были пышные взбитые волосы, сквозь которые откуда-то сзади или сбоку

---

<sup>1</sup> Великий насмешник — так называли знаменитого философа и писателя Франции Вольтера.



пробивался таинственный и немного тревожный, подкрашенный киноварью свет. Впечатление такое, как будто где-то рядом с женщиной или сзади полыхал пожар, а она стояла отвернувшись, скорбная, спокойная и обреченная. Потом я часто смотрел на этот портрет, в нем было что-то притягивающее, и тревожащее, и успокаивающее одновременно.

Когда печурка разгорелась, Алексей Иванович ушел в одну из соседних комнат, принес оттуда маленькую женскую беличью шубку. По мимолетному и просящему извинения взгляду, брошенному на портрет, я понял, что когда-то шубка принадлежала ей, этой грустной и милой женщине.

— А ну-ка, великая княгиня Ольга, снимай с себя свою скорлупу. В этом будет теплее. И давай посмотрим, дружище, что творится с твоими нижними конечностями. От вокзала пешком шли?

— Да.

— Путь из варяг в греки! Вернее, наоборот. Да.— Он присел на маленькую скамеечку у печки, на ней он, вероятно, сидел в своем ледяном одиночестве перед открытой дверцей «буржуйки», когда в ней жило и веселилось пламя.— Снимай, снимай свои котурны... И давай обернем пока твои милые ножонки вот этой рухлядью, которая когда-то была пледом. Вот так... Все остальное, девочка, скушала тетка Сухаревка, у нее первобытно большой рот. Она может скушать империю и побольше нашей. Да. А теперь будем пить чай; к счастью, вода у нас еще есть...

Во многих домах тогда водопровод не работал: вода в трубах замерзала, за водой приходилось ходить на колонку. Потом и я много раз ходил туда.

Я перебирал, перелистывал книги, обреченные стариком на сожжение. Многие из них были на непонятном мне языке. Я вырывал листы и отправлял их в огнедышащую пасть. Печурка уже дышала на нас теплом, розовела, словно и в ее мертвое чугунное тело понемногу возвращалась живая веселая жизнь. Когда же мне попались знакомые страницы — это были главы из «Казаков» Льва Толстого, — я зачитался, позабыв про печку. Алексей Иванович тронул меня за плечо:

— Молодой гунн. Вы еще успеете наглотаться всяческой мудрости, если наша старушка планета переживет этот ледниковый век. Но не спешите! Вспомните Экклезиаст<sup>1</sup>: «Ибо во многом познании много печали и кто умножает познание, умножает скорбь». Человек, наверно, был бы во много раз счастливее, если бы просто ковырял каменной мотыгой землю и выращивал злаки для кормления своих детенышей... Хотя... ведь и каменным топором убить можно? А?

---

<sup>1</sup> Экклезиаст — одна из книг Библии.

Оля все же слегла. Последние дни пути она, видимо, держалась на том нервном напряжении, которое заставляет совершенно обессиленного человека шагать и шагать и падать замертво уже у цели. Мы напились чаю, то есть горячей воды, съели куски жмыха, что я выменял на колечко Олиной мамы на одной из стоянок под Москвой, похлебали супа из воблы, купленной Алексеем Ивановичем. И Оля, опьянев от горячей еды, страшно ослабела.

Алексей Иванович уложил ее на тахту возле печки, где, наверное, спал сам, укутал шубой и еще какими-то одежонками и присел рядом. Его лицо стало озабоченным и печальным.

— Итак, милая царевна, вы, кажется, хотите распахиваться за комфорт международного экспреса, который привез вас в мою пустыню? Не платите слишком много. Так. Посмотрим. Ручонки вырублены из льда, а в голове пожар. Надеюсь, все же наш милый Кораблик не пойдет ко дну...

Он долго сидел молча, поглаживая восковую ручонку Оли своей огромной, жилистой, как у крестьянина, рукой. И были в этом поглаживании удивительные, почти невозможные ласковость, нежность и боль.

Печка между тем прогорела и почти остыла, живой румянец, только что окрашивавший ее бока, исчез. Куча черного бумажного пепла топорщилась в глубине. И снова холод выполз из углов, куда он отодвинулся на полчаса, сжал ледяными пальцами плечи, стал сковывать ноги.

— Н-да! — сказал Алексей Иванович, вставая. Снял очки и вопросительно посмотрел на меня.

А я сидел во власти самых тяжелых раздумий. Что же, я сделал то, что хотел; теперь, наверное, мне полагалось уйти. Но, когда я вспоминал заснеженные улицы, морозный, скрипящий под ногами снег, белые саваны, окутавшие деревья в садах и скверах, мне становилось боязно. Идти некуда. На поиски друга дяди Сергея (письмо к нему вместе с запиской Жестякова хранилось у меня в кармане гимнастерки) мог уйти целый день, и было неизвестно, жив ли вообще этот друг, в Москве ли. Я встал, достал записку капитана и молча отдал ее Алексею Ивановичу. Тот с некоторым недоумением развернул испачканный кровью лоскуток бумаги, прочитал. И снова сел.

— Я пойду, — сказал я, застегивая шинель.

— Куда?

— Не знаю.

Он опять посмотрел на Олю, погладил с тем же выражением жалости и нежности ее бессильную, прозрачную руку, глянул

еще раз на записку и осторожно, как живую, положил на стол.

— Подождите, вот что.

Он ушел в кухню и вернулся оттуда с огромным ножом в руках. У меня мелькнула страшная мысль, что он сошел с ума и хочет меня убить. И когда он, открыв дверь в соседнюю комнату, поманил меня за собой, я не пошел.

— Да идите! — сердито сопя, позвал он. — Я не собираюсь вас убивать.

Он стоял посредине комнаты. Когда-то, вероятно, она служила столовой, на стенах висели натюрморты: на фарфоровых тарелках фрукты и битая дичь. Комната была удручающе пуста, она напоминала раздетого донага человека. Оглянувшись на меня, Алексей Иванович отошел в один из углов, опустился там на колени и принялся ковырять ножом паркет. Паркет был старинный, дубовый, крепкий, в нем почти незаметно было щелей.

Поняв, что ему надо, я скинул шинель и подошел, молча взял нож. С большим трудом мне удалось выковырять первую плитку паркета, но дальше пошло легко. Достаточно было поддеть дощечку под низ, ударить по рукоятке ножа мраморным пресс-папье, которое принес Алексей Иванович, и дощечка выскакивала.

— Итак, — сказал Алексей Иванович, — атмосферные невзгоды путешественникам не страшны. — Он отошел к двери, осторожно выглянул. — Спит. — Вернулся, сел рядом со мной прямо на пол и, глядя на меня вдруг заслезившимися глазами, спросил: — Вы знаете, как он умер?

— Да.

— Гунны, гунны! — хрипло сказал он и, ткнувшись лицом в колени, беззвучно заплакал, только плечи тряслись. — Николенька... Николенька... брат...

Когда он успокоился, мы выломали еще несколько паркетных дощечек и снова затопили «буржуйку». Оля спала. Мы сидели в облаке блаженного, размягчающего тепла, оно текло по телу, как ласковый и добрый огонь. Клонило ко сну. Алексей Иванович сидел, опершись подбородком на ладони, и, глядя в огонь неподвижным взглядом, думал. Я пытался угадать, о чем думал этот странный, доживающий жизнь одинокий человек. Может быть, в его памяти проносились картины детства, когда он вместе с братишкой ходил в гимназию, устраивал нелюбимым учителям маленькие мальчишеские пакости, ухаживал за девочками, хоронил мать?

Я вышел в переднюю, где оставил у дверей Олин чемодан, и принес его в кабинет. Перед отъездом из Севастополя мы собрали в квартире Жестяковых все, что осталось после погибшего капитана: письма, документы, фотографии. Связанные

шнурками от капитанских ботинок, эти дорогие Оле реликвии лежали на самом дне. Я достал их и отдал Алексею Ивановичу.

Он ушел за письменный стол и, освободив от рукописей и чертежей место на середине стола, дрожащими руками развязал шнурки. Там, наверное, были и его собственные письма, и, может быть, письма их матери и отца, и письма красивой и грустной женщины, портрет которой висел над столом, — самое ценное, на что, несмотря на все превратности судьбы, у человека не поднимается до самой смерти рука. Старик что-то беззвучно шептал над этими бумажонками и фотографиями — они больше ни для кого в мире не имели цены.

Сколько он просидел так, не знаю: я заснул, сидя у печки, и снилось мне что-то родное и милое. Такое ощущение у меня бывало в дни раннего детства, когда я засыпал, лежа рядом с матерью, уткнувшись носом в ее грудь, защищенный ее присутствием от всех напастей и горестей, что ходили по земле.

Разбудил меня Алексей Иванович. Он стоял передо мной, задумчиво пересыпая на ладони мелкие драгоценности, оставшиеся после жены капитана: две или три пары причудливых заморских сережек, обручальное кольцо и колечки с камешками, маленький серебряный медальон. Когда Алексей Иванович открыл крышечку, из-под нее на нас глянуло молодое и смелое лицо — таким был капитан Жестяков в юности. На краю стола лежали золотые часы, те самые, которые капитан предлагал мне за помощь Оле.

— Вот что, юный гунн, — задумчиво сказал Алексей Иванович. — Пасть Сухаревки уже разинута на одну из этих дорогих мне вещей. Эквивалент какого-то количества хлеба и крупы. Я отправляюсь на поклон к этой всеядной бабище, а вы караульте пещеру.

Он выбрал из золотых и серебряных безделушек колечко и сережки, надел в рукава шубу, напялил на голову старый заячий треух. Еще раз посмотрев на спящую Олю, сказал:

— Не будите ее. Пусть спит.

У двери я остановил его:

— Почему вы называете меня гунном? Кто такие гунны?

Он странно усмехнулся, не ответив, вышел в коридор и там достал из одного из шкафов толстую, переплетенную в кожу книгу с золотым тиснением на корешке. Это был том из «Всемирной истории» Шлоссера. Полистав книгу, Алексей Иванович нашел нужное ему место, ткнул пальцем в страницу:

— Читайте. Человек должен хоть что-нибудь знать о своих предках. Заприте дверь.

И уже у самого выхода, обернувшись ко мне, спросил:

— Да! А как же ваше настоящее имя?

— Данил.

— Даниил-заточник?

Я не ответил. Мать у меня была религиозная, и благодаря этому я знал имена многих святых и подвижников. Алексей Иванович, видимо, понял мое молчание как обиду. Он потрепал меня по плечу, улыбнулся мягко и виновато:

— Ну, не сердитесь, Даниил. Если мы не станем приправлять черный хлеб нашей жизни шуткой, жить станет невозможно. Вот так.

Я запер за ним дверь на крюк и на английский замок и вернулся в кабинет. Оля спала разметавшись — в комнате стало тепло, с подоконников на пол падали капли воды, лед на стеклах посинел, стал тоньше.

Устроившись поудобнее, я принялся читать о гуннах, об их бесчеловечных и страшных набегах, об их жестокости, о том, как их орды шли по Европе, оставляя позади моря крови и горы трупов. Так вот почему этот милый и добрый старик называет меня гунном! В его представлении Красная Армия — это дикари нашего века, бич божий, порог нового варварства.

Но читать мне пришлось недолго — кто-то постучал во входную дверь. Думая, что это вернулся Алексей Иванович, я отпер замок, снял крюк. И тотчас же, не сказав ни слова, в комнату, оттолкнув меня, протиснулся человек в драной шинели и мерлушковой солдатской шапке. Давно не бритое лицо, красное от мороза и ветра, выглядело настороженным и предельно усталым, глаза смотрели с недоброй пристальностью.

Заперев за собой дверь, присловнившись к ней спиной, опуская поднятый воротник шинели, пришедший спросил:

— Жестяков жив?

— Да.

Не снимая шинели и не говоря больше ни слова, неизвестный быстро пошел в глубь квартиры, казалось, он хорошо знал расположение комнат. Я пошел следом. В кабинете он остановился, сказал: «Боже мой, тепло!» — снял шинель и, накинув ее на плечи, сел к печке, жадно протянул к огню руки. Но сидел так недолго, что-то беспокоило его, он встал, прошелся по комнате, постоял над спящей девочкой. Сказал:

— Оленька? — И измятое небритое лицо его перекошилось, словно от зубной боли. Потом постоял у стола, перебирая бумаги и фотографии покойного Жестякова, увидел предсмертную записку, прочитал и только тогда, повернувшись, посмотрел мне в лицо.

Моя шинель и буденовка лежали на диванчике у двери. Он подошел, посмотрел.

— Твое?

— Да.

— Значит, тоже вояка? Здорово мы их траханули. А? На Перекопе-то. А? Закурить есть? Чертовски давно не курил, прямо руки дрожат...

— Нет.

Я снова взял историю и принялся читать про гуннов, но они теперь уже не так занимали меня, как несколько минут назад. Что-то не нравилось мне в неожиданном посетителе,— может быть, его нервность, его беспокойство, ищущие глаза, которые перебегали с предмета на предмет и никак не могли остановиться. Я уже хотел спросить его, где он воевал, но тут проснулась Оля. Она пристально, еще сонными глазами посмотрела на незнакомца, и, словно луч света, на лицо ее набежала улыбка.

— Дядя Володя!

Он подошел к тахте, сел на край, погладил девочку по голове:

— Миленькая. Крохотуля. Давно здесь?

— Сегодня. Мы с Даней приехали. А вы, дядя Володя?

— Я? — Он секунду подумал, прищурившись. — Тоже недавно. Домой еду, в Питер, да вот захотелось повидать Алексея. Он где?

— А я не знаю.

Я оторвался от книги:

— Он пошел на какую-то Сухановку, что ли...

— На Сухаревку, наверно?

— Может быть...

Он опять погладил Олю вздрагивающей рукой по волосам:

— Осиротела, детка? Не плачь. Мы все осиротели. У меня двух братьев убили. Ты их не знала. А помнишь, как я тебя на катере катал? И ты боялась.

— Помню. Вы тогда красивый были, дядя Володя.

Он провел ладонью по щеке, бегло оглядел комнату.

— Без зеркала живет, Анахорет!<sup>1</sup> — Встал, подошел к столу, внимательно и печально посмотрел на портрет женщины. — И Юленька умерла. — Вернулся к тахте и опять сел. — Заболела, крохотуля?

— Не знаю.

— Вот уж не думал я тебя тут встретить. И очень рад. Ты тоже рада?

— Очень, дядя Володя.

Они перебрасывались коротенькими фразами, я скоро перестал слушать, перелистывая страницы книги. Атилла вел

---

<sup>1</sup> Анахорет — отшельник.

свои полчища через прекрасные города и сады Европы, сея смерть, не оставляя позади ни одной жизни. Я читал и думал, что, вероятно, всегда были на земле войны, всегда одни люди истребляли других, находя для этого тысячи способов и путей. Но, может быть, наша, только что окончившаяся война — одна из последних: ведь если не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны, нечего станет отнимать друг у друга...

Когда раздался стук в дверь, я отложил книгу, но тот, кого Оля называла дядей Володей, опередив меня, вышел в коридор. Лязгнул крюк, щелкнул замок, и голос Алексея Ивановича громко и удивленно воскликнул:

— Граббе! Краб! Живой? «Еще не все пропало, не все смел ураган насилия лихого»?!

— Ах ты, ископаемое!

Граббе сказал что-то еще, но я не расслышал что. И через несколько секунд, отвечая ему, Алексей Иванович с сомнением в голосе протянул:

— Само собой! Они сегодня приехали.

Так вот, оказывается, кто был незваный гость! Тот самый «Краб», о котором в предсмертной записке упомянул Жестяков. Теперь я совсем другими глазами смотрел на его породистое лицо, на его нервные руки. И записка Вандышева к какому-то Корожде, лежавшая у меня в кармане гимнастерки, словно зашевелилась.

Алексей Иванович принес хлеба и всякой снеди, через полчаса мы сидели возле письменного стола и ели. Оля ела нехотя и все смотрела и смотрела на Граббе. А Алексей Иванович, видимо продолжая какой-то давний спор, говорил Граббе:

— ...да, я знаю, мое дело — дорогой покойник и сам я — ненужное, ископаемое: чудакус вульгарикус. Мне уже ничего не придется строить! Знаю. Но что поделаешь, не всем дано жить и умирать героями... Да я и не представляю себе планеты, сплошь населенной героями. Вот скука была бы! А, Кораблик? Правда? — И опять повернулся к Граббе. — Сейчас бы, Володя, в горячую ванну! А? Да побриться бы!

— Зачем? — усмехнулся Граббе, потирая ладонью щеку. — Последний крик моды. Кстати, Юлин рояль ты еще не израсходовал на дрова?

— Пока нет, он — последний в очереди смертников. Только шинель накинь. Там — полюс холода...

Граббе накинул шинель и, ссутулившись, ушел в глубь квартиры, в комнату, где я еще не был. И вскоре оттуда, заглушенные двумя дверями, понеслись мощные и страстные звуки. Но играл Граббе недолго, вернулся и, потирая руки, сказал:

— Невозможно. Пальцы к клавишам примерзают. Даже реквием самому себе не доиграл...

## 7. «НАВЕРНО, ПОТОНЕТ НАШ КОРАБЛИК»

Мне очень не хотелось оставаться у Жестякова после приезда Граббе: слишком неприязненно косился на меня этот неожиданно появившийся человек. Я был убежден, что это белогвардейский офицер, избежавший плена и не успевший скрыться за границу. Я чувствовал, что мешаю, он то и дело заговаривал с Алексеем Ивановичем по-французски — я не понимал ни слова, — только иногда в летучую чужую речь врывалось знакомое: Петербург, Кронштадт, мелькали неизвестные мне фамилии и имена.

Но я знал, что мне нельзя совсем уходить отсюда, — в моей памяти жили слова Вандышева: «Нет ли там, под самым боком у Ильича, еще какого гнезда змеиногот».

Надо было как можно скорее отыскать Романа Кoroжду: записка к нему, лежавшая в кармане гимнастерки, прямо жгла мне грудь. И жалко было оставить Олю. Я привязался к ней, привык, чувствовал себя ее защитником и опорой, хотя теперь у нее и нашлось пристанище, родной человек рядом, он не оставит в беде, не даст погибнуть.

А ей становилось все хуже, она металась в жару, иногда начинала бредить, звала отца, просила бинты, плакала, жаловалась: «Болит, болит!» Я думал: а вдруг не простуда, а тиф, — могла же подцепить в пути? Эта догадка превратилась в уверенность, когда присевший рядом с Олей Алексей Иванович со страхом стряхнул что-то с ее худой восковой руки.

— Вошь, — сказал он, вставая. — Боже мой, и нельзя ее вымыть!

Граббе подошел к тахте и, заложив за спину руки, долго стоял и смотрел на девочку, на ее покрытый испариной лоб, на ручки, беспомощно и тревожно метавшиеся по одеялу.

— Да, наверно, тиф, — сказал он негромко. Посвистел. — Ах, крохотуля, крохотуля! Алексей, здесь неподалеку живет знакомый мне врач — одно время служили вместе. Правда, хирург. Но он, наверно, поможет... — И, подойдя вплотную к старику, быстро и просительно заговорил по-французски.

Я видел, что эти разговоры раздражают Алексея Ивановича, он хмурился, его седые брови сердито соединялись на переносице, он отвечал не сразу и односложно. А на этот раз сердито сказал по-русски:

— Вот что, Владимир! Я стар для таких предприятий и не имею ни малейшего желания связываться в ваши дела. Пусть две камарильи грызут друг друга сколько угодно. А я допишу свою, никому не нужную работу и умру, потому что делать мне на земле нечего... Хотя... — не договорив, посмотрел на больную, поправил одеяло...



— Но ведь это долг каждого честного русского! — дрожащими губами сказал Граббе и оглянулся на меня: я снова успел склониться над историей гуннов.

— Уж если у меня есть еще какой-нибудь долг, — ответил Алексей Иванович, — так вот он лежит...

— Хорошо. Я приведу врача, — после минутного раздумья сказал Граббе, надевая шинель.

Алексей Иванович вышел в соседнюю комнату, и там долго скрипели какие-то дверцы, шелестела бумага и ткань. Затем он вернулся с ножницами и с ворохом женской одежды: здесь были ночные сорочки и платья, какая-то жакеточка, чулки и отороченные мехом шлепанцы.

— Вот. Это Юличкино... Данил, помогите переодеть, — попросил он. — Только, наверно, надо сначала остричь. Вы умеете стричь?

— Не знаю.

Расстелив возле тахты старые газеты, мы долго и неумело стригли ножницами бредящую Олю; она обвисала у нас в руках, как неживая. Потом стащили с нее все, что на ней было надето, и осторожно вместе с газетами сунули в печь. Переодетая в не по росту большое платье, Оля выглядела еще беспомощнее, еще больше.

— У вас, Данил, тоже, наверно, водятся эти драгоценные подарки эпохи? — спросил Жестяков.

— Какие?

— Ну, вши...

— Да, есть.

— Вам надо достать талон в баню и дезкамеру. Иначе со всеми нами будет — как это? — каюк? Да... Хотя, может быть, уже и поздно... — Помедлив, добавил: — Не обижайтесь. И вообще приходите... Мне кажется, Оля к вам привязалась. И я, может быть, смогу вам чем-нибудь помочь...

Я молча оделся и ушел, сам не зная, куда и к кому пойду. Письмо, которое дал мне дядя Сергей, было адресовано Роману Гавриловичу Корожде. Отыскал я его только на следующий день, отыскал с трудом. На прежнем месте, в отряде особого назначения, он уже не работал, мне сказали, что, пожалуй, надо поискать в Чека. Но и в Чека на Лубянке его в тот день не оказалось, и никто мне не мог сказать, как скоро вернется. Адресные столы тогда в Москве не работали, найти квартиру Корожды я не мог и только попусту долго плутал по захламленным проходным дворам, по обледенным перулкам Маросейки: мне сказали, что живет он где-то в этом районе. Конечно, это было совершенно безнадежное предприятие, и, поняв это, я отправился на уже знакомый мне Курский вокзал, где и провел холодную, долгую ночь. А утром пошел

на Лубянку. Мне долго не хотели выписывать пропуск, но я упрямился и дежурного позвонить Корожде.

Он сидел, набросив на плечи кожанку, в нетопленной небольшой комнате и что-то писал левой рукой — правая у него сохла.

— Стало быть, ты от Сереги Вандышева? Все воюет дружок? Так, так. Ну, проходи, швартайся...

Роман Гаврилович оказался большим добродушным человеком, «пролетарием чистых кровей», как любил говорить он сам; он отнесся ко мне с участием и теплотой. И вечером, вымытый и остриженный, в остро пахнущей дезинфекцией одежде, я сидел в квартире Корожды за столом, на котором стояла какая-то еда.

Жена Романа, тетя Маша, была под стать ему, крупная, добрая и веселая. Их крошечная квартирка показалась мне очень уютной, хотя все в ней было самое простое, самое дешевое: и столы, и табуретки, и кровать, и самодельная детская зыбка, подвешенная по-деревенски прямо к вбитому в потолок крюку. Весело лопотал в «буржуйке» огонь, и маленький мальчик сидел на подушке перед печуркой, кутаясь в старую заплатанную курточку и глядя как завороченный в огонь.

— Ну вот, бог гостя дает,— сказала, полуобернувшись к двери, Маша, когда мы вошли, и улыбнулась добро и мило.

Эта улыбка была так неожиданна. За последние годы я насмотрелся на картины человеческих несчастий, столько слышал жалобных и злых слов. В памяти у меня часто вспыхивало когда-то прочитанное: «Несчастья делают людей эгоистами, тупыми и злыми». Я не мог вспомнить, где и когда я прочитал эти слова, но они никак не хотели уходить из памяти, они повторялись и повторялись в мозгу.

— Прходи, солдатик, проходи,— сказала тетя Маша.— Иззяб, милый? Шинелька-то на рыбьем подкладе? Ага? Вот сюда, к печке поближе... Враз отойдешь...

И через полчаса мне уже казалось, что я знаю эту маленькую семью давным-давно, такими они стали мне близкими. Коротко и косноязычно я рассказывал о своей жизни, о маме и об отце, о Подсолнышке и Оле Беженке, о маленьком родном городке и боях за Перекоп, о Севастополе, где оставил дядю Сергея.

Тетя Маша слушала, с жалостью глядя на меня, подперев ладонью щеку, а Роман пил кружку за кружкой морковный чай, и под его пышными соломенными усами влажно блестели крупные зубы. И малыш, сидевший на руках матери, в упор разглядывал меня выпуклыми, темными, как сливы, глазами.

Когда я замолчал, Роман, закуривая, сказал:

— Не панихиды служить надо. Да. Теперь мы в своем доме полные хозяева, порядочек надо наводить и чистоту. Рукава покруче засучивать — грязи много!.. Вот что... Завтра же, Данилка, подберем что-нибудь по твоей силе: людей у нас, друг мой, маловато по делам нашим...

Я остался у них ночевать — уж очень трудным представлялся мне в ту ночь путь через заснеженную, скованную лютым холодом, безлюдную, полумертвую Москву. Тетя Маша постелила мне что-то на полу рядом с печкой, под мелодично поскрипывавшей колыбелью, где спал малыш; я укрылся шинелью и подумал, что и здесь, в Москве, я нашел друзей. Перед самым сном я еще раз повторил Роману Гавриловичу рассказ о записке покойного Жестякова и о появлении в Мерзляковском переулке Граббе.

— Серега прав! Очень все может быть, — попыхивая в темноте огоньком папиросы, отозвался Роман. — Знаешь, сколько тут этих контриков в прошлые годы поразвелось — счету нет! Тут тебе и эсеры, Каплан, заговор Локкарта, «Национальный центр», и «Правый центр», и «Союз защиты родины и свободы», и «Союз возрождения»! Не перечесть! Вся эта нечисть так и норовит где-нибудь укусить, да побольнее, до самой до крови... И теперь, ясное дело, как на фронте дело их прахом пошло, снова начнут собираться по всяким углам... И ты, Данилка, присматривайся к этому Крабу, может, и вправду серьезное... А я в Чека завтра же поговорю...

Рано утром они ушли на работу: тетя Маша — на Трехгорную мануфактуру, Роман — на Лубянку. Маленького Гришутку отвезли на саночках в детский сад. Мне Роман сказал, чтобы я пришел на Лубянку после двух, — ему предстояло с кем-то обо мне переговорить.

Я пошел к Жестяковым. Как не похожа нынешняя Москва, нарядная, прекрасная, веселая, бьющая живыми ключами жизни, на Москву тех лет! Но даже и тогда, в тяжелые для всех нас годы, она поразила мое воображение. Я вышел на Красную площадь и долго, утопая в снегу, ходил вдоль кремлевских стен, стоял у Лобного места, у Исторического музея. Я вспоминал то, что знал из истории родной страны. Отсюда уходили дружины Дмитрия Донского, здесь, застыв в ужасе, мертво молчали народные толпы, окружавшие Лобное место и смотревшие на казнь Стеньки Разина. А совсем недавно, думал я, отсюда уходили на фронты гражданской войны рабочие, матросы и солдаты, уходили защищать родную землю. Тогда о Красной площади я знал мало, но, ступив на ее бесмертные камни, я вдруг как бы увидел овеществленную историю своего народа, ее глубину, необъятность подвигов, совершенных народами России...

В тот далекий день я ходил вдоль кремлевских стен, пока совершенно не окоченел, жадно всматривался в фигуры людей, выходявших и выезжавших из Кремля; мне все казалось, что вот-вот из-под красной арки ворот покажется Владимир Ильич и я увижу и узнаю его. Я отходил на другую сторону площади и оттуда подолгу смотрел на видимые за стеной окна, — может быть, вот эта скользящая по обледенелому стеклу тень — это тень Ильича.

Совершенно неожиданно, когда я уже собрался уходить, я увидел вышедших из ворот наших недавних попутчиков. Мужики вышли из ворот и остановились и, повернувшись лицом к Кремлю, сняв шапки, долго стояли и смотрели вверх. Я подошел, мне хотелось узнать, были ли они у Ильича.

— Здравствуйте.

Все трое повернулись ко мне и посмотрели на меня, не понимая, видимо, не в силах меня вспомнить. Глаза их как будто даже не видели. Не отвечая, старик надел свой потрепанный малахай и глубоко вздохнул.

— Холодно у него в горнице, вот беда! Солдат там возле дверей сидит. «Как же ты, говорю, антихристова душа, до тепла у него не топишь? Лень тебе заборину какую порушить? А?» А он мне чего? «Сам, говорит, не велит. Как всему народу, так пушай и мне». Вот. Ему бы в шапке сидеть, а то голову застудить можно. Голова-то вовсе у него голая.

— Очень даже просто, — кивнул другой.

И снова, обернувшись, они долгим взглядом разглядывали Кремль, словно хотели навсегда запомнить покрытые белым налетом изморози стены и башни. Такими они и остались в моей памяти, эти оборванные лохматые мужики, которые уносили в свои далекие, разоренные войной и голодухой деревни коснувшееся их тепло и свет ленинского сердца...

— А ведь мед и взаправду не взял! — прокричал мне старик, уже отойдя. — Ну, я тоже хитрый: я ему горшок под столом оставил. Теперь хочешь не хочешь лечись!

Я прошел по Манежной площади, где, словно хребты белых гор, громоздились сугробы, прошел по нынешней улице Герцена, где магазины все еще смотрели на прохожих слепыми квадратами витрин, заколоченных досками и закрытых шторами черного гофрированного железа. У хлебной лавчонки неподвижной серой змеей стыла очередь женщин и детишек, оборванных, голодных и несчастных.

Когда я постучал в квартиру Жестяковых, мне не сразу открыли, я долго топтался, переминался с ноги на ногу, пытаюсь согреться, прислушиваясь к тишине. И снова, как прошлый раз, с одного из верхних этажей спускалась черная сгорбленная старушка с салазками. Остановившись возле, она всмотре-

лась в меня подслеповатыми слезящимися глазами и спросила:

— Еще не помер инженер-то?

— А тебе что? — огрызнулся я.

— Помрет... обязательно помрет... — И пошла вниз, стуча полوزьями санок по каменным ступеням. — Скоро все представит на суд праведный, да святится воля его...

Открыл мне сам Жестяков, открыл не глядя и быстро пошел впереди.

В кабинете, у тахты, где лежала Оля, я увидел, кроме Граббе, еще одного человека. Даже пока он не повернулся ко мне лицом, я почувствовал в его крупной, самоуверенной фигуре знакомое, полузабытое: где-то я его встречал раньше. И, когда он выпрямился над больной, я чуть не вскрикнул: Шустов! Тот самый хирург Шустов, кого два года назад в далеком и родном для меня заволжском городке едва не расстрелял Вандышев за отказ работать в тифозном госпитале. Позже я сам лежал в этом госпитале, и там Шустов отрезал раненому красноармейцу гангренозную ногу, которую, говорят, можно было спасти. Его увели из госпиталя в Чека, но он бежал оттуда с шестью другими. И вот он где!

— Заявите, куда это у них полагается, — сердито и брезгливо сказал Шустов. — Пусть увозят в больницу.

Он стоял теперь боком ко мне, и я видел его красивый, барственный надменный профиль. Он по-прежнему был похож на Шаляпина, годы скитаний, невзгод и войны не сбили с этого человека ни высокомерия, ни барственной спеси. Так вот кто, оказывается, в друзьях у Граббе! Недаром мое сердце отказывалось ему верить.

Я стоял у двери, не зная, что делать: я боялся, что Шустов, обернувшись, узнает меня и воспоминание о том, что произошло два года назад, испугает и насторожит его.

Но он не узнал и, наверное, не мог узнать меня: тогда, в госпитале, я был худеньким пареньком, почти мальчишкой, да и прошло через его руки с тех пор, видимо, очень много людей. Он равнодушно скользнул взглядом по моей шинели и снова заговорил с Граббе и Жестяковым, уже о чем-то другом, словно перед ним и не лежала умирающая девочка.

Я взял свой узелок и вышел. А выйдя, поспешно перешел улицу и спрятался в подъезде огромного тяжелого кирпичного дома и стал ждать.

Шустов появился вскоре, и не один, а с Граббе. Одет доктор теперь был не в ту свою роскошную бобровую шубу, которую я помнил, а в жиденькое, подбитое ветром пальтецо, на голове — шапка пирожком, какие любили тогда носить адвокаты и артисты.

Я пошел следом за ними. Я ненавидел Шустова и Граббе, ненавидел острой и болезненной ненавистью, и именно эта ненависть заставила меня шагать следом за ними. У Никитских ворот в те годы была аптека, они зашли туда, — как я узнал позже, звонили в больницу относительно Оли. Потом, подняв воротники, зашагали вниз по Большой Никитской. У дома 22 остановились и, посмотрев по сторонам, скрылись в подъезде.

А я, дрожа от боли в заочевенных ногах, пошел назад, к дому Жестяковых. Алексей Иванович открыл мне, судорожно покашливая, в глазах у него блестели слезы.

— Неужели потонет наш Кораблик, Данил? — спросил он, и губы у него перекошились. — И в больнице, наверно, не смогут спасти. Да и зачем? Чтобы мучилась и проклинала жизнь? Ах, боже мой, боже мой...

## 8. НОЧНАЯ ОБЛАВА

Когда я пришел на Лубянку, Роман Гаврилович сидел над какими-то списками, сметами и ведомостями. Это и в первый раз удивило меня: мне казалось, что работа в Чека — непрерывная погоня за вооруженными врагами Советской власти, за бандитами и контриками, шпионами и диверсантами, стрельба и постоянные опасности, героизм и подвиги, о которых потом складываются легенды.

Отодвинув бумаги, Роман Гаврилович усадил меня на колченогий стул, закурил и, задумавшись, долго смотрел в заледеневшее окно. Потом задавил сигарку в консервной банке, стоявшей на столе, заговорил:

— Так вот, дорогой Данил, работать станешь у нас... Прежде всего — не спускай с этих «крабов» своего пролетарского глаза. Есть у нас в этом смысле крепкие подозрения. Д-да. А нынче ночью пойдешь со мной по другому делу. Предупреждаю: работа тяжелая и ответственная и требует...

Я перебил:

— Я, Роман Гаврилович, любую опасность...

Он усмехнулся, сквозь пушистые усы блеснули зубы, голубоватые глаза иронически прищурились.

— Нынешнее наше дело, Данил, требует от нас прежде всего любви к человеку. Да! И подвигов особенных с нас не спросят, никакого не будет геройства; ни стрельбы, ни бомб, друг, пожалуй, не предвидится. — Он помолчал, принялся складывать бумаги. — Говоришь, была у тебя сестречка?

— Да, Сашенька, Подсолнышка.

— И ежели бы не померла, что бы сейчас с ней было? А? — грустно спросил Роман. — Может, как тысячи и сотни тысяч

сирот, шаталась по улицам в отрепьях и воровала на Сухаревке да на Арбатском рынке картошку, ковырялась в помойках?.. А? Война осиротила многие тысячи девочек и мальчишек, и сколько из них уже померло голодной смертью, зачало в больницах, позамерзало на вокзалах и в поездах, напоролось на ножи во всяких воровских притонах. Счету нет! А ведь среди них, гляди-ка, были бы, может, и новые Михайлы Ломоносовы, и новые Пушкины, и бесстрашные борцы за счастье народное... А? Тяжелое досталось нам наследство. И пришло время с этим наследством кончать.

Я молчал, не зная, что ответить на это неожиданное вступление. Я вспоминал детишек с мертвыми или жадными глазами, что бродили по улицам городов и сел, шаря кругом взглядом в поисках всего, что можно было бы жевать, есть, глотать; вспоминал маленький, закутанный в материнскую шаль трупик двух- или трехлетнего ребенка, что лежал под забором у какого-то вокзала лицом к падающему нетающему снегу; вспоминал, как голодал и замерз сам.

— А на Волге,— продолжал Роман Гаврилович, болезненно жмурясь,— народ вовсе голодной смертью погибает, и нет чем ее остановить, нет чем укоротить. И оттуда опять по всем дорогам-путям течет рекой эта сиротская детвора, ищет себе кусок хлеба, пожрать ищет... Жалко. Слов нету, что поднимается в сердце...— Он тяжело вздохнул, достал кисет, закурил, окутался облаком дыма.— И вот сразу же после революции решили Владимир Ильич и наш Феликс: отнять у смерти, отнять у гибели этих детишек, эти цветы человеческие, накормить и напоить их, одеть и согреть... И чтобы снова выучились они смеяться. Потому, ежели не для человеческого добра, то для чего же тогда была революция, за что же тогда реки кровавые пролиты?.. И собрал нас тогда Феликс по Ильичеву поручению и все это высказал. Давайте, дескать, спасать детвору, это наши наследники, это те, кто после нас останутся и коммунизм построят. И они нас потом добром вспомнят. А и не вспомнят ежели — самим нам помирать с безгрешной совестью легче...

Достав из кармана большие часы, Корожда мельком взглянул на них, спрятал, потянулся к стоявшему на столе телефону.

— Яков? Ну так, значит, в двенадцать. Передай Григорьеву, его что-то на месте нет. Да. А? Да вот прихватим еще одного паренька. О грузовике позаботься... Да, думаю, будут там здоровые паханы, возможно оружие... Ну, жду. Да, на Бородинском мосту. Добро.— Положил телефонную трубку и встал.— А теперь пойдем, Данил, надо тебе талоны в столовую выправить. Жрать-то ведь надо... Карточки получишь





завтра. И вот поглядишь ночью, какая веселая у меня работенка. И какая она для детей необходимая...

На всю жизнь я запомнил тот ночной поход. И не потому запомнил, что был он опасен, а потому, что в одну ночь я увидел столько изломанных чуть не с колыбели жизней, сроднившихся с преступлениями, с той страшной ржавью, что неумолимо разъедает человеческую душу. Много лет позже, когда я смотрел «Путевку в жизнь», я как бы снова пережил ту ночь, но в кино это не было так страшно,— утешали титры, шедшие впереди фильма: режиссер такой-то, оператор такой-то, в главных ролях такие-то. Значит, игра, неправда. И те, кто не видел всего этого в действительной жизни, могли легко утешить свое вдруг затосковавшее сердце: да все это неправда, все это снято в павильонах «Мосфильма», эти люди, прожившие перед нами на экране кусок своей горькой жизни,— и Мустафа, и Свист, и Жиган, и другие,— могли в самом деле и не быть такими несчастными... А по правде, те, кого мы видели в ту ночь, были во много раз несчастнее, хотя и не понимали всего ужаса своей жизни, не могли увидеть той смертной ямы, на краю которой стояли...

В полночь мы с Романом подходили к Бородинскому мосту. Город был погружен во мрак, редко где горели уличные фонари, и, если бы не снег, трудно было бы что-нибудь разглядеть. Пока мы невадалеке от моста ждали товарищей, в серой, изодранной мешковине туч блеснул бессильный и словно провинившийся в чем-то осколочек месяца. В скользящем, тающем свете мгновенно выросли перед нами белые и серые полотнища стен, продырявленных бесчисленными черными, как могилы, отверстиями окон. Трудно, невозможно было поверить, что в глубине этих маленьких черных пропастей бьются чьи-то сердца, дышат чьи-то тела, кто-то сонно вздыхает и кто-то любит друг друга. Мертвый город, залитый мертвым светом, и только скрип снега под ногами, громкий, слышимый, кажется, за тысячи верст...

Вскоре к нам присоединилось еще двое в штатском и еще двое. Лиц я разглядеть не мог; судя по бодрым и звонким голосам, это были молодые ребята. Перекинувшись несколькими едва слышимыми словами с Романом, по два человека пошли через мост. Белый, ледяной, едва угадываемый простор реки неподвижно стыл за чугунными перилами моста, смутно вырисовывалось вдали тускло освещенное здание Киевского вокзала: там, у входов, горело два электрических фонаря. Изредка жалобно и тревожно гудели в снежной мгле паровозы.

Я шагал рядом с Романом, силясь представить, что ожидает нас там, куда мы идем сквозь эту дышащую льдом и одиночеством ночь. Спрашивать не хотелось, да, наверное, Роман

и не стал бы говорить, отделившись каким-нибудь коротеньким «увидишь сам».

Тогда я не знал ни района, ни названий улиц, по которым мы шли, мне кажется, что мы прошли с полкилометра по Большой Дорогомиловской и свернули в темный и косой переулок, потом снова еще и еще раз сворачивали куда-то.

Здесь мы шли, уже не разговаривая, никто не курил, шли, осторожно прислушиваясь к скрипу снега под ногами, к далекому лаю собак, к каждому звуку, доносившемуся со стороны.

Низенькое двухэтажное здание возникло перед нами словно из небытия; здесь, у стены, нас поджидали ушедшие вперед товарищи. Едва различимая черная труба втыкалась в снежное небо. По этой трубе угадывалась либо прачечная, либо баня. Назавтра я узнал, что это действительно была баня, в нее «загоняли» для дезинфекции и помывки приехавших на Киевский вокзал с воинскими эшелонами. Кочегаром в бане работал ее бывший владелец с весомым купецким именем, какие любил давать своим героям Островский: не то какой-то Пров Силыч, не то Сила Титыч, что ли. Позже, на следствии, он показывал, что он уступал кочегарку на ночь ворами и безпризорным, боясь их угроз, — кто знает, может быть, это была правда, а может, его прельщала та жалкая мзда, которой ему платили за теплый ночлег: кусок хлеба, шепоть махорки, стакан мутного, добытого на Сухаревке самогона...

Корожда негромко свистнул, и почти тотчас же из темноты, из-за угла, вынырнула низенькая мальчишеская фигура в кацавейке и треухе с болтающимися ушами, лица совсем не видно, только глаза блестели, словно осколки стекла.

— Как? — спросил Роман.

— Человек сорок.

— Может, подождать — еще набегут?

— Кто знает. Конечно, еще и по вокзалам и по домам промышляют...

— Ладно. Подождем еще час.

Мы ушли на Киевский вокзал и от нечего делать бродили там среди вповалку спящих беспокойным сном людей. Спали солдаты с давно не бритыми, словно вырубленными из серого грязного камня лицами, с огромными, как лапти, мужицкими и рабочими руками, спали женщины, прижимая к себе узлы и детишек, спали девушки, с худенькими красивыми лицами, спали бородатые мужики, намертво стиснув котомки и узлы. А между спящими то и дело мелькали темные, шустрые тени: это охотились за ночной добычей беспризорные — воришки. Мы задержали троих и отвели в дежурную с тем, чтобы завтра их отправили в детприемник.

— А-а-а! — устало махнул рукой небритый красноглазый

дежурный.— Все равно через день здесь будут. Их же теперь как вшей!

Через час мы вернулись к бане. В подвал, в кочегарку, можно было проникнуть через дверь по каменной лестнице и через окно, куда сгружали дрова и уголь. Оставив у окна и двери по два человека, мы стали осторожно спускаться. За железной дверью глухо гомонили голоса, кто-то мурлыкал песню, в узенькую, как лезвие, щель пробивался тусклый, едва различимый свет.

— Яша, ты пока здесь. Григорьев, Данил, за мной!

Корожда осторожно открыл ржаво запевшую дверь, мы перешагнули высокий порог и остановились, разглядывая открывшуюся нам тонущую в дыму картину.

Длинный сводчатый подвал, неровный желобчатый потолок, пересеченный впаянными в него ржавыми рельсами. Несколько огромных, покрытых ржавчиной чугунных котлов: в них подогревалась вода. Почти у самой двери, рядом с топкой, котел поменьше: над его огромной и сейчас закрытой дверцей тускло блестели круглый стеклянный глаз манометра и стеклянные трубки водомеров. От этого котла с десятков труб шло в глубь подвала к другим котлам: по ним подавался горячий пар, нагревающий воду. Толстые, как бревна, трубы ползли по полу, тянулись по стенам, уходили в бетонный, исполосованный рельсами потолок. Все это едва просматривалось в жалком свете, источник которого сразу было трудно найти. Слева, у низкого и широкого окна, сейчас закрытого железной ставней, громоздились беспорядочно наваленные кучи дров, из щелей вокруг ставни врывались в подвал белые струи морозного пара. Вдоль котлов сидели и лежали люди в отрепьях, из слитного шума голосов иногда вырывалось какое-нибудь громко сказанное слово. Между котлами и возле них спали люди, положив под голову березовое полено или какой-нибудь узел. Было душно, как в бане.

Через минуту я рассмотрел, откуда сочился в эту душную, пропахшую потом и нищетой тьму робкий, трепещущий свет. В десятке шагов от нас сидело кружком несколько оборванцев; на стоявшем рядом чурбаке в пустой консервной жестянке теплились три или четыре тоненьких восковых огарка, видимо украденные где-то в церкви. Когда кто-нибудь из сидящих взмахивал рукой, трепетный свет кидался в сторону, словно хотел убежать, тени игроков металась по стенам и потолку. Мальчишки играли в карты.

На нас никто не обращал внимания, каждый был занят своим. В глубине, между котлами, горело еще одно такое же примитивное самодельное паникадило, там трое ребят и одна девочка что-то ели, черпая по очереди корками хлеба из кон-

сервной банки. Кто-то бормотал во сне, кто-то стонал. Это напоминало вокзалы, где я две последние ночи ночевал.

Я не представлял, что же мы будем здесь делать, что мы можем сказать этим мальчишкам и девчушкам, одетым в лохмотья, с испитыми, худыми и уже тронутыми пороком лицами. В глубине души поднималась щемящая, не знающая границ жалость к этим полурастоптанным маленьким человеческим жизням; большинство из них, вероятно, были сиротами, и, может быть, не у одного из них отец сложил голову под беляцкой шашкой или вражеской пулей. И, словно они были только что сказаны, в моей памяти прозвучали слова: «Ежели не для человеческого добра, то для чего же тогда была революция, за что же тогда кровавые реки пролиты?.. Отнять у смерти, отнять у гибели этих детишек, эти цветы человеческие, накормить и напоить их, одеть и согреть. И чтобы снова выучились они смеяться...» Так, кажется, сказал Корожда.

Мы долго стояли молча. Лица детей, изможденные, серые, словно присыпанные пеплом, казались бы мертвыми, если бы их не искажал азарт игры. Старые, засаленные карты падали с глухим и тупым стуком на ящик, заменявший стол, в шапке лежали скомканные деньги — банк.

Корожда осторожно переступил через чьи-то ноги, но в этот момент кто-то крикнул в дальнем углу:

— Ребята! Кажись, Васька Лапоть помер!

Игроки оторвались от карт, один из них, парень лет четырнадцати, с измятым, поцарапанным, но когда-то, наверное, красивым и живым лицом, встал, прошел в угол, откуда кричали, сказал на ходу:

— Туда ему, задохлику, и дорога... Где он тут? — Это был один из главарей этого бездомного мальчишеского братства. Наклонившись, он потрогал, потряс лежавшего на полу. — Жмурик! Все ждал, дурачок, мамка за ним придет. Вот и пришла.

Мы стояли у двери и молча смотрели, как двое ребят по команде поцарапанного парня поволокли умершего и положили возле топки.

— Колеса надо снять, хотя и рваные. Сгодятся, — негромко сказал один. — Все равно Тит сымет... — И, присев на корточки, принялся стаскивать с мертвого ботинки.

Как потом оказалось, в ночлежке это была не первая смерть, и Тит, чтобы избежать неприятностей, просто-напросто засовывал трупы в топку, закладывал дровами и сжигал. «Не возить же мне эту пададь на Ваганьково!» — так цинично и нагло усмехался он на следствии, когда Корожда спрашивал его, как у него поднималась на такое дело рука. Вообще это был законченный мерзавец; про таких принято говорить: негде

пробу ставить. Толстый, несмотря на царившую кругом голодуху, красногубый, с веселыми и наглыми глазами.

— Мне бы, дорогой товарищ, ежели по справедливости,— усмехался он,— памятник бы поставить, благодарность бы от Советской власти за такое дело. Сколько голодранцев я за зиму от холодной смерти спас — не сосчитать... А если и умер кто, так без меня он куда раньше бы загнулся...

Подробности выяснились только на следующий день, а тогда мы стояли у самой двери и, стиснув зубы, смотрели. Разув мертвого, ребята обшарили его карманы.

— Чего табачишко пропадать будет...

В карманах умершего оказались какие-то бечевочки, пустой флакончик и несколько разноцветных стеклышек: он, этот маленький человечек, прибранный смертью, был еще настолько ребенок, что ему еще надо было во что-то играть...

Роман зажег фонарик и, наклонившись над телом, открыл лицо, крошечное, с заострившимися, птичьими чертами, давно не мытое. Глаза закрылись не совсем: маленькие тусклые серпики белков виднелись из-под неплотно сжатых век, казалось, малыш подмигивает.

Роман Гаврилович оглянулся на меня:

— Видал?

В подвале между тем наступила тишина, все смотрели в сторону дверей, где ползал по стенам и по полу круг света. Исцарапанный парень неожиданно сильным ударом сбил жестянку со свечами и прыгнул к окну с криком:

— Лягаши!

— погоди, Серый! — обернулся Корожда. — Там ходу нет. погоди, поговорить надо...

Он сделал несколько неторопливых шагов и посветил прямо в лицо парню, и тот, ослепленный, беспомощно топтался возле кучи дров, сваленных у окна, и криво улыбался.

Оказалось, что полгода или год назад Серов, или, как его звали «свои», Серый, уже побывал в руках у Романа, попав в одну из облав на вокзале, и был направлен в колонию. Но и в колониях тогда жилось и голодно, и холодно, — бежал, «ушел».

Роман Гаврилович посветил фонариком во все стороны — отовсюду смотрели испуганные и недружелюбные лица: мы для этих бездомных мальчишек и девчонок были «лягашами». Кое-кто стал пробираться поближе к двери и окну, но Корожда предупредил:

— Вот что, ребята... снаружи — и у двери, и у окошка — стоят наши, уйти отсюда никому не дадим. Через полчаса придут машины, поедете начинать жизнь заново... Неужели же каждому из вас хочется помереть вот так, как умер

этот Васятка Лапоть? Не поверю... Оденем вас и обуем...

— И запрете в кичман? — крикнули из темного угла.

— Если будете убегать — обязательно запрем... Мы хотим, чтобы вы стали людьми...

Кто-то свистнул и длинно матерно выругался...

— Это и я умею,— вздохнул Роман.— Когда в матросах служил, мы не такие пули отливали. Хочешь, отолью? А вообще, черт с вами, не стану я вас уговаривать. Неохота, да и пользы в том нету. Я вот хочу Серому несколько сказать... Я ведь к тебе в колонию, Серов, приезжал... Когда отправили тебя, я, как и договорились, стал наводить справки о твоём батке. Ну, дело это трудное, такая кругом неразбериха... Но мне удалось узнать...

По испарпанному лицу парня прошла тень, глаза заблестели остро и пыливо. Но он ничего не спросил.

— Так вот, дорогой мой Серый, был бы жив твой батка, и вся твоя житуха, наверно, пошла бы по-другому, потому что был он настоящий человек... О матери ничего не узнал, видно, погибла твоя мать... Много людей погибло за эти годы... А вот про отца...

Многие ребяташки подвинулись ближе.

— Был твой батка, Серов, самый настоящий, подлинный коммунист и жизни своей за революцию не пожалел... Было это в шестнадцатом году, когда только еще готовилось вооруженное восстание... Для восстания нужно было оружие. Батка твой и еще двое с ним везли для сибирских товарищей это оружие. И то ли какая сволочь выдала, то ли просто по несчастному случаю — схватили их. Ссадили с поезда. И тут же, возле самой насыпи, раздели, а мороз был градусов сорок. И тут же, поморозив, и убили их на краю открытой могилы. И, когда собрались они стрелять, тут Серов и крикнул: «Погодите, палачи! Есть у меня Витька. Он с вами поживается за мою жизнь!» Вот и поглядел бы он теперь на тебя. А? И сказал бы: «Разве за то я свою молодую жизнь отдал, чтобы Витька стал вором?» А? Стыдно, Серый, перед памятью батки твоего мертвого стыдно. И мне за тебя стыдно...

Сунув фонарь за борт шинели, достав кисет, Роман Гаврилович принялся, ни на кого не глядя, сворачивать одной рукой папироску, чиркнул зажигалкой, прикурил. Потом, вскинув взгляд, протянул кисет Серову:

— Кури...

И тут напряженная тишина взорвалась истерическим криком:

— Врешь! Врешь ты все! Дешевка! Купить хочешь! — кричал, чуть не бросаясь на Корожду, Серов.— Все вы продажники, лягаши!

Мне казалось, что он не выдержит и обязательно бросится на Романа Гавриловича. Тот продолжал молча, задумчиво курить.

— Ладно,— сказал он, когда Серов замолчал, размазывая по щекам неожиданные слезы.— Вот приедем, я тебе документы покажу...

Снаружи затарахтел мотор, в дверь выглянул оставшийся снаружи Яша.

— Прибыли, Роман Гаврилович.

— Ну, пошли... А ну давай, братва, выходи. Да смотрите без озорства чтобы.

Беспризорников погрузили в две крытые автомашины и увезли, а мы с Романом остались в подвале: надо было дожидаться «хозяина» этой «гостиницы» и отправить в морг труп Лаптя.

Москва тех лет была наводнена беспризорниками, и такие облавы, как я только что описал, устраивались каждую ночь. Дети распределялись в основном по подмосковным колониям, но при первой возможности бежали оттуда на «волю»: таких колоний, как у Антона Семеновича Макаренко, которые будили в ребятах любовь к труду, были единицы, а бездомных детишек — десятки и десятки тысяч. В воровских притонах и ночлежках дети становились помощниками старых воров — рецидивистов, становились стремщиками и домушниками, приучались курить и пить спиртное, то, что можно было достать; приучались нюхать кокаин, постигали тонкости блатного ремесла. Своеобразное соревнование в лихости, дерзости и бесшабашности, своеобразная воровская романтика, презрение и к своей и к чужой жизни, жестокий воровской «закон» — все это прокладывало прямую дорогу к преступлениям, к дракам и поножовщине.

Это были, наверное, самые трудные и горькие страницы из того, что пережила в те годы наша разрушенная войной страна.

Поздно вечером на следующий день, когда я сидел в комнате, где работал Корожда, туда зашел Дзержинский. Я до этого еще ни разу не видел его. Юношески стройный, тонкий и высокий, в накинутаой на плечи длинной кавалерийской шинели, он вошел стремительно, посмотрел на пустые столы, подошел к Корожде, поздоровался за руку, протянул руку и мне,— внимательно и пытливо глянули на меня умные, глубокие глаза.

— Наверно, Костров? — спросил он, задерживая на мгновение мою руку.

— Он самый, Феликс Эдмундович,— ответил Корожда, а я смутился и ничего не сказал и только молча смотрел.

Дзержинский устало присел на край стола.

— Закурить есть, Гаврилович?

— Есть, есть, Феликс Эдмундович,— заторопился Корожда, доставая кисет.— Самосад.

Они закуривали, а я смотрел на тонкие нервные руки Дзержинского, на его пышные легкие волосы, на глубокую морщинку, вертикально разрубившую лоб.

— Да,— вздохнул он.— Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и восстания, Роман Гаврилович... Очень длинной. И конца им пока не видно. Хорошо, что пролетариат выделил для работы в Чека лучших своих сынов.— Он встал, потянулся.— И неудивительно, что враги так бешено ненавидят нас: их ненависть вполне заслужена нами. Можно гордиться ею, можно гордиться нашими героями и мучениками, погибшими в борьбе... Ну, желаю успеха. Как у тебя, Данил, с жильем? Карточки ему выдали, Гаврилович?

— Все сделано, Эдмундович, не беспокойтесь...

Когда Дзержинский ушел, Роман Гаврилович долго смотрел на дверь, потом усмехнулся.

— Это у нас называется докторский обход...

В те дни чекистов на Лубянке было немного, человек сто — сто двадцать, не больше. Матросы, как Корожда, одетые в засаленные, прожженные бушлаты и кожаные куртки; солдаты с глазами, в которых, казалось, застыл ужас войны, рабочие с черными от металла и машинного масла руками, с лицами, обожженными у топок и вагранок, одна или две женщины в простеньких пальтишках и платочках. Я сталкивался с этими людьми в коридорах и в коридорах же натывался на тех, кого вели с допроса или на допрос, задержанных спекулянтов и контриков,— все еще тянулась тайная война, все еще были люди, которые верили, что Советская власть вот-вот падет... Эти шли, посверкивая злыми глазами, старательно запахивая полы дорогих шуб или чиновничьих и офицерских шинелей, дрожа губами, вытирая пот. За ними сзади шагал какой-нибудь молоденький солдатик, и винтовка с примкнутым штыком караулила сзади шаги задержанного...

В тот вечер Роман мне рассказывал о Дзержинском, которого на Лубянке за глаза звали Отцом, звали даже те, кто был значительно старше его. Одиннадцать лет провел Феликс Эдмундович в тюрьмах, на каторге и в ссылке, и из последней тюрьмы в феврале семнадцатого его освободили московские рабочие. Были у Железного Феликса жена и сын, родившийся в одной из камер Варшавской цитадели.

Много лет спустя я случайно натолкнулся на томик писем Дзержинского из тюрьмы жене, томик этот и сейчас лежит у меня на столе. И в часы, когда стучатся в сердце воспоми-



нения, когда нахлынут раздумья или сомнения, я люблю перелистывать этот томик, и в скупых и чистых строчках, написанных когда-то Дзержинским в тюремной одиночке, я всегда нахожу поддержку и успокоение. Он писал о сыне:

«Не тепличным цветком должен быть Ясь. Он должен обладать всей диалектикой чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды, во имя идеи. Он должен в душе обладать святыней более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям... Он должен понять, что и у тебя, и у всех окружающих, к которым он привязан, которых любит, есть возлюбленная святыня, сильнее любви к ребенку, любви к нему, источником которой является и он, и любовь, и привязанность к нему. Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным приказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть»... Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий, возвышенный гимн красоты, правды и счастья...»

И хотя я видел Дзержинского всего несколько раз и всегда вот так, мельком, я никогда не забуду этого удивительного, ясного и мужественного человека.

## 9. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Утром я снова пошел к Жестяковым. В моей памяти, словно выжженные огнем, горели слова Дзержинского.

Дверь открыл Алексей Иванович, седой, всклокоченный, в наброшенной на плечи шубе.

— А-а-а-а! Ну, проходите, проходите в мою пещеру, воин... Что-то вас не видно. Порядки, поди-ка, наводите на завоеванной земле? Да?

В комнате холодно, на стеклах окон — ледяная кора. Тахта, где спала Оля, пуста, только ворох одежды да развернутая большая книга — на страницах летают пестрые тропические бабочки. На столе в беспорядке — листы чертежей. Алексей Иванович, видимо, работал, хотя и считал свою работу бесполезной по тому времени и ненужной. Я тогда уже знал, что он инженер-энергетик, что по его проектам построены две или три электростанции. Но с самого начала войны он ничего не строил.

— Как вы? — спросил он.

Я рассказал ему о ночной облаве, рассказал про бесплатное кормление детей, на что тратились в те годы десятки миллионов золотых рублей.

— Так-так,— протянул Алексей Иванович.— А Кораблик наш...

— Что с ней? Жива?

— Пока... Все мы пока живы... Только прозрачная стала, как вазочка хрустальная...

Я шел к Жестякову с надеждой, что он позволит мне жить у него, но, увидев в пепельнице нервно смятые окурки Граббе, решил, что не стоит об этом говорить: не выйдет. Да и не насторожит ли это Граббе?

Сидя у Жестякова, глядя на его воспаленное болезненное лицо с синеватыми мешками под глазами, на негнувшиеся от холода руки, я вспомнил о крошечном клочке бумаги, приклеенном на двери: «сдается угол», в том самом доме, куда в прошлый раз вошли Шустов и Граббе. Если удастся снять этот «угол», я, может быть, окажусь еще ближе к тому «змеиному гнезду», которое занимало теперь все мои мысли.

— Вы почему же не топите, Алексей Иванович? Или уже весь паркет сожгли? — спросил я, глядя, как он старательно укутывает ноги обрывками старого одеяла.

— Паркет? — переспросил он, словно возвращаясь откуда-то издалека.— Жалко. А вдруг Кораблик снова причалит к моим одиноким берегам? А вы? Как вы с жильем? Устроились?

— Да, да...

Я попрощался, ушел. На Большой Никитской в доме № 22 объявление о сдаче угла все так же белело на двери. Я вошел в холодный, промерзлый коридор. Что-то, гремя, обрушилось под моими руками, и в ответ на этот грохот впереди обозначился светлый четырехугольник двери. Темный силуэт человека вырисовался на пороге, негромкий тенорок спросил:

— Кто тут? Проходите поближе, а то со свету не видать ничего.

Я подошел. Человек с длинным худым иконописным лицом, со светлыми волосами, схваченными, по обычаю мастеровых, ремешком. Поверх черной косоворотки — меховой жилет.

— Насчет угла? — переспросил он.— Это вот у соседа, у дворника... Ферапонтыч!

Из-за облезлой двери, с которой свешивались лохмотья войлока, никто не ответил, железная скоба на двери белела инеем.

— Должно, на промысле старый, на Сухаревку ударился... Где же еще ему и быть? Да вы войдите, служивый, погрейтесь, подождите, авось вот-вот явится. По нынешнему-то климату много не набегаешь... Осерчал господь...

В большой квадратной комнате по всем стенам висели

столярные инструменты: фуганки, рубанки, шерхебели; за перекладинами сверкала сталь долот и стамесок, на деревянных штырях висели деревянные и железные струбцины. Маленький верстачок прижался в углу под заледенелым окном. Рядом с печкой-голландкой висел, колыхался ситцевый полог, за ним угадывалась кровать, а левее печки в углу над чисто выструганным столом висели, темнели иконы.

Хозяин мне понравился: в нем было добродушие, издавна свойственное рабочему человеку, ремесленнику. Он подвинул мне поближе к печке табуретку, смахнул с нее опилки и пыль.

— Садись, служивый. Отвоевался, стало быть? Не глядя, что молодой. А мне вот не довелось, на ногу я негож: ступня, говорят, плоская. Ну и бог с ней, ежели плоская... Я не больно-то до нее охочий, до войны... Кипяточку согреть? А?

Он собрал возле верстака стружек, подкинул в печку, весело заиграло пламя.

— Раньше-то больше колыбели да кровати двуспальные ремесленничать доводилось, а теперь вот гробами живем. (Я только тут заметил рядом с верстаком крошечную крышку детского гроба.) Кому смерть, кому хлеба кусок. Так-то мы вообще по театральному делу всю жизнь столярим да плотничаем. И отец мой, и я, и сын... Да театры-то теперь тоже не больно кормят. Только что доску и сопрешь от великой нужды... Совестно, конечно, и грех, а чего сделаешь? — Безостановочно говоря, он споро и быстро двигался по комнате, налил из ведра в чайник воды, поставил на вделанную в печку плиту. — Никак не думать было, что и эту зиму перешагнем, а вот... идет... Пришлось, однако, хлебнуть горяшка-то? Что же, у тебя никого в Москве, видно, нету, ежели угол снимать думаешь?

Я коротко рассказал ему о себе. Он сидел, вздыхал, тербил реденькую светлую бородку, иногда подбрасывал в печурку горсть стружек. Потом он рассказывал о Большом театре, где работал вместе с отцом с мальчишеских лет. Для меня театр тогда был совершенно неведомым, таинственным миром: что ж, мне и довелось-то в те мои годы видеть только что ярмарочные балаганы в моем родном заштатном городке. А Степан Петрович рассказывал о театре своеобразно, интересно, он видел его как бы изнутри, видел и наблюдал его изнанку. Когда заговорил о Шаляпине и Собинове, чуть не заплакал от умиления.

— А Федор-то Иваныч, — певуче говорил он, — однажды мне целую четвертную дал. Ни за чего, просто так. Идет это со сцены во всем царском и сам чуть не плачет. А тут я на встречу. Он мне: «Ну, братец, видел?» А я хотя и не больно-то видел: «Как же, говорю, Федор Иваныч, видел». — «Вот



то-то!» — говорит и без других слов полез в карман под царскую ризу свою и: «На тебе, помни, говорит, кто такой Шалыпин»... А четвертная в те годы — деньги! Корову купить можно...

Когда я, так и не дождавшись в тот раз своего нового квартирного хозяина, собрался уходить, Степан Петрович, осторожно поглядев на дверь, негромко сказал:

— Только ты смотри, парень... он, Ферапонтыч-то, немного того, — и покрутил возле лба пальцем. — Иногда вроде на него стих такой тяжелый находит... Покойники ему мерещатся. Ну, ты не принимай во внимание, он старик смирный...

Мне хотелось узнать, к кому же в этот дом ходит Граббе и здесь ли живет Шустов. Я осторожно спросил Петровича, кто еще живет в этом подъезде.

— Да ведь как сказать,— пожал он плечами.— Разный народ. Семь пар чистых да семь нечистых — так, что ли, определить. Раньше-то мундиры всякие чиновные носили да шляпы со страусовыми перьями, а теперь по одежке-то не больно и поймешь. Конечно, кто побогаче да познатнее, кому советская власть вроде пятой ноги собаке, те убрались, по всяким заграницам, поди-ка, пасутся... А кто и остался — сермяжечкой какой свое звание прикрыл и живет себе, притаился... Мне по моему ремеслу раньше приходилось захаживать: то полки для книг поставишь, то дверь или там окно подстрогаешь, а нынче книгами большие печки топят, не говоря о полках... Осторожно живет народишко, только что нужда из нор и гонит... А так — тоже люди, можно сказать, человеки...

Я попрощался, сказал, что зайду в тот же день попозже, так как ночевать по вокзалам не хотелось, а идти было некуда.

— Приходи, приходи,— сказал столяр, провожая меня.— И к нам заходи, со старухой тебя познакомлю, с сыном, он у меня парень тоже ремесленный, талант, так и поет доска у него под рукой, все равно как птица...

Тем же вечером я снова пришел в этот дом, набродившись по улицам до того, что подкашивались ноги, намерзшись так, что не мог говорить...

Дверь мне открыл огромный, давно не стриженный старик; в глазах у него действительно скользила какая-то безуминка. Глаза были большие и светлые, словно налитые холодной водой, но все время испуганно вздрагивали и хотели оглянуться, как будто боялись кого-то притаившегося сзади. Седая борода во всю грудь, седые длинные волосы, которые старик расчесывал прямо пятерней, крупный, нависающий над ртом нос, беспокойные, всегда чего-то ищущие руки.

Старик оглядел меня с подозрением и поначалу даже не хотел пускать в свое жилье, видимо, смущала его и моя шинель, и буденовка, а ими я тогда особенно гордился.

— Кого тебе? — грубо, но с некоторым испугом спросил он, загораживая своей тушей дверь.— Тут твоего ничего не потеряно.

— Я по объявлению. Насчет угла, дедушка. Жить совсем негде.

— Сирота, что ли? — с недоверием спросил старик, неподвижно стоя в дверях.

— Ага.

— Воевал, что ли? — Ферапонтыч показал глазами на мою буденовку.

И я соврал: повинуюсь какому-то предчувствию, отказался от имени, которым дорожил.

— Нет, дедушка,— сказал я.— Это мне в детприемнике выдали.

— Каком еще приемнике?

— Ну вот, куда беспризорных определяют.

— Вон что! — Он еще некоторое время недоверчиво разглядывал меня, но лицо его постепенно успокаивалось, глаза наполнялись покоем.— Работает?

— Ага.— И опять солгал: — На вокзале дрова разгружае.

— И карточки есть?

— Есть.

Старик отступил два шага в глубь комнаты, и я вошел следом, спустившись на три каменные ступеньки. Пахло сыростью, плесенью, еле-еле тлел огонек в глубине жестяной, на низеньких ножках печурки. Широченная деревянная кровать занимала передний угол, возле кровати стоял табурет и на нем — большая икона: Георгий Победоносец, сидя на коне, пронзает копьём извивающегося под копытами змея. А внизу иконы приклеена длинная бумажная полоска, на которой написано от руки печатными буквами: «Да воскреснет бох и растучатся врази иго». В другом углу стоял овальный, на резных ножках старинный столик и за ним — широкая деревянная лавка.

— Тут спать станешь! — Старик ткнул волосатым пальцем в скамью.— И платить чтобы не деньгами, а чего поесть...— Он тяжело сел на свою неприбранную, похожую на берлогу кровать и снова принялся рассматривать меня.— Крещеный аль из жидов?

— Крещеный.

— То-то и оно! — непонятно отозвался старик.

Я снял шинель, накинул ее на плечи, постоял над печкой, стараясь поймать еле ощутимое струящееся от нее тепло. И мне уже хотелось уйти: все здесь было неприятно и неудобно. Но где-то в этом доме, возможно, ютились заговорщики, готовившиеся поднять на революцию руку. «Проживу»,— решил я, присматриваясь к хозяину. Он сидел, тяжело ссутулившись, сунув между колен огромные руки. Глаза под седыми опущенными бровями погасли, губы едва заметно шевелились,— видимо, он, как многие одинокие люди, привык говорить сам с собой.

— Раньше-то у меня пес был,— сказал старик, не подни-

мая глаз.— Рэксом звали, по-благородному. Наверно, съел кто. Поймали и съели. Знать бы такое дело — сам бы съел, по мясу живот вот как соскучился.

В тот день я получил по карточкам хлеб на четыре дня — двести граммов — и пару маленьких ржавых селедок. Я развернул свой жалкий узелок, присел к столу:

— Давайте ужинать, дедушка.

Ферапонтыч тяжело поднял голову, с изумлением посмотрел на меня, брови его странно шевелились и ползли вверх. Он встал с постели, подошел, постоял возле стола, посмотрел, потрогал пальцем селедку.

— Получил?

— Да. Сегодня выдали.

Старик в раздумье почесал под бородой.

— А ежели выпить? Хочешь? — неожиданно спросил он.

На Южном фронте мне несколько раз приходилось пробовать самогон. Память благодарно хранила ощущение тепла, которое разливалось по всему телу от глотка этой обжигающей, отвратительно пахнувшей жидкости. И так я намерзся за последние дни, что, глотнув слюну, молча кивнул.

— Самогон? — спросил я минутой позже.

— Зачем — самогон? Самого Шустова коньяк знаменитейший.

Я посмотрел на Ферапонтыча с удивлением, и он пояснил:

— Это тут один господин бывший торгует. Дом товарищам отказать пришлось, а погребок-то притаил. Там у него на десять лет припасено. Каждый день бутылку на Сухаревку носит — живет как у Христа за пазухой...

Встав на колени перед своей необъятной кроватью, старик сунул руку в дальний угол и вынул оттуда фасонную бутылку с яркой посеребренной этикеткой — в ней янтарно играло вино.

— Ежели ты ко мне с душой, — сказал старик, посмотрев на селедки, — то и я не волк. Вот только посудинка у меня одна и та церковного роду-племени. — Он взял с подоконника синенькую стеклянную лампадку. — Из нее пить — и греха вроде поменьше...

## 10. «ОНИ! БОЛЬШЕ НЕКОМУ!»

Странной и неправдоподобной запомнилась мне та первая, проведенная у Ферапонтыча ночь, — словно видел я ее в каком-то кривом, ускользающем от воспоминания сне. Сидели мы у стола. Под низким, давно не беленым, запаутиненным потолком горела, то чуть ярче, то совсем потухая, угольная

электрическая лампочка; с нее, наверное, никто и никогда не стирал пыль. Потом, ближе к полночи, и она погасла, из всех углов к столу поползли тени, шершавые и лохматые.

Я опьянел от первого же глотка коньяку — слишком уж долго я голодал, — и все кругом мне стало казаться милее и проще. И старый, бородастый великан Ферапонтыч с его светлыми, испуганно ожидающими чего-то глазами и заросшей седыми волосами грудью, и мое прошлое, и мой завтрашний день. «Вот, — говорил я сам себе, — ехал ты, Данилка, в Москву, в такой чужой и огромный город, где пересекаются и переплетаются сотни тысяч и миллионы человеческих жизней, и казалось тебе, что так легко затеряться здесь и погибнуть «и никто не узнает, где могила твоя». А оказывается, здесь, как и везде, много хороших, сердечных людей. Роман Гаврилович, тетя Маша, старый инженер Жестяков, столяр из Большого театра и вот этот могучий и странный человек, который, наверно, одним ударом кулака мог бы убить лошадь». Я чувствовал пьяное умиление и расположение ко всему на свете.

Когда погасла лампочка, Ферапонтыч испуганно повернулся к двери и, торопливо пошарив по подоконнику ладонью, чиркнул зажигалкой, зажег тоненькую восковую свечку. Трепетный лепесток пламени повис в воздухе, освещая прикрывавшую его изрезанную глубокими морщинами ладонь. И, не смотря на то что дверь была заперта на большой кованый крюк и железный засов, Ферапонтыч со свечой в руке подошел к двери и еще раз ощупал запоры. Потом вернулся к столу, сел. Был он порядком пьян, — видимо, выпил еще до моего появления в его берлоге, и все время одолевало его непонятное мне беспокойство.

Я помнил предупреждение Петровича, что дворник иногда бывает «не в себе». Теперь я объяснял это просто: наверное, старик частенько прикладывается к бутылке — отсюда и странности его и чудачества...

Несмотря на опьянение, я понимал, что старику не надо рассказывать о себе правду: уж больно неприязненно косился он на мой красноармейский шлем. К счастью, мне и не приходилось много рассказывать, — Ферапонтыч почти все время говорил сам, говорил бессвязно и путано, перескакивая с одного на другое, и как будто и не заботился совсем, слушаю ли я. Я даже подумал, что, наверное, когда был жив Рэкс, старик вот так же разговаривал с ним, а когда пса съели, он мог часами разговаривать со своей тенью, со стенами, с жалким пламенем, доживающим свою короткую жизнь в черной пасти жестяной колченогой печурки. Когда Ферапонтыч замолкал, в подвальной, заплесневелой тишине его жилья продолжали свою ненужную жизнь только криво повешенные над кроватью



ходики, с жестяной дощечки которых неподвижно смотрело в тьму ненавистное мне узкое, с холеной бородкой лицо последнего Романова.

— Почему вы, дедушка, не замажете его чем-нибудь? — спросил я в одну из пауз.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, словно прицеливаясь, потом оглянулся на ходики.

— Государь. Помазанник! — сказал он, подняв заскорузлый палец. — И потом: ежели так — часы встанут. Обязательно встанут! А без часов дворнику как? Вдруг комендантский час или другое что?

Подумав, он еще раз оглянулся на ходики и снова принялся рассказывать о детстве: оно было, вероятно, самой счастливой порой его жизни...

— Еще любил я, помню, на самой на заре, поутру, в небо глядеть. Ночуешь это, бывало, где-нибудь на стогу, а на заре тебя словно кто толкнет в бок: гляди! Ну и глядишь в небо и будто летишь в него, и нету ему ни дна, ни края. И птицы поют. И сеном еще пахнет, будто в бочок с медом глядишь... И облака, словно перины пуховые или подушки из девкиного какого приданого, розовым вышитые, так и плывут и плывут. И думаю я: поди-ка, спят на них ангелы божии и всё глядят на землю, глядят и стерегут... Жену-то, Нютку, толкну в бок: проснись ты, погляди, небо какое, а она разлепит зенки, зевнет и опять свое: спи! Не любил я ее, не лежала душа...

Я слушал глухой этот полупьяный шепот, сосал селедочные кости, чужая исповедь текла, не касаясь моего сердца, ничего в нем не будя. Мне хотелось спать, я облокачивался на руку и смотрел на пламя свечи. В его неярком, качающемся свете мне виделись картины моего собственного детства, полуншего и больного, возникали и гасли дорогие мне лица, видимые уже неясно, стертые временем и расстоянием.

— Спишь? — спросил меня Ферапонтыч. — Ну и спи, шут с тобой.

Он встал, тяжело шагая, прошел к кровати, достал из-под нее топор, положил на табурет возле иконы, снова нагнулся и неожиданно для меня достал еще бутылку.

— Спи! — сказал он, возвращаясь к столу. — Ежели что, я тебя разбуду. А мне никак нельзя спать, они всё лезут и лезут, душат и душат. Я ведь, по правде, почему и угол сдаю, — не могу я один всю ночь от них отбиваться, ни сил, ни сердца моего нету.

Я прилег на скамью, вытянув вдоль стены ноги, укрылся шинелью. Ферапонтыч принес мне еще какую-то дерюжку. И сел рядом на скамью, поближе к столу, касаясь моих колен своим тяжелым и странно горячим телом. Налил себе еще

лампадку вина, посмотрел сквозь нее на свет свечи и сразу опрокинул себе в горло, гулко глотнув. И снова заговорил. Его слова едва пробивались к моему сознанию сквозь пелену охватывающего меня сна. А Ферапонтыч все больше пьянел, все несвязнее и непонятнее становилась его заплетающаяся речь.

— ...Потому я ее и жизни решил. И сердце не дрогнуло, словно свинью к пасхе зарезал... В суде спрашивают: «Да как же ты так?» А я говорю: «А чего же ее жалеть, ежели в ней никакого человеческого понятия нету, ежели она вроде травы?» Строгие все, очкастые, у самого главного полеты золотом насквозь шитые... и губы дудочкой... Все приставал: то скажи, это скажи... «Да пошел, говорю, ты куда подальше, я одному богу ответчик... Виноватый я разве, что рука у меня такая смертельная? Может, я ее только попугать хотел?»

Хмельной сон навалился на меня, все качалось и плыло кругом, будто лежал я не на грубой деревянной скамье в каменной подвальной келье, а плыл на каком-то корабле и дарусами над ним летели пышные, вышитые розовым облачка. Потом снилась облава в бане за Бородинским мостом, и какая-то девочка с лицом Оли все просилась: «К маме хочу...»

Проснулся я от сильного толчка в бок, вскинулся и сразу сел, шинель сползла с лавки и упала на пол.

— Вставай! Они! — шепотом приказал мне, глядя безумными глазами на дверь, стоявший рядом со скамьей Ферапонтыч. — Слышишь, по двери шарят? Больше некому быть...

Догорала на столе свечка, стояла вторая пустая бутылка. Сам Ферапонтыч, сжимая обеими руками засаленное топорище, бесшумно, звериными шагами подкрался к двери, приник к ней ухом.

— Они! Больше некому! — И оглянулся на меня налитыми кровью глазами. — Каждую ночь приходят. — Он долго стоял и, склонив голову, напряженно вслушивался в почти могильную подвальную тишину. Потом облегченно вздохнул и опустил сверкнувший отточенным лезвием топор. — Теперь ушли. — Вытер мокрый лоб, вернулся к моей скамейке, устало сел рядом. — Ты, парень, живи со мной. И платы никакой чтобы. Даром живи. А?

— Хорошо, Ферапонтыч.

— Ну и спасибо. Спасибо. Теперь и я спать — ушли! Спи... Светёт скоро...

Снова засыпая, я думал, что, наверное, есть у старика какие-то страшные кровные враги, желающие и ждущие его смерти, — иначе чем же можно объяснить животный ночной страх, совершенно изнуравший это громадное жилистое тело,

заставлявший его дрожать и метаться в поисках спасительного угла...

А утром, когда уже в окно подвала пробился холодный снежный свет, произошла неожиданная встреча.

Ферапонтыч спал на своей необъятной кровати, широко расставив ноги в подшитых валенках, выставив вверх седую бороду, когда в дверь негромко, но требовательно постучали. И хотя всего несколько часов назад Ферапонтыч был чрезвычайно пьян, он сейчас же поднялся — настолько могучее это было тело. Накинув на плечи шубняк — в подвале стало очень холодно, — старик подошел к двери, спросил:

— Кто?

— Открой! — негромко отозвался мужской голос.

Я укрывшись с головой шинелью, оставив щелку, чтобы рассмотреть того, кто пришел. И до чего же я был удивлен, когда это оказался Шустов, собственной барской персоной. Войдя, он глянул в угол, где спал я, спросил:

— Кто?

— Постояльца пустил. Спит.

Шустов достал из бокового кармана небольшой запечатанный конверт, протянул старику:

— Адрес не забыл?

— Помню, — хмуро кивнул дворник.

— На словах еще скажешь: «Марья Ивановна ждет гостей с подарками». Понял?

— Чего не понять, — по-прежнему хмуро протянул старик, не беря письма. — Только... уволили бы вы меня, Аркадий Полыныч, от всех этих дел. Моя жизнь на земле незаконченная, и ежели вам своей не жалко...

— Не болтай! — Шустов сунул в руки дворнику конверт, и его высокомерное лицо тронула брезгливая и недобрая усмешка. — Тебе, старик, другой дороги нет. Сам знаешь... Значит, так: «Марья Ивановна ждет гостей с подарками». Запомнил? Вечером зайду... Да истопи у меня, не позабудь. Холод собачий.

— Истоплю.

Стараясь ступать неслышно, Шустов подошел к лавке, где спал я, осторожно приподнял край шинели. Я плотно прикрыл веки и чуть слышно посапывал. Не знаю, с каким выражением рассматривал он меня, узнал ли, почудилось ли ему что-нибудь знакомое, но он недовольно хмыкнул, шинель коснулась моего лица, и через полминуты тупо хлопнула обитая войлоком дверь.

Когда я снова открыл глаза, Ферапонтыч стоял посреди комнаты и с опаской и тревогой разглядывал конверт, держа его на отлете, как держат змею.

— Сгореть бы вам всем, привязались! — пробормотал, оглянувшись на меня, и сунул конверт под бороду, за пазуху. — Чего же дрыхнешь-то? Сам говорил: на работу...

— А нынче эшелон придет только к обеду. К обеду велели...

— Ну ладно, давай-ка чай с селедными костями пить, больше пока нечего... Хотел было нынче на Сухаревку податься, ан товарищи вроде прикрыли ее, навовсе прикрыли: дескать, одни на ней спекулянты и воры... Теперь по другим толкунам промышлять придется...

Из-под своей необъятной кровати Ферапонтыч набрал небольшую охапку дров и ушел куда-то, а вернувшись, растопил печурку, искоса с тревогой поглядывая на меня. Причины этой тревоги я понял позже, когда мы уже сидели за столом.

— Я, поди-ка, тут ночью-то по пьяному делу болтал чего? — спросил он, наливая кипяток в ту самую лампадку, из которой мы пили вчера коньяк. — Года, что ли, в том виноватые, сны меня темные начисто одолели... Вот уж какой год каждая ночь — мука чистая. И ежели выпью да не усну — тоже все мерещится и мерещится...

— А чего же мерещится, дедушка?

— Разное тяжелое — сердцу прямо непереносимое. — Он помолчал, подул в лампадку с кипятком. — Видишь ли, парень, когда я молодой был, жену свою из ревности побил, нестерпимо она меня обидела. А она возьми да помри. И вредная же, скажу, баба была — страсть... И даже не жалко: сколько бы она за жизнь нашего брата, мужиков, переела — не счесть... Ну и дали мне по тогдашнему закону полным ведром, то есть сказать — веревку... — Лампадка скользнула у него из пальцев и чуть не упала, кипяток потек по заскорузлым пальцам: Ферапонтыч как будто и не чувствовал боли. Выплеснул остатки кипятка на раскаленный бок печурки, белая струя пара, шипя, рванулась вверх. Протянул лампадку мне. — Пей...

— Ну и потом? — несмело спросил я.

— Ну не вышло мне тогда помереть, замену мне сделали. А глядишь, и лучше бы... и снов бы таких не было, и топора бы не надо. — Он покосился на кровать: из-под свесившегося с нее тряпья, словно чей-то острый глаз, требовательно посверкивало лезвие.

Дворник встал, кряжистый, широкоспинный; стоя лицом в пустой угол, истово перекрестился, повернулся ко мне.

— Ты приходи, парень. Так и будем жить, ты да я... Ты не бойся, я смирный, у меня сердце вовсе окаменелое. Может, я и выпить еще принесу. Придешь?

— Приду.

— Вот и добро. Ключ-то я во рванье на двери у самого порога засовываю. Пойдем, покажу...

Когда я несколькими часами позже рассказал Роману Гавриловичу о своих новых знакомых, он долго хмурился, чесал затылок.

— Да, конечно... Опять какое-то черное гнездо поближе к Кремлю вьют, гады. В самое сердце хотят клюнуть... Конечно, Шустова этого забрать можно, не сложность. Раз в Чека сидел да бежал — есть основания. Но тут тогда и все дела. Все, значит, ниточки порвутся, и гнездо, глядишь, так и останется... А их надо всех прищучить.— Сворачивая папироску, Роман Гаврилович подумал, глядя то в стол, то мимо меня, в окно.— И уходить тебе оттуда, Данил, нельзя. Потерпи, поживи, сам же чувствуешь, недоброе там... И пугать их до поры не стоит, рвать надо так, чтобы корней не осталось... Все сначала до тонкости узнать надо. Какая это у них Марья Ивановна? Что за подарки? Если, конечно, сумеешь...

Я молчал. Очень уж не хотелось мне жить в одной комнатухе с Ферапонтычем; я вспоминал, как он разбудил меня ночью, как страшно прыгало отражение свечи в лезвии топора, который он держал, стоя возле меня. Убивать меня ему, конечно, было незачем. Но ведь, если он и в самом деле безумен или нападает на него какие-то припадки,— что с него спросишь. Зарубит, и все.

— Сумею ли, Роман Гаврилович? — неуверенно отозвался я на его вопросительное молчание.

— Надо суметь... Помнишь, что Феликс Эдмундович говорил? То-то! Это же просто счастливый случай, что сама жизнь тебя на них нанесла, на это вражье гнездо... Ты сам посуди, сколько от них беды, сколько самой дорогой крови ими уже пролито. Убили Урицкого, в Леонтьевском переулке в прошлом году одной бомбой сколько настоящих людей побили да поранили... В самого Ильича два раза били, первый раз спасибо Платтен заслонил, второй раз Каплан стреляла. А сколько мы погасили замыслов, сколько мы оторвали черных рук, не дав им дотянуться до Кремля,— счета нет... И вот теперь... Да они бы, наверно, ничего не пожалели, если бы могли достать до Ильича. Много сейчас их по Москве таится да прячется, ищут ходы, готовят на нас смерть... А сколько нашего брата, рядового коммуниста, побито по всей стране — разве сочтешь? Постреляно из-за углов, замучено?... Эх, Данька, Данька... Ну ладно, это дело не нам решать. Опиши все это, как оно есть, я передам. Там и решат...

В этот вечер я пошел с Романом Гавриловичем к нему на квартиру: очень уж хотелось посидеть среди своих, не чувствуя ни неприязни, ни опасности, хотелось отдохнуть душой...

В тесной комнатке, как всегда по вечерам, топилась печурка, тетя Маша варила какую-то похлебку, маленький Гришутка сидел на подушке возле печки и со взрослой задумчивостью смотрел в огонь. Тетя Маша неподдельно обрадовалась мне, словно я и в самом деле был для нее родным.

— Проходите, проходите,— засмеялась она.— Я сейчас вас щами со свининой кормить буду. А? Вот бы небось обрадовались: сколько лет не едали!

Роман Гаврилович был задумчив, по его большому лицу ходили тучи. Он посадил Гришутку себе на колени и поглаживал его по головенке своей широкой доброй рукой.

— Да, Данил, не миновать тебе жить там,— сказал он, когда я часа через два собрался уходить.— Только знаешь что... придется тебе другую амуницию доставать. Уж больно шинелишка да буденовка... Чего их дразнить? Через это таиться от тебя станут. И ты с этим стариком прежде всего дружись, тем более — пьет. Пьяный-то и мать и отца за косушку, бывает, продаст... А поймать их надо, ой как надо! В Питере да в Кронштадте опять гады шевелятся...

## 11. КОНТРАСТЫ

Так я на несколько месяцев поселился в логове Ивана Ферапонтовича Бусоева и только много позже узнал, что это было не настоящее его имя.

Первое время он пугал меня своими ночными страхами и выходками, топором, который каждую ночь клал перед стоявшей на табуретке иконой, пугал своим лютым животным страхом. Было что-то заразительное, гипнотизирующее в ужасе, который охватывал его по ночам, его страх передавался мне, хотя, казалось, мне нечего и некого бояться: временами у меня тоже начинали дрожать колени и я отчетливо слышал крадущиеся шаги за крепко запертой дверью, осторожные прикосновения чьих-то рук, тяжелое ожидающее дыхание... Потом немного привык, успокоился и старался успокоить и своего бородатого хозяина, но это мне никогда не удавалось. Я только все больше убеждался в том, что в прошлом дворника жила какая-то темная, тяжелая тайна, за что полагалось возмездие. Шороха приближающихся шагов этого возмездия и пугался он по ночам. Когда позже я узнал о нем все, я невольно съезжился от одного воспоминания, что жил рядом с ним, пил из одной лампадки и ел из одной миски...

Страх все больше овладевал Ферапонтычем, доводил его по ночам чуть не до припадков, и только присутствие рядом живого человека успокаивало его, помогало пережить ночь.

Позже я удивлялся: как он мог вообще жить с тем грузом в душе, который сам взвалил на себя,— насколько проще было покончить с собой. Но, видимо, чем ближе человек к последнему черному порогу, тем труднее замахнуться на остаток жизни, тем яростнее цепляется он за оставшееся ему. В молодости это кажется довольно простым.

Я продолжал пристально следить за всем, что делается в доме, надеясь, что случай даст мне возможность узнать подробности жизни Шустова, Граббе и таинственной Марьи Ивановны с ее «подарками». Не об оружии ли шла речь? Из слов Ферапонтыча я уже знал, что на третьем этаже нашего дома когда-то жила женщина, которая была родственницей винозаводчика Шустова. В ее-то квартире теперь и жил по старой памяти один из его племянников, «мой» хирург, и его жена. Ферапонтыч, однако, не любил рассказывать об этой семье.

Ходил я теперь не в шинели, хотя мне трудно было расставаться с ней даже на время. Утешало то, что она висела на вешалке в квартире Корожды и, приходя к ним, я всегда мог прикоснуться к этому кусочку моего дорогого прошлого. Роман Гаврилович достал мне на складе Чека невзрачный, но теплый пиджак, шапку-ушанку, старенькие, подшитые валенки. Ферапонтычу я сказал, что променял шинель, потому что в ней неудобно и холодно работать.

Старик относился ко мне со все растущим доверием, я был необходим ему в ночные часы,— так же, вероятно, как раньше был необходим Рэкс, как было необходимо присутствие любого живого, дышащего существа. По вечерам мы пили с ним морковный чай, частенько он доставал водки или коньяку, но напиться до бесчувствия, до самозабвения никогда не мог, любое количество вина было бессильно свалить это огромное, словно вытесанное из каменной глыбы тело.

— Раньше-то я пятерик свободно каждой рукой подымал,— сказал он мне как-то.— И жену-то убил по нечаянности: ударил раз — и нет ее. Тяжелая у меня рука, смертельная.

По вечерам я иногда заходил к Петровичу, познакомился с его женой, маленькой, темнолицей, суетливой женщиной, с его сыном, парнем чуть постарше меня, тоже и столяром и слесарем, без конца мастерившим что-то на продажу у маленького верстачка в углу. Это был русский, спокойный, неразговорчивый парень с удивительно живыми руками, похожими скорее на руки музыканта или скульптора, нежели на руки мастерового. Он выпививал какие-то шкатулочки, украшал их красивыми узорами из цветной соломки, делал портсигары, чинил замки, мастерил зажигалки. Я очень любил сидеть рядом с ним и смотреть на его умные, талантливые руки.

Однажды Петрович сказал мне:

— Бросал бы ты, Данил, свою нынешнюю работу. Шел бы к нам в мастерскую. А? Обучу я тебя настоящему, доподлинному делу... Какой ни голод, какой ни холод, а театр наш живет. И будет жить. Вчера «Жизель» играли, завтра «Бориса». И будет у тебя на всю жизнь в руках дело, и напоит, и накормит, и оденет. И вообще, скажу я тебе, несчастный тот человек, у кого ни к чему таланта нет, самый несчастный... И руки ему вроде ни к чему, и голова...

И как-то я зашел с Петровичем в их мастерскую. Столярка театра помещалась тогда в просторном подвальном помещении, наполовину заваленном материалом, досками, брусьями, фанерой. Вдоль стен громоздились незаконченные декорации или декорации, ждущие ремонта. Меня поразило это зрелище, словно я попал в разрушенный землетрясением город, где жили одновременно люди всех стран и времен, — так противоречиво казалось скопление разных по стилю вещей и строений: раскрашенных под мрамор дворцовых лестниц и бревенчатых изб, разделанных под камень и мрамор колонн, причудливых беседок и куполов церквей, облупившихся часовенок и величественных замков и колоколен.

— Глядишь? — с гордостью усмехнулся Петрович. — Теперь это что! Прах и запустение. А поглядел бы ты раньше, до войны, какая здесь жизнь играла! Одних мастеров первого класса сколько работало, не считая подручных да подмастерьев... И в живописной тож, и в мебельной... Теперь одни старики и остались, да и те счетом... Видишь, сколько верстаков осиротело. Ровно покойники непохороненные...

Я прошелся по мастерской, заглянул в смежный зал, где была мебельная. В причудливом беспорядке здесь были свалены столы и стулья всех эпох, от дощатого некрашеного деревенского стола до позолоченных, на витых ножках стульев эпохи всяческих Людовиков, затейливые пуфы и гнутые, с лебедиными спинками скамьи, безногие статуи и монументы, троны и колыбели...

— Тут и вовсе никого не осталось, один Николай Прохорыч по старой памяти ходит. И пайка ему уж давать не хотят: дескать, ненужная вовсе стала твоя должность. И то: новой-то мебели не делают, да и ремонта не больно требуют, все еще старым добром живем. Декораций-то да мебели знаешь сколько тут запасено? На сорок, а то и на полсотни спектаклей... А теперь и нам дела тоже не больно много. Ну и приходится не только столлярничать, а и всякую там ремонтную мелочь строгать. Там, глядишь, дверь перевесить, там в зале стулья поломали, там истопникам поможешь... Одно время, слышь, хотели дров перестать театру давать: дескать, кому эти все



Жизели надобные? Буржуям? Не топить театры, дескать, сами холодом погибаем, школы стоят чуть тепленькие... А Ильич будто сказал: топить. Пусть хотя и немного, а топить, и пусть теперь и рабочий человек на Жизелей глядит. Довольно, дескать, ему под ноги себе, в землю глядеть... Душа, Данил, от театра вот как возвышается, будто крылья ей приделаны.

Петрович осторожно и ласково, словно живое существо, погладил стоявший в самом углу верстак.

— Осиротел? — спросил он негромко и со вздохом повернулся ко мне. — Тут дружок мой без малого полвека стоял, Фомичев Лука, мастер первейшей руки. Вчера схоронили, с голодухи да с горя высох, внучонка у него деникинцы убили, светленький такой мальчоночка был...

С тех пор, когда выдавался у меня час-другой свободного времени, я любил заходить к Петровичу в театр, и воспоминание о том времени навсегда врезано в мою память: именно там я впервые увидел человека, к которому так требовательно, так жадно тянулось мое сердце. В декабре 1920 года в Большом театре на VIII съезде Советов выступал Ильич...

Я любил бродить по театру, в путанице и лабиринте декораций, среди пахнущих клеем и краской полотнищ, забирался на колосники, откуда, словно оснастка сказочного судна, свешивались веревки и тросы, где пахло пылью и мышами. Стоя на краю сцены, у самой рампы, я смотрел в пустой и потому пугающий, похожий на омут зал.

Несколько раз попадал я в театр и во время репетиций и, робко прижавшись за кулисами, всматривался в ход чужой, таинственной жизни. В театре топили мало, да и, наверное, невозможно было тогда натопить такую махину. Актеры и актрисы репетировали в шубах и пальто, оркестранты мерзли в глубоком провале оркестровой ямы, многие сидели в шапках. И все-таки, несмотря на заношенную одежду и холод, несмотря на голодные, истощенные лица, эти люди делали свое дело с почтительной торжественностью, словно приносили жертву требовательному и любимому божеству. С какой бережностью, с какой нежностью прикасались музыканты к своим инструментам, к скрипкам и флейтам, к виолончелям и гобоям, как осторожно перелистывали нотные тетради! Да, какой это был далекий от меня, незнакомый мир...

Часто бывал я у Алексея Ивановича Жестякова, и он, чудаковатый, как многие одинокие старики, нравился мне все больше и больше, хотя я и не понимал, как в наше грозное, накаленное время можно устраняться от участия в бегущих мимо событиях, от борьбы с холодом и голодом, с разрухой

и недобитыми врагами. Желание как можно пристальнее рассмотреть одного из них, Владимира Федоровича Граббе, тоже толкало меня к дому Жестякова, — Граббе поселился у него. Да и судьба маленького Кораблика, как называл Жестяков Олю, беспокоила и пугала меня.

К счастью, у Оли оказался не тиф, а воспаление легких; через десять дней кризис миновал, и нам с Алексеем Ивановичем разрешили навестить ее. Не буду описывать Боткинскую больницу тех дней, по самые окна занесенную снегом, с кривыми тропинками, тонувшими в горах снега, обледеневшую, безрадостную.

Перед посещением больницы Алексей Иванович продал еще одну из Олиных безделушек, и мы явились в больницу с гостинцами: несколько кусков сахара, тянучки, ломтик украинского сала, несколько подмороженных яблок, хлеб.

Если Оля и до болезни была так худая, что на нее жалко было смотреть, то теперь от нее остались только косточки, туго обтянутые прозрачной кожей; худые ручонки стали похожи на щепки. В раздевалке нам дали какое-то подобие халатов, мы накинули их поверх пальто и долго бродили по коридорам и палатам, пока нашли Олю. Кровать ее стояла в углу, отодвинутая на четверть метра от холодной, промерзшей стены; поверх серого солдатского одеяла девочка покрылась своей шубенкой. Укрытая до самого подбородка, она смотрела на нас сияющими глазами, холодный пар вырывался из ее рта.

— Вы? Пришли? И Данил тоже?..

— А как же, Кораблик! — с наигранной бодростью воскликнул Алексей Иванович. — И если ты думаешь, что сия представительная делегация явилась с пустыми руками, ты глубоко ошибаешься, дорогая... Во-первых, вот, во-вторых, вот и, в-третьих, вот... — Развязав узелок, Алексей Иванович доставал оттуда то, что мы принесли. — Эти роскошные дары земли, Кораблик, обладают чудеснейшими качествами: они немедленно исцеляют маленьких принцесс от черных хворей...

С соседней койки на нас во все глаза смотрела девочка младше Оли года на три, на четыре, тоже наголо остриженная и тоже худая до невозможности.

— Сахар... — сказала она чуть слышно. — И хлебушек белый.

— Это Шура, — сказала Оля и посмотрела на лежавшие на одеяле «богатства». — Она мне два раза свой чай отдавала... — И с просьбой посмотрела на Алексея Ивановича.

— Ну конечно, конечно, Кораблик, — засуетился тот, отводя в сторону вздрагивающий взгляд. — Конечно, поделись с Шурой. Она же твоя подружка...

— Ага. И потом — у меня же много...

— Да, да, Оленька. А завтра я опять приду... И каждый день буду ходить...

— А я думала, что вы забыли меня...

— Ну! Неужели ты всерьез считаешь своих друзей способными на такое черное предательство? Не могу поверить! Нет! Нас просто не пускали. Там такой чербер охраняет этот ледяной замок — ужас! И вооружен он таким страшным оружием, как метла! О!

Худенькими пальчиками Оля разломилла хлеб, взяла два кусочка сахара и протянула Шуре. Та с робким недоверием посмотрела на Олину руку, на сахар, потом перевела взгляд на Алексея Ивановича, будто боясь, что он ударит по протянутой к ней руке. Но Жестяков сказал:

— Бери, бери, деточка... А к тебе мама приходит?

— У меня маму трамвай зарезал...— С голодной и стыдливой жадностью Шура принялась кусать хлеб и глотать его, не жуя, потом так же по-зверушечьи быстро и жадно грызла сахар.— Раньше мы чай всегда с сахаром пили,— сказала она, подбирая с одеяла крошки.— У меня мама всегда-всегда покупала...

— А папа? — спросил Алексей Иванович.— Ты сама ешь, Оленька, ешь, Кораблик... А папа?

— А папа как ушел на войну, так и убили...

Мы посидели и ушли с тяжелым сердцем: это была еще одна грустная страница той поры нашей неналаженной, неустроенной жизни. Оля прощалась с нами, с трудом сдерживая слезы.

— Мне Шуру жалко,— прошептала она, когда я наклонился, прощаясь с ней.— И еще: домой хочется...

Я не понял, что она разумела тогда под «домом»: далекое ли свое севастопольское жилье или комнату в Мерзляковском переулке, где ее окончательно свалила болезнь. Я ушел, унося в памяти нестерпимое мерцание ее больших доверчивых глаз, ее детскую незащищенность и беспомощность...

И Алексей Иванович вышел из больницы в необычайном для него настроении: его шутовское, чуточку ироническое отношение ко всему происходящему уступило место грустному и вопросительному недоумению. Он шагал, прикрывая рот воротником шубы, внимательно поглядывая по сторонам, словно впервые видел длинные очереди у хлебных лавок, ободранных за годы войны, изможденных людей, занесенные снегом улицы. Заговаривал, не обращаясь ко мне, а думая вслух, вглядываясь во что-то далекое и, может быть, даже мертвое.

— Да и было ли все это: Париж, зеленый, шумный, по-хорошему легкомысленный Париж, и споры о будущем, и надежды, милые, смешные юношеские надежды! Споры о судьбах

мира. И первый проект, и первая моя электростанция? Было ли? А теперь приходится подышать, и даже Кораблику не в силах помочь... Каменный век! Ледниковый период! И кому могут быть нужны теперь электростанции и все, чему я отдал свою глупую и беспокойную жизнь? Кому?

Оглянувшись на меня, он смущенно покашлял и тут же прижал к губам воротник шубы, — теперь я уже не мог разобирать слов.

У самого дома Алексей Иванович предложил мне:

— А знаете, Данил, давайте пойдемте посидим вместе, что-то так у меня безрадостно на душе... Одиночество и в молодости непереносимо, а уж вот так, на закате, оно... — И не договорил.

Мы выдрали с десятков паркетных плиток и истопили «буржуйку», накормили огнем это ненасытное, ласково урчащее чудовище, и холод отодвинулся, прижался в углах, к заиндеветым стенам, ожидая часа своего торжества. Белели на столе чертежи и страницы рукописи. Алексей Иванович постоял над ними, потрогал рукой.

— А может, действительно одна спасенная детская жизнь неизмеримо важнее всего? А? — И повернулся ко мне. — Так вы прочитали историю гуннов?

— Да.

— Она научила вас чему-нибудь?

И тут, словно во мне что-то прорвалось, я впервые заговорил с этим седым стариком как равный с равным, заговорил о своей жизни, о тысячах смертей, которые видел, об отце и матери, о боях под Каховкой и Перекопом, о том, как сумасшедшая моя мамка принесла в уком и положила на стол перед Вандышевым мертвенькую Подсолнышку, о том, как умерла Джемма, как беляки убили отца, убили Петра Максимилиановича. Все мои прошлые боли и все прошлые радости вырвались на свободу, мне было важно убедить этого старого чудака в чем-то самом сокровенном.

— Я мало учился, — уже не в силах остановиться, говорил я. — Я не умею хорошо говорить, я не умею насмехаться, как вы... Вот вы дали мне про гуннов... И только когда прочитал, я понял, что это Красную Армию вы называете гуннами. А ведь это же неправда, неправда! Гунны — они, белые и буржуи. Они отняли у рабочего все, что можно отнять...

Я теперь думаю, что я наговорил тогда немало глупостей, наговорил много такого, над чем и сам сейчас посмеялся бы. Да и что я мог противопоставить этому человеку с его эрудицией, с его Парижем и Ниццей, с его иронией?.. И может быть, он не стал бы и слушать меня, если бы за моими словами не стоял в тот вечер образ Кораблика, образ маленькой сиротки,

нуждающейся в милосердии и доброте взрослых, не стоял образ тех сотен беспризорных, которых я помог за эти недели Роману Гавриловичу отправить в детприемники и колонии, помог вернуть к жизни...

Я задыхался от слов: они жгли мне сердце, я захлебывался от невыплаканных когда-то слез, снова и снова, но в тысячу раз острее переживал то, что уже пережил раньше.

## 12. «ПОСЛЕДНЕЕ МЫЛО»

В этот вечер я вернулся домой поздно, и мне пришлось долго барабанить в неподвижную, словно мертвую, дверь. Я даже подумал: не пойти ли к Петровичу, — он всегда встречал меня приветливо, и, когда я однажды рассказал ему о ночных страхах Ферапонтыча, он сказал: «А ты, если не выдержишь, приходи и вот на лавке и спи. Места не пролежишь».

Но тогда я еще не знал всех подробностей о прошлом Бусоева, мне иногда становилось по-человечески жалко его, я представлял себе, как он сидит один в едва освещенной своей конуре, сжимая запотевшими руками топор и прислушиваясь к шорохам в коридоре. Прошмыгнула мышь, где-то отворилась и затворилась дверь, проскрипели под окном торопливые шаги — все это тайло для него неясную, но, как казалось ему, смертельную угрозу.

Я постучал еще раз, и после короткого молчания голос Ферапонтыча за дверью спросил:

— Кто?

— Я это, Ферапонтыч, Данил.

Да, так все оно и было, как я предполагал: и топор в руке, и потный лоб, и почти пустая бутылка на столе. Я уже и тогда начал удивляться: откуда одинокий и бедный старик достает водку и коньяк, чем он платит за непомерно дорогие по тому времени продукты. И только позже мне все стало понятно...

— Ты, парень? Ну вот и добро. А то мне что-то снова неужется. И сна нету. Ежели бы днем, пошел бы куда на людях потолкаться. А ночью куда пойдешь? — Склонив голову набок, прислушался к тишине за дверью, потом подошел к своей постели, положил под иконой на табуретку топор. Вернулся к столу, взял бутылку, посмотрел сквозь нее на свет. — Мало. Ну да ты ведь и не любишь, только добро переводишь, не в коня корм. — Он налил себе в неизменную лампадку немного вина и задумался, глядя в стол. — А я нынче в церкву ходил... Нынче же день у меня памятный... Как раз в этот день я свою Анютку жизни решил, а с того и пошли, значит, все мои беды. И вчера за полночь, как уснул, приснилась она. Платишко на



ней ситцевое, синее, в цветочках в беленьких, босая, а на голове веноч, из ромашек сплетенный: так у нас на селе девки любили выражаться... И вот будто вошла она сюда, и ходит, и ко всему пальчиком касается, и все тихо так, потайно посмеивается, словно уж больно ей смешно все это видеть. Притрется пальчиком и сразу отдернет, словно обожжется, и опять ходит и смеется совсем неслышно... Потом села вот тут, где ты, и спрашивает: «А за чего же, Ваня, ты меня убил? Я ведь ничем тебе не виноватая...»

Несколько дней назад я принес себе пустую консервную банку, она стояла рядом с чайником на печке. Я налил уже остывшего кипятку, выпил. Ферапонтыч по-прежнему смотрел в стол. Руки его, как и всегда, были спрятаны под столом. Я уже и раньше заметил у него эту привычку, он словно боялся своих рук и всегда прятал их: под столом, в карманах полушубка, иногда и дома целыми днями сидел не снимая рукавиц, из которых во все стороны торчали в дыры лохмотья собачьей шерсти... «Рука у меня тяжелая, смертельная», — вспомнились мне его слова.

Сегодня у него было тяжелое настроение, ему хотелось облегчить душу разговором, рассказом о прошлом, о несправедливостях и горестях, которые выпали на его долю.

Пил он коньяк маленькими глотками, ничем не закусывая — нечем было, только иногда запивал глотком воды, подливая ее из чайника.

— Вот так, значит, она и спрашивает. «Нет, говорю, Нютка, ты мне вот как виноватая». Не подвернись она мне в тот час, и никакого, глядишь, зла в моей жизни и не было бы, жил бы, как все, землю пахал, сеял, по осени косил да молотил, все как у людей... А знаешь ты, парень, какая это радость землю обихаживать, никакой другой радости больше этой на земле нету. Будто родная она тебе, земля, будто это дитя твое кровное, кусок от тебя самого... Здесь, в городе, душно жить, — каменный лес! И люди тут как звери, стенами друг от дружки на всю жизнь отгороженные, не могут друг к дружке сердцем прислониться... А там — ширь, покой и каждый человек словно на ладонке... И кто как живет, с чем нынче щи у шабров<sup>1</sup> варят, какие сны завтра кто увидит — все каждому известно, нет там никакой тайности... Ну да вот не пришлось мне: за силу, поди-ка, мою и наказал меня бог... Я ведь ужасно какой силы в молодых годах был, никого против меня... И в хозяйстве тоже, весь в отца пошел. В молодое-то время, когда я еще в парнях хороводился, папаня мой до трех сотен десятин каждый год подымал, могутной же мужичище был, прямо сказать — медведь...

— Вы, значит, кулаками были? — спросил я и пожалел о том, что спросил: с такой острой и трезвой ненавистью блеснули светлые, прозрачные глаза.

— «Кулаки!» — презрительно и с надменной гордостью передразнил он. — Да ежели хочешь знать, такими, как мой батяня, русская земля и сыта все века была. Самостоятельные хозяева — вот кто, а не какие там кулаки. Это нынче рвань да голь придумала: кулаки-мулаки! Не-е-ет! Ты, парень, ума еще своего не нажил, вот и повторяешь за другими, за городскими... «Кулаки!» Да ежели бы не они, Россия вся бы давным-давно голодом подохла, вся бы на мазарках<sup>2</sup> лежала, не осталось бы в ней никакого дыхания. Как города испокон веков на купцах стоят, так и деревня на сильном мужике держится... Отыми у него силу, отыми землю — и все, пропала Россия... Вот ты гляди, что тут в белокаменной-то без купца идет, какая жизнь, ровно на великом каком погосте живешь, только что непохороненный...

Мне уже хотелось спать, я протираю глаза, и, когда стало невмоготу, я вытянулся вдоль стены, пристроил под голову свой узелок, укрылся. Свет свечи тек по зеленоватым пятнам

---

<sup>1</sup> Ш а б ё р (обл.) — сосед.

<sup>2</sup> М а з а р к и (вост.) — кладбище.

плесени в углу, где стояло ведро с водой и немудреные принадлежности дворницкого ремесла: лопаты и метлы, висел кожаный драный фартук. Светлым фосфорическим светом блестя в полутьме большие глаза старика, борода его была похожа на седой веник.

— А вы на войне были, дедушка? — спросил я, когда Ферапонтыч умолк.

— Чего? — вскинулся он. — А-а-а. На войне? Нет, не был... Я с того самого времени по острогам пошел, по каторге... Определили они мне тогда за Нюшку двадцать годов, как по закону положено, а потом за тюремщика добавили...

— Какого тюремщика?

Ферапонтыч снова налил себе коньяку и выпил глоток, облизал губы.

— Да была там гадина одна, в Тобольской каторге, вот уж как изголялся над людьми, словно и царь он и бог. Ну вот и потянули мы с дружками жеребий, кому за этого гада еще срок иметь. Вышло мне. Я его парашей убил... Так он посереде вони и кончился, туда и дорога...

Сна у меня как не бывало: так вот, значит, какие видения мучают моего бородатого хозяина, вот чьи шаги чудятся ему за крепко запертой дверью!

— Тут все они и поднялись, — продолжал Ферапонтыч, — и вышла мне безо всякой скидки веревка.

— Вережка?

— Ну, петля... И — никакого спасения. Давненько было, почти шестьдесят годов прошло, а как сейчас помню, какая неохота была помирать ни за что... Ну, добро бы человек был, а то мозгляк, тля, вошь — такие только землю поганят... Я бы, парень, знаешь, таких бы в самой начале душил... Пусть жили бы на земле самые сильные, вот вроде меня, скажем, или еще был там у меня дружок, за фальшивые деньги сидел, фамилия ему была Брузгин. Вот это человек! Ежели бы землю русскую заселить бы всю такими — никакой бы германец не сунулся...

Мне уже не спалось, я сел на лавке и смотрел на седого, растрепанного старика.

— А как же петля, Иван Ферапонтович? — спросил я.

Он долго и пристально смотрел на меня, почесывая под бородой грудь, потом встал, заплетающимися ногами подошел к своей постели, встал перед ней на колени и из дальнего угла, от стены, вытащил небольшой, окованный железными полосами сундучок, видимо очень тяжелый. Пошарив на груди, достал из-под рубашки висевший на шнурке ключ и, кряхтя, долго возился над замком. Наконец отпер, достал оттуда, с самого низа, небольшой узелок и, оставив сундучок открытым,



вернулся к столу. Медленно и старательно, с боязливой осторожностью разворачивал он старый, серый, видимо никогда не стиранный лоскут.

Я следил за ним с любопытством, что могло храниться в этой тряпице, от которой пахло плесенью?

В тряпице оказалось несколько усохших от времени кусочков простого черного мыла. Стараясь не прикасаться к ним, старик развернул тряпку и смотрел на обмылки неподвижными, еще больше посветлевшими глазами. На обмылках чем-то острым, лезвием ножа или, может быть, гвоздем, были выцарапаны какие-то цифры и буквы. Разровняв ладонями края тряпки, Ферапонтыч вскинул на меня глаза, словно приглашая в свидетели значительного и страшного события.

— Что это? Мыло, что ли? — спросил я.

— Ага. Мыло,— шепотом сказал дед.

— А зачем?

Он долго не отвечал, рассматривая темные исцарапанные куски и, как показалось мне, не решаясь к ним прикасаться, потом поднял затяжелевший взгляд.

— То-то и оно, парень, что мыло это особое; по острогам, кто к этому делу причастен, его последним, а то мертвым мылом зовут. И примета такая: не бросать его, а хоронить пуще глаза, пуще даже самой жизни. Потому потом, как срок, он обязательно за этим мылом придет...

— Кто?

Мне становилось страшно с безумным стариком, охваченным манией преследования.

— Кто? — спросил я еще раз.

— «Хто, хто»! Ну тот, кого вешали, кому же еще его мыло спонадобится? Значит, будет такой срок, когда ему это мыло надо показать богу, чтобы самому оправдаться,— дескать, не сам я своей волей жизни себя решил, а была тому чужая причина... Ну, а я одно мыло-то и потерял, то есть не потерял, а как-то так вышло, вдруг у меня все в глазах помутилось и упал я все равно как мертвый... прямо под виселицей. Оно и пропало... И вот теперь мне и боязно: а вдруг это как раз он и ходит кругом и ходит... А?

— Значит, вы вешали? — не слыша своих слов, спросил я.

— А как же мне тогда? — спросил Ферапонтыч, и глаза его снова налились холодной и трезвой жестокостью.— Что же мне, самому помирать? Не я — другой бы их кончил, потому — закон. А мне как сказали: жить оставим,— мне куда же податься? Совсем некуда... Не помирать же в двадцать-то лет...

— И много?

Ферапонтыч пересчитал глазами кусочки мыла.

— Все тут. Одного не уберег, потому и тряусь теперь по ночам. И ты, парень, ежели я усну здорово, ты без меня дверь никому, ни-ко-му! Понял — никому чтобы!

— И политических? — спросил я.

— А какая разница?..

Я встал, но выйти из-за стола мешал старик, он сидел неподвижно — такая каменная глыба — и всё рассматривал свои страшные сокровища.

— Ну и сволочь же ты, дед! — почти крикнул я, уже почему-то не боясь его.

Он посмотрел сразу замутившимся взглядом, нехотя сказал:

— Известно, сволочь,— и принялся старательно, боясь прикоснуться к мылу, сворачивать тряпицу.— Уж больно мне помирать было страшно. Прямо слов нет.

### 13. «А ЖИЗНЬ ИДЕТ...»

Много дней я ходил под впечатлением рассказа полусумасшедшего палача. Тогда только еще приоткрывалась завеса, прятавшая от народа жестокую правду о гибели многих самоотверженных, мужественных людей. По следам памяти таких, как Рылеев и Пестель, Муравьев-Апостол и Трубецкой, по следам таких, как Соня Перовская и Николай Кибальчич, таких, как Александр Ульянов и его товарищи, Василий Генералов и Петр Шевырев, Пахомий Андреюшкин и Василий Осипанов, по следам многих других, погибших в равелинах и крепостях, в каменном одиночестве Петропавловки и Шлиссельбурга, шла созданная царскими приспешниками слава извергов, убийц, не останавливающихся ни перед какой жестокостью, ни перед каким преступлением.

Нужны были после революции годы для того, чтобы правда о бесстрашных людях стала достоянием народа, чтобы их высокий, ясный облик стал виден во всей его силе и чистоте... Петр Алексеев с его знаменитыми словами: «...и ярмо деспотизма, окруженное царскими штыками, разлетится в прах»; Маруся Ветрова, которая сожгла себя живьем в Петропавловской крепости; Бабушкин, расстрелянный за провоз оружия в 1906 году; Якутов, бывший во время революции пятого года председателем Уфимской республики, которого потом, в годы реакции, повесили в уфимской тюрьме. Надежда Константиновна Крупская вспоминала: «Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела, во всех камерах пели — и клялась, что никогда не забудет его смерти, не простит ее».

Да и можно ли забыть цвет и силу нации, гордость народа,

забыть людей, которые с поражающим даже палачей мужеством и бесстрашием поднимались на эшафоты, шли в ссылки и каторжные тюрьмы, по четверти века проводили в каменных мешках одиночек? Можно ли это простить, забыть?

Но я так и не узнал никогда, даты чьих смертей выцарапаны на кусочках черного мыла, с суеверной бережливостью хранимых помешавшимся стариком.

И сейчас я помню тот ужас, который охватывал меня при одном воспоминании об этом седом, неопрятном, вызывающем какую-то брезгливую ненависть старике. Я поражался: да как же я мог жить с ним в одной комнате, под одним потолком, пить из одной посуды, я, для которого революция и все связанное с ней всегда было самым святым и дорогим в жизни?

В ту памятную ночь я так и не смог заснуть, а только, полуукрывшись шинелью и притворяясь спящим, следил за Ферапонтычем. Он уснул уже перед самым утром, заснул тяжелым, не приносящим отдыха сном, беспокойно ворочался на своем тряпье, бормотал бессвязные слова: «Корова, она конечно... капуста не позабудь... уеду я... кандалный срок, значит...» — и что-то еще, пустое, лишнее смысла...

Когда стало светать, я тихо, стараясь не разбудить старика, встал, натянул валенки, оделся. Но он все же услышал, провел по заросшему лицу огромной ладонью и посмотрел из-под нее на меня измученным взглядом.

— Или пора уж?

— Мне пораньше сегодня...

— Ну ступай...

Со вздохом облегчения закрыл я за собой обитую рваным войлоком дверь. Я спешил по утренним улицам Москвы так, словно за мной гнались, словно то, что я узнал ночью, преследовало меня по пятам, словно тени убитых Бусовым бежали рядом со мной.

А утро рождалось чистое и ясное, пробуждающее в сердце первое напоминание о грядущей весне, о расцветающих садах, о пахучей нежной траве. Снег не скрипел под ногами тем громким, пугающим скрипом, каким он скрипит в морозные, прохватывающие до костей ночи, невидимое за домами солнце смеялось в окнах высоких этажей, осыпался на не очищенные от снега тротуары лохматый иней, и освобожденные от тяжести ветви деревьев устало распрямлялись и тянулись к солнцу.

Я думал, что, как только расскажу Роману Гавриловичу о Бусове, безумный преступник будет немедленно схвачен и отправлен в одну из тюрем, где он, спасая свою подлую шкуру, убивал других...

Но, к моему удивлению, выслушав мой лихорадочный рассказ, Корожда сказал:

— Я так и думал, что за ним что-то есть. Но как хочешь, Данил, а придется тебе еще там жить. Тут не в старике дело. Свое он получит, если сам на себя удавки не набросит. Дело не в нем. Знать надо, что эти «крабы» удумали... Опять, слышно, в Питере контра шевелится, наверно, оттуда и сюда к нам, в столицу нашу красную, ниточки тянутся... Конечно, ежели боишься, если дело тебе непосильное...

Я поехал — такой пугающей представилась мне перспектива еще хотя бы одну ночь провести рядом с Бусовым. Роман Гаврилович заметил мой страх.

— Ну, я говорю: если дрейфишь...

Упрека в трусости я перенести не мог.

— Да что вы, Роман Гаврилович!

— Ну ладно, ладно...

Мы поговорили, как мне вести себя дальше, чтобы проникнуть в тайну контрреволюционной возни, которую безусловно затевали Шустов и Граббе.

— Тебе, чтобы к самому их черному нутру вплотную подойти, в контру играть надо, Данил. Помни: ты — контра, самая подлая контра, понимаешь? Вот тогда они поверят тебе. Но только помни — торопиться, торопиться, Данил! А то придется по-глупому рубить сучья, а дерево останется...

В тот вечер, взяв у тети Маши салазки, на которых она возила в детский садик маленького Гришутку, я отправился к Жестяковым: мы договорились с Алексеем Ивановичем, что я достану на воскресенье санки и помогу ему перевезти домой выздоравливающую, но еще очень слабую Олю. Ночевать к Ферапонтычу в ту ночь я не пошел.

Весь вечер Жестяков долго работал, то присаживаясь к своему большому письменному столу, то вставая и принимаясь ходить по кабинету из угла в угол, — полы шубы махали по сторонам, словно тяжелые и бессильные крылья. Я сидел у печки и читал историю Великой французской революции, историю наполеоновских войн. И было мне так тяжело еще раз убеждаться, что в течение всех тысячелетий, известных истории, никогда не утихали, не переставали бушевать над землей кровавые ливни войн, никогда еще по-настоящему не побеждала в мире правда рабочего человека, создателя всего на земле...

Часов в восемь в передней неожиданно задребезжал звонок. Алексей Иванович оторвался от своих рукописей и чертежей, с удивлением взглянул на меня, потом на дверь. С его слов я знал, что Граббе вчера уехал по своим делам на день или два в Петроград, а больше — кто же еще мог прийти.

— О! — сказал Алексей Иванович, вставая из-за стола. — Опять идут искать бомбы!

Но это был не обыск и не облава, это пришел старый товарищ Алексея Ивановича по Петербургскому университету, маленький, горбатенький, закутанный в две женские шали старичок с удивительно острым, в профиль напоминавшим клюв личиком — сходство усиливалось блеском больших очков. С мороза он казался совершенно седым, и борода, и торчавшие вперед сердитые усы, и лохматые брови, и даже ресницы — все заиндевело. Старики долго осматривали и хлопали по плечам друг друга, бормоча полагающееся в таких случаях: «Сколько лет!», «Как рад!», «Ах, боже мой!» и так далее.

Ставив свои шали, старичок расстегнул серое, с бархатым воротником пальто, ободрал с бороды и с бровей сосульки, снял очки; под ними неожиданно обнаружились удивительно живые, острые и веселые глазки нежного морского цвета.

— Постоялец? — подмигнул старичок в мою сторону. — Или для надзора за потенциальным крамольником? Ну-ну, я без обиды, я знаю: за крамольниками глаз да глаз! — И вдруг, как бы споткнувшись взглядом о висевший над столом портрет, старичок жалобно сморщился, глаза у него налились печалью. — Ах, Юленька, Юленька, — вздохнул он. — Цветик аленький...

Как я узнал позже, Алексей Иванович и этот старичок — Анатолий Никандрович Кулябский — в годы юности были неразлучными друзьями, участвовали в первых марксистских кружках, в демонстрациях, но этим и исчерпался их бунт против темного безвременья, выпавшего на годы их юности. Любили одну и ту же девушку, эту самую Юленьку Строганову, милую, русокосую, ее выбор определил судьбу обоих. Кулябский так и остался старым холостяком, «ушел в науку», в биологию, которую считал краеугольным камнем человеческого знания, основой основ всех наук... Тогда, во времена молодости, кого-то из их товарищей сослали на каторгу, кого-то лишили прав состояния и выслали на поселение, лишив возможности заниматься наукой. С тех пор Кулябский и Жестяков «мудро» решили, что самый верный путь исправления социальных неустroенностей — путь знания, путь науки. «Нельзя же в обществе, которое все знает и все понимает, человека, венец творения, прогонять сквозь палочный строй и лишать его жизни повешением за шею. Варварство само по себе отомрет, как только науки станут достоянием всех».

— Ах, боже мой, боже мой! Сколько зим, сколько лет! — без конца повторяли старики, похлопывая и поглаживая друг друга. — Сколько воды утекло, скольких мы похоронили...

Кулябский, согрешившись, подошел к печурке, на которой стояла кастрюлька с супом из селедочных голов, наклонив-

шись, старательно понюхал; большой острый нос его смешно сморщился.

— Акриды вижу, старик! А где же мед?

Оба невесело посмеялись и сели к столу. На нем в беспорядке валялись чертежи и листы рукописи.

— Все строишь свои бумажные башни? — усмехнулся Кулябский. — Все верен им? Рыцарь!

Они были чем-то похожи друг на друга и в то же время очень разные, словно одинаковые по форме слепки, сделанные из разного материала... Ненатурально посмеиваясь, они, как казалось мне, все присматривались друг к другу, как будто та давняя рознь, зачеркнутая смертью женщины, еще стояла между ними невидимой, но ощутимой стеной.

— Ты думаешь, старик: какой же это черт загнал Кулябского в твою пещеру? Признайся, ведь думаешь...

— Гм... гм...

— Но, знаешь, друже, чудные дела творятся на свете, и хочется на пороге небытия старческой болтовней облегчить бремя! А? Тебе не хочется?

— У меня племянница из Севастополя приехала. В больнице лежит, — непонятно к чему сказал Алексей Иванович, пристраивая на печке чайник. — Воспаление легких. Завтра выписывается.

— А-а-а, понимаю, — протянул с умной и доброй улыбкой Анатолий Никандрович. — Это ты касательно небытия? Увы, не посеял твой покорный слуга ни добрых, ни злых семян. Большая?

— Тринадцать.

— Николая?

— Его... Помнишь?

И, перебивая друг друга, принялись вспоминать молодые студенческие годы. Когда-то они учились в Петербурге все вместе: Алексей Жестяков, Граббе и Кулябский. Какое это было, по их словам, неповторимое время!.. А я снова углубился в дебри истории, перескакивая со страницы на страницу, из эпохи в эпоху, шел по пятам тех, кого когда-то величали великими, перед которыми трепетало полмира. Горы трупов громоздились у подножия всех так называемых великих империй, у тронов всяких чингисханов и александров македонских, хаммурапи и батыев, бонапартов и николаев кровавых. Зачем, почему, во имя чего? В книге не было ответа.

От истории через некоторое время меня отвлек горячий разговор стариков.

— Я тоже сначала не верил, Алеша, — говорил, смешно жестикулируя маленькими, почти детскими ручками, Кулябский. — Но теперь...

— А чего же они взамен? — с тревогой спросил Жестяков.

— Представь себе, продолжения научной работы! Да, да! Дают пайки, дают средства на ремонт и расширение лабораторий, на ведение работ... Лаборатории Павлова и Тимирязева уже работают полным ходом. Пайки развозят на специальных машинах. Как раз то, чего не хватает к твоим и моим акридам. Мед! Сам Ленин следит за этим, он и к себе вызывал многих... говорил, просил.

— Просил?!

— В том-то и дело, что не приказывал, не требовал, а просил. Он, говорят, удивительный человек, широчайшей эрудиции. И нет на нем никакой кожаной куртки...

Помолчав, Алексей Иванович горько улыбнулся.

— Ну, моя-то наука вряд ли им когда-либо понадобится! Разве соберутся они с силами, чтобы строить это? — Он хлопал ладонью по листам чертежей. — «Церкви и тюрьмы сровняем с землей!» Сравнить сравнивают. А когда же начнут строить?

Кулябский усмехнулся.

— А ты злой стал, старик! Как я тебе когда-то говорил: иди в естественники. Знание тайн жизни способствует пищеварению.

— Было бы что пищеварить!

— Ах ты, ископаемое, ископаемое! — с грустью покачал головой Кулябский. — Была бы жива Юленька, задала бы она тебе перцу!

И оба, притихнув, долго молча смотрели на портрет. Милая, большеглазая женщина глядела на них из прошлого с ласковой укоризной, как мать или старшая сестра.

#### 14. ОЛЯ ВЕРНУЛАСЬ

На следующий день мы привезли домой Олю. Тягостным и печальным было прощание с Шурой, обе девочки плакали навзрыд и успокоились только тогда, когда Алексей Иванович пообещал после выздоровления Шуры взять и ее к себе. Он, конечно, раньше не собирался этого делать, но так нестерпимо было смотреть на отчаяние худых, стриженных девчонок, столько горя отражалось на их лицах, столько бессильного отчаяния в судорожных объятиях, — так хотелось их приласкать и утешить.

— Ну хватит, хватит, гололобые! — притворно рассердился Алексей Иванович, насупив седеющие брови. — Закрывать шлюзы!

— Ты, Оленька, меня никогда-никогда не забудешь? —

спрашивала, всхлипывая, Шура.— У меня ведь, кроме тебя, теперь никого нету. Ты — как моя старшая сестра. Выпишут меня, и я даже не знаю, куда...

— К нам и пойдешь. Мы за тобой приедем и на саночках отвезем. Ведь правда, Даня, ты опять достанешь тогда санки?

— Конечно.

— Ну вот, видишь. И будем жить вместе. И никогда не будем расставаться...

— А если ты выйдешь замуж?

— Ну вот, глупости какие! Зачем я выйду замуж?

— Ты красивая. Красивые обязательно выходят...

Пока девочки болтали этот вздор, Алексей Иванович старательно укутывал шею Кораблика старенькой Юлиной шалью, застегивал шубку, подпоясывал ее «для тепла» своим старым ремнем. Больничная няня стояла рядом и молча смотрела на сборы.

— Совсем несмышлениши,— сказала она не то с жалостью, не то с осуждением.— Особо — Шурка. От горшка не видать, а уж горя-то что намыкано! Одеядло-то казенное, папаша, не увезешь? На мне числится...

— Не волнуйся, божья пепельница, не тем промышляю! — оглянулся Алексей Иванович.

— Теперь, миленький, всем промышляют. Годов двадцать, что ли, назад я в кухарках у одной княгини-герцогини жила, на самой Тверской, на сотню персон обеда готовила. А вчера встретила на Воздвиженке, идет вся в рванье и полено березовое к груди изо всех сил прижимает, ровно дитя любимое... А ты: не тем промышляю!

Уже уходя, в коридоре мы столкнулись с врачом, длинным, нескладным человеком с рыжеватой чеховской бородкой, на носу у него криво сидели очки с одним стеклом.

— Ага! — Он остановился возле нас, погладил Олю по голове.— Ну вот, пигалица и улетела! Теперь, батенька,— повернулся он к Алексею Ивановичу,— теперь главное — питание!

— Как же, как же, доктор! — готовно заулыбался Алексей Иванович.— Куриный бульон, сметана, сливки, по утрам горячее молоко? Да? Устрицы! Ананасы! А может, нам, доктор, лучше всего в Баден-Баден махнуть? А?

Не ответив, доктор снял очки и бережно протер носовым платком стекло. Лицо у него стало печальное и усталое.

— Шутить изволил,— упрекнул он, не поднимая глаз.— Посмотрел бы я, как бы вы шутили, если бы у вас на руках каждый день такие вот Кораблики на тот свет уплывали.— Повернулся и, ссутулившись, словно неся на спине тяжелый и неудобный груз, ушел.



День был не по-зимнему теплый и яркий, на солнечной стороне капало с крыш. И кажется, в тот день я впервые увидел московское небо — раньше взгляд никак не поднимался выше домов, — небо было синее и чистое и все-таки почему-то безрадостное. Везли мы санки с Алексеем Ивановичем вместе: снег с тротуаров давно не убирали, было трудно.

Когда проезжали по теперешнему Ленинградскому проспекту, Оля попросила:

— Даня, сломай мне, пожалуйста, веточку...

— А они еще голые.

— Все равно. Я так по всему на земле соскучилась...

Я сломал ветку, отдал ей. Скинув не по руке большую варежку, девочка взяла голый прутик, нежно прижала к щеке: — Весной пахнет...

А до весны было так далеко!

Шел воскресный день. Дома нас ждал, по словам Алексея Ивановича, «роскошный обед», приготовленный в связи с возвращением Оли: чечевичная похлебка, перловая каша и чай с сахаром и хлебом. Оля опьянела от еды, личико у нее порозовело, порозовели и уши, которые теперь, когда она была острижена, казались оттопыренными и прозрачными. Печку натопили, не жалея паркета. В комнате стало тепло и даже уютно.

Но ходить Оля еще долго не могла. Слабенькая, болезненно худая, она целыми днями лежала на диване перелистывая «Жизнь животных» или «Географию мира» или просто так, глядя в потолок и улыбаясь чему-то своему странной, затаенной улыбкой. Ее очень красила эта тихая, как бы в полусне, мечтательная улыбка.

По ее просьбе я два раза ходил в больницу навещать Шуру, относил немного поесть. Но, когда пришел в третий раз, ко мне в приемную вышел врач в пенсне с одним стеклом и, глядя в сторону, скривив голову на левое плечо, словно у него болела шея, сказал:

— Можешь сходить в морг, если хочешь, — и пошел прочь, пришибленный, больной.

Возвращался я медленно, думал, что же мне сказать Оле: она была так слаба — не хотелось и нельзя было ее волновать.

Она ждала и вся светилась радостью, ее большие глаза, опущенные темными ресницами, не отпускали меня ни на секунду с того самого мгновения, как я переступил порог дома.

— Ну, как она, как? Рассказывай же, Даня.

И вдруг увидела в руке у меня тот самый крошечный узелок, что я должен был передать Шуру; я совсем позабыл о нем и теперь, снимая шинель, положил возле дверей на стул. По тому, как сразу потемнели от горя и налились слезами

глаза Оли, я понял, что она догадалась. Но я заставил себя засмеяться.

— Уехала! Уехала наша Шурка. Знаешь, за ней тетя из Коломны приехала, как-то нашла ее и вчера увезла... Ты что, не веришь мне, Кораблик, что ли? Ну, клянусь тебе... Она...

— Зачем ты обманываешь? Разве я маленькая? Я еще и тогда слышала, как один раз про нее няни говорили: «Не жилища она».

Я сел в стороне: от меня еще несло уличным холодом, я мог простудить девочку. На одеяле, на коленях у нее лежала книга, раскрытая на красочной таблице, где летали яркие тропические бабочки, похожие на диковинные цветы — синие, красные, золотые, — они подчеркивали холод и бедность человеческого жилья.

— Я так и знала. Только я надеялась, потому что молилась...

Вскоре пришел Алексей Иванович, замерзший, худой, но странно оживленный, глаза у него блестели живым, переливающимся блеском.

— О! — воскликнул он еще с порога. — У нас с Корабликом гости! — Снял шубу, потер руки и, с выражением удивления на лице, сел к столу. — А вы знаете, Данил, мне предложили работу. Я думал, что такая дохлая перечница, как я, в наше время годна только на мыло, и то дрянное. А тут вдруг... Знаете что? Клянусь, не угадаете! Вызывают на Мясницкую и предлагают работать, работать! Проектировать, строить! И уже многие работают. Да, да! Разрабатывают какой-то грандиозный план. Электрические станции — на угле, на торфе, а на Днепре — на порогах, на самом Ненасытце — гидростанция. И на Свири! Боже мой, там же у воды огромная гравитационная сила... И это тогда, когда в стране нет не только керосина, а даже дров! Невозможно... Что-то несообразное!

Потирая руки, блестя глазами, он принялся ходить по комнате, иногда останавливался у стола, над своей рукописью, или вытаскивал из книжных шкафов рулоны чертежей, разворачивал и с радостным удивлением рассматривал их...

Мне было приятно видеть, что и в душе этого старого человека, не понимающего и не принимающего нового, зашевелились какие-то сомнения, заговорила неуверенность в праве его отстраненности от небывалой перестройки, уже начавшейся на земле. Но я ничего не сказал, я сидел и смотрел то на него, то на Олю. Она с печальными глазами лениво и без интереса перелистывала книгу, и чудесные, прекрасные бабочки, соперничавшие красотой с самыми яркими цветами земли, перепархивали у нее с колена на колено.

А Алексей Иванович все ходил, бормоча себе под нос:

— Днепр! Черт знает что!

В сумерки я вернулся домой. Ключа на обычном месте не оказалось, а достучаться я не смог, хотя колотил в дверь изо всей силы. За ней было тихо. Наконец выглянул из своей квартиры Петрович, позвал:

— Да шут с ним, Данил! Поди-ка, напился и спит, борода-тый черт. И откуда он это зелье берет? Может, еще когда магази-ны винные грабили, наворовал?.. Иди сюда.

Я зашел. Маленькая шустрая черненькая жена столяра во-зи-лась у печки, жарила из толченой крупы лепешки: вкусно пахло подгоревшим маслом. Набросив шинель, я сел к столу, напротив Петровича; сын его, Кирилл, строгал какую-то ма-ленькую вещичку у верстака в углу. Он поздоровался со мной кивком и снова наклонился над матово блестящим куском де-рева.

— А я, Данил, нынче коммерцией занялся,— виновато усмехнулся в светлые свои усики Петрович.— Есть тут у меня дьякон знакомый, в церквушке одной за наши с тобой души перед богом просит. Так вот, он маслице божье тайком от ба-тюшки из лампадок сливает и верующим продает. Но берет, сукин сын, дороговато — маслице-то святое! А уж нам со ста-рухой больно вкусенького захотелось... Пахнет-то как — чу-ешь? Амброзия, Иерусалим!

Лепешки оказались очень вкусными, кажется, никогда в жизни не ел ничего вкуснее, хотя они и рассыпались прямо в руках. Половину лепешки мне удалось спрятать в карман — угостить завтра Олю. Потом мы с Петровичем сидели у стола, он курил, смешно, по-петушину задирая голову и пуская к потолку дым.

Глядя на его умиротворенное лицо, следя за голубой струй-кой дыма, нехотя взбирающейся к беленому потолку, я впер-вые подумал о том, что он, Петрович, наверное, не однажды видел Ленина: ведь Ильич несколько раз выступал в Большом театре. Я спросил об этом.

— А как же, как же! Не раз...— Столяр задумался, при-щурившись, будто вглядываясь во что-то, синеватые глаза его наполнились необъяснимой, светлой печалью.— Видел. Пер-вый-то раз — концерт у нас пели... Концерт, скажу я тебе, про-сто чудо какое-то было. Нежданова пела, Шаляпин, Собинов... Осенью это было, в прошлом году... Я за кулисой примостился, стою это себе, слушаю. А уж пели, пели-то как! Как Неждано-ва запела, словно небо над твоей головой раскрывается, так и тянет тебя вверх, так и зовет... А уж Федор Иваныч как за-поет, словно не человек ты, а так себе — песок, пыль, нет тебя совсем. Для партийных московских товарищей пели, старая

лись. А холодно в театре — страсть. Нежданова в белом платье, поет-заливается, а мне на нее даже смотреть страшно,— замерзла же ты, думаю, милая моя сосулька...

— Вы про Ленина, Петрович...

— А я к тому и веду,— кивнул столяр, косясь в сторону сына, который, отложив стамеску, придвинулся, прислушиваясь.— К нему и веду. Ну конечно, мы думали, что и Владимир Ильич здесь,— он же музыку любит. Ну и я тоже нет-нет да на царскую ложу выгляну, думаю, где же ему и сидеть?.. Ну, однако, нет его там и нет. Не иначе, думаю, дела... И вдруг, как концерт кончился, вот-вот занавес дадут, и вдруг кто-то с самого пятого яруса, с галерки то есть, как крикнет: «Да здравствует вождь мировой революции Владимир Ленин!» Что тут поднялось — слов нет. И артисты все на сцену выбежали, и мы, кто за сценой работает, тоже шеи вытягивали, друг через дружку глядим. И все на царскую ложу пялимся... А Ильич вдруг встает в партере, этак ряду в восьмом, что ли, в пальто сидел, шапка в руках. Ну, голову к плечу склонил и быстро так, маленькими шажками пошел. Да не туда, куда я думал, а прямо к нам, к сцене... Есть там с правой стороны дверца, вот он в нее, в оркестровую яму, спустился и через кулисы ушел! Мы-то думали, он на сцену выйдет, скажет что народу, ан нет. С тем и ушел,— не любит он почестей всяких...

Чуть слышно бормотал на плите чайник, проскрипел под чьими-то шагами под окном снег.

— Поразился я тогда на него,— начал было снова Петрович, но в это время в коридоре кто-то постучал в дверь Ферапонтыча, подождал, потом, требовательнее и настойчивее, постучал еще раз. Петрович встал и, поправив на плечах пиджак, пошел к двери.

— Кто? — спросил он в холодную и темную глубину коридора.— Ежли дворника — видно, нет его. Может, передать что?

На пороге показалась грузная фигура Шустова, он беглым взглядом окинул сидевших в комнате, стряхнул с бровей и усов снег, сказал своим бархатым баском:

— Спасибо, завтра зайду,— и, еще раз скользнув взглядом по комнате, ушел. Слышно было, как он твердо печатает по камню шаги, поднимаясь на второй этаж.

— На Федора Ивановича больно схож,— сказал Петрович, возвращаясь к столу.

А я пожалел, что Ферапонтыча нет дома и что я не присутствовал при их встрече. Наверное, опять Шустов собирался что-то поручить дворнику. Теперь-то я решил не выпускать старика из виду и следить за ним.

Петрович снова сел к столу, положил на скатерку небольшие, но ловкие, как и у сына, руки, быстро-быстро пошевелил пальцами.

— Да, что тогда было — словно все с ума посходили. Кричат, зовут. А потом «Интернационал» пели. И скажи ты на милость, что это такое: как запоют этот самый «Интернационал», так слезы прямо из сердца против всякой твоей воли рвутся и рвутся и душа прямо на куски разламывается... — Он аккуратно оторвал клочок бумаги от страницы какой-то книги, принялся сворачивать папиросу. Остро и осторожно взглянул на меня. — А скоро, Данил, я его снова увижу, не миновать быть...

— Где? — Я даже привстал.

— А съезд-то Советов опять же, наверно, у нас в театре пойдет, самое ему место...

Как я завидовал тогда Петровичу! Ленин, Ильич, близкая светлая мечта, и не только моя, а всех людей, кто жил рядом со мной и делился со мной последним куском хлеба, кто сражался и жизни своей не жалел за революцию... Я так хотел его видеть...

## 15. В ТЕАТРЕ

Да, нет слов, какими я мог бы рассказать, как хотелось мне увидеть тогда Ленина. Нет, «хотелось» не то слово, это было страстное, необоримое желание хотя бы издали увидеть его. Для меня в нем совмещалось все дорогое в жизни, словно к нему, по странному праву наследования, перешло самое лучшее и от моего растерзанного беляками отца, и от его товарищей по борьбе: безногого сапожника дяди Коли и Петра Максимилиановича, человека с огромными, но удивительно чуткими руками и с грудью, напоминающей наковальню, и от милой, худенькой, большеглазой ссыльной библиотечарши Джеммы — из ее рук мы впервые получили книгу, которую невозможно не любить или забыть, «Овода», — и даже от таких далеких от революции людей, как моя набожная мамка, и даже от моей сестренки, маленькой Подсолнышки, может быть, ее доброта, лучистость ее доверчивого, ласкового взгляда, — я не могу, не умею этого объяснить...

Из рассказов других я в то время уже знал некоторые подробности жизни Владимира Ильича, знал, как его преследовали жандармы и сыщики, как он сидел в тюрьмах и жил в ссылке, о том, что его старший брат, Александр, еще не достигнув совершеннолетия, был казнен вместе с товарищами за подготовку покушения на царя. Я прочитал в газетах не-

сколько речей Ильича, и он рисовался мне полководцем, управляющим течением революции с башни броневика...

В народе, по крылатому выражению Кржижановского, уже творилась о нем бессмертная легенда, он как бы присутствовал повсюду, где шли в последние пять лет бои за победу революции, его якобы встречали в самых бедных деревнях и в полях, на нищенских наделах бедноты, в далеких лесах и горах, на площадях чуть не всех городов России, — так велика была народная вера в него и мечта о встрече с ним.

В свои свободные часы — а их, правда, оставалось не так уж много — я любил бродить по Красной площади, смотреть на видимые над кремлевской стеной окна, я всматривался в каждого выходявшего из Кремля человека, в каждый выезжавший из ворот автомобиль. Вход в Кремль охранялся, пройти туда можно было только по пропуску коменданта, а просить пропуск у меня не было оснований. После двух покушений на Владимира Ильича его тщательно оберегали. Прав был Роман Гаврилович: многим черным рукам хотелось бы дотянуться до Ильича.

— Знаешь, парень, — однажды признался мне Петрович, когда мы уже крепко сдружились и я несколько раз побывал в театральной мастерской, — ведь и у нас в театре бомбу под самой сценой нашли. Вот ведь какое дело!

Тогда уже стало известно, что в конце декабря в Большом театре откроется VIII съезд Советов и там будет говорить Ленин. Я начал просить Романа, чтобы он устроил меня в охрану съезда, но он сказал:

— Ну и поставят тебя где-нибудь у таких дверей, где Ильич никогда не ходит, и проторчишь ты там все дни, а его не увидишь. Что тогда? — И он лукаво рассмеялся. — А вообще — мысль. Там ведь тысячи человек работают, и эсеришки есть, и меньшевики, за ними глаз да глаз.

Разговор этот происходил на квартире Романа, и тетя Маша, слышавшая все, тоже засмеялась.

— А ты, Даня, к нам приезжай. Ильич сколько раз у нас на Трехгорке выступал, он же наш с самой революции депутат. — Подошла, присела к столу, погладила Гришутку по льянной голове. — И знаешь, Даня, ничего, ну вот ничего в нем такого особенного нет, только что, видать, добрый очень. И еще — глаза, будто в самую душу тебе смотрят, смотрят и этак умненько посмеиваются... И блестят, и смеются... Вот встретишь на улице и мимо пройдешь, ни за что не подумаешь. Простой-простой. И одетый как все... И вовсе он не высокий и, видать, не сильный... Но уж как говорит — прямо до самого сердца слова достают, так всю душу и расковыривают. И потом только удивляешься сама на себя: да как же это я таких



самых простых вещей в понятие взять не могла? Прямо чудо какое-то!

Помолчав и снова погладив Гришутку, отошла от стола хлопотать по своим женским, хозяйственным делам.

Вечером я снова зашел к столяру.

— Эх, Петрович, если бы мне в вашу мастерскую устроиться,— вздыхал я.— А? Увидел бы я его?

— А как же! Теперь вот мы к съезду карту огромную, с лампочками со всякими разноцветными, готовим, какая-то карта электрическая будет. Ну тут, конечно, и электрики с нами, наше дело каркас, рама там, рейки — поделки всякие.

А они ее всю как есть проводами опутали... И всё на бумажки заглядывают, как бы промашки какой не вышло... А вчера в мастерскую пришел один седенький такой, нос с горбиком и брови вроде как два крылышка, проверял, значит, как лампочки поставлены. Я и спросил его: «А что же это, говорю, товарищ, за игрушка такая? Чего она обозначать приставлена?» Смеется: «Наше, дескать, будущее, старина...»—«Будущее?»—спрашиваю. «Ага, старина. На месте каждой лампочки построим электрическую станцию, и будет она освещать нашу с тобой жизнь!» И, конечно, ушел...

А еще через день, после очередного разговора с Романом, я пошел в театр помогать Петровичу. К съезду готовилось много плакатов, щитов; чинили мебель, что-то красили, малярили. И, хотя я в этом искусстве не особенно был искушен, Петрович взял меня к себе в подручные. И никто не знал, что было у меня особое поручение.

Когда работы в мастерской оказывалось мало, я бродил и бродил по театру, заглядывая во все темные углы, и постепенно приобщался к его жизни. Я любил слушать сыгровки оркестра, и мне казалась смешной и ненужной гневная, размахивающая палочкой фигура дирижера, трясущего седой влохмаченной головой...

И даже сны мои в те дни были отражением моего ожидания, исполнения моей мечты. Однажды приснилось, что в мой далекий городок, затерянный в Заволжье и помеченный на географических картах точкой не больше макового зерна, приехал Ильич, а я будто бы работал на маленьком чугунолитейном заводе Хохрякова. Мы отлили чугунную плиту. В темно-красный квадрат остывающего чугуна глубоко врезались слова: «Да здравствует мировая революция!» И Ленин в этом сне был именно таким, каким я представлял его себе: большим и почему-то с черной бородой и с огненными, сверкающими глазами. Посмотрев плиту, он показал на нее пальцами и сказал мне: «Эти слова, Данил, написаны моей кровью»...

Возвращаясь из театра, я забежал на минутку к Жестяковым, а ночевать отправлялся к Ферапонтычу. Роман Гаврилович то и дело напоминал мне о необходимости следить за Граббе. О театре я своему бородатому хозяину ничего не говорил. Он по-прежнему жил в страшном и словно заколдованном мире, населенном призраками погибших, полный страха возмездия и смерти, которая, как ему казалось, бродила недалеко.

Но однажды я не вытерпел, рассказал. Ферапонтыч был в тот вечер почти трезв, сидел на постели, сунув свои тяжелые руки между колен, и тупо смотрел в пол перед собой. Я выпил свою вечернюю кружку кипятку и собрался лечь, чтобы, укрыв-



шись с головой, отправиться в радостную страну своих мечтаний. В те дни я перестал замечать нищету разоренного военной разрухой города, ободранные трамваи, сугробы в рост человека, заколоченные витрины, вытянувшиеся на кварталы очереди перед продовольственными лавками, я даже не чувствовал голода, хотя в столовой получал на свою карточку вместо обеда один чечевичный, или шрапнелевый, суп, второго блюда почти никогда не было.

Когда я снял валенки, собираясь лечь, Ферапонтыч поднял голову и, сунув под седую бороду руку, поскреб грудь.

— Тебе хорошо,— с тоскливой завистью сказал он,— ты молодой. Никакая еще могила тебе не страшная... А я вот... Зачем жил? Ну зачем? А? Вешал людей, за чего — не знаю... И что, Данилка, меня больше всего мучает?.. Сейчас больше расстреливают, а тогда все только вешали. И перед этим самым, ну перед вешаньем, что ли, обязательно мешок, вроде савана, на человека надевали... И вот, как сейчас помню, молоденький такой, а глаза как угли. Подхожу я к нему с мешком с этим последним, а он как на меня посмотрел и говорит: «Руки-то не дрожат? Не меня ведь, себя вешаешь». Ну, глупые, конечное дело, слова, вон я до каких годов живу и живу, а от него уж, поди, и пыли не осталось... И все ж таки запали эти слова мне в самое сердце... И ведь что страшно мне: не кричал, не бился, ничего не просил... Только усмехнулся так, ну с этакой невозможной усмешкой — и все... И принял смерть. А сам из себя жиденький, хлипкий, соплей перешибить... Уж и тогда укусила мне за самое сердце мысль: вот, дескать, я, какой я сильный и могучий против этого щенка, а нет у меня сердца так же бесстрашно смерть принять, не могу... Почему, спрашиваю? Что же я — хуже его, что ли?! А?! Я тебя спрашиваю... И вот взяла меня тогда злость на себя и на всех людей... И все думаю: ну, пахал бы я землю, сеял бы, детишки бы у меня по двору бегали... Знаешь, у нас по деревьям они все больше белоголовые, вроде одуванчиков, ну дунь — и полетит... Пришел бы с поля домой, а они кругом шумят: батя, батенька! А я их на коленки себе сажаю,— даром что вся тела моя дрожит от труда. И такое от них тепло, такая радость...

Я слушал косноязычный, наполненный страданием бред, но чувствовал к этому человеку только ненависть. Нет, ни тогда, ни потом я не прощал врагам революции того, что они делали; не могло быть и мысли о том, чтобы прощать палачам... Как-то много лет спустя я натолкнулся на книгу профессора Гернета «История царской тюрьмы» и прочитал, что только за полгода в 1907 было в России повешено больше тысячи человек. Тогда я этого еще не знал.

Я сказал Ферапонтычу:

— А вы не бойтесь. Советская власть добрая. Покайтесь, расскажите все, как было,— может, простят. Ведь вы помните, что и смертная казнь у нас была отменена, и уж после того, как хотели убить Ильича, снова ввели расстрел... А теперь, в январе этого года, опять отменили. Был декрет Ленина. Теперь опять не расстреливают.

При имени Ленина Ферапонтыч судорожно вскинулся и крикнул:

— Антихрист! Антихрист! Нету другого ему звания! — и замолчал и, странно обмякнув, осев, тихо и приглушенно сказал: — А может, он правый? А?.. Вот у меня еще дружок был, тоже моей судьбы человек... И вот как-то, пьяненький, рассказывал: вешал он в Шлиссельбурге, еще в 1887, пятерых,— один из них и был вроде брат вашего Ленина. Тоненький такой мальчишечка, а сила в нем какая, ух ты! Диву прямо даешься: откуда у них, у безусых, это берется — нечеловеческое к смерти презрение? А? Словно и жизнь им вовсе не дорогая, будто умереть — к теще сходить чаю попить...

— Потому, старик, что они правы... Вот вы верите в бога, в Христа...

— Христос! — перебил он. — Ему бессмертие с самого начала отцом положено, вот он и мог. А они? Нет, это вопрос. Ну вот, скажем, я испугался своего смертного часа и пошел провожать на тот свет других... И всякий другой на моем месте так же бы. И греха тут моего нету... Так и так, а ему, которому приговор, конец,— я ли, другой ли будет веревку намыливать. А они-то зачем? А?

Он говорил, не поднимая глаз, только шевелил руками, почесывал их одну о другую.

Чуть светила под потолком угольная лампочка, копились в углах тени, все толще становилась на окне ледяная броня.

— Горит! — перебил сам себя Ферапонтыч. — Все у меня в грудях горит. Нету мне никакого терпения... И опять, слышишь, шаги...

Я прислушался: на этот раз действительно за дверью звучали твердые мужские шаги. В дверь постучали, и голос Шустова позвал:

— Старик! Открой.

— Господи, и когда они от меня отцепятся! — вздохнул Ферапонтыч. — Вот уж третий год жилы из меня тянут...

Теперь Шустов был одет в кожаную короткую куртку, на голове заливчатски сидела кожаная фуражка. И вообще выглядел он теперь совсем по-иному, словно только что вернулся с фронта, где, не щадя живота, громил врагов революции.

— Чего же не приходишь, старик? — спросил он. — Замерзаем.

— Не стану я больше, Аркадий Полоныч, на вас работать! — ответил не торопясь Ферапонтыч. — Устал. Мόчи нету! Понимаешь: мόчи нету. И все равно мне теперь конец!

Шустов внимательно посмотрел на дворника:

— Заболел, что ли?

— Ну, заболел! До смерти-то полшага осталось...

— Ну-ну... — Шустов постоял, подумал, нерешительно глянул на меня. — А может, ты? А? Ну, там воды принести, дровишек где-то набрать... А? Я заплачу...

— Могу...

Так случай и привел меня в дом, где нашел свое последнее пристанище Аркадий Аполлонович Шустов, один из потомков знаменитого когда-то коньячного короля России.

Это была богатая, хорошо обставленная, хотя и небольшая квартира. О былом богатстве здесь рассказывали ковры и картины, люстры и канделябры, дорогая венская мебель, огромный, как орган буфет резного дерева, увитый деревянными кистями винограда и хмеля, с рогами изобилия и пухлыми купидонами. В передней, прямо против входной двери, висела картина, где плескалось южное ночное море, освещенное мирным огнем рыбацкого костра; сушились на кольях сети, черные мачты со спущенными парусами рассекали драгоценную бирюзу неба. Мне это едва видимое в полутьме видение напомнило недавно покинутый Севастополь, крупные трепещущие звезды, брошенные в море и качающиеся на ночных волнах, и бесконечный шум прибоя, и мокрый скрежет перекатываемых волной камней...

Когда я поднимался на третий этаж, где жил Шустов, мне казалось, что я уже близок к цели, что теперь легко и скоро помогу разоблачению притаившихся врагов. Правда, Роман Гаврилович, которому я рассказал о событиях этого дня, предупредил:

— Не думай, Данил, что такие уж они дураки. Смотри, не съели бы тебя.

— Подавятся, Роман Гаврилович!

— Ну, как говорится, дай бог. Но, повторяю: играй с ними в самую беспощадную контру...

— Попробую.

Но все оказалось не так, как я ожидал. Я думал, что Шустов мне сейчас же поручит что-нибудь такое, что поручал Ферапонтычу, пошлет куда-то с письмом, и тогда сразу черная география заговора начнет вырисовываться яснее. Но...

Шустов вышел ко мне в переднюю в накинута~~й~~ на плечи шубе. Чуть тлела под потолком угольная лампочка: у них еще не был израсходован месячный лимит. Я стоял у порога, мял в руках облезлую шапчонку.

Шустов подошел и несколько долгих секунд всматривался в мое лицо.

— Ты знаешь, голубчик, у меня все время впечатление, что я тебя где-то встречал раньше. А? Правда, таких физиономий, как твоя, передо мной за эти годы прошло много... А впрочем, я не о том. Проходи, поговорим...

Я обмел варежкой валенки и пошел следом. Да, здесь все еще пахло былым богатством, здесь, наверное, в течение многих десятилетий жили люди, не знавшие, что такое холод и голод.

Мы прошли через большую комнату, посредине которой стоял круглый стол и кресла в полотняных, давно не стиранных чехлах; на стенах висели натюрморты — битая дичь и сверкающая чешуей, скользкая, словно пахнущая морем рыба, корзины цветов и земляники. В углу бронзовая девушка поднимала вытянутой рукой факел, на ее плечах и руках серела пыль.

В комнате, где жил Шустов, стоял только диван, стул и маленький изящный столик; что-то говорило, что раньше в этой комнате жила женщина. Над столом висела большая копия рафаэлевской Мадонны, фотография самодовольного черноусого красавца в капитанских погонах и под ней — букетик бессмертников. На полу, возле дивана, стояла глубокая тарелка, полная окурков.

— Садись,— показал на стул Шустов, а сам закурил и прошелся по комнате, прислушиваясь к неясному шуму в соседней комнате.— Куришь?

— Нет.

— Молодец. Дурацкая привычка. Но — иногда легче. Слабость, конечно. Ты будешь дворничать вместо него?

— Не знаю. Если возьмут.

Из соседней комнаты женский голос слабо, чуть слышно позвал:

— Ия!

Шустов сердито бросил окурков в тарелку на полу, кивнул мне: «Сейчас» — и ушел, плотно притворив за собой дверь. Я сидел, прислушивался.

Напротив меня висели старинные стенные часы, циферблат, оббитый резными из дерева листочками, из окошка которого когда-то, наверное, выскакивала кукушка, отсчитывая часы. Теперь часы стояли, медный диск маятника, напоминавший луну, смотрел в комнату, как глаз внезапно застывшего времени.

Вернулся Шустов, лицо его было озабочено.

— Так вот,— сказал он.— Там,— показал на дверь соседней комнаты,— жена. Ну, понимаешь,— жена. Больная. Понимаешь? Надо, чтобы всегда было тепло. Где-то достать дров,

натопить, принести воды. Все это делал старик... Ну, а теперь...

Он прошелся по комнате, остановился возле меня.

— Будешь приходить утром и вечером. Так?

И снова из соседней комнаты позвал гаснущий женский голос:

— Ия!

Шустов снова ушел. На этот раз он прикрыл дверь неплотно, и до меня доносились их голоса: сердитый — Шустова и женский — слабый и капризно-нежный. Она говорила:

— Ну, милый, мне так трудно, когда тебя нет. Как будто всю жизнь ночь. И — лед.

— Потерпи, — раздраженно отвечал Шустов. — Потерпи. Еще несколько дней, и все повернется. Понимаешь, только надо... И все вернется...

— Ничто не вернется! — вздохнул женский голос.

— Всё! Всё, что принадлежит нам по праву рождения, по праву, данному богом. Но ты пойми, если будем сидеть сложа руки, кто же будет делать эту очистительную работу? Кто? Неужели ты хочешь окончить жизнь прачкой?

Они еще что-то говорили, но уже тише, я не мог уловить смысла — только отдельные слова.

Затем Шустов снова вышел ко мне, его чеканное лицо было жестким и сердитым. Подошел, грубо спросил:

— Ну, согласен? Только смотри, чтобы всегда было тепло.

## 16. «ШАГИ СУДЬБЫ»

Уже поздно вечером я добрался до квартиры Корожды. Но его все еще не было дома. Тетя Маша стирала в жестяном тазу Гришуткины рубашонки и штанишки, а он сидел возле и серьезными задумчивыми глазами смотрел на руки матери, на летящие из-под них мутные брызги. Укутанный в старый отцовский бушлат, неровно подстриженный ножницами, он напоминал галчонка, выпавшего из гнезда и не знающего, что делать.

— А, Даня, — сказала Маша, с усилием выпрямляясь. — А мы вот с сыночком, видишь, постирушками занялись. Мыла нету, золой приходится...

Я снял пиджак, потрогал свою шинелишку, висевшую в углу, подсел к Гришутке:

— Здравствуй, Гриш.

— Здравствуй. — Темные вишневые глаза посмотрели на меня серьезно и вдруг оттаяли, улыбнулись: мальчик сразу стал похож на мать. — А папки все нету. Долго нынче.

— Соскучился, милый? — спросила Маша.

— Ага! Он же селедок хотел принести.

— А ты любишь селедки? — спросил я.

— А их кто же не любит? — ответил мальчуган, с удивлением посмотрев. — Они же соленые. Я, когда вырасту, всегда селедки домой носить стану. Правда, мамка?

— Правда, правда, сынок. И селедок, и еще чего. Хлебушка белого.

— Ага! Он вкусный какой, знаешь? — И вишневые глазки посмотрели на меня с доверием и радостью. — У нас в садике два раза давали — ух и вкусно же!

Да, все еще голодали дети, и кусочек белого хлеба и селедочный хвост казались самым вкусным, что есть на земле.

Маша выжала рваные, в заплатках, серые, застиранные одежонки сына, повесила над печуркой, присела. Большие, красные, распаренные руки тяжело легли на колени. Но лицо у нее было задумчивое и доброе и словно светилось изнутри. Устало улыбнувшись своим думам, она обняла Гришутку за голову, притянула к себе. Тот с торопливой и радостной благодарностью ткнулся носом в ее плечо, засопел.

— Ну что? Что? — спросила она.

— Тобой пахнет, — шепотом ответил он и снова прильнул.

— Эх ты, маленький, грошовенький мой, бриллиантовый... — Помолчала. — Что ж это, правда, Ромась-то как задержался? Не случилось ли чего? По вашей-то работе каждую минуту беды ждать...

Но беды никакой не случилось; Роман пришел оживленный, довольный и принес большую ржавую селедку.

— Ага! Я говорил, говорил! — с торжеством закричал малыш, бросаясь к отцу и обхватив ручонками его ноги выше колен. — Вот он, папка! Мамка, гляди, какая толстая селедина! У!

Маша подошла к мужу сзади, помогла снять шинель и, обняв его большими и сильными руками, прижалась к его спине лицом.

— Ромась! Милэсенский мий!

— Ну-ну! — деланно сердито прикрикнул он. — Со всех сторон нападают. И там и тут.

— Боже мой, — вздохнула Маша, смущенно поправляя волосы. — И как ты с одной-то рукой с ними, с гадами, воюешь?

— А и вторую когда отстрелят, я их зубами грызть буду! Я — зубастый! — весело отозвался Роман. Обнял Гришу одной рукой, приподнял и прошел к столу. — Прямо жизни от них, Данил, нет. То спекулянты, то контра всякая, то теперь — еще попы! И мутят, и мутят, и лезут изо всех щелей, мора на них нету... Из многих церквей да монастырей золотишко поховали,

ризы там, кресты всякие и — никаких человеческих слов не понимают! Им про детишек голодных рассказываешь, про то, что Америка золото за помощь спрашивает, — им как вот стене! Словно и сердца в них нет... — Он помолчал, прижал голову сына к своей груди, потерся носом о детский затылок. — Ну, кое-кого мы нынче распотрошили, на Воробьевых... И знаешь, куда всё это божьи гусеницы прятали? Вот, Маша, никак не угадаешь!.. В ведерный чугунок сложили, сковородкой накрыли, увязали это хозяйство проволокой, да все прорешки варом заделали. И — куда, думаешь, Данька? В нужнике у себя во дворе утопили...

— Тьфу! — плюнула в сердцах Маша.

— Вот тебе и тьфу. Спасибо, мальчонка один видел, — так бы и затаили добро.

— Мальчонка — вроде меня? — спросил Гришутка, поднимая на отца глаза. — Да?

— Вот-вот. В точности ты!.. Ну, у тебя что, Данил?

Я рассказал обо всем, что произошло.

— Ну, это же совсем здорово! — обрадовался он. — Этак же ты в самое их гнездо влез. А старика этого, шкуру, пожалуй, теперь и прибирать можно? А? Сколько еще их, тварей таких, по нашей земле ползает!

Но «прибирать» Ферапонтыча не пришлось.

Когда я, уже ночью, вернулся, я не смог достучаться в наше подвальное с ним логово, и пришлось идти ночевать к Петровичу.

— Давай, давай, проходи, Данил, мы всегда рады. Тем более нынче у нас вот Кирюшкин день — семнадцать стукнуло. Ишь какой мужик вымахал! Ради такого дня я в театре полiturки себе малость накапал, очистил по возможности угольком. Гадость, конечно, а все лучше, чем всухую... Вот и опрокинем за его счастье мастеровое по наперсточку...

Я переночевал у Петровича, а утром снова долго стучал. Ферапонтыч не отвечал, не отзывался. Ни друзей, ни родных, где бы он мог заночевать, у него не было, — только несчастье могло где-то задержать его. Но и ключа на условном месте не было. А ведь он так боялся своего ночного одиночества: он всегда оставлял для меня ключ.

Мы снова долго стучали, не получая ответа; удары в тяжелую дубовую промерзшую дверь гулким эхом неслись по всем этажам дома, дребезжали осколками стекол в парадных дверях. Ничего, никакого ответа.

Тогда мы с Петровичем прошли во двор, распахивая ногами сугробы, пролезли к окну, — снег здесь лежал чуть не на высоту человеческого роста. Ржавая пожарная лестница карабкалась над окном в дымное, затянутое морозным туманом

небо, вдоль стен высились горы мусора и нечистот, которые выбрасывали из форточек верхних этажей.

Я прильнул к стеклу и, защитив ладонями глаза, долго и тщательно всматривался, стараясь разглядеть что-нибудь за раскиданными по стеклу листьями морозных узоров, — ничего, даже теней.

— Ну что? — спросил Петрович.

— Ничего не видно.

— Может, стекло выдавить?

— Вдруг заболел, лежит? Кровать-то как раз под окном. Как потом дальше жить? Замерзнем.

Мы вернулись в коридор и опять долго стучали. Сверху кто-то зло кричал старческим голосом:

— Кого там нелегкая давит? Покой дайте! Покой! Умереть допустите спокойно, ироды!

Собрались жильцы с бельэтажа, из первого этажа, и все, перебивая друг друга, стали ругать Ферапонтыча, его нелюдимость, его безумный взгляд, путаную речь. И, как бывает всегда, нашлись люди, которые, оказывается, давно примечали за стариком неладное. Одна старушка, повязанная поверх шапки черным с красными кантами казачьим башлыком, с рваной кошелкой в руках, щебетала, дуя на высохшие пальцы:

— Я сразу же, сразу заметила, господа, то есть, извините, граждане... сразу заметила. Было в нем что-то такое, ну непонятное. Я прямо ночи не спала, все боялась: вдруг придет и зарежет. И Катеньке, сестрице своей, сколько раз высказывала... И теперь уверена, это его в Чека забрали, больше куда же, посудите сами. Только в Чека. Он самогонку гнал и торговал, от него дух всегда пьяный шел...

Посоветовавшись, мы снова вышли во двор и выбили в окне нижнее, самое маленькое стекло. Спертым запахом давно невымытого, неприбранного жилья, кислой вонью овчины, застарелым духом крепкого табака пахнуло сквозь обледененные осколки. Я наклонился и заглянул в иззубренное отверстие и отшатнулся: в полуметре от моих глаз, на высоте выбитого стекла неподвижно висели подшитые кожей серые валенки.

Все, кто собрался под окном, по очереди, не говоря ни слова, заглянули в теплящуюся едва заметным паром дыру. Каждый заглядывал и сейчас же отшатывался и уходил, давая место другому.

— Шаги судьбы! — непонятно сказал Петрович, снимая шапку.

Через полчаса я сидел на той самой лавке, на которой спал, а напротив меня, на своей кровати, лежал, неестественно вытянувшись, мой бывший квартирный хозяин. Лицо его было накрыто тряпичей с выцветшими цветочками, руки вытянуты



вдоль тела. Из-под тряпицы торчала седая всклокоченная борода. А рядом со мной сидел молоденький милиционер, мы ждали прихода следователя: он должен был допросить меня, так как последнее время с самоубийцей жил я.

Петрович ушел на работу, в дверях толпились жильцы, заходили, прослышав о происшедшем, и из соседних домов, но милиционер махал рукой: «Нечего, нечего! Проходите!» И, потоптавшись у порога, любопытные исчезали.

На столе, недалеко от меня, стояла пустая бутылка, лежала уже знакомая мне тряпица, в которую старик заворачивал свое «последнее» мыло, из-под покрывавшей постель дерюги выглядывал угол отпертого и открытого окованного жестью сундучка. Топор, как и всегда по ночам, лежал перед иконой на табурете.

— И с чего это он? — спрашивал меня милиционер, теребя крошечные, только пробивающиеся усики и то и дело с важностью поправляя пустую кобуру. — Вот ведь... живет человек, живет, и вдруг — на. И главное, теперь — после революции. Ну будь он какой буржуй, или министр, или там генерал — тогда все, тогда без слов, а ведь дворник... вроде тоже — рабочий... И не голодал, ишь какую посудину перед смертью опорожнил... — И милиционер брал коньячную бутылку и нюхал горлышко. — А вкусно...

Мне не хотелось рассказывать о Ферапонтыче этому безусому пареньку. Я думал, что сначала надо посоветоваться с Романом.

Какое-то движение послышалось в коридоре, я посмотрел в холодный, темный туннель, где угадывались чьи-то тени. Раздвигая любопытных, в дверях появился Шустов. Не обращая внимания на милиционера, подошел к кровати и, приподняв тряпку, закрывавшую лицо дворника, секунду смотрел, словно хотел убедиться, что старик в самом деле мертв. Брезгливая гримаса на мгновение тронула его красивые губы.

Милиционер встал возле стола, он, видимо, принял Шустова за какое-то начальство.

— Давно? — строго спросил Шустов.

— Да, видно, ночью.

— Так. — Шустов мгновение подумал, еще раз оглянувшись на неподвижное тело, потом мельком на меня. И ушел.

Через два часа мертвое тело увезли.

Оля поправлялась. Теперь она уже могла подолгу сидеть на тахте и иногда с моей помощью делала по комнате несколько неуверенных шагов. Ей очень хотелось что-нибудь увидеть в окно, она с нетерпением ждала, когда сквозь корочку льда на стеклах пробьется солнечный луч. Ждала и тосковала. Она удивительно вытянулась и повзрослела за время болезни, словно болезнь эта длилась не недели, а годы, и в лице у нее появились новые черты, будто она все раздумывала и раздумывала над чем-то сложным и трудным. И улыбка у нее стала другая — медлительная и как бы через силу; улыбаясь, она словно понимала, что улыбаться ей совершенно нечему, что впереди ничего радостного нет.

Она читала и, вернее, не читала, а перелистывала книги, которые я доставал ей с разрешения Алексея Ивановича из многочисленных шкафов. Я выбирал книги с многокрасочными иллюстрациями, может быть, потому, что мне самому нравилось перелистывать и рассматривать эти книги, где рассказывалось о далекой чужой жизни. С их страниц смотрели причудливо расписанные и разукрашенные перьями и раковинами вожди каких-то африканских и индийских племен, вонзались в синее и словно эмалированное небо позолоченные и посеребренные иглы минаретов, тяжелыми каменными глыбами громоздились тысячелетние усыпальницы фараонов и полководцев.

— Это для меня все равно что сказка,— вздохнула Оля однажды.

— Почему? Это же правда.

— Для меня — неправда. Потому что я там никогда не буду и ничего этого не увижу. Как сон.

Теперь часто бывать у Жестяковых я не мог: днем работал в театре, рано утром и поздно ночью ходил на «дровяную охоту», чтобы топить шустовское жилье. Но мое «лакейство», как я мысленно это называл, моя слежка за Шустовым оказывались пока совершенно бесполезными: я не видел никого, кто ходил бы к Шустовым, и никаких особенных поручений он мне не давал. Каждый раз я был у него в квартире очень недолго, а убираться по дому и помогать больной приходила старенькая седая женщина. Она смотрела на меня темными агатовыми глазами с пристальным недоверием. И я уже начинал думать, что я вообще ничего не сумею узнать... И все неохотнее и неохотнее исполнял свои добровольные обязанности, хотя Шустов и платил мне по тому времени хорошо — не деньгами, конечно: они тогда не имели цены, а какой-нибудь едой, хлебом, сухарями, английскими галетами, сахар-

ном. И только ради Оли я брал из его ненавистных рук эти подачки: девочка за время болезни очень ослабла и ей надо было много и хорошо есть.

Обычно я приходил к Жестяковым поздно вечером и сидел час или два, разговаривал с Олей, рассказывал ей о своем детстве. Я перерыл книжные шкафы в надежде найти среди книг «Овода», но нет, не нашел. Больше всего у Жестякова было книг по энергетике, по строительству и проектированию электростанций; их страницы пестрели непонятными формулами, чертежами, какими-то сложными параболическими кривыми и диаграммами.

В те дни мне доставляло радость наблюдать за Алексеем Ивановичем: он пробуждался от своего ледяного сна, от охватившего его отчаяния, становился все более живым. И работал с увлечением, с азартом. Каждое утро он убегал, торопливо поцеловав Олю:

— Ну, будь умницей, Кораблик! Подкладывай в печку вот эти паркетины — все равно когда-нибудь меня за них повесят. А покушать — вот тут. Будешь умницей?

— Да, дядя Алеша. Не беспокойтесь.

И он, бормоча или напевая что-то, состоявшее из чередования «гм-гм, бр-бр...», бежал через весь город на Мясницкую, где в то время в полутемных и полухолодных комнатах помещался «Электрострой», где рождались эскизы первых электростанций ГОЭЛРО. Там сутился профессор Графтио, еще задолго до революции создавший проект Волховской ГЭС, который пролежал под сукном всяческих канцелярий много лет. Только теперь проект гидростанции на Волхове получал воплощение в бетоне и камне, в дереве и железе.

Там, в этих холодных коридорах и комнатках, трудились такие иступленные романтики и энтузиасты своего дела, как Винтер, Кржижановский и Радциг, чьи творящие руки раньше были скованы намертво.

Если была какая-нибудь возможность, я старался забегать к Оле и днем; в отсутствие Алексея Ивановича, одна, она еще больше тосковала, даже книги не развлекали ее.

Я приходил, стучал и иногда долго ждал, пока Оля, держась за стены, пройдет по комнатам и коридору и отопрет дверь. Потом мы оба, немного смущенные чем-то, усаживались поближе к печке, я подбрасывал в нее две-три паркетные плитки, и мы начинали бессвязный нескончаемый разговор. Меня смущал пристальный взгляд больших синевато-светлых глаз Оли, всегда смотревших на меня с невысказанным вопросом: она как будто все еще не могла понять, кто я, что за человек. Часто, чтобы победить охватывавшее меня смущение, я принимался читать ей вслух — обычно что-нибудь

из истории: меня привлекали бесконечные войны, из которых эта история слагалась, но я очень многого не понимал сам и не умел объяснить ей. Помню, однажды я читал о войне Алой и Белой роз; Оля осторожно положила на страницу свою узенькую ладонь, закрыв текст, и сказала виновато:

— И почему ты всегда про это читаешь? Про войну то есть. Зачем всё, зачем, чтобы люди убивали друг друга? Разве нельзя жить просто так, по-доброму?

Я пытался рассказать ей, что знал, говорил о неравенстве и несправедливости, но она только качала своей остриженной, укутанной в шаль головой:

— Не понимаю. Если бы не война — папа был бы жив. И ничего этого: ни теплушек, ни холода, ни «буржук», ни плохого хлеба — ничего. Ты помнишь, Дая, когда мы ехали, на одной станции какие-то мертвые возле сарая лежали, много-много...

Вечером возвращался Алексей Иванович, довольный, почти счастливый, бормоча свое «гм-гм... бр-бр», раздевался, отогревался, целовал Олю.

— Ну, в какие страны нынче плавал Кораблик? Было ли ему тепло на Северном полюсе?

— Да, тепло.

Каждый раз он приносил из буфета, который открылся в «Электрострое», какую-нибудь еду и, сам худой и жалкий, скармливал ее Кораблику, а затем принимался ходить по комнате, возбужденно говоря.

— Боже мой! Боже мой! — однажды разволновался он. — Сколько заживо похороненных великолепных проектов, сколько труда! — Он остановился перед тахтой, где лежала Оля, и, жестикулируя, принялся кричать: — Шестнадцать лет работал Зергель над проектом плотины в Гибралтарском проливе! Шестнадцать лет! Плотина — тридцать километров длиной и триста пятьдесят метров высотой! И такую, оказывается, можно построить. Да, можно! Все подсчитано. Только строй!

— А зачем, дядя Алеша? — спросила Оля.

— Зачем? Да ведь это дало бы возможность соорудить гидростанцию мощностью в сто миллионов киловатт! Сто миллионов! Это залило бы светом всю Европу и половину Африки! Светом и теплом! Правда, уровень Средиземного моря понизился бы на двести метров. Такие города, как Неаполь, Марсель, Венеция, оказались бы далеко от берега. Но Венеция это спасло бы жизнь. Она уже сотни лет гниет и разваливается, и восстанавливать ее невозможно... Потом, такая плотина... Это освободило бы, обнажило больше полумиллиона квадратных километров самой плодороднейшей земли — поистине золотого морского дна! А ведь там два урожая в год!

— Так почему же не строят, дядя Алеша?

— А! — Жестяков с ожесточением махнул рукой, — Похоронили! А предложение повернуть реку Конго в озеро Чад! Там образовалось бы огромное море. И все кругом бы ожило! А проект Полло, похороненный на Четвертой энергетической конференции, — сбросить часть воды Средиземного моря в Катарскую впадину в Ливийской пустыне!.. Или вот еще. — Он отошел к шкафу, вытащил географический атлас. — Вот смотрите сюда. Эти страны... Тунис, Алжир, Ливия... Часть их территорий лежит ниже уровня Средиземного моря. Если бы воду сбросить туда, на севере Сахары разлилось бы море в четверть миллиона квадратных километров! И пустыня бы ожила! А там земля дает три-четыре урожая в год! Человечество никогда не знало бы голода...

В тот вечер он казался почти одержимым, этот седой всклокоченный человек с загоревшимися, ожившими глазами... И хотя тогда я многого из сказанного им не представлял себе в полном объеме, я заражался его верой, его энтузиазмом, заражался и завидовал.

Когда я рассказал у Жестяковых о смерти Ферапонтыча, о его страшном ремесле и о его кошмарах, Оля долго смотрела на меня изумленными, полными страха глазами, а Алексей Иванович поморщился, словно ему сделали больно.

— Да, шаги судьбы... И вот знаете, Данил, я не раз об этом думал. Вот идешь по улице, или в очереди стоишь, или — в трамвае... и рядом с тобой люди. И ничего о них не знаешь. И, может, такие, как ваш Ферапонтыч, встречаются нам и мы даже разговариваем с ними и не знаем, что они вешали или стреляли — по двадцать пять целковых за голову... или сколько там ему платили? А ведь и он приходил домой, мыл руки и садился ужинать. И у него, видите ли, дети. И он их любит. — Остановившись, Алексей Иванович задумчиво почесал небритую щеку. — Значит, не вынесла черная душа?.. Только, Данил, зачем же все это Корабликам рассказывать? А? Жизнь у них только начинается...

— Больше не буду. — Я и в самом деле пожалел о том, что рассказал: такими испуганными, такими большими глазами смотрела на меня Оля.

— И ты и теперь там спишь, в его комнате? — спросила она.

— Нет. Там же окошко выбито. Холодно.

— А правда! Где же вы приклоняете свою голову? — спросил, снова останавливаясь, Алексей Иванович. — Соседство с такой особой даже в воспоминаниях вряд ли приятно.

— Сейчас ночую у соседа, у столяра.

— А ты, Даня... — начала Оля и замолчала, смутилась.

— Что, Кораблик? — спросил Алексей Иванович.

— Так... ничего.

— А я ведь знаю, что ты хотела сказать,— засмеялся и погрозил пальцем Жестяков.

— Что?

— Ты хотела сказать: «А ты, Данил, приходи к нам».

— И вовсе нет!

— «...а то мне скучно, видите ли...»

— Да ну вас, дядя Алеша! Всегда вы выдумаете! — Оля покраснела, на ее восковых щеках проступили розовые пятна румянца.

— А вы и правда, Данил, перебирались бы к нам,— уже серьезно и с просьбой предложил Алексей Иванович.— Обьест нас вы не сумеете, потому что у нас у самих есть нечего. А спать будете на самом теплом местечке, рядом с этим чугуным божеством. А?

Это было заманчиво и приятно, тем более что теперь я не испытывал ни недоверия, ни неприязни к старому инженеру: он тоже приобщался к нашему делу, в нем с каждым днем сильнее разгорался тот творческий огонь, который растапливает любой лед и согревает сердца.

И было у меня еще одно соображение: вот-вот должен был вернуться из Питера Граббе; в те дни мне случайно попал под руку учебник французского языка, и я начал зубрить слова,— мне хотелось понимать хоть часть того, что Граббе говорит Алексею Ивановичу, хотелось понять, о чем они спорят. Но из этой затеи так ничего и не вышло: я сумел заучить всего несколько десятков слов, когда снова появился Краб.

Уже кончалась подготовка к съезду Советов, карта ГОЭЛРО была окончательно смонтирована, опробована и стояла теперь близко от сцены, прикрытая на всякий случай дражным холстом, на котором была выписана безмятежная морская даль, розовая от закатного, распростертого над ней неба. Мы с Петровичем соорудили из фанеры и досок огромную фигуру красноармейца, поддевшего на штык извивающегося маленького Врангеля,— у него, как мне помнится, даже была сигара во рту. Соорудили мы и капиталиста в высоченном цилиндре и с толстым пузом, с денежным мешком в одной руке и с кандалными цепями, взятыми из бутафорской,— в другой. Эти фигуры, раскрашенные художниками, были выставлены на улицах и долго собирали вокруг себя толпу.

Помню вечер за несколько дней до открытия съезда.

Алексей Иванович сидел за своим рабочим столом с логарифмической линейкой в руках и, бормоча «гм-гм... бр-бр», что-то старательно подсчитывал. Он теперь даже по ночам вскакивал со своего узенького деревянного диванчика возле

двери, на котором спал. Непонятные слова то и дело срывались с его губ, мы с Олей только тихонько посмеивались над ним, над какими-то бьефами и гравитацией, над тальвегами и водосборными бассейнами: для нас это была китайская азбука.

Тихонько, стараясь не мешать ему, мы разговаривали. Я сел на край тахты, прикрыл Оле ноги, с них то и дело сползала шубенка. Портрет Юлии с задумчивой лаской смотрел на нас, отсветы пламени, ложившиеся на него из распахнутой печной дверцы, странно оживляли и красили ее лицо.

— Расскажи мне что-нибудь, Даня,— попросила Оля.— Так мне что-то скучно, так скучно!

И я опять рассказывал про свое детство, про разные мальчишеские шалости, про голубей, про то, как мы пугались в Ка-летинском парке привидения, а привидением оказался старенький сторож, который по ночам напояливал белый балахон и в таком виде бродил по берегу пруда, изображая привидение и отпугивая мальчишек.

— А мне вот как будто и вспомнить нечего,— вздохнула она.— Подружек не было, почему — и сама не знаю. И только и помню одно — море. И Хабибулину собаку. Ее Шайтаном звали. А она вовсе и не злая была. И меня любила...

## 18. ИСЧЕЗНУВШИЕ РЕЛИКВИИ

Следующий день был полон неожиданных и значительных событий. Мы с Петровичем пробыли в театре до поздней ночи: кончались последние приготовления к съезду. Охрана съезда старательно обшаривала здание: еще не была забыта бомба с часовым механизмом — их тогда называли адскими машинами, — кем-то запрятанная в подвал театра накануне собрания партийного актива Москвы в прошлом году. Помнили и взрыв бомбы, брошенной эсером Донатом Черепановым в окно Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, когда были убиты Владимир Михайлович Загорский и еще одиннадцать коммунистов: Игнатова, Волкова, Титов и другие товарищи — и тяжело ранено более пятидесяти человек. Контрреволюция жила тайной, скрытой от нас жизнью, но все еще жила, все еще приходилось самым тщательным образом бегать — прежде всего — жизнь Ленина.

Когда мы с Петровичем, возвращаясь, подходили к своему дому, меня удивило странное обстоятельство, которого я никогда не замечал раньше. На третьем этаже, на подоконнике выходившего на улицу окна, стояла зажженная керосиновая лампа, от ее тепла на стекле вытаял круг льда, и теперь лампа

была хорошо видна. Кто поставил ее на окно? Зачем? Вспомнив расположение комнат в квартире Шустова, я понял, что горит лампа на окне его кабинета, где я разговаривал с ним первый раз. Может быть, это условный знак? Кому? О чем?

Дворника вместо Ферапонтыча в нашем доме тогда не было. Немного обогревшись, я отпер его конуру, взял лопату и вышел на улицу. Весь тот день валил рыхлый сырой снег, к вечеру улицы Москвы стали совсем белыми. В снегу петляли протоптанные пешеходами дорожки. Не спеша я принялся очищать тротуар, а сам все поглядывал на горящую в окне третьего этажа лампу. Ее свет казался особенно ярким потому, что большинство окон было едва освещено — тускло серебрился на стеклах лед, и за ним, где-то в темной глубине жилья, бессильно, в четверть накала, мерцали электрические лампы.

«Странно,— думал я.— Если бы лампа стояла в комнате больной, это можно было бы объяснить тем, что положение жены Шустова стало серьезнее, тяжелее. Лампу могли поставить куда угодно и просто позабыть о ней, если жизни больной угрожала опасность, если она, скажем, умирала. Нет,— думалось мне,— неспроста врывается в зимнюю тьму неосвещенных улиц этот свет».

И предчувствие не обмануло. Примерно через полчаса я увидел на противоположной стороне улицы двух человек. Они медленно шли, перекидываясь какими-то неразличимыми словами, и остановились, закуривая, против нашего дома. Продолжая чистить снег, я наблюдал. Они постояли, оглядываясь во все стороны, потом неторопливо пошли дальше, до перекрестка, и там перебрались на нашу сторону улицы. Я чистил снег, словно и не видел их, а внутри у меня все дрожало от нетерпеливого ожидания.

Мои глаза уж привыкли к полумраку неосвещенных улиц, но, если бы не лежал в улицах только что выпавший снег, мне, пожалуй, было бы невозможно разглядеть этих ночных гостей. Один из них был в длинной кавалерийской шинели, такой же, как носил в ту пору Дзержинский, и в мерлушковой солдатской шапке, другой — в пальто с поднятым, закрывавшим лицо воротником, у этого второго под низко надвинутой шапкой настороженно поблескивали стекла очков или пенсне. Они поравнялись со мной и остановились.

— Бог на помощь, дружок,— сказал тот, что был в штатском,— снегу-то, снегу навалило. Не жалеет господь вашего брата, дворников.

Я выпрямился, вздохнул.

— Люди не жалеют, так чего же богу жалеть?! — как мог грубее и злее ответил я.— С голодухи ноги вовсе опухли, а тут



скреби да скреби ее, проклятую. И когда это, к чертовой матери, кончится?!

— Ничего, дружок, все будет хорошо,— ласково отозвался человек в пенсне.— Пойдем, однако.

И они исчезли в кромешной тьме нашего подъезда.

— Тьфу, черт! — выругался кто-то из них.

Я подошел, заглянул в дверь. Светя себе под ноги зажигалкой и держась за перила, гости поднимались по лестнице, обросшей грязными комками снега.

— Если Краб сегодня вернется... — долетело до меня, конца фразы я не расслышал: они повернули на следующий лестничный марш.

Когда наверху, в глубине дома, глухо стукнула дверь, я отошел от края тротуара и взглянул в окно. Через несколько минут лампы убрали,— значит, больше не ждут. Я решил покараулить, послушать, может, когда ночные гости будут уходить, удастся узнать что-нибудь. Я зашел на несколько минут к Петровичу, посидел, погрелся, потом снова вышел.

— И охота тебе, Данил? — искренне удивился столяр.— И так мы с тобой сегодня намаялись, сил нет. И завтра чуть свет идти надо... Сидел бы в тепле. Придет время — весна все сама уберет... Что, тебе больше всех надо?

— Уж скорее бы тепло,— вздохнула жена Петровича.

Но я все же ушел. Я то ходил по коридору или по улице возле входа, то стоял, прислонившись плечом к холодной стене, то залезал в облюбованное убежище — в темный и холодный, как погреб, закуток под лестницей. Так я провел часа два, не меньше. Но вот наверху послышался неясный шум...

Гости уходили так же осторожно, как пришли, посвечивая себе под ноги зажигалкой, и, видимо, были уверены, что на лестнице никого нет. Негромко переговаривались. До меня долетали непонятные фразы: «Гостевые билеты... А амнистия так и не применяется, так и сидят».

Мне хотелось проследить, куда они пойдут, и я долго крался за ними по безлюдным улицам, пока они не вышли на Тверскую. Здесь былолюдно, и я их внезапно потерял, вернее всего, они юркнули в какой-то подъезд, и я не заметил куда.

Огорченный этим до отчаяния, я побежал было домой, но потом вспомнил, что вот-вот должен вернуться из Питера Граббе, а вернется он, вероятнее всего, к Жестяковым — у него в Москве как будто нет более надежного пристанища. И я побежал к ним.

Оля уже спала, Жестяков работал за своим столом, что-то высчитывал и чертил, заглядывая в разложенные по столу книги, в справочники и чертежи.

— А, воин! — немного удивился он. — Конечно, ночуйте... Гм-гм...

Уже около полуночи в дверь негромко, но настойчиво постучали.

— Однако? — удивился, подняв палец, Алексей Иванович и пошел открывать.

Лязгнули запоры, и почти тотчас же послышался взволнованный голос Граббе. Я не удержался, подошел к двери, выглянул.

Алексей Иванович стоял со свечой в руке, а Граббе поспешно запирает на все запоры дверь. У ног его стоял черный чемодан. Он был тяжелый, это стало заметно, когда Граббе поднял его и понес. Алексей Иванович шел впереди со свечой.

— Нет, нет, старина, если можно, не сюда, — попросил Граббе, когда Алексей Иванович подошел к ведущей в кабинет двери. — Тут у меня всякие драгоценные, но сейчас ненужные реликвии — все, что осталось от моего разбитого корыта. Зачем загромождать твою пещеру? Я, знаешь, поставлю их в Юлину комнату. А?

— Валяй, валяй, — разрешил Жестяков.

— Дядя Володя вернулся? — спросила Оля сквозь сон.

— Да. — Я старательно укрыл ее ноги, а сам постелил себе на полу у печки и лег.

Из комнаты, где стоял рояль, доносились приглушенные голоса.

Через какое-то время Граббе и Жестяков вернулись в кабинет: хозяин шел впереди со свечой в руке, ее трепетное, прыгающее от движения пламя отбрасывало на стены и потолок огромные изломанные тени. Я притворился, что сплю, а Оля, кажется, и в самом деле опять спала.

Граббе постоял над ней, повздыхал: «Ах, крохотуля, крохотуля... даже детей не щадит треклятое время!» Отвернувшись, подошел к столу. Свеча стояла на краю, и Граббе долго, наклонившись, рассматривал чертежи.

— Продался, значит, старина? — с усмешкой спросил он. — За чечевичную похлебку? Слаб, слаб человек... Быстро они тебя в свою веру обернули! Да неужели ты веришь, что они способны строить?! Они? Помнишь: «Не создавать, разрушать мастера!»

И тут Алексей Иванович по-настоящему рассердился. Лежа на полу, в тени, отбрасываемой углом стола, я мог следить за выражением их лиц. У Граббе было ироническое, презрительное лицо, губы старались изобразить улыбку, но глаза — как темные провалы, как пустые глазницы.

У Алексея Ивановича седые усы и брови топорщились,

взлохмоченные волосы над широким, исполосованным морщинами лбом стояли дыбом. Но он смолчал.

— Ну-ну! — похлопал его по плечу Граббе. — Надеюсь, когда мы окажемся на коне, ты опять переметнешься к нам? А?

И опять помолчали.

— Знаешь что, Владимир, — тихо попросил Алексей Иванович. — Забрал бы ты эти свои... реликвии... куда-нибудь. А?

— Поджилки трясутся? Страшно? — спросил Граббе и, подняв свечу, долго смотрел на меня. — И чего ты всякую тварь привечаешь, Алеша?

— Он Олину жизнь спас...

— Да? Смотри, не пришлось бы своей жизнью платить.

— Это что? Угроза? — сердито поднял голос Алексей Иванович.

Граббе засмеялся:

— Да успокойся ты, успокойся, старина. Какие угрозы?! Где же ты меня спать положишь?

— А вот здесь. Между Олечкиной тахтой и «буржуйкой». Прямо плацкарта в первом классе рая. Кормить тебя нечем. Осталось только ей на утро...

На следующий день я ушел из дома чуть свет, побежал прямо к Роману. Он выслушал рассказ с чрезвычайным вниманием.

— Вот это уже серьезно, эти реликвии. Поди-ка, с динамитной начинкой... Мы уже перехватили несколько таких подарочков, все оттуда, из Питера плывут... с другого берега... Ладно. Это мы ночью приберем.

С обыском на квартиру к Жестяковым пришли после полуночи, когда мы легли спать. В комнате было темно, но сквозь ледяную толщу окон в комнату сочился чуть голубоватый лунный свет, все от него казалось призрачным, одетым туманом.

Мы проснулись от громкого стука в дверь. Граббе вскочил первым. Но был он, как показалось мне, странно спокоен.

Алексей Иванович зажег крохотный огарок свечи, отпер дверь. Вошли трое рослых ребят, ни одного из них я не знал и не встречал раньше. Они проверили у мужчин документы и потом предъявили ордер на обыск.

Граббе стоял с неподвижным, замкнутым лицом. Квартира была почти пуста, и особенно искать, казалось, негде, поэтому стоявший под роялем и прикрытый снятой со стены картиной крабовский чемодан был обнаружен очень легко. Один из чекистов вытащил чемодан из-под рояля. К моему великому удивлению, он стал очень легким.

— Чей?



Алексей Иванович молча посмотрел на Граббе, и тот кивнул:

— Мой!

Чемодан был заперт.

— Ключи!

— Потерял,— пожал плечами Граббе.

— Само собой,— сказал чекист, который возился над чемоданом.— Астафьев, ты специалист по замочкам. Ну-ка, ковырни.

Через несколько секунд чемодан открыли, он был полупустой, под бельем лежало столовое серебро, подсвечники, еще что-то. Граббе стоял по-прежнему с замкнутым лицом, но в глазах у него светилось тихое торжество. И только тогда, когда взгляд его коснулся Жестякова, в нем вспыхнула холодная, злая ненависть.

## 19. ТАК ВОТ ОН КАКОЙ, ЛЕНИН!

Среди немногочисленных документов, уцелевших во время тяжелых событий, которые мне пришлось пережить с поры моей юности, сохранился пожелтевший от времени листок: «Обращение ко всем трудящимся России». Вот я беру в руки этот драгоценный, как бы излучающий свет документ, читаю слова, с тех пор навсегда врубленные в память и сердце. Не могу не привести некоторые из них, они тогда с такой радостной и острой болью отзывались в каждом преданном революции сердце:

«...Красные воины, дети рабоче-крестьянской России, в непрерывных боях с многочисленными врагами на десятках фронтов вы проявили чудеса храбрости и героизма, которые никогда не позабудет спасенная от капиталистического ига страна. Не всегда получая свой кусок хлеба, часто раздетые и разутые, изнемогая от усталости, не получая смены, вы шли вперед, потому что трудовая республика доверила вам свою судьбу и поручила принести ей победу. Наши враги были прекрасно вооружены, хорошо одеты, снабжены всем необходимым. Их обильно снабжали из своих запасов богачи и капиталисты богатейших стран мира, желавшие поработить трудовую Россию в то время, как бедная и разоренная наша страна не имела часто чем обуть и одеть своих защитников. Вы терпеливо сносили все лишения, хорошо понимая, что не нищая Россия виновата в ваших страданиях, а те богачи и всемирные грабители, которые подняли на нее свой меч. Слава вам, верным сынам трудовой республики, отдавшим ей свои силы и свою жизнь в самый трудный момент ее существования».

Эти слова, с которыми обратился к народу VIII съезд Советов, нашли тогда отклик в каждом сердце, в каждой чистой душе, так как почти не было в России ни одной честной семьи, не принесшей революции своих жертв. Слова: «и... считает своим долгом воздать благодарностью за заслуги всех, кто своим пóтом и кровью, тяжелым трудом и терпением, мужеством и самопожертвованием для общего дела способствовал победе...» — разве эти слова не относились и к моему отцу, погибшему за революцию, и ко многим его друзьям, разделившим его почетную скорбную участь, и ко всем тем, кто принял смерть в боях под Каховкой и Строгановкой, на штурме Турецкого вала на Перекопе и в боях под Ишунью?

Когда я впервые прочитал эти написанные Лениным слова, чувство невыразимого волнения и горячей благодарности захлестнуло мне душу, я с трудом подавил желание заплакать. Это было в первый день съезда. Вся моя жизнь как бы мгновенно пролетела передо мной, со всеми ее радостями и болями, с друзьями и недругами, проникнутая светом революции и верой в нее, в ее справедливость и необходимость.

Да, сколько бы лет жизни ни отпустила мне судьба, я никогда не забуду первого дня VIII съезда Советов. Рано утром мы расставили стулья для президиума, накрыли столы красным сукном, принесли из мастерской и установили трибуну, которую вчера заново отклевали и отполировали, — было странно и радостно знать, что Владимир Ильич будет прикасаться к этому дереву рукой, что это коричневое полированное зеркало будет отражать его движения, его лицо. Мы с Петровичем, работая, не говорили об этом, но по тому, с какой требовательной внимательностью, отклонившись, он всматривался в полыхавшую огнем коричневую глубину полированных поверхностей, я понимал, что и он переживает то же, что и я. Да и все рабочие, готовившие театр к торжественному открытию съезда, ходили с озабоченными и просветленными лицами, предчувствуя радость встречи с Владимиром Ильичем.

Съезд открылся 22 декабря в час дня. Зал был набит битком, даже во всех проходах между креслами сидели и стояли люди, одетые в шинели и бушлаты, в драные мужицкие сермяги и кожаные куртки, многие только-только вернулись с фронтов гражданской войны, с подавления кулацких и контрреволюционных мятежей, другие приехали с восстанавливаемых заводов, из далеких нищих деревень России.

Съезд открыл Михаил Иванович Калинин. Тогда он выглядел не таким, каким мы помним его по портретам последних лет его жизни. Молодой и порывистый, и глаза за стеклами очков — веселые. Когда после его первых слов сводный духовой военный оркестр заиграл «Интернационал» и люди в зале

встали и словно окаменели, никогда не испытанный раньше восторг охватил меня, будто только в тот миг до меня полностью дошел смысл нашей победы, словно все, что случилось раньше, только подготовка к этому торжественному дню.

Я стоял возле правой кулисы, где толпилось большинство рабочих, оставленных охраной съезда для работы в театре на время, пока будет идти съезд. Оглянувшись, я увидел блеснувшие слезным блеском глаза Петровича, напряженные и радостные лица других. В зале, вытянувшись, как на военном параде, стояли делегаты; среди них были, кажется, и мои сверстники.

Торжественные звуки гремели под сводами высокого, гулкого зала, и чей-то голос, вначале совсем неслышный, пел:

...насилья мы разрушим  
до основания, а затем...

Тысячи голосов подхватили слова и понесли их, голоса заглушали оркестр, было похоже на прибой моря в часы бури; песня захватывала и несла с собой, не было сил противиться ей, не было сил молчать — песня требовала, звала, вырывала голос из горла, из души, из самого сердца...

Мы наш, мы новый мир построим...—

неслось под сводами, и казалось, что песня может опрокинуть стены, словно ураган. А хотя она и была ураганом, тогда только начинавшим свое стремительное движение по планете. И я тоже пел, пел с тем страстным воодушевлением, с каким бросаются в атаку, когда в груди умирает все, кроме одного чувства, одного желания — победить.

Я смотрел в зал, и мне казалось: здесь билось одно большое сердце, кипящее кровью.

Когда наконец оркестр стих, и зал замолчал, и делегаты стали усаживаться на места, тяжело дыша и вытирая слезы, Михаил Иванович, подняв руку, сказал с глубокой и торжественной печалью:

— Товарищи! Наше первое слово, наша симпатия, наша скорбь относятся к тем товарищам, которые погибли в гражданскую войну на военных и боевых советских и партийных постах. Почтим, товарищи, их память вставанием!

И снова зал встал, но этот его порыв выражал уже другие чувства.

И опять — взмах дирижерской палочки, и берущее за самое сердце, нарастающее дыхание музыки, и полные значения и силы слова, звучащие как присяга тем, кто не дожил до этого

дня, кто отдал революции самое дорогое, что есть у человека,— жизнь. Слова текли и текли, разрывая сердце печалью, туманя глаза. Нет, мне не стыдно признаться, что я плакал, плакал самыми настоящими слезами, мне и тогда не было стыдно, потому что я видел, как и рядом со мной и в зале плакали и старые и молодые, как вытирал мохнатой шапкой лицо бородатый солдат, как моргали за стеклами очков добрые глаза Калинина, как в первом ряду партера плакала седая женщина — олицетворение материнского и человеческого горя.

И казалось, над головами двух с половиной тысяч людей, собравшихся в зале, незримо проходят тени тех, к кому обращены слова гимна, слова благодарности и печали, тени тех, чья жизнь обрывалась на эшафотах и в каменных мешках одиночек, на краю братских могил и в захлебывающемся азарте атак, в казематах белогвардейских контрразведок и в голодном бреду тифозных барачников. В далекой тьме веков начиналось шествие этих теней, сквозь слезы я видел на страшном колесе Стеньку Разина и Емельяна Пугачева и плоты с виселицами, плывшие по Волге,— товарищи Стеньки, повешенные за ребро на крюк, проплывали мимо родных берегов и мертвеющим взглядом смотрели на землю, которую пытались освободить. Снова стояли лицом к смерти коммунары Парижа у стены Пер-Лашез, и снова поднимались на эшафот Александр Ульянов и его товарищи. Снова сотни и тысячи лучших людей страны умирали на Лисьем Носу, снова толпы народа хоронили матросов с мятежных броненосцев, снова стоял под пулями лейтенант Шмидт, и черная сотня издевалась над выброшенным из гроба телом Николая Баумана, и 26 бакинских комиссаров падали с откоса песчаного бархана. И в ряду этих теней шел и мой отец, дорогой мой, мужественный батяня, оставивший мне в наследство свою веру в революцию и свою преданность ей...

И когда смолкли последние слова и перестала греметь оркестровая медь, стали отчетливо слышны всхлипывания седой женщины в первом ряду. Я всмотрелся в ее лицо, освещенное падавшим со сцены светом, оно казалось прекрасным в своем мужественном горе, и глаза на нем горели черным огнем, было видно, что, если еще сто раз потребуется пройти через все то, через что эта мать прошла, она не поколеблется, не отступит.

Я посмотрел на стоявшего рядом с ней матроса и вздрогнул. Не может быть! Неужели это дядя Сергей, Вандышев? Один из самых дорогих и близких мне людей. Он, кажется, он... Я приник к дырке в полотне декораций, впиваясь взглядом в его лицо. Мне хотелось выбежать к рампе и крикнуть: «Я здесь!»



Но меня толкнули сзади:

— Ильич!

И я сразу позабыл обо всем, что только что взволновало до слез,— и о плачущей женщине, и о Сергее Вандышеве, и о пролетевших в памяти дорогих лицах.

Владимир Ильич, видимо, опоздал к моменту открытия и вошел откуда-то с левой стороны в то время, когда исполнялся гимн; сейчас он стоял возле самого края длинного стола, держа в одной руке несколько исписанных листочков, и, чуть набок наклонив голову, пристально и добро прищурившись, смотрел в зал. Да, права была тетя Маша — в нем с первого взгляда трудно было угадать человека, имя которого приводило в восторг половину человечества, а другую повергало в неистовство и гнев. Ильич был прост. И одет был просто, предельно просто, ничто в костюме не выделяло его из среды окружавших его товарищей: ни пальто с шалевым меховым воротником, которое висело на спинке стоявшего за ним стула, ни костюм. Кстати, уже много лет спустя, когда я прочитал воспоминания о Владимире Ильиче Клары Цеткин, меня поразили написанные ею слова: «...я встретила с Лениным ранней осенью 1920 года... Ленин показался мне не изменившимся, почти не постаревшим. Я могла бы поклясться, что на нем был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 году...»

Лицо Ильича — усталое, но оживленное. Он смотрел в зал, словно принимая в себя эти тысячи светящихся любовью и преданностью глаз, словно оценивая все сделанное за последнее время и уже заглядывая в завтрашний день.

Когда отзвучали последние слова гимна и в зале установилась тишина, Калинин мгновенным взглядом оглянулся на Ильича, и тот едва заметно кивнул. Калинин поднял на уровень лица руку, но как раз в этот момент зал, очнувшись, увидел Ленина, и буря аплодисментов всплеснулась и загрела, все нарастая, заливая все ярусы театра, вырываясь сквозь открытые двери в коридор и фойе. Это был такой иступленный прибой человеческой радости, какого мне ни раньше, ни потом не приходилось видеть. Весь зал рванулся к сцене, стоявших впереди притиснули к барьеру, огораживающему оркестровую яму; вытянув над головой руки, потрясая шапками и фуражками, делегаты аплодировали Ильичу, аплодировали и кричали.

Ильич слушал, нетерпеливо поглядывая, потом подошел к трибуне, положил на ее край свои записки и снова нетерпеливо посмотрел в зал. Съезд не умолкал, и опять мне казалось возможным, что стены опрокинутся, упадут.

Овации и крики. Ленин сделал шаг к рампе и, достав из жилетного кармана часы, склонив голову набок, косо, одним глазом, посмотрел на циферблат и, подняв над головой, показал часы залу. И зал стих, не сразу, а постепенно, словно волна тишины, возникнув в передних рядах, покатилась назад, заливая зал.

Я думал, что Владимир Ильич сейчас же начнет говорить, но он взял с трибуны свои записки и снова отошел к столу, сел. А на трибуну один за другим поднимались с приветствиями съезду Габриэлян и Касумов — от только что образованных Армянской и Азербайджанской республик, вернувшийся с Южного фронта Бела Кун — «представитель истерзанного венгерского пролетариата» — так сказал о нем Михаил Иванович. Затем съезд решил послать сочувственную телеграмму французским коммунистам в связи с трагической гибелью Лефевра, Лепети и Верже... И только после этого к трибуне снова вышел Владимир Ильич, и снова аплодисменты несколько минут не давали ему говорить.

Позднее, когда я изучал историю нашего государства, я не раз перечитывал сказанные тогда Лениным слова. Но тогда я слушал его с какими-то провалами, словно все мои чувства вдруг умирали и оставались жить только глаза — я все смотрел и смотрел на Ильича. Да, он не был похож на легендарного богатыря, которого создало мое воображение, очень обыкновенный, простой человек, только крутой, блестящий в электрическом свете купол лба, да глаза, необычайно живые, необычайно подвижные и яркие, да еще, пожалуй, стремительная рука, подчеркивавшая улетевшую в зал фразу.

Первые слова, которые отчетливо дошли до моего сознания, были о только что окончившейся гражданской войне. Может быть, потому, что сам я еще недавно сражался с врангелевцами в далеком от Москвы Крыму.

Ильич говорил:

— Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем...

И снова аплодисменты вырвались из-под тысяч ладоней, и Ленин с усталой улыбкой стоял и слушал. Я заметил, что одно плечо у него немного выше другого и он поворачивает голову влево с некоторым усилием — это, подумалось мне, наверное, последствия выстрелов Каплан у гранатного цеха михельсоновского завода.

Я стоял и слушал как заворуженный, и мне было странно, что Ильич говорит такие простые слова: они и до этого как будто жили у меня в душе — такая это большая и нужная правда. На всю жизнь с тех самых минут легли мне в память ленинские фразы:

— ...Мы боролись с «сухаревкой». На днях, к открытию Всероссийского съезда Советов, это малоприятное учреждение Московский Совет рабочих и красноармейских депутатов закрыл. «Сухаревка» закрыта, но страшна не та «сухаревка», которая закрыта. Закрыта бывшая «сухаревка» на Сухаревской площади, ее закрыть нетрудно. Страшна «сухаревка», которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту «сухаревку» надо закрыть...

Какие верные, какие пророческие слова! Ведь и до сих пор, спустя почти полвека, в душах многих живет эта подлая «сухаревка», о которой говорил тогда Владимир Ильич, — сколько их и сейчас живет кругом нас, таких, кому собственная шкура и собственный карман ближе и дороже блага народа, дороже того, за что отдали свои жизни такие, как Ленин и его товарищи по партии, его друзья...

Я стоял у правой кулисы недалеко от трибуны, спрятавшись от зала за пахнущим клеевой краской и пылью полотном. Кто-то из стоявших сзади горячо дышал мне в шею, кто-то шепотом повторял сказанные Лениным слова.

На Ильиче были простые тупоносые черные ботинки и действительно старый, но тщательно вычищенный и выутюженный костюм, темный, заправленный под жилет галстук, испещренный белыми ромбиками, — все самое обыкновенное. Иногда, отрываясь взглядом от его коренастой фигуры, от его предельно выразительных рук, я смотрел в зал, видел лицо седой женщины, лицо дяди Сергея. Теперь я уже не сомневался, что это он: темное каменное лицо и туго обтянутые кожей скулы, манера подергивать во время волнения плечом. Не спуская с Ленина глаз, он слушал, и иногда его жесткие, властные губы беззвучно шевелились, повторяя услышанное.

Кончая доклад, Ильич говорил:

— Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. На улице был устроен митинг, и вот один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы, крестьяне, были темны и вот теперь у нас появился свет, «неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту»...

Ильич весело и чуточку озорно усмехнулся, и, как ответ его улыбки, пролетели улыбки в зале.

Сложив записки, в которые он так и не заглянул, подойдя к краю сцены, Владимир Ильич со страстной убежденностью сказал:

— ...и если Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии.

И снова грохот аплодисментов залил зал, и снова колыхались золотые кисти и шелковые и сатиновые полотнища знамен, дребезжали от криков стекла в окнах фойе.

Владимир Ильич торопливыми шагами отошел от трибуны и, присев у стола на край стула, принялся что-то записывать: видимо, пока говорил, родилась новая мысль.

Мне была видна его спина, чуть сутуловатая от ежедневного многочасового сидения за письменным столом, и его задвинутые под стол ноги в черных тупоносых ботинках со сбитыми каблуками, старательно начищенных по случаю праздничного дня. «Наверное, сам и чистил,— подумалось мне,— ведь он не терпел, чтобы за ним ухаживали или прислуживали ему». И мне вспомнился коротенький услышанный вчера рассказ.

В Совете Народных Комиссаров несколько дней назад трудникам выдавали по списку картошку — по пуду на человека. Фамилия Владимира Ильича стояла первой в списке, и против нее была вписана цифра «2», вторым шло имя Надежды Константиновны Крупской, здесь, как и у всех остальных в списке, было написано «1». Владимир Ильич, прежде чем расписаться в списке, зачеркнул против своей фамилии двойку и вписал единицу, а фамилию Крупской вычеркнул совсем, пояснив на полях: «В Совнарком не работает».

Он сидел и писал, его куполообразный сократовский лоб блестел, словно выточенный из слоновой кости, а зал все не мог, не хотел успокоиться: аплодисменты и крики то затихали, то снова вспыхивали с новой силой, будто огромное человеческое море, море любви и преданности, билось о застланный красным стол, у края которого сидел Ленин.

## 20. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА

Первым в прениях по докладу Ильича выступал лидер меньшевиков Дан. С пеной на губах, то выбрасывая вперед руки, то театрально отступая назад, Дан говорил о насилиях большевиков над крестьянством, о том, что Чека властвует

над Президиумом ВЦИК, о том, что меньшевики не попали под амнистию, объявленную в связи с годовщиной революции. Я дословно помню некоторые его фразы, может быть, потому, что не могу забыть налитого смертельной ненавистью взгляда, каким он смотрел на Ильича.

Дан кричал:

— И вот ЦК партии меньшевиков, видя, что эта амнистия не применяется к нашим, подал в Президиум ВЦИК бумагу, где указывает на целый ряд случаев, когда наши товарищи после этой амнистии сидят в тюрьмах и концентрационных лагерях!..

Гневным шумом ответил ему на это зал. «Так и надо! — крикнул кто-то. — Изменники!» Несколько жиденьких хлопков раздалось в ложах, но и они сейчас же смолкли.

Ильич сидел совершенно спокойно, что-то изредка помечая в блокноте, потирая ладонью лоб, глаза его смотрели мимо беснующегося Дана в зал...

По окончании заседания я пробежал по закулисным коридорам в один из залов фойе, где по-муравьиному копошились делегаты и гости съезда. Мне хотелось сейчас же найти дядю Сергея, обнять его, поговорить.

Густой махорочный дым колыхался над солдатскими папахами и мужицкими треухами, слитный шум голосов наполнял коридоры и залы: обсуждали доклад. В одном из углов тщедушный, чахоточный человек, собрав около себя человек десять, повторял сказанное Даном: о нарушениях демократии, о засилии Чека.

Я побежал дальше по коридору, останавливаясь у каждой двери и заглядывая в шумную тесноту зала. Вандышева не было. Я пробежал по коридору еще и еще раз. И вдруг в толпе, спускавшейся по лестнице с верхних ярусов, мелькнуло знакомое лицо. Нет, не Вандышева, а тонкое породистое лицо Граббе. Воротник солдатской, прожженной в нескольких местах шинели был поднят и прикрывал нижнюю часть лица, а глаза под сдвинутыми бровями смотрели тоскливо и злобно, на губах держалась неопределенная улыбка. Расталкивая людей, я, позабыв о Вандышеве, бросился за Граббе, он оглянулся, увидел меня и узнал, лицо перекошилось и стало пепельно-бледным. Заспешив, он скрылся за поворотом лестницы, сбежал на следующий марш. Когда я пробился сквозь толпу туда, где только что мелькнуло его лицо, я уже не увидел его внизу — он, наверное, тотчас же ушел из театра.

В первое мгновение, когда я увидел его, чувство леденящего страха пахнуло мне в душу — значит, ему и, может быть, еще кому-нибудь из его сообщников удалось пробраться в театр. Зачем? С какой целью? Делегатами съезда они, ко-

нечно, быть не могли. Значит, раздобыли гостевые билеты — наверное, при содействии тех же меньшевиков, ненавидевших Ильича смертельно. С чувством глубокого облегчения я вспомнил, что только сейчас, перед закрытием первого пленарного заседания, по предложению Енукидзе съезд принял решение об аннулировании гостевых билетов. Зал Большого театра со всеми его пятью ярусами вмещает только две тысячи двести человек, а на съезд приехало 2418 делегатов — двум сотням делегатов придется на пленарных заседаниях устраиваться в проходах между креслами, стоять у дверей. Поэтому гостевые билеты решено было аннулировать.

Значит, теперь по гостевым билетам Граббе и его единомышленники не смогут проникнуть в театр. Страх, охвативший меня, отступил, погас. Но сейчас же вспыхнул с новой силой: а если Граббе пришел не по гостевому билету, если, скажем, они где-то в пути или тут, в Москве, подстерегли и убили или ограбили кого-то из делегатов и завладели мандатом! Что тогда?

В смятении я бегал по залам и коридорам, заглядывал в пустые репетиционные залы, дежурил у дверей, в вестибюле.

Вандышева я нашел уже у самого выхода, он стоял в толпе матросов-балтийцев, весело и шумно споря. Здесь же оказался и Роман Гаврилович, они собирались на квартиру к Корожде. Вечером Вандышеву предстояло явиться на заседание большевистской фракции съезда, а сейчас у всех было по несколько свободных часов — можно было поесть и поговорить. Мы отправились на Маросейку, к дяде Роману. В пути рассказывать о Шустове и Граббе было неудобно, на улицах людно, и идти нередко приходилось не рядом, а друг за другом — серьезного разговора не получилось бы.

Тетя Маша уже вернулась с Трехгорки и хлопотала возле печурки; Гришутка, сидя в углу кровати, перебирал самодельные игрушки, колесики от часов и дощечки.

— Батюшки! — всплеснула руками Маша, увидев Вандышева. — Да ты еще живой, Серега? Все еще не устукали тебя махновцы да врангелевцы? Дай-ка, дай я на тебя погляжу. Боже ж мой, да ты начисто седой стал!

— Года, года, Машенька! Ты-то, гляжу, тоже не больно помолодела.

Сели к столу, и я рассказал Роману и Вандышеву о появлении на съезде Граббе. Они встревожились необычайно, лицо Вандышева потемнело, помрачнело; закурив, он принялся ходить по маленькой комнатке, натываясь на углы стола и кровати, на табуретки.

— Чуяло мое сердце, чуяло, что черное тут кроется! —

говорил он.— А ты, Роман! Тебе же все было известно!

— Так меры же приняты. Следили за ними. И не только Данил. Ну, а кто ж знал, что сумеют пробраться на съезд! — развел руками Роман.— Да ведь пойми ты, нет прямых оснований для их изъятия. Обыск у Граббе ничего не дал, никаких улик. Ну, с чем, с какими основаниями я буду просить санкцию на арест? А? Теперь же это не просто, Серега...

— Но ведь и за версту видно, что это подозрительные!

— А! — отмахнулся Роман.— Если всех подозрительных по тюрьмам сажать, надо в Москве еще десять Бутырок строить! Но охране съезда я все это сегодня же в голову вобью. Станем караулить. И если они еще раз попытаются, если у них чужие мандаты или подделка какая — тут их песня спета!

В ближайший день мы ждали каких-то решающих событий. Но ничего не произошло. Несколько раз я забежал к Жестяковым, думая узнать что-нибудь о Граббе, но последние дни, поссорившись со стариком, он не показывался; где ночевал и что делал — неизвестно. В окнах квартиры Шустова тоже было темно; когда я по утрам приносил дрова, мне открывала дверь та самая суровая старушка с агатовыми недобрыми глазами, о которой я уже упоминал. Не спуская с меня глаз, она наблюдала, как я складывал дрова возле «буржуйки», потом, так и не сказав ни слова, шла следом за мной к двери и запирала.

Из соседней комнаты долетал все более слабеющий женский голос, кого-то звавший.

Когда я пришел во второй раз, я решил спросить о Шустове.

— Зачем тебе? — спросила старушка.

— Он же за дрова платить обещал, а сам... Я не стану больше дрова носить. Того и гляди, шею за эти заборы намотают, да еще зазря — бесплатно... Не стану, — притворяясь придурковатым, бормотал я. — И так вчера чуть милиция не заарестовала...

Старушка забеспокоилась, в глубине ее темных глаз проснулась тревога и сочувствие ко мне, что ли. Пожевав в раздумье тонкими сухими губами, сказала:

— Ты зайди вечером попозже. Он будет дома. Он тебе чего-нибудь даст... И возьми ведро, принеси нам, пожалуйста, воды...

— Ия! — слабо позвал из спальни женский голос.

Вечером, по окончании заседания, я снова встретился с Вандышевым и дядей Романом. Мы долго стояли на ступенях главного входа и смотрели, как растекаются по площади

шумные человеческие реки. Многие делегаты жили в Первом и Втором домах Советов — в зданиях гостиниц «Метрополь» и «Националь» — и направлялись туда. Падал редкий, невесомый снег, мягкий, пушистый, почему-то вызывавший в памяти полузабытые картины детства. Едва светили редкие фонари, молодой месяц острогордый месяц неся в вышине, за белой штриховкой снега.

Я сказал товарищам, что сегодня вечером Шустов, наверное, будет дома, и мы решили отправиться на Никитскую вместе. Никакого определенного плана не было, мы не имели права на обыск или арест, но все-таки решили идти — надо было как можно скорее проникнуть в тайну вражеской возни, отвести угрозу от Ильича.

В пути — маленькое происшествие. Шли по Дмитровке и возле бывшего театра Зимина остановились у крупно написанной на фанерном листе афиши. Отмечалось недавно минувшее столетие со дня рождения Энгельса, и после доклада о его жизни обещали концерт силами «прославленных артистов столицы». Может быть, и прошли бы мимо, если бы не приписка в самом низу: «Красноармейцам и красным командирам вход бесплатный».

— Зайдем на минутку? — предложил Вандышев. — Послушаем «прославленных». А то когда еще соберемся.

— А что же? — отозвался Роман. — Только не прокараулить бы коньячного потомка!

— А попозднее даже лучше.

Зал был полон, люди сидели в одежде и в шапках, алели на буденовках звезды. Доклад окончился, шел концерт. Длинный жеманный конферансье с тонкими усиками и с галстуком бабочкой объявлял номер:

— А сейчас, граждане, наш дорогой и уважаемый... — он назвал не запомнившееся мне имя, — исполнит эпиталаму из «Нерона» «Пою тебе, о бог любви, о бог Гименей».

— Ишь ты, — удивился кто-то в зале. — Игуменей!

Тучный лысый певец, выкатывая глаза, пел, а в зале тайком покуривали в рукава и перебрасывались негромкими шуточками:

— Вот дает, Игуменей! Погонять бы такого по окопам, слинял бы. А?

Потом, молитвенно сложив на животе руки, тощая рыжая женщина с дряблой шеей, тряся цыганскими серьгами, пропела: «Прощай, Заса!»

— До свидания, бабуся! — крикнули из зала, когда уходила.

В зале нарастал шум, кто-то с сердитым недоумением спросил:



— Ну, а старик Энгельс здесь при чем?

И когда вышли еще двое, она — в белом бальном платье, он — в черном фраке, и, явно издеваясь над залом, подбоченясь, запели: «В селе Малом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил...» — из зала злой голос крикнул:

— Будя! Наше давай, революционное! «Варшавянку»!

— Давай! Давай! — подхватили сотни голосов.

Зрители повскакали с мест и кричали, топая ногами:

— Даешь!

Актеры постояли молча и, не поклонившись, ушли. Конферансье, не в силах перекричать нарастающий шум, разводил руками.

— Да они не знают «Варшавянки», контровые душонки! — сказал медлительный седоватый человек в кавалерийской шинели. Протискался к сцене и, встав у барьера, поднял руку. Голосом, привыкшим командовать, чуточку хриплым, но сильным, сказал, разделяя слоги: — Ти-хо!

Зал послушался, шум стих. И тогда седоватый запел:

Вихри враждебные...

И первые же слова подхватили сотни голосов, особенно выделялся мальчишеский тенорок, тоненькая серебряная ниточка, — слушая, хотелось смотреть вверх.

Когда пропели первые два куплета, запевала в кавалерийской шинели не торопясь пошел к выходу, за ним, не переставая петь, двинулись остальные. Так, с пением, и ушли, допевали на улице, под метелящим небом. И мы пели вместе со всеми.

— Это так, это по-нашему, — одобрил Вандышев, надевая шапку.

Пошли дальше. Когда подходили к дому Шустова, я снова увидел в окне горящую лампу, хотя теперь она стояла глубже в комнате и свет ее не был так ярок.

Мы постояли в сторонке, глядя на этот кого-то зовущий свет.

— Маячат, гады, — процедил Роман. — У тебя, Серега, пушка с собой?

— Не расстаюсь.

— Добро. Мы им сейчас дадим.

— Сейчас не сто́ит, дядя Роман, — посоветовал я. — Раз лампа на окне, значит, не собрались. И вообще уйди бы, а то спугнем. Увидят — уйдут.

— И то. Куда же?

Я провел их к Петровичу, он был уже дома. Познакомились, поговорили. Несколько раз я выходил, смотрел — лампа



стояла на окне. Когда ее убрали, я взял приготовленные с утра дрова и пошел наверх посмотреть, если удастся, что происходит в квартире Шустова, и уж потом решать, что делать. Заговорщиков могло оказаться несколько человек, и, наверное, они были вооружены.

— Ну, иди, Данил, нюхай. А я пока за подмогой слетаю,— сказал Корожда.— Тут рядышком милицейский участок. А то пойдем по шерсть, а вернемся стрижеными.

Мне открыли не сразу, за дверью шла едва слышимая возня: шаги, шепот. Когда дверь распахнулась, на пороге стоял Шустов. Увидев меня, посторонился, давая пройти, а когда я

положил дрова возле печурки, он запер дверь и ключ положил в карман.

Несколько мгновений, словно раздумывая над чем-то, стоял молча и смотрел на меня с выражением деловитой жестокости. Прошел через комнату и, распахнув дверь кабинета, жестом приказал мне войти.

В кабинете, на диване и на стульях возле стола, сидели Граббе и еще двое мужчин; в них угадывались военные, хотя одеты они были в гражданскую, потрепанную одежду. На столе стояла початая бутылка коньяку и крошечные, синего стекла рюмки, на тарелке — обломки галет. Окно на улицу теперь было занавешено пледом.

Когда я вошел, все трое с холодной, недоброй пристальностью посмотрели на меня. Граббе как бы нехотя встал, подошел ко мне — пахло коньяком и табачным дымом. Я смотрел в его ненавистное лицо и радовался тому, что внизу, у Петровича, меня ждут.

Не сказав ни слова, Граббе изо всей силы ударил меня кулаком в лицо; это было так неожиданно, что я не успел заслониться. У него были твердые, словно железные, кулаки, я отлетел в угол и ударился головой о стену.

Шустов стоял у дверей, опершись плечом о косяк, двое других сидели молча. Граббе сказал сквозь зубы:

— Ленинское отродье! — и, отойдя к столу, налил рюмку коньяку. Выпил.

Я стоял в углу и смотрел на них. Я понимал, что пощады ждать нечего, бесполезно и просить и молить, и мне хотелось завывать от тоски, от жалости, что так бессмысленно кончается жизнь. Вдруг Вандышев и Корожда не догадываются, что я попал в беду. Что делать? Кричать? Бесполезно, да и не дадут. Броситься в окно? У окна сидят двое, у стола стоит Граббе.

— За что? — пытаюсь притвориться дурачком, спросил я. — Я ничего не знаю...

— Скоро узнаешь, — пообещал один из сидевших на диване. Достал из кармана браунинг и, косо посмотрев на меня, положил на край стола.

И тут я вспомнил, что в кармане у меня пистолет капитана Жестякова, я носил его с собой, хотя и понимал его бесполезность. Но, подумалось, могу, может быть, напугать. Эх, если бы хоть один патрон, убил бы одного гада. И выстрел услышали бы внизу.

Я стоял в углу, а они, четверо, спокойно и деловито обсуждали, что со мной делать. Отпускать меня нельзя, с этим они все соглашались. Убить? А куда девать тело? Не тащить же его по улице, не везти на извозчике. Отвести подальше от дома и где-нибудь в глухом переулке пристукнуть? А вдруг по

дороге патруль, милиция? Опасно и грозит провалом. А провала они боялись больше всего, все еще надеялись пробраться на съезд и попытаться убить Ленина. Сколько бы лет я ни прожил, я никогда не забуду, с какой спокойной жестокостью обсуждали они детали своего плана, не забуду чувства испытанной тогда смертной тоски. Я уже видел, как они волокут меня, мертвого или полумертвого, по сонным, безлюдным улицам..

Мне удалось дотянуться до кармана, где лежал пистолет, но Граббе заметил, прервав себя на полуслове, подошел, еще раз ударил и, сунув руку ко мне в карман, вытащил пистолет.

— Видали? — усмехнулся. — Щеночек-то, оказывается, с зубами. У, тварь! — и ткнул мне в лицо дулом. Вынул магазинную коробку и, увидев, что она пустая и что в стволе нет патрона, швырнул пистолет в угол дивана.

И тут мне пришла в голову мысль: а если брошусь на одного из них, если попытаюсь схватить лежащий на столе браунинг, может быть, кто-нибудь выстрелит? Меня они все равно не выпустят живым, но ведь надо же, чтобы их взяли! Дождавшись, когда никто не смотрел в мою сторону, я прыгнул к столу, протянув к браунингу руку. Но рука не дотянулась, сильный удар в лицо откинул меня назад, в угол, я упал. Падая, услышал:

— Не стреляй, Краб!

Двое, я уже не разглядел кто, подошли и принялись бить меня ногами, в лицо, в пах, в бока, — оба были в сапогах. Я закрывал лицо руками, сжимался в комок, задыхаясь и теряя сознание от острой, пронизывающей боли. И странно — какие-то далекие позабытые картины вспыхивали и потухали в памяти, вспыхивали и потухали как раз в то мгновение, когда тело пронизывала боль удара. Как сквозь сон — негромкие злые слова:

— Красная сволочь!.. Ублюдок... Тварь!

Потом они оставили меня. Шустов принес из соседней комнаты тонкие зеленые шнурки, то ли от штор, то ли от чемодана, и мне скрутили руки и ноги, заткнули рот моей варежкой. Во время этой возни слабый женский голос из глубины квартиры позвал: «Ия!» — и Шустов, раздраженно бросив на ходу: «Извините, господа», ушел.

Когда вернулся, они, посоветовавшись, решили, что позже, когда дом уснет, отташат меня на чердак, ключ от которого хранился раньше у Ферапонтыча, а теперь оказался у Шустова, и оставят там: «Подохнет с голода или замерзнет, скотина!»

Я с трудом сдерживал стоны и крик, так сильно болели сразу распухшие руки, тонкие шнуры глубоко врезались в тело;

как в нарыве, большими толчками билась кровь. И хотя я мысленно попрощался с жизнью, надежда еще теплилась в глубине сердца. И когда спустя, как казалось, целую вечность, сквозь кровавую муть, обволакивавшую сознание, я услышал громкий стук в дверь и увидел, как эти четверо с посережевшими и окаменевшими лицами медленно поднимались со своих мест, когда Граббе, прыгнув к окну и отодвинув край пледа, выглянул и сказал сквозь зубы: «Всё! Стоят!» — я засмеялся от радости, что эти волки сейчас будут схвачены и посажены в клетку и уже никогда ни на кого не смогут поднять свою подлую руку, засмеялся от радости возвращающегося ко мне ощущения жизни.

С перекошенным лицом Граббе подошел ко мне и замахнулся ногой, но не ударил: дверь в квартиру трещала под ударами, и я услышал голос Вандышева.

— Будем отбиваться? — спросил Граббе, вытаскивая револьвер.

— Тогда-то уже наверняка конец, — деланно зевая, отозвался один из четверых, доставая папиросу.

— Значит, на милость хамов?

— Я предпочитаю жизнь. Отопри, Аркадий.

Тяжело, словно ступая по пояс в воде, Шустов вышел, но отпереть не успел: послышался треск ломающихся досок, железный скрежет замков, и в квартиру ворвались люди. Странно звенящий голос Вандышева крикнул:

— Руки вверх! Оружие!

Медленно, неохотно, будто еще на что-то надеясь, поднимали заговорщики руки.

— Данька! — с тревогой позвал Вандышев.

Я засмеялся в ответ, засмеялся и заплакал от радости и от боли: шнуры врезались в тело почти до костей, до сих пор на левой руке ношу беловатый шрам.

— Вот и еще раз встретились, барин! — сказал Вандышев, подходя к Шустову.

Тот не ответил, губы и руки у него дрожали.

Заговорщиков обыскали, отобрали револьверы, у Шустова взяли записную книжку с буквенными и цифровыми записями. Когда уводили, Граббе, проходя мимо меня, усмехнулся криво и страшно:

— Знать бы... Я бы тебя, щенка, давно придушил...

— Но-но! — прикрикнул Вандышев. — Шагай, контра!

Квартиру обыскали, но ничего не нашли. И только под утро, перебирая связку ключей и пробуя ключи на всех замках, в доме обнаружили, что одним из них отпирается ведущая в подвал железная дверь рядом с дворницкой. Там, в подвале, в стене нашли кое-как замаскированный тайник — глухая ка-

менная яма без окон, с обледенелыми стенами. До самого входа громоздились ящики с коньячными бутылками, а в дальнем углу, под полусгнившими мешками, тускло поблескивало оружие: револьверы и карабины, кинжалы и бомбы.

Так окончился еще один из множества заговоров, поднявших руку на революцию...

## 21. ЗДРАВСТВУЙ, ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!

На следующий день съезд слушал доклад Кржижановского о плане ГОЭЛРО, доклад, который в холодном и неярком освещенном зале звучал как сказка, как несбыточная мечта. Ведь для того чтобы освещать Большой театр в дни съезда и зажечь карту электрификации, пришлось выключить свет в нескольких районах Москвы! Предел нищеты! А Кржижановский, развивая мысль Ильича об электрификации, говорил о станциях, которые мы построим в первую очередь, о морях электрического света, что затопят необъятные просторы России.

Высокий, худощавый, с черными разлетающимися бровями, Кржижановский водил по карте деревянной указкой и говорил, а Ильич, чуть подняв правое плечо, прищурившись, смотрел то на карту, то в зал, то в лежавший перед ним блокнот. Он был в тот вечер странно задумчив, и обычно живые, искрящиеся глаза его как будто смотрели в далекое, никому не видимое будущее.

На карте вспыхивали синие лампочки — они обозначали уже существующие небольшие электростанции, вспыхивали красные — это те, что предстояло построить.

— ...Сооружением мощной плотины на Днестре, у города Александровска, — говорил Кржижановский, — мы можем достигнуть такого подъема воды, что она закроет знаменитые Днепровские пороги, а получающийся при этом напор воды даст возможность создать здесь крупнейшую ГЭС России. Спасение петроградской промышленности зависит от развития тех ГЭС, которые намечаются здесь на реке Волхов и на реке Свирь...

И, кончая доклад, Глеб Максимилианович сказал с силой и печальной гордостью:

— Таким образом мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших братьев, и им не придется воспользоваться благами электрической энергии. Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что мы переживаем такие великие дни, когда люди проходят как тени, но дела этих людей остаются как скалы!

Запомнилось мне в этот день выступление еще одного деле-

гата. Речь его, непосредственная, искренняя и взволнованная, несмотря на некоторое косноязычие, крепко ложилась в память. Фамилия его, кажется, была Яхневич.

Оборванный, в сбитых сапогах и засаленном рабочем пиджаке, в темной косоворотке, шея обмотана вместо шарфа обрывком серого полотенца с висящей по краям бахромой. Он говорил, прижимая к груди огромные корявые руки, руки человека, проработавшего на тяжелой физической работе всю жизнь.

— ...Ничего своего у меня нет,— говорил он и оглядывался в президиум, на Ильича, словно тот мог подтвердить сказанное.— После двадцати лет батрачества на всяких там кулаков да попов и после призыва я прибыл в Петроград. Я беспартийный. Конечно, я не мятежной души. Но, хотя и так, я должен несколько слов присовокупить... История пришла к нам. Все в природе движется: и звезды, и планеты, и Солнце; ученые это хорошо знают, что если нет движения, то нет жизни. А даже неученые понимают, что стоячая вода гниет, а если вода течет, она очищается. И вот мы шли вперед, хотя и пришлось принести в жертву много жизней. Иначе, однако, не получилось бы того, что сейчас на этом съезде: сел и разговариваешь, как товарищ. Раньше говорили: это черная кровь, а это голубая, это обезьяны, это серый русский мужик, это медведь сивопалый...

Он замолк, постоял, его большие шершавые кулаки теснее прижались к груди. Ему хлопали, и он прислушивался к аплодисментам с удивлением. Потом продолжал:

— ...Вот в этом и есть большая разница, на которую я не успел здесь показать. Я только немного поделился впечатлением. Мы не играем в темную...

В этот момент я посмотрел на Ильича, он слушал с напряженным и радостным вниманием и на эти слова делегата несколько раз качнул головой и прошептал: «Так, так...»

— ...и мы, деревенские, сивопалые мужики, здесь всё узнали, нам всё здесь разъяснили, как обстоят дела... Товарищи, революция требует жертв, жертв наших братьев, нашей крови. Ничего не поделаешь: если огонь горит, то в костер надо подкладывать. Так и у нас: огонь революции горит, нужны жертвы для того, чтобы мы соединились в единый интернационал, где нет ни белокожих, ни чернокожих, ни серокожих,— все, как один. И вот мы должны в костре интернационала поддерживать пламя, а чем — нашим честным трудом. Вот как обстоит дело...

Яхневича провожали дружными аплодисментами, и Ленин смотрел ему в спину светящимся взглядом, как бы говорящим: «Народ! Он все понимает, народ...»

А я смотрел на Ильича, и в сердце моем ширилась и росла радость: вот он какой, Ильич!..

Что же сказать в заключение рассказа о тревожных днях моей юности? Вандышев погиб через три месяца после описанных мною событий. Он был делегатом X съезда партии и в числе трехсот коммунистов прямо со съезда уехал на подавление кронштадтского мятежа, был ранен при штурме и умер на льду Финского залива. Когда я думаю о нем, я всегда вспоминаю прекрасные строчки Багрицкого, словно они написаны именно о Вандышеве:

Нас водила молодость в сабельный поход,  
Нас бросала молодость на кронштадтский лед.

Счастье всей моей жизни и состоит в том, что на жизненном пути я встретил многих таких, как Вандышев, умевших забывать о себе ради великого дела, которому отдавали все силы своего сердца и саму жизнь...

Тот год стал переломным годом и в моей жизни. Я поступил на рабфак, потом в институт, позже туда же поступила и Оля. Похоронив старика Жестякова, мы с ней работали на строительстве многих ГЭС. Мы строили Рыбинскую и Цимлянскую, бурили первые скважины в Жигулевском створе, где сейчас вращаются турбины гидростанции имени Ленина, лили «большой бетон» на Усть-Каменогорской, перекрывали бешеную Ангару.

И каждый раз на пуске новой ГЭС я вспоминал и вспоминаю полуосвещенный зал Большого театра и светящуюся красными и синими лампочками первую карту электрификации России. Как давно это было! Сколько за эти годы построено! Галактики электрических солнц заливают теплом и светом тысячеверстные пространства когда-то темных и заброшенных углов нашей земли, «каторжную» Сибирь, далекий Дальний Восток, Север, и в каждом из электрических солнц живет и бьется бессмертное сердце Ильича.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лев Разгон. Звезда революции . . .</i>	<b>5</b>
<b>ГОЛУБИНЫЕ ГОДЫ . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ . . . . .</b>	<b>233</b>

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

*Арсений Иванович Рутько*

### ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

ИБ № 3249

Ответственный редактор *Г. В. Быстрова*  
Художественный редактор *С. И. Нижняя*  
Технический редактор *Я. Г. Барская*

Корректоры *И. В. Мартынова* и *Е. И. Щербакова*

Сдано в набор 11.10.78. Подписано к печати 02.04.79. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт латинский. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,0. Уч.-изд. л. 23,81. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3600. Цена 95 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

95 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“